НОВЫЙ МИР

1

1959

НОВЫЙ МИР 1 1959

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV № 1 Январь, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 3

Навстречу XXI съезду КПСС 5

ЭМ. КАЗАКЕВИЧ — **В столице Черной Металлургии**

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ — **Взгляд в будущее**

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ — **Изучая контрольные цифры...**

НИКОЛАЙ ДУБОВ — **Действительно трудовая**

СОФЬЯ ВИНОГРАДСКАЯ — **Два вечера**, рассказ 32

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — **Зимняя ночь. Фонтан. У точильного круга. Чистка картофеля. Плотник. Впервые. Пейзаж. Начало зимы. Мои стихи** 49

ПАВЕЛ ХАЛОВ — **Два стихотворения** 55

ВИКТОР КИН — **Из незаконченного романа** 57

ФИЗУЛИ — **Рубаи и газель.** Перевели А. Адалис и Владимир Державин 92

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН — **На сибирской магистрали** 95

К 200-летию со дня рождения Роберта Бернса

С. МАРШАК — **Роберту Бернсу**, стихи 139

ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА. **«Святая ярмарка». Невеста с приданым. Был я рад...** Переводы С. Маршака 140

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

БОРИС АГАПОВ — **Поездка в Брюссель** 144

ПУБЛИЦИСТИКА

И. ПЕШКИН — **Новые кладовые индустрии** 191

Л. АЙЗЕРМАН — **Жизнь требует** 206

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ — **Точка опоры** 212

Р. ОРЛОВА, Л. КОПЕЛЕВ — **Потерянное поколение холодной войны.** Заметки о зарубежной литературной молодежи 219

С. ШТУТ — **«Двенадцать» А. Блока** 231

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 247

И. Соколов-Микитов. У родной колыбели. — **Геннадий Гор.** Время таяния снегов. — **Ю. Сотник.** О людях большой реки. — **Мих. Луконин.** Продолжение жизни. — **Е. Ржевская.** Поступь времени.

Политика и наука 261

А. Литвак. Великий счет. — Заслуженный деятель науки **В. Дурденевский.** Интересное исследование.— **С. Эпштейн.** Кейнс — вдохновитель оппортунизма.— Кандидат исторических наук **А. Немировский.** Правда о Библии.— **Н. Алиева.** «Дикари» и колонизаторы.— **И. Иноземцев.** Робинзонада гуманиста.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ 275

Галина Зинченко. «По мотивам повести...».— **Г. Шукст.** Одна из многих прочитанных.

КОРОТКО О КНИГАХ 281

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 285

ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза по РСФСР горячо приветствует Первый съезд советских писателей Российской Федерации и в его лице всех литераторов республики.

Союз писателей Российской Федерации — самый многочисленный творческий отряд великой советской литературы. Верные принципам партийности, народности и социалистического реализма, писатели республики создали немало талантливых книг, сыгравших большую роль в коммунистическом воспитании трудящихся. Лучшие произведения писателей Российской Федерации всегда были тесно связаны с жизнью, проникнуты пафосом современности, выражали думы и чаяния народа, правдиво и талантливо отображали исторический путь, пройденный нашим государством.

Писатели РСФСР успешно развивают традиции великой русской литературы, плодотворно используют лучшие творческие достижения литератур всех других народов нашей страны. Русская советская литература оказывала и оказывает благотворное влияние на развитие всех литератур социалистических наций. За годы Советской власти выросло и окрепло творчество писателей автономных республик. Получила развитие художественная литература и у тех народов, которые до Октябрьской революции не имели письменности. Все это — результат ленинской национальной политики Коммунистической партии, направленной на укрепление дружбы народов, на неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа.

Съезд писателей Российской Федерации собрался в замечательные дни. Советский народ с огромным воодушевлением готовится к XXI съезду партии, знаменующему вступление нашей страны в период развернутого строительства коммунистического общества. Семилетний план развития народного хозяйства предусматривает небывалый рост производительных сил всего Советского Союза, в том числе и Российской Федерации, и на этой основе быстрый подъем жизненного уровня и культуры трудящихся. В Поволжье и на Кубани, на Урале и в Сибири вырастают новые промышленные районы. Гигантские природные богатства республики будут использованы для дальнейшего подъема экономики всей страны. Будет обеспечен новый мощный подъем сельского хозяйства республики. Создаются необходимые условия для все более полного удовлетворения растущих материальных и культурных запросов советских людей.

Писатели Российской Федерации призваны сыграть активную роль в этом великом созидательном процессе. Идти в ногу с народом, полнее отображать его борьбу за торжество великих задач строительства коммунизма, активно участвовать в воспитании нового человека коммунистического общества — почетный долг художников слова.

Советская литература выросла и закалилась в борьбе за торжество политики Коммунистической партии, выражающей коренные интересы народа. Советские писатели дали достойный отпор попыткам ревизионистов поставить под сомнение плодотворность ленинских принципов идейности, партийности, народности литературы и принципов социалистического реализма.

Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза по РСФСР выражает уверенность, что писатели Российской Федерации будут и впредь активно бороться за идейную чистоту советской литературы, проявляя непримиримость ко всяким видам ревизионизма, ко всяким проявлениям буржуазной идеологии.

Дорогие товарищи писатели!

Ваш съезд завершит работу по созданию Союза писателей Российской Федерации. В центре внимания Союза писателей РСФСР должны стать идейно-творческие вопросы, дальнейшее сплочение писательского коллектива на принципиальной основе служения делу партии, народа. Союз писателей РСФСР призван оказывать помощь писателям в действенном и целеустремленном изучении жизни, в укреплении идейной убежденности, в совершенствовании художественного мастерства, в создании произведений, поднимающих народ на борьбу за построение коммунизма. В писательских организациях должна быть создана подлинная творческая обстановка, обеспечены коллективность руководства, принципиальная критика и самокритика, преодоление остатков групповых тенденций, товарищеская взаимная помощь и поддержка в литературном труде. Особое внимание Союзу писателей РСФСР необходимо обратить на рост новых писательских сил на местах, на воспитание и поддержку молодых талантливых литераторов.

Желаем Первому съезду советских писателей РСФСР успехов в его работе. Крепите свои ряды, товарищи писатели, ряды верных помощников партии в борьбе за коммунизм! Выражаем твердую уверенность в том, что писатели Российской Федерации вместе с писателями других братских народов Советского Союза и впредь будут высоко нести знамя социалистического реализма, создадут новые произведения, достойные великих дел советского народа — строителя коммунистического общества.

Бюро Центрального Комитета
Коммунистической Партии Советского Союза
по РСФСР

ЭМ. КАЗАКЕВИЧ

★

В СТОЛИЦЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1

Я теперь нахожусь в городе на Урале, в городе, чье имя известно всему миру, но о котором мы все-таки знаем удивительно мало. Писатели молчат о нем и немотствуют историки. Наспех написанное про него в старину оказалось недолговечным. А между тем не много найдется городов, столь заслуживающих бессмертия, как Магнитогорск.

Если бы лет тридцать назад кто-нибудь на стойбище кочевников или на улочке не существующей теперь станицы Средне-Уральской напророчил, что спустя несколько лет тут встанет гигантский завод и вырастет большой город, что через эту степь пролягут железные дороги и трамвайные линии, что это бескрайнее небо озарится огненными языками доменных и мартеновских плавок, что сотня труб без отдыха и срока, непрерывно и неустанно, будет здесь дышать разноцветными дымами поразительных по гамме и оттенкам красок, что под этой нетронутой землей протянутся тысячи километров кабеля и трубопровода, а над ней повиснут сотни километров электрических проводов, что здесь обоснуется в больших домах население в триста тысяч человек с младенцами в колясках и стариками на скамейках бульваров, — если бы какой-нибудь дерзкий пророк предсказал все это, его сочли бы за сумасшедшего и, чего доброго, закидали бы камнями, как издавна полагается делать с пророками. Камней же тут было много, притом тяжелых — с большим содержанием железа.

Мир испокон веку знал, как трудно и долго идет процесс созидания, как стремительно — процесс разрушения. Для возведения Помпеи потребовались столетия, для разрушения ее — несколько дней. В новейшие времена немало городов, строившихся века, было уничтожено за несколько лет. Магнитогорск строился, создавался, возводился в темпе, ранее посильном только для разрушения. Магнитогорск — средоточие советской индустриализации, высшее выражение большевистского темпа, наиболее яркое проявление руководства партии, знающей, что́ делать, и творческой силы народа, способного делать все.

Я не могу следовать совету римского поэта «ничему не удивляться». Я, грешный, все хожу и удивляюсь. Ибо Магнитогорск — это чудо. Даже старые магнитогорцы, участники и очевидцы всего того, что здесь совершилось за невероятно короткий срок, показывают свой город с гордостью, но и не без удивления. Даже знаменитый мастер-доменщик Герой Социалистического Труда Николай Ильич Савичев, коренной уроженец здешних мест, мальчиком бегавший за геологами-разведчиками сюда, к будущему заводу и руднику, — и тот говорит, задумчиво покачивая головой: «Иногда посмотришь вокруг и с трудом веришь, что мы могли все это сделать так быстро».

Его удивление понятно мне. Дело не только в том, что строительство началось здесь на голом месте, но и в том, что оно вначале производилось голыми руками. У нас не было механизмов. У нас не было автомашин. Три тысячи лошадей с повозками, так называемых грабарок, обслуживаемых девятью тысячами грабарей, круглые сутки копошились на площадке новостройки. Медлительные верблюды возили пиломатериалы. Цемент и песок для бетономешалок дозировались бетонщиками на глазок. Лопата и лом были основными инструментами, артели-землячества из украинских и уральских деревень — основной рабочей силой. Строители жили в палатках и землянках летом и зимой.

Тем временем в пароходных трюмах, а затем на железнодорожных платформах двигалось на стройку оборудование, закупленное правительством за границей, — краны, экскаваторы, думпкары, электровозы. Тем временем 158 советских заводов тоже начали изготовлять для Магнитки различное оборудование, производство которого осваивалось ими на ходу, в том же темпе, в каком строилась Магнитка. 108 учебных заведений — старых и вновь возникающих в темпе Магнитки — готовили кадры для будущего магнитогорского завода.

Американская фирма «Мак-Кей», с которой был заключен договор на проектирование советского металлургического гиганта, в это время в далеком Питсбурге неторопливо готовила чертежи и отмахивалась от постоянных подстегиваний с нашей стороны, не особенно веря, — а может быть, вовсе не веря,— что эти чертежи могут стать реальностью в установленные «кремлевскими мечтателями» сроки.

Решение ЦК партии о передаче проектирования американской фирме было, однако, единственно верным и дальновидным решением. Американцы в то время находились на вершине технического прогресса; их металлургия стояла на первом месте в мире, их домны были самыми крупными, их заводы — наиболее разумными и совершенными металлургическими комплексами. Строить домны немецкого типа — значило заранее отказаться от лозунга «Догнать и перегнать наиболее передовые капиталистические страны». И мы пошли на выучку к американцам, чтобы затем превзойти своих учителей.

У нас в немногочисленных брошюрах, посвященных рождению Магнитки, принято ругать американцев за то, что они безбожно затянули проектирование, категорически возражали против пуска домен в зимнее время, оспаривали осуществимость заданных темпов и вообще не верили в возможность построить и пустить гигант в нечеловечески сжатые сроки.

Да, они затягивали. Да, они не верили. Но это было вполне естественно. Они судили как техники, а не как знатоки психологии народа, ставшего хозяином своей судьбы. Они не учли такой «мелочи», какой является великая революционная одержимость целого народа, такой «детали», как ленинская закваска, бродившая в огромном, неравноценном в своих частях, разноликом, но могучем народном организме советской Руси.

Так же много лет спустя судили о нас немцы в связи с успехами гитлеровских войск на первом этапе войны. Они не приняли в расчет удивительную силу духа народа, знающего, за что он борется. Если продолжить сравнение с войной, то индустриализация была настоящей, трудной, глубоко драматической войной против косных сил природы и против нашей собственной косности и отсталости. В этой войне мы одержали беспримерную победу, и об этом надо сказать с такой же страстностью и силой, с какой говорилось о нашей победе на войне.

Иностранным специалистам, работавшим в первоначальную пору на строительстве Магнитки, было нелегко понять душу наших людей. Что заставило плотничью бригаду Козлова подняться с красным знаменем

на седьмой этаж строившейся центральной электростанции и ставить опалубку при сорока двух градусах мороза? Что побудило больного туберкулезом легких в самой угрожающей форме техника-прораба Анкудинова отказываться наотрез от врачебной помощи и постельного режима и в течение многих суток напролет стоять на страшном ветру, руководя бетонными работами на стройке плотины? Что превратило вятского крестьянина Егора Смертина, пришедшего на стройку в лаптях и домотканой рубахе, в знаменитого бригадира бетонщиков, ставившего мировые рекорды по бетонированию в почти невыносимых условиях уральской зимы? Что двигало девушками-верхолазами, производившими кладку трубы мартеновского цеха, когда они, не желая тратить драгоценное время, потребовали, чтобы им поднимали обед наверх, под облака?

Смит, один из американских консультантов на стройке, однажды бросил крылатую фразу: «Русским надо поучиться пользоваться безопасной бритвой, а они хотят домны строить». Он посмеивался над нашими газетными сообщениями о кризисе и безработице в Америке и рассказывал байки о том, что-де американский безработный, ложась спать в порту, пишет на подошве ботинка цифру «5», что означает: «на работу меньше чем за пять долларов не будить». Затем этот Смит уехал на родину и через три месяца стал писать письма с просьбами, чтобы его снова вернули в Магнитку. Затем те же мольбы он присылал с Ньюфаундленда, куда завербовался ненадолго. Позднее было получено письмо, в котором он сообщал о своем согласии даже перейти в советское подданство, только бы его вернули в СССР, только бы работать.

Ибо если иностранцы вначале не верили, то потом это неверие сменилось удивлением и даже восторгом. Замечательный инженер Джон Геррис сказал: «Я счастлив тем, что на мою долю выпала честь участвовать в постройке этого грандиозного предприятия. Окончание работ, производившихся в большинстве случаев вручную, в те сроки, в которые они осуществлены, казалось, превосходило всякие человеческие возможности. И все-таки работы окончены».

Удивление иностранцев вызывала и самоотверженность наших людей, живших в чрезвычайно тяжелых условиях. Сами иностранцы жили хорошо. Для них мы ничего не жалели. Для их квартир возили линолеум в пассажирских поездах. Для их столовых привозили на самолетах из Москвы виноград и лимоны. Наши люди не роптали на такое неравенство — я свидетельствую об этом со всей ответственностью за свои слова. Об этом мне рассказывали и старые магнитогорцы и иностранные рабочие — ныне советские граждане, натурализовавшиеся в Магнитогорске и живущие здесь по сей день: голландец Питер Ван-Ваув, итальянец Чирилло Векки, американец Эммануэль Колета. Наши люди понимали, что иначе нельзя. Они жаждали побыстрее построить завод и овладеть всеми тайнами металлургического цикла. Для этого стоило жить в бараке, питаться пустыми щами, носить ватные телогрейки и не пить вина (в Магнитке был тогда «сухой закон»). Для этого стоило кормить иностранных инженеров мясом и виноградом, одевать их в коверкотовые костюмы, поить их пивом и вином.

Да, мы учились у иностранцев и благодарны им за учение. Но правда состоит в том, что уже через два-три года наши инженеры научились проектировать домны-уникумы, мощные мартеновские печи, колоссальные прокатные станы, коксовые батареи, обогатительные и агломерационные фабрики. Правда состоит в том, что наши рабочие в необычайно короткий срок освоили технику работы механизмов, кладки огнеупора, монтаж сложнейших металлических конструкций и эксплуатацию современнейшего металлургического комбината. И тут иностранцам пришлось удивиться огромным техническим способностям и чудесной переимчи-

вости советских молодых рабочих. Белорусская крестьянка Людмила Миновна Смирнова, пришедшая на стройку полуграмотной, вскоре стала машинистом турбины, затем мастером машинного зала. Француз-калибровщик, уникальный знаток своего дела, ревниво оберегал от чужих глаз секреты ремесла, но молодой рабочий Бахтинов исподволь, то шутя, то притворяясь простачком, узнал все его производственные тайны и превзошел своего учителя.

Такова правда.

Когда миссис Мак-Муррей, жене инженера, не понравилось мясо, выданное ей девушкой-поварихой в «американской» столовой, она ударила девушку по лицу. Все возмутились, заволновались, сжали кулаки — и смолчали. Мистер Мак-Муррей был отличным инженером. Он был нам нужен.

Как хорошо, однако же, что он нам не нужен больше.

Такова правда.

2

Я упоминал о девушках-верхолазах. Оказалось, что их бригадиром была некая комсомолка в красном платочке по имени Зоя. Я переворошил весь Магнитогорск с тщательностью какого-нибудь Шерлока Холмса, отыскивая следы этой Зои.

Я не нашел ее следов. Может быть, она уехала и живет теперь где-нибудь скромной и тихой труженицей, матерью семейства. Где бы она ни жила, пусть ей сопутствует счастье, любовь окружающих, сознание своего скромного величия.

Я полюбил этот город, его людей, его прошлое и настоящее, его пейзаж, лишенный особых красот природы, но безошибочно действующий на воображение обликом вечно кипящего, вечно пламенеющего завода, который царит над всем городом и, пожалуй, способен заменить даже самому взыскательному глазу горы и реки. Он стал природой этого города, и, поверьте мне, это удивительно прекрасная природа.

Издали завод похож на общее собрание действующих вулканов.

Я иду вдоль его стен, тянущихся на много километров, вхожу в его проходные, смешиваюсь с его толпой, знакомлюсь с работой его цехов, снова и снова удивляюсь величию его сооружений и несуетливой деятельности его рабочих.

Действительно, здесь нет суеты — ни на заводе, ни на новостройках. Давно прошли времена грабарок, шума, гама, беготни.

На новостройках малолюдно. Много мерно рокочущих машин. Работа идет ритмично, споро — не так, как хотелось бы, но в тысячу раз ритмичнее и спорее, чем некогда. В 1958 году Магнитострой, помимо десятков тысяч метров жилой площади, строил гигантский слябинг, новую агломерационную фабрику, новый коксохимический цех. Объем работ огромен и многообразен, мощности наращиваются в гораздо более быстрых темпах, чем раньше, но все делается спокойно, деловито, без многочасового недосыпа, без штурмов и авралов.

И этот признак зрелости нашей индустрии полон глубокого значения.

Полюбите этот пейзаж вечного дела, и вы уже почти можете писать. Но пусть пейзаж не заслоняет от вас человека. Если вы повстречаете интересного человека в заводском цехе — обязательно навестите его дома. Если вас познакомят с интересным человеком где-нибудь в городе — обязательно посетите его в цехе. И вы увидите, что постоянный коллективный труд не лишил его индивидуальности, а обогатил ее. Грандиозность заводского пейзажа пусть не подавляет вас — пусть она только преисполнит вашу душу уважением к рабочему человеку, создавшему такой завод и научившемуся так работать.

К огорчению нашему, у нас нет еще настоящей традиции романов о промышленных рабочих. Это объясняется, быть может, молодостью нашей промышленности и рабочего класса России. Даже наши так называемые поэты-урбанисты двадцатого века, в сущности, уж очень смахивают на деревенских парней, то проклинающих город за то, что он своими грандиозными размерами и усложненной жизнью подавляет индивидуальность, то взахлеб восхищающихся им, раскрыв рот в восторге и испуге.

Не могу не отметить с некоторым самодовольством, что никакая грандиозная плавка, никакой огненный дождь, никакое восхищение высшей целесообразностью этого нагромождения цехов и труб, мудростью производственных процессов и их сложностью не заслоняет от меня прекрасного лица горнового Дмитрия Карпето, чудесной хитроватой улыбки водопроводчика Петра Гомонкова, веселых, любознательных, жизнелюбивых глаз доменщика Георгия Герасимова.

У нас, литераторов, принято относиться с предубеждением к собственной литературной среде. Я не могу с этим согласиться. Литераторы, как правило, интересные, много знающие и много видевшие люди. С ними интересно поговорить, обменяться опытом, сомнениями, исканиями. Но должен признаться, что я давно не чувствовал себя так славно, так хорошо, как чувствую себя здесь, среди рабочих, в беседах с ними, в их домашнем кругу. Рабочие, даже пожилые, здесь учатся в различных школах, на разнообразных курсах. Учение тут стало одной из первых потребностей души, как и чтение.

Город свой местные жители любят не меньше, чем прославленные своим градским патриотизмом одесситы — Одессу.

Магнитогорск, несмотря на его разбросанность и многолюдство, трогает нового человека особого рода домашностью, интимностью. Здесь почти все знакомы друг с другом. Всех объединяет завод. Коллективный труд тысяч людей на одном предприятии — могучий источник сплоченности; это когда-то почувствовал и предчувствовал Маркс. Помимо того, будучи столицей великой республики, именуемой «Черная Металлургия», город знает не только свои собственные дела и своих собственных людей, но и дела Кузнецка, Днепродзержинска, Челябинска, Нижнего Тагила, Череповца и других металлургических центров. Он следит с интересом и не без некоторой ревности за строительством «Казахстанской Магнитки» — Темир-Тау — и своей будущей рудной базы — Соколовско-Сарбайского рудничного комбината. Он знает наперечет известных доменщиков и сталеваров восточной и южной нашей металлургии, хранит и передает рассказы и анекдоты о чудаковатых инженерах и хитроумных новаторах. Он посылает свои выращенные здесь кадры на другие металлургические заводы и с любопытством следит за их продвижением по службе. Бывшие работники завода, разбросанные по совнархозам и госпланам, являются предметом разговоров, толков и постоянного наблюдения металлургов Магнитогорска.

На левом берегу реки Урала, рядом с заводом, расположен «старый» город. Ему двадцать пять лет. Всего двадцать пять лет! Но он действительно стар, хотя большая часть его строилась в качестве «соцгорода» и называется так по сей день. Это скучные дома-коробки, такие, какие строились в тридцатых годах по причине нехватки времени и ради экономии строительных материалов.

На правом же берегу реки построен новый Магнитогорск. Как-то очень удачно градостроители решили этот невысокий, в основном четырехэтажный, веселый, улыбающийся город. Там много домов, отделанных местным диким камнем, уютные улицы с каменными оградами и арками в них, право же, напоминающие старые итальянские города, но не производящие впечатления подделки подо что-то. Там комфорта-

бельные квартиры со всеми удобствами. Город этот бурно растет. Каждый день туда переезжают доменщики, сталевары, прокатчики, горняки, строительные рабочие.

Когда сравниваешь этот подлинно социалистический город с «соцгородом», являющимся таковым лишь по названию, то не можешь не порадоваться столь наглядному росту наших потребностей и, главное, возможностей.

Еще разительнее этот рост обнаруживается, когда сравниваешь правобережный Магнитогорск с бараками левого берега. Множество бараков уже снесено, но много еще осталось. Магнитогорск сначала был городом бараков. Они росли как грибы, густо заселялись, казались жителям землянок и палаток дворцами. Черт возьми, как унылы бараки! Как они приземисты! Как они бесцветны, даже окрашенные в яркую краску!

Несколько лет назад я побывал на строительстве ГЭС в Новой Каховке, под Херсоном. Это строительство позднейшего времени, начатое и законченное после войны, не знало бараков. Тут сразу встали красивые и удобные дома. Тут не повторены ошибки новостроек первой пятилетки. Скажем, в Комсомольске-на-Амуре, приступив к строительству, первым делом вырубили весь лес на площадке, а впоследствии здесь же стали сажать деревья, что стоило колоссальных затрат. В Новой Каховке ничего подобного не было. Город как бы вписан в берег Днепра. Здесь остались стоять нетронутые платаны, липы, вербы. По городу порхают красные, синие, зеленые стрекозы, которые, по-видимому, еще даже не поняли, что оказались горожанками: слишком быстро возник город на берегу Днепра, сохранив при этом в девственном, нетронутом виде деревья, травы и цветы побережья; стрекозы не успели очухаться.

На суровой и бесконечно трудной стройке Магнитки было не так. Однако, прежде чем прийти к методам строительства Новой Каховки, народу нужно было — ради выигрыша времени, ради темпа — вдоволь намаяться по баракам и времянкам.

И люди тут здорово намаялись. И когда они теперь рассказывают мне о своей жизни, сидя при этом в светлых и просторных квартирах, я радуюсь и стараюсь скрыть свое волнение.

Неумение сравнивать — свойство мещан. Видение жизни в застывшем состоянии глубоко отвратительно. Но я не могу взять греха на душу и утаить, что квартирный вопрос в Магнитогорске еще далеко не решен, что есть еще немало людей, нуждающихся в жилье. Поэзия улучшения и украшения жизни рабочих встала в порядок дня, но в этом деле в Магнитке много слабостей.

Плохо продуман и вовсе не организован отдых рабочих: нет загородных дач, домов отдыха, нет сети пригородных шоссейных дорог, по которым можно было бы поехать на собственных машинах или на автобусах порыбачить и поохотиться, благо у рабочих много собственных машин, а в городе немало автобусов. Нет хороших дорог вокруг завода, который сбрасывает в отвал миллионы тонн шлака,— это поразительно! Нет телевизионного центра — в Магнитке, великом пролетарском городе! Боюсь, что в челябинских и московских планирующих организациях много скучных людей, не знающих истории, и они относятся к Магнитогорску, как к обычному «городу областного подчинения», а не как к столице Черной Металлургии, городу доменщиков и сталеваров, гордости и славе нашей родины.

Это те скучные люди, которыми владеет непонятная, глупая, но сильная страсть к упрощению жизни, к ее нивелировке. Их усилиями и в Ташкенте, и в Алма-Ате, и в Ленинграде делается «рижское пиво», на всех табачных фабриках страны — папиросы «Казбек», и так далее, и тому подобное...

3

Непростительно, что до сих пор почти ничего о Магнитке не написано, как не написано о Кузнецке, о Комсомольске-на-Амуре, о Норильске и многом другом. Великое начинание Горького — «История заводов и фабрик», задуманная им как история человеческих судеб, объединившихся для великих дел,— было прервано в самом начале и развеялось, почти не принеся плодов. Поколение строителей того времени уже постарело и, гляди, вскоре вовсе сойдет с исторической арены.

А великая реальность литературы не заключается ли именно в том, что она запечатлевает свое время?

Самое реальное время, прошедшее и не оставившее по себе письменных памятников, становится как бы несуществующим. Литература — это та иголочка, которая пишет на пленке волнистую линию, отображающую мелодию, идущую рядом. Если эту иголочку на минуту убрать, то музыка не прекратится, она останется той же реальностью, звуковые волны разной длины будут по-прежнему вырастать и сокращаться, но на пленке образуется тихий пробел, и музыка канет в вечность, в бездонную яму, подобную той, в которую канули бесчисленные времена, не имевшие письменности.

Более того, не только времена, но и пространства. Ибо реально существующие страны или области, не отраженные в произведениях литературы, живут как бы неполной жизнью. С этой точки зрения давно исчезнувшая древняя Греция — гораздо большая реальность для человечества, чем некоторые существующие ныне страны. Донской край, описанный Шолоховым в его романе, ближе и ощутимее для нас, чем не менее реальный и гораздо больший по территории Красноярский край, а Смоленская область благодаря поэзии Исаковского и Твардовского как бы реальнее соседней с ней Калужской, хотя вообще-то эта последняя ничуть не хуже первой.

В тридцатых годах в нашей литературе был провозглашен несколько самонадеянный лозунг: «Создадим Магнитострой литературы». Мне кажется, что задача наша скромнее и проще: создать литературу о Магнитострое. Разумеется, не только о нем,— обо всех великих деяниях нашего времени.

Пришла пора воскресить замысел Горького, погребенный в бумажных недрах и среди заседательских кампаний нашего Союза писателей. Надо создать книги о великих стройках наших дней, о наших героических свершениях, не умаляя их эпического величия и не утаивая их эпических трудностей и потерь.

Речь идет о летописях славных дел наших, о биографиях строителей социализма — летописях и биографиях, написанных художниками слова и самими строителями в обработке художников слова. Пора нам припасть, по образному выражению Маяковского, воспаленными губами к реке «по имени Факт». Страна и весь мир вправе знать, как мы строили, радовались и страдали, как покрыли страну новыми городами, дорогами, предприятиями, как вырастили многомиллионную армию талантливых рабочих и инженеров. Страна и весь мир вправе знать имена, местности и годы, мысли и мечты поколения.

Как часто укоряю я здесь свою судьбу за то, что она не привела меня в тридцатых годах в Магнитку. То, что я собираюсь теперь писать, далось бы мне гораздо легче. Подробности быта, глубины психологии, сложность столкновений, кипение страстей были бы ощутимее для меня, чем теперь. И я думаю о более молодых литераторах, которым сейчас надо, пока они молоды, пить полными горстями живую жизнь современных новостроек, целинных земель, предприятий, чтобы впоследствии горько не пожалеть о своей былой близорукости и непоправимом легкомыслии.

На днях мы с семьей Георгия Ивановича Герасимова вышли вечером на улицу правобережного, нового Магнитогорска. Мы ждали появления спутника. Вот он появился и не слишком торопливо прошел с северо-запада на юго-восток небольшой отчетливой звездочкой. Он прокатился по небу и затем погас над заводом, над его разноцветными дымами и яркими огнями.

Я подумал о том, что стоящий рядом со мной Герасимов, пришедший в лаптях из орловской деревни в Донбасс, а оттуда по комсомольской путевке направленный в Магнитку, ставший здесь прославленным горновым, затем мастером домны и начальником разливки доменного цеха, по сути дела один из бесчисленных авторов этого «беззаконного» небесного светила, ибо он содействовал своим трудом гигантскому росту нашего промышленного потенциала, он участвовал в монтаже первой магнитогорской домны и получил на ней первый чугун.

Ему это было невдомек, он только радовался, как ребенок, глядя на темное небо с катящейся колобком маленькой звездочкой и удивляясь силе и дерзости человеческого разума.

Без Магнитки не могло быть спутника, как не может быть вершины без основания.

Какая радость и гордость для каждого из нас, что и нынешние вершины, при всем их величии, являются основанием для новых вершин. Партия провозгласила Первый Семилетний План, новый, невиданный скачок в будущее. Возникнут новые города и заводы, родятся новые, небывалые машины, озарятся электрическим светом новые бескрайние пространства, дороги пролягут в новые дали. И на этой стальной, электрической, атомной, железобетонной основе пышнее и ярче расцветет свободная и творческая человеческая индивидуальность.

Вот он лежит передо мной, этот город, возникший в ковыльной степи, как по волшебству. Магнитогорск, Новая Каховка, Комсомольск-на-Амуре и многие другие наши города, право же, заставляют вспомнить слова корабельщиков из сказки Пушкина:

За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами...

Этот сказочный город (нынче там вместо «златоглавых церквей» — верхушки доменных гигантов и великолепные залы электростанций) создала мановением руки Царевна-Лебедь, та, которая «днем свет божий затмевает, ночью землю освещает; месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит».

Царевна-Лебедь со звездой во лбу, моя милая родина! Ей под силу великие свершения. Ее сыновья и дочери способны на бессмертные подвиги труда и самоотречения. Их сильные руки и светлые головы, их радости и страдания — источник вдохновения на многие века.

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

★

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Облачной ночью небо над металлургическим заводом может быть уподоблено огромному экрану — на нем отражается волшебная картина рождения металла, первых минут его жизни.

Доменные зарева, зарницы и сполохи над крышами мартеновских и прокатных цехов видны за десятки километров. Но никогда еще эти отсветы не были видны так далеко, как сейчас. Бессонные огни металлургии видны значительно дальше, чем достает глаз даже самого дальнозоркого человека, они видны сегодня во всех уголках страны — такова чудесная, сверхъестественная видимость, которая возникла у нас в дни, когда советский народ знакомится с контрольными цифрами величественного семилетнего плана и обсуждает их.

Как и все советские люди, я прочел тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС с волнением и гордостью — в единый огляд обозреваешь величественную картину дальнейшего преобразования страны.

Все великие свершения советского народа, его открытия, искания, добротные находки и смелые замыслы — все это нашло яркое отражение в контрольных цифрах развития нашего народного хозяйства на ближайшие семь лет.

Многое из того, о чем еще вчера мечталось, что еще вчера было будущим, стало сегодня настоящим. Наш прекрасный оптимизм, наша уверенность в будущем таковы, что даже наши деловитые мечты и дерзновенные проекты входят в арсенал и золотой запас сегодняшних наших достижений.

Каждый из нас пытается посильно охватить мысленным взором всю семилетку, но естественно, что не в равной степени каждого из нас впечатляют и поражают все экономические разделы, все перечни, все цифры. Есть отрасли хозяйства, есть цифры, которые для каждого из нас особенно красноречивы, и этому не приходится удивляться.

Энергетику будущее страны видится в свете огней гидростанций. Перед взором железнодорожника страна лежит в сверкании рельсов, по которым стремительно несутся поезда. Доменщик, сталевар, прокатчик видят страну в отсветах плавок.

Много лет связан я дружбой с металлургами и строителями. Не один год прожил я в общей сложности на заводах черной металлургии и на стройках. Может быть, поэтому и меня больше всего взволновали контрольные цифры семилетки, касающиеся черной металлургии и строительства. В этой области мне легче представить себе масштаб и величие предстоящих работ, богатырский рост этих отраслей нашего хозяйства.

Без малого тридцать лет назад в ковыльной степи, у подножия горы Атач — богатейшей кладовой железа,— забелели первые палатки строителей Магнитки. И я счастлив тем, что в юные годы был очевидцем этой великой стройки, участником стройки магнитогорской комсомольской домны. На моих глазах рождались, мужали и достигли своего совершеннолетия Уралмаш, Челябинский тракторный завод, Магнитогорск. Я счастлив и тем, что в послевоенные годы был очевидцем героического восстановления разрушенных фашистами заводов Заднепровья. Много месяцев прожил я со строителями домны и листопрокатного цеха «Запорожстали».

Комсомольская домна Магнитки стала прародительницей многих домен, которые сооружаются усилиями молодых строителей в нынешнее

время. Тысячи и тысячи добровольцев — верхолазов-монтажников, электросварщиков, плотников — в стужу, на ледяном ветру или в пыльной духоте, когда воздух настоен на зное, строили комсомольские домны. И ветер большевистской романтики дул в их молодые, разгоряченные лица, под этим ветром наливались силой молодые руки, закалялись сердца, добывалось мастерство.

Среди читательских писем, полученных мною за последние годы, самые драгоценные для меня — письма, в которых молодые читатели романа «Высота» и зрители фильма того же названия сообщали, что они решили последовать примеру героев романа, фильма и уехать на стройку комсомольской домны. При этом молодые читательницы чаще всего, подобно Кате, выражают желание стать сварщицами. А парни, подражая Николаю Пасечнику, стремятся стать монтажниками-верхолазами.

В истекшем, 1958 году горновые выдали первые плавки на семи доменных печах комсомольского призыва в Орске, Челябинске, Кривом Роге, Енакиеве, Днепропетровске и Жданове (две печи).

В новом, 1959 году мы введем в действие еще семь домен — три на Украине, по одной на Урале, в Сибири, в центре страны и одну на «Казахстанской Магнитке».

Великое преобразование страны, которое идет по ленинскому курсу, по генеральным чертежам Коммунистической партии, вносит все новые и новые поправки в карту страны. Большевистские поправки к географии чудесным образом изменили лицо нашей родины — течение ее рек, растительность, а в иных местностях даже климат. Уже давно бытует в нашем словаре выражение «зеленое строительство», а ныне получило хождение и неслыханное доселе, деловитое и в то же время фантастическое слово «морестроитель».

Представьте себе на минуту старого лоцмана Волжского пароходства или учителя географии старой гимназии, который вдруг узнал бы о существовании Цимлянского, Рыбинского, Куйбышевского или Московского морей — на этих морях бушуют сегодня всамделишные волны, совершают навигацию пароходы, и рыбы обживают там глубины. Вот точно так же был бы несказанно удивлен старый русский металлург, услышав вдруг о белгородской или курской руде, о череповецком чугуне, о сибирской стали, о «Казахстанской Магнитке».

Дело не только в темпах развития черной металлургии, предусмотренных контрольными цифрами на ближайшие семь лет, дело еще и в новой географии рудников и заводов, которая вызвана более целесообразным и выгодным размещением производительных сил.

Огромное значение придается освоению района Курской магнитной аномалии. Когда там впервые была добыта железная руда, Маяковский отозвался известным стихотворением «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского». Для поэта, который всегда зорко вглядывался вперед, здесь было не просто месторождение, но «будущих времен машинный гул».

Из-под Курска
прямо в нас
настоящею
земной любовью брызнул
будущего
приоткрытый глаз.
Пусть
разводят
скептики
унынье сычье:
нынче, мол, не взять
и далеко лежит.

Если б
коммунизму
жить
осталось
только нынче,
мы
вообще бы
перестали жить.

И как за это время широко приоткрылся «глаз будущего»!

В 1954 году в районе Курской магнитной аномалии наши геологи открыли уникальное месторождение железной руды, содержащей до 66 процентов чистого металла. Белгородский бассейн даст руду не только черной металлургии центра и юга СССР, но и будет снабжать ею страны народной демократии: Польшу, Румынию, Венгрию, ГДР.

Одновременно с Европейской частью РСФСР планом предусмотрен мощный рост металлургии Урала, а также Сибири. Там намечается строительство двух крупных металлургических заводов, которые явятся основой третьей металлургической базы СССР. И вновь славу сбывшегося предсказания обретает то стихотворение Маяковского, где он с непоколебимой решимостью заявлял: «Мы в сотню солнц мартенами воспламеним Сибирь!»

До нынешнего времени все-все ввозилось в Казахстан, начиная с гвоздей и кончая рельсами. Казахстан теперь впервые получит свой чугун. Придет время — и на рудном месторождении Каражале сравняется с землей гора багрово-рыжего цвета. Она сплошь состоит из железной руды превосходного качества, в каражальской руде шестьдесят процентов железа. Здесь не нужно рыть шахты и добывать руду из недр земли. Специальные канатоударные станки откалывают от горы огромные глыбы, эти глыбы потом взрывают, дробят, и экскаваторы зачерпывают исполинскими ковшами это тяжеловесное пестрое крошево.

За годы Советской власти многое сделано для того, чтобы облегчить труд металлурга. Вымерли самые тяжелые профессии, физический труд все больше перекладывается на железные плечи машин, все больший размах приобретают механизация и автоматизация всех производственных процессов. Завод предстает перед молодым рабочим как университет, где он может учиться, совершенствоваться, гармонически развиваться.

В нашей среде попадаются еще молодые пустоцветы, которые сторонятся завода, чураются физического труда и наивно полагают, что успеть на жизненном поприще можно только в том случае, если поспешно пересесть со школьной парты на студенческую скамью. Но разве мало среди инженеров зеленых полузнаек, которые никак не могут прикрыть своим дипломом все прорехи и изъяны в образовании?

И каким дальновидным, мудрым было некогда решение Серго Орджоникидзе послать неопытных специалистов на комсомольские домны в качестве рядовых рабочих!

«Почему мы вызвали вас добровольно отправиться на Магнитку?..— спрашивал Серго Орджоникидзе во время беседы с этими молодыми специалистами.— Я уверен, что вы, начав с низших должностей и постепенно осваивая технику основных операций, имеете больше перспектив превратиться в крепких инженеров, чем инженеры, сразу со школьной скамьи занявшие высокие должности».

Конечно, работа в горячих цехах бывает труднее, опаснее, грязнее, чем работа за письменным столом или в лаборатории. Но настоящие ученые и специалисты никогда не боялись этого.

Непрерывное созидание — в самой природе нашей. Мы с самого своего рождения строители, это у нас в крови. С каким же могучим размахом собирается строить советский народ в ближайшие семь лет!

И сегодня уже вся наша страна превращена в одну необозримую, необъятную строительную площадку, на которой во всеоружии разных умений и специальностей трудится не покладая рук свыше пяти миллионов строителей.

Далеко за Полярным кругом учатся строить в условиях вечной мерзлоты, подводят под дома фундаменты шестиметровой глубины. А в это время в Каракумах учатся «строить на песке» и в то же время очень прочно.

Но и там, где почва не сулит строителю особых подвохов, он нередко преодолевает трудности, лишения и невзгоды.

Огни новостроек горят на берегах Енисея, Ангары, Амура, Иртыша, горят там, где вчера была таежная глухомань.

И десятки тысяч строителей, которые трудятся сегодня в Сибири, на Дальнем Востоке или на Крайнем Севере страны, могут с полным правом назвать себя первооткрывателями, пионерами, искателями, землепроходцами.

А есть среди строителей люди, которые по требованиям своей профессии ведут кочевой образ жизни: они вечные странники и непоседы, ими движет благородная «охота к перемене мест». К таким пожизненным кочевникам относятся специалисты по строительству доменных печей и мостов, туннелей и гидростанций, радиомачт и заводских труб и многие другие.

Немало строителей, преимущественно среди высотников-монтажников, могу я назвать своими добрыми знакомыми, а иных — друзьями. Но если бы мне задали вопрос: кто из знакомых строителей мог бы в наибольшей степени послужить прообразом героя не написанной еще книги,— я бы, не задумываясь, назвал Прохора Игнатьевича Тарунтаева.

Есть жизни, в которых, как в капле воды, отразились все великие перемены, происшедшие в нашей стране начиная с первой пятилетки. Есть биографии, есть судьбы, вобравшие в себя самые типичные обстоятельства, отразившие самые характерные черты времени. И такой вот емкой, вместительной, полной почти символического смысла предстает перед нами жизнь Прохора Тарунтаева. Она вобрала в себя множество черт, примет и признаков нашей действительности, так что их совокупность делает его биографию в какой-то степени характерной для нашей эпохи.

Прохор Тарунтаев ушел из тульской деревни на заработки вдвоем с отцом. Шестнадцатилетний паренек работал тогда подручным клепальщика. Вскоре он стал верхолазом — монтировал мачты высоковольтной линии электропередачи. За четверть века он установил около трех тысяч таких мачт. В годы войны он строил бронепоезд «Москвич», а потом ремонтировал его после боев, когда вся броня была в пробоинах и вмятинах. Он летал в блокированный Ленинград и там под обстрелом демонтировал на Кировском заводе мостовые краны, которые до зарезу нужны были в Нижнем Тагиле. Восстанавливал мосты через Волгу, Днепр, Оку, Десну, Западную Двину. Подымал обрушенные радиомачты в Вильнюсе, Варшаве и других городах. Затем он надолго переселился в «московскую стратосферу», строил высотные здания. Невозможно перечислить все домны, мачты, вышки, шпили, ангары, купола, водокачки, колокольни, трубы, на которых довелось потрудиться Тарунтаеву. Он награжден орденом Ленина за восстановление завода, который разрушили фашисты, а ученик его, Николай Коростелев, получил такую же награду за строительство Дворца Дружбы в Варшаве. Совсем недавно, перед Октябрьскими праздниками, Тарунтаев вернулся домой из-под Архангельска. Но своего любимца Коростелева дома не застал: тот строит завод в Бхилаи, в Индии.

Тарунтаев работает в тресте, который также имеет в виду товарищ Хрущев в тезисах своего доклада, где говорится: «Необходимо продолжить работу по укрупнению и специализации строительно-монтажных организаций...»

Ведомственная чересполосица и местнические интересы некоторых бывших министерств порождали недопустимое распыление сил и средств строителей. Творческая перестройка работы строительных организаций, их подчинение совнархозам дали хорошие результаты.

В тезисах говорится: «Опыт передовых строительных организаций показывает, что у нас имеются огромные возможности сокращения сроков строительства во всех отраслях народного хозяйства. Так, например, в 1958 году строительство крупных доменных печей осуществлено в течение 6—8 месяцев. Большие успехи имеются за последнее время в сокращении сроков жилищного строительства.

Однако строительство многих предприятий и сооружений чрезмерно затягивается, что приводит к отвлечению на длительный период времени в незавершенное строительство огромных материальных средств. Продолжительные сроки строительства порождаются главным образом имеющейся практикой распыления государственных средств по многочисленным стройкам. Некоторые руководители партийных, советских, хозяйственных органов областей, краев и республик вместо того, чтобы сконцентрировать капитальные вложения на пусковых объектах, добиваются включения в государственные планы строительства новых объектов, не считаясь с возможностями их материально-технического и финансового обеспечения и с общегосударственной целесообразностью. С такой порочной практикой необходимо решительно покончить. Нужно строго придерживаться порядка, по которому каждая вновь начинаемая стройка обеспечивалась бы материальными и финансовыми ресурсами на весь период строительства, исходя из возможностей завершать строительство новых объектов в более короткие сроки».

Бытует в среде строителей такое не слишком благозвучное, но достаточно выразительное и, к сожалению, очень живучее словцо — «незавершенка». Строители пренебрежительно называют так стройки, которые очень долго, иногда по многу лет, ждут своего завершения и никак не могут стать то ли действующим заводом, то ли домом, в котором живут, то ли дорогой, по которой ездят.

Есть еще у нас организации, которые строят «через час по столовой ложке», отчего строительство чрезвычайно удорожается. Вот в таких муках рождаются и вот уж скоро десять лет как не могут родиться трамвайный парк в Краматорске, мясокомбинат, кондитерская фабрика и пивоваренный завод в Челябинске и другие объекты.

Перестройка строительных организаций не проходит безболезненно, и одним из тревожных симптомов является местничество, делячество во всевозможных его проявлениях.

Чрезвычайно важный вопрос поднял министр УССР В. Терентьев. Он справедливо утверждает, в полном соответствии с тезисами, что укрупнение мелких организаций не исключает, а предполагает сохранение и развитие крупных специализированных трестов, сооружающих предприятия металлургической, угольной промышленности, энергетики и т. д. Раздробление таких трестов отбросило бы строительство к временам первой пятилетки.

В. Терентьев указывает на опасные местнические тенденции отдельных совнархозов, настаивающих на раздроблении специализированных трестов, с чем никак нельзя мириться. Слепая сила инерции одних работников, боязнь нового у других, отсутствие широкого государственного кругозора у третьих порождают конфликты, достойные писательского внимания.

И, наконец, есть еще один чрезвычайно существенный вопрос, который не решен до конца,— комплексное районное планирование. На Всесоюзном совещании строителей (апрель, 1958) были обнародованы тревожные факты, порожденные этой былой несогласованностью проектных организаций.

Немало новых жилых домов в городах Кузбасса выстроено на угленосных территориях. И вот при остром жилищном кризисе эти дома, в которых живут шахтеры, приходится сносить. В Ангарске одно предприятие построили на низких отметках, не заботясь о комплексном использовании энергии Ангары. Из-за этого вместо одной гидростанции придется строить две. Если бы своевременно был разработан проект районной планировки всей зоны Братской гидростанции, не пришлось бы переносить участок железной дороги Тайшет—Осетрово и мост через Ангару, которые оказались сейчас в зоне затопления водохранилища Братской ГЭС. А на этот перенос придется в ближайшие годы затратить свыше четырехсот миллионов рублей.

Семилетний план развития народного хозяйства делает невозможным подобные просчеты и ошибки, но это не значит, что уже сейчас комплексное районное планирование ведется всюду со всеобъемлющим учетом кооперации и взаимосвязи предприятий и жилых поселков.

Контрольные цифры рассказывают обо всем, что мы собираемся строить и построим в своей идущей к коммунизму стране. Но богатейший советский опыт строительства множится и за пределами нашей родины. И в этой помощи, которую оказывают наши специалисты, строители другим странам, тоже выражается международное значение семилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

Мне довелось бывать в Польше, в Новой Гуте, много раз, на разных этапах ее строительства. И в первые годы стройки и сейчас в Новой Гуте любят называть свой завод и свой город «Польской Магниткой». Оттуда, с Востока, шли и идут к ним чертежи, оборудование и животворный опыт социалистического строительства. Как знать, может быть, то самое заводское оборудование, которое прибывает для Новой Гуты из Советского Союза, изготовлено из магнитогорского металла.

Мне доводилось видеть в Новой Гуте доменщиков и сталеваров Запорожья и видеть польских металлургов в цехах «Запорожстали» — эта производственная дружба не находит своего непосредственного выражения в цифрах семилетнего плана, но она входит в его плоть и кровь.

Советские строители — желанные гости во многих странах, они везут туда опыт, накопленный за все пятилетки, и творческое горение, присущее советским людям. Только за последние шесть лет за границу было командировано четырнадцать тысяч специалистов. Советский Союз бескорыстно помогает странам демократического лагеря в развитии их индустрии, сельского хозяйства и одновременно оказывает помощь слаборазвитым в экономическом отношении странам — Индии, Индонезии, Объединенной Арабской Республике, Бирме, Афганистану, Турции, Камбодже, Йемену. В 1958 году с нашей помощью строилось 512 предприятий и 187 отдельных цехов в девятнадцати странах Европы, Азии и Африки.

В один из дней ноября минувшего года в индийском парламенте обсуждался вопрос о темпах строительства металлургических заводов в Бхилаи, Руркела и Дургапуре. Первый из этих заводов сооружается с помощью Советского Союза, остальные при участии фирм Западной Германии и Англии. Члены индийского парламента выразили свое полное удовлетворение ходом и организацией работ в Бхилаи и отметили серьезное отставание строительства в Руркела и Дургапуре. И радостно отметить, что такой же доброй славой пользуются наши строители в других странах.

Вспоминаются годы первой пятилетки, когда мы сами насущно нуждались в помощи опытных иностранных специалистов. Как же далеко шагнули мы вперед по пути мирного соревнования с капиталистическим миром на экономическом поприще!

Есть все основания полагать, что в ближайшие семь лет наше дружелюбное и добрососедское сотрудничество с другими странами приобретет еще больший, невиданный прежде размах.

Советский народ приступает к реализации семилетнего плана воодушевленный благородными идеалами и целями своей миролюбивой родины. Он будет работать не покладая рук и отстаивать мир с той непреклонной решимостью, какая свойственна только людям, добывшим мир ценой подвигов и великих жертв.

«Семилетка», в которую страна наша вступает 1 января 1959 года, не состарит, а сказочно омолодит ее. Прекрасная сила извечной молодости, нестареющее мужество и юношеская страсть к познанию и созиданию сопутствуют нам в движении к коммунизму. Эти драгоценные качества в полной мере присущи нашей стране, потому что она живет жизнью великого изобретателя, разведчика, новатора, землепроходца, мудрого мечтателя и в то же время — трудолюба и богатыря!

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

★

ИЗУЧАЯ КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ...

Год назад мне случилось долго беседовать с одним молодым англичанином. Он был преисполнен доброго желания понять советскую жизнь, но в его голове засело много чепухи, которую день за днем вдалбливали в нее газеты, радио, окружающие люди. Во время поездки по Советскому Союзу он постепенно убеждался в лживости информации, которую раньше принимал на веру. Его предубеждения отпадали одно за другим, но вместе с тем, как он сказал, рассеялась и иллюзия, что будет легко понять психологию советских людей.

— Я думал, политические системы разные, но люди — везде люди. А я увидел: здесь они совсем другие, непонятные... Мы встречались с самыми разными людьми, и они разговаривали вполне искренне, но меня поразило, что все они думают как-то одинаково. У нас в Англии у каждого свое мнение и о Советском Союзе, и о США, и о правительстве, и о проблемах войны и мира. Почему же у ваших людей на все одна точка зрения?

— Сорок лет мы строим новое общество,— сказала я ему,— и с первого дня нам всячески мешали, душили нас интервенцией и блокадой и чернили нас чудовищной клеветой. Вспомните, через какие испытания мы прошли, и вам станет ясно, почему мы все научились понимать, кто нам друг, а кто враг, что для нас хорошо, а что плохо.

Мой собеседник призадумался, потом согласился — пожалуй, так и есть. Но тут же выразил недоумение, почему у нас столько говорят о борьбе за мир.

— Мы тоже хотим мира,— сказал он,— но мир для нас нечто само собой разумеющееся, и поэтому мы о нем не думаем...

— ...Что дает возможность империалистическим кругам беспрепятственно готовить новую войну!

— У нас не верят в это,— с молодой беспечностью сказал он.

Я спросила, кто из его близких погиб в минувшей войне.

— У меня? Никто.

— А кто из друзей вашей семьи погиб или был ранен?

— По-моему, никто,— пробормотал он.

Тогда я перечислила ему моих родных и друзей, умерших от голода в блокаду, тяжело раненных и павших на поле боя, перечислила знакомых мне детей, оставшихся без отцов... Список был длинный и печальный. Я сказала, что каждый советский человек, каждая семья может предъявить ему подобный список. И не потому ли так мало жертв в английских семьях, что советский народ в долгом единоборстве принял на себя основную тяжесть борьбы с фашизмом?

— Понимаю,— смущенно сказал он.— Я как-то никогда не смотрел с такой точки зрения...

Я напомнила ему о неисчислимых разрушениях, задержавших наш рост. Ведь накануне гитлеровского нашествия XVIII съезд партии уже поставил задачу в течение десяти—пятнадцати лет догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономическом отношении, то есть в производстве продукции на душу населения. Это означало изобилие, необходимое для перехода к высшей стадии общественного развития — к коммунизму. Война отняла у нас много лет. Мы хорошо узнали цену мира. Мы знаем, как мы должны быть сильны, чтобы это не повторилось. Мы работаем напряженно, потому что существует такой фактор, как время. Приходится экономить время, чтобы нам не могли помешать снова.

Встреча кончилась комически. Я предложила вызвать такси, чтобы молодой человек добрался до гостиницы, а он вдруг изумился, что у нас можно вызвать такси по телефону! Я ему напомнила, что в не столь уж далекие времена его соотечественница леди Астор храбро отправилась в «большевистскую Совдепию», прихватив с собой палатку, на случай если окажется, что большевики уничтожили дома... Теперь же в небе над молодым англичанином пролетал советский спутник Земли, а комфортабельные самолеты, поезда, гостиницы обслуживали нашего гостя... Как же густ еще туман лжеинформации! Как наивно мышление таких вот молодых людей, и как это помогает агрессорам, которые, пользуясь их беспечностью, делают свое черное дело!

Я вспомнила эту беседу, читая контрольные цифры на семилетие 1959—1965. Фактор времени, выигрыш времени... Забота о выигрыше времени проходит через весь семилетний план и многое в нем определяет. Преимущества социалистической экономики дают нам возможность равномерно, бескризисно и очень быстро расти. Наши темпы ежегодного роста наиболее высокие в мире. И все же нам приходится еще и еще экономить время, выгадывать годы и месяцы, миллионы и рубли, ибо это дает нам твердую уверенность, что никому не удастся застигнуть нас врасплох, никто не рискнет снова помешать нам.

Сила, разум и предусмотрительность — вот что прежде всего ощущается за намеченными на ближайшую семилетку контрольными цифрами и заданиями.

Ясность цели и вдохновляющий размах работ — вот что поведет по жизни каждого из нас, где бы он ни работал,— каждому отведено место, каждый очень нужен.

Семилетний план устремляет нас в будущее. Но будущее всегда опирается на настоящее и на прошлое. Будущее создают люди — те, какие есть сегодня и какими они станут завтра. Вот почему, изучая контрольные цифры, зримо рисующие нам 1965 год, как никогда остро оцениваешь наше «сегодня» и уходишь мыслью в прошлое. И вспоминаешь, какими мы были вчера.

Может быть, потому, что мое поколение впервые прикоснулось к большим общенародным делам, услышав еще не совсем понятное слово «Волховстрой», и его первые мечты о будущем возникли вместе с узнаванием великой ленинской мечты о сплошной электрификации нашей молодой Советской страны, может быть, именно поэтому при воспоминании о н а ч а л е нашего пути раньше всего из дымки прошлого возникает Волховстрой... Медленно углубляющийся котлован, в котором копошатся землекопы с лопатами и тачками,— много взмахов лопат нужно, чтобы заполнилась тачка. Наконец она неторопливо катится по качающейся доске, грозя опрокинуться,— много тачек нужно вывезти, чтобы вычерпать всю землю из будущего котлована! Уже есть несколько небольших кранов — тогда они казались мощными, но так часто ломались в неопытных руках, так много простаивали!..

Это было наше отрочество. Будущие конструкторы, инженеры, академики еще заполняли аудитории рабфаков и институтов. Будущие ударники первых пятилеток еще писали в нетопленных классах «б — а — ба», или мотались по стране в отрепьях беспризорных, или пасли тощую коровенку — богатство единоличника... Что они знали о деяниях, которые им предстоят?! Но уже началось в стране — Лениным предуказанное, неуемной энергией коммунистов разворачиваемое — великое творческое движение, меняющее лик страны и каждую отдельную судьбу.

Человек сравнительно легко ко всему привыкает. Так мы привыкли к великолепному размаху наших замыслов и дел. Большое движение стало основой наших биографий. Мы сами, каждый на своем участке работ, создавали стремительное движение своей родины, а ее стремительное движение создавало нас. Строители Комсомольска и Магнитки, Турксиба и Днепростроя, зачинатели социалистического соревнования и ударных бригад! Вы приходили на тысячи наших строек, ничего не умея, ничего не зная, с одним лишь энтузиазмом и бесстрашием первооткрывателей. Вы ошибались, спотыкались, проходили через десятки испытаний, и каждое было подобно живой воде,— достроив, вы с изумлением оглядывали дело рук своих, себя и своих товарищей: да мы ли это? Как много мы умеем, как много знаем, и какими же мы стали — что ни поручи, все окажется по плечу!

Это была наша молодость, товарищи! Наша бесстрашная, дерзкая, умная молодость, незаметно переходившая в зрелость. Мы делали самое трудное, черное дело и нашли для него точнейшее слово — ф у н д а м е н т. Так мы тогда говорили — мы строим фундамент социализма. Строили тяжко, вручную, совсем одни, под злорадные смешки окружавших нас со всех сторон недругов. Нам предсказывали, что у нас ничего не выйдет, что мы оскандалимся и запросим пардону. А у нас вышло. Мы его построили, этот мощный фундамент, и начали возводить главное здание — все быстрее, все более умело. Мы отдавали все силы, а силы не иссякали, но крепли.

Когда громыхающие железом и огнем фашистские орды хлынули на нашу землю, в страшном четырехлетнем единоборстве проявилось все, что было сделано с таким напряжением и такой беззаветностью. Индустриализация и коллективизация — в трудах и борьбе. Чудесные люди, рожденные для творчества и счастья, заслонили собой, защитили своей кровью родину социализма. Помянем же со скорбью и вечной благодарностью всех, кто пал в бою за нас, за нашу нынешнюю возможность строить и творить!..

Человек ко всему быстро привыкает, достижения ему кажутся естественными, когда он сам создает их. Но как бывает интересно и душевно необходимо оглянуться, охватить взглядом сделанное! Давайте же оглянемся и охватим взглядом итоги всенародного труда, давайте вслушаемся в победную музыку цифр.

Сталь — это умнейшие машины, первоклассные станки и приборы, это основа оборонной мощи. В отсталой царской России выплавлялось всего 4,2 миллиона тонн стали в год. Перед Отечественной войной в результате первых пятилеток Советский Союз выплавлял уже 18,3 миллиона тонн стали. Война отбросила нас назад, но уже в 1950 году было выплавлено 27,3 миллиона тонн, то есть намного больше, чем до войны. В минувшем году мы выплавили ее вдвое больше, а к концу нового семилетия выпуск стали будет доведен до 86—91 миллиона тонн! Значит, ежегодно мы будем получать стали в пять раз больше, чем перед войной.

Нефть — это движение станков и машин, это свет и тепло, это покорение земных и воздушных пространств. Превзойдя более чем в три раза дореволюционный уровень, в 1940 году мы добывали 31 миллион тонн нефти, в минувшем, 1958 году — уже 113 миллионов тонн, а к концу семилетия будем добывать 230—240 миллионов тонн нефти!

И еще несколько цифр, особенно волнующих и радующих потому, что они для нас непосредственнее других связаны с Владимиром Ильичем Лениным, с его прозорливыми мечтами.

В разгар гражданской войны, среди голода и разрухи 1919 года, Владимир Ильич говорил партийному съезду:

— Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это — фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию»...

Сегодня на наших полях работает уже более полутора миллионов тракторов. Только за последние пять лет совхозы и колхозы получили 670 тысяч тракторов и 370 тысяч зерновых комбайнов. Ежегодный выпуск доведен у нас до 250 тысяч тракторов. В новом семилетии наше сельское хозяйство получит более миллиона новых тракторов, около 400 тысяч зерновых комбайнов и большое количество других машин.

«Социалистическая реконструкция сельского хозяйства привела к коренному изменению условий труда крестьян. Ныне труд работников сельского хозяйства все более и более становится разновидностью труда индустриального».

Так подытожены усилия партии и народа в тезисах товарища Хрущева.

Так воплотилась в жизнь великая ленинская «фантазия».

И еще одна, самая заветная мечта была высказана Владимиром Ильичем немного позже, в трудном и голодном 1920 году,— мечта об электрификации страны. Кто не знает удивительно точных объемных ленинских слов:

— Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны...

План ГОЭЛРО, прозвучавший для моего поколения поэмой будущего, был выполнен за каких-нибудь десять лет, то есть еще до того, как мы шагнули в зрелость. Шатурская электростанция, Каширская, ленинградская «Уткина заводь», Кизеловская, Горьковская... Гидростанции на Волхове, на Свири, на Днепре... В цифрах это выражалось так: в 1921 году вся выработка электроэнергии составляла 520 миллионов киловатт-часов, в 1931 году — свыше 10 миллиардов (не миллионов, а миллиардов!). А строительство больших и малых станций еще только разворачивалось...

Сколько же мы производим электроэнергии сегодня? В только что закончившемся году мы произвели 233 миллиарда киловатт-часов.

А сколько мы будем производить в конце семилетки? 500—520 миллиардов!

Вот что дало партии право сказать, что ближайшее семилетие «явится решающим этапом в осуществлении идеи Ленина о сплошной электрификации страны».

Величественно и обоснованно звучат формулы нового плана:

«Коренная проблема предстоящего семилетия — это проблема ускоренного развития народного хозяйства по пути к коммунизму, проблема максимального выигрыша времени в мирном экономическом соревновании социализма с капитализмом».

«Нам предстоит совершить новый скачок к более высокому качественному состоянию социалистической экономики по пути ее развития к коммунизму, значительно повысить экономический потенциал Советского Союза для дальнейшего подъема благосостояния народа».

С глубоким волнением читаешь дальше:

«Благодаря бурному развитию производительных сил в предстоящем семилетии будет решена задача значительного повышения жизненного уровня народа и создания в стране предпосылок изобилия материальных благ, необходимого «...для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества» (В. И. Ленин).

Нам есть о чем задуматься, читая и перечитывая эти строки,— не только как гражданам своей страны, но прежде всего как литераторам. Это мы, все вместе и каждый в меру своих способностей, будем содействовать силой слова и образа формированию человека, вступающего в коммунизм. Наши книги будут читать (с увлечением или с досадой) люди, которым предстоит совершить новый, решающий скачок в будущее. Люди, которые сами будут быстро развиваться, меняться, обогащаться духовно, пожинать плоды трудовых усилий и своего и предыдущих поколений. Мы с детства знаем, что бытие определяет сознание. Давайте же помечтаем, представим себе, что будет означать новое бытие и, следовательно, новое сознание наших читателей, сознание, красоту которого должны развить и наши книги...

С каждым годом все быстрее и полнее будет технически совершенствоваться труд и в городе и в деревне. Механизация всех производственных процессов и в промышленности и в строительстве, введение автоматики, внедрение новых достижений науки и техники — все это изменит характер труда и приведет к сближению труда умственного и физического. Новые решения партии по вопросам образования направлены к сочетанию образования с производственным трудом, к созданию образованных рабочих и техников. Мне кажется, необходимость подобного решения была подсказана и тем, что в ближайшие годы понадобится огромное количество рабочих нового типа, способных освоить новейшую технику, разбираться в процессах, требующих основательного знания физики, химии, математики. С другой стороны, нынче у нас учится более 50 миллионов человек, охват школой поголовен — значит, старое положение, когда одни кончали всего несколько классов, а потом шли на производство, а другие кончали десятилетку и шли сразу в вузы,— такое положение сохраниться не могло.

Сейчас во всех семьях, где есть школьники, много волнений и раздумий. Я мало тревожусь о тех недальновидных родителях, которые боятся труда для своих детей. Но есть и другие, которые опасаются, не останутся ли их дети недоучками, не получат ли они урезанное образование, а это вопрос серьезный и требует внимания. Конечно, органам народного образования и руководителям предприятий придется много подумать и как следует подготовить и организовать дело, чтобы реорганизация школ и вузов соответствовала задаче, провозглашенной в тези-

сах словами Ленина об обеспечении «свободного, всестороннего развития всех членов общества».

Реорганизация говорит и о другом стремительно развивающемся процессе — мы идем не только к политехнизации образования, но и к массовой интеллигентности народа.

Техническая и агрономическая учеба, всяческие кружки и курсы, циклы лекций и экскурсий, проникновение книги в самые широкие массы рабочих и колхозников — это первые приметы неудержимо идущего процесса.

— Знаете, в последние годы я подметила интересное явление,— рассказывала опытная, любящая свое дело библиотекарша,— очень многие так называемые «рядовые» рабочие читают гораздо больше, чаще меняют книги, быстрее расширяют круг своих интересов, чем иные инженеры и другие интеллигенты. Я тут несколько дней просматривала читательские формуляры и просто удивилась, сколько у нас по-настоящему интеллигентных рабочих. И не только из молодежи, окончившей школу, но и из старшего поколения. Берет такой читатель научные книги, я его спрашиваю: «По работе понадобилось?» А он отвечает: «Нет, просто интересно».

Мы все — работники культуры в самом широком смысле слова — должны готовиться к тому, что вот это «просто интересно» будет предъявлять к нам с каждым годом все больше и больше требований.

Мы вводим семи- и шестичасовой рабочий день. Через несколько лет, еще до того, как нынешняя молодежь перешагнет порог зрелости, у нас будет 30—35-часовая рабочая неделя при двух выходных днях. А представляем ли мы себе как следует, что это значит и какие попутные задачи тут возникнут?

Это значит, что у каждого работника высвободится много времени, много энергии, проявятся дремавшие способности и таланты в самых различных сферах творчества.

Это значит, что при всех наших клубах, домах культуры, творческих организациях, институтах и университетах под напором жизни будут возникать все новые и новые формы самодеятельности, лектории, курсы, группы, студии. Рабочие люди захотят учиться музыке, знакомиться с интересующими их науками, изучать литературу и искусство, смотреть прекрасные спектакли и кинофильмы, читать разнообразнейшие книги, встречаться с интереснейшими людьми, пробовать свои силы в какой-то второй области, может, и не связанной с основной профессией, потому что «просто интересно» и есть охота и время.

Это значит, что физическая культура и все виды спорта получат несравненно более широкое распространение, чем сейчас. Нашим спортивным обществам придется наконец по-настоящему заняться не только призерами и рекордсменами, но и миллионами обыкновенных людей, любящих футбол или теннис, городки или плавание, парусный спорт или легкую атлетику. Понадобится несравненно большее количество стадионов, плавательных бассейнов, теннисных кортов, баскетбольных площадок, гимнастических залов. Широко разовьется туризм. Вероятно, жизнь потребует и другого оперативного отклика на введение двухдневного отдыха — нужно будет создать возле промышленных центров легкодоступные базы отдыха, чтобы рабочий с семьей мог приехать туда на «конец недели», получить простейшее жилье, питание, спортинвентарь, погулять, подышать воздухом, покупаться или походить на лыжах, покататься на коньках. Пусть это будет скромно, без гигантомании и роскоши, но пусть это войдет в быт, оздоровляя и украшая его!

Многое можно предвидеть уже сейчас. И об этом многом надо заботиться, нужно его готовить и нужно в этом духе воспитывать новые кадры — в частности, всяческие кадры работников культурного фронта.

В деловитом и величественном плане новой семилетки с особой весомостью поставлена задача коммунистического воспитания широчайших масс народа и особенно подрастающего поколения.

Это уже непосредственно наша, писательская, задача. Конечно, не только наша, но в очень значительной степени возлагаемая на нас. Мы ведь хорошо знаем силу воздействия хорошей, волнующей книги, пьесы, кинофильма. Мы знаем, что идеи, воплощенные в образы, иной раз переворачивают жизнь человека, что пленительный герой западает в душу и ведет за собой.

Какой же могучей и увлекательной должна быть литература на ближних подступах к коммунизму, литература, обращенная к людям, идущим в коммунистическое завтра!

В практике нашего литературного труда это означает, что мы должны глубже проникать в жизнь, подмечать новые, возникающие явления коммунистического становления и ускорять их расцвет. Это означает, что новые процессы в жизни общества и в формировании человеческих отношений и психологии не могут не стать главными в нашем творчестве, именно к ним будет приковано наше пристальное, любовное внимание, именно они подскажут самые вдохновенные, самые захватывающие книги.

Конечно, тут не может быть общего для всех рецепта. Наша коллективная мысль будет еще долго прояснять наши задачи и пути, в спорах и столкновениях мнений выработается глубокое понимание всех особенностей нового этапа развития нашей жизни и, следовательно, литературы. Это поможет и каждому из нас наедине с самим собою, со своими замыслами и чувствами найти с в о е индивидуальное решение, свою долю, входящую в общий труд.

Рост общей интеллигентности народа и расширение круга его интересов, его духовной жизни вызовут и еще более разнообразную литературу, подскажут множество новых тем и задач. В литературе, да и во всех видах искусства будет все больше проявляться многогранность жизни, при общей целеустремленности будет расцветать индивидуальное своеобразие. Но проверять себя, свои замыслы, образы, проблемы, волнующие нас, мы будем большой меркой. Высокой меркой, под стать времени.

Как же хочется работать, товарищи! Как же хочется долго жить и много сделать, многое написать — гораздо лучше, интереснее, глубже, чем удавалось до сих пор.

НИКОЛАЙ ДУБОВ

★

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТРУДОВАЯ

Ни один человек, которому дороги судьбы народа и страны, не может не радоваться предстоящей реформе школы. Тезисы Центрального Комитета партии и Совета Министров СССР возвращают нашу школу на единственно правильный путь — путь трудового воспитания молодежи. Именно возвращают, так как начало пути положено было еще в первые годы Советской власти, когда школа в республике стала трудовой. Однако трудовой в ту пору она была лишь по составу учащихся. В те суровые, нелегкие годы не могло быть и речи о подлинной политехнизации, трудовом воспитании — для этого не было ни сил, ни средств, ни возможностей. В последующие годы школа отошла от первоначально намеченного пути. Десятилетка, хотя она и выполняла свое основное назначение — готовила молодежь для поступления в вуз,— уклонилась в сторону узкого

академизма, а слабые попытки политехнизировать ее в большинстве своем так и остались попытками. Молодые люди, заканчивая десятилетку, получали свидетельство, торжественно именуемое «аттестатом зрелости», которое, в сущности, ни о чем не свидетельствовало. О какой зрелости шла речь? Если абитуриент не попадал в вуз, обнаруживалась, во-первых, его незрелость гражданственная, так как школа приучила его к мысли, что он предназначен только для высшего образования, для «высоких» профессий, и полная практическая, житейская несостоятельность, во-вторых, так как делать он ничего не умел и работать был не обучен. Разумеется, слов о необходимости трудиться на благо родины в школе произносили более чем достаточно. Но труд отодвигался в столь отдаленное будущее, что пользы от этих гимнов труду было мало. А практическими задачами было: окончить школу с медалью, поступить в вуз, тогда обеспечена «чистая» профессия, а еще того лучше — по окончании вуза сразу поступить в аспирантуру, там недалеко и до кандидатской ренты... Призывая уважать всякий труд, в школах прививали стремление к труду по преимуществу интеллектуальному. Очень охотно и часто устраивали встречи учащихся с артистами, художниками, писателями, учеными и чрезвычайно редко — с рабочими, колхозниками. И будущие обладатели аттестатов зрелости вырастали с более или менее отчетливым ощущением, а то и убеждением, что труд физический — труд второго сорта, а если и почетный, то уж во всяком случае менее приятный и привлекательный...

В самом ближайшем будущем с этим будет покончено. Школа возвращается на путь, намеченный Лениным, но возвращается на совершенно новой, обогащенной основе. У нас есть теперь огромная армия учителей, у нас есть теперь десятки тысяч школьных помещений, у нас теперь есть все возможности ввести в каждой школе политехническое обучение, и не словесное, а практическое. Наша школа действительно становится трудовой, то есть будет воспитывать людей, любящих труд и умеющих трудиться.

Обнародованная ныне программа перестройки системы народного образования будет дополнена многими предложениями, возникшими в процессе ее обсуждения. К этому делу никто не может остаться равнодушным, так как образование молодежи — это образование будущего страны. Мне также хотелось бы высказать несколько соображений.

1

Тезисы предлагают для более объективного отбора молодежи в вузы «в ряде случаев проводить письменные экзамены под девизом». Но если одновременно с письменными экзаменами под девизом сохранятся устные, объективность отбора может быть ослаблена или, во всяком случае, подвергнута сомнению. Поэтому, может быть, целесообразно, хотя это и несколько осложнит работу экзаменационных комиссий, все экзамены во всех вузах проводить письменно и под девизом. Экзаменационная комиссия должна решать, кто принят или не принят, и публиковать список принятых, также пользуясь девизами абитуриентов. При таком способе отбора можно добиться приема в вузы наиболее способных, одаренных молодых людей и ликвидировать «конкурс родителей». Предлагаемая мера вовсе не исключает возможности общественного влияния на подбор студентов. Рекомендации общественных организаций должны учитываться при приеме документов желающих поступить в вуз. Не имеющие таких рекомендаций не должны допускаться к экзаменам, но далее уже только экзамены будут определять более достойных.

Тезисы предлагают устранить перегрузку студентов обязательными занятиями. Это правильно. Но не пора ли поставить вопрос об отмене обязательного посещения лекций? (Речь идет именно о лекциях, но

отнюдь не о занятиях в лабораториях, мастерских и клиниках.) Благодаря этому студент получит возможность лучше организовать свое время и работу, не тратить часы на лекции, быть может ему не нужные, но углубиться в материалы необходимые. Не думаю, чтобы это повело к снижению знаний и успеваемости (семинары, зачеты и экзамены незамедлительно обнаружат недобросовестных, лодырей, и ничто не помешает их отчислить). Университет — не контора и не цех, где нужно отмечать обязательную явку. Иному студенту час, проведенный в читальне, может дать больше, чем три часа посредственной лекции в аудитории. Отмена обязательного посещения лекций не повлечет за собой никакой катастрофы, а только ликвидирует вредную нивелировку, уравниловку, когда все студенты представляются некоей средней величиной. Но они не средние, они разные. Один лучше воспринимает на слух, другой — читая, одному нужно налечь на книги, у другого хромают лабораторные, практические занятия. Несомненно, подавляющее большинство студентов, людей уже взрослых, целеустремленных, использует свое время наиболее рациональным и эффективным способом. Отмена обязательного посещения лекций послужит еще одним средством отбора лучших научно-педагогических кадров. Какими бы степенями и званиями ни обладал преподаватель, если его лекции малосодержательны, их посещать не станут, и со всей очевидностью обнаружится, что такому человеку в вузе делать нечего, на его место придет другой, умеющий зажечь и увлечь молодежь своей наукой.

Тезисы совершенно правильно отмечают, что закончивший вуз еще далеко не полноценный специалист. Проходит немало времени, прежде чем такой специалист найдет свое место в рабочем коллективе. Это справедливо не только по отношению к молодому инженеру, но и по отношению к врачу, педагогу, архитектору. Однако такой молодой специалист, став обладателем диплома, требует соответствующей диплому должности и зарплаты, вытесняя подчас не имеющего диплома старого специалиста, хотя пользы делу от последнего неизмеримо больше. Более того, получая диплом, изрядное число таких молодых специалистов считает, что они уже всего достигли, добились, дальнейшее движение по службе и в науке за них проделает диплом; они перестают учиться, совершенствоваться. Все это происходит потому, что полноправие специалист получает одновременно с дипломом, а диплом выдается преждевременно. Мне кажется, этот порядок должен быть изменен. Закончивший вуз молодой человек посылается на предприятие, в клинику, школу, мастерскую без всякого диплома. Он еще не инженер, не врач, не педагог, не архитектор, а только стажер или дипломант (название не столь важно). Он должен работать в полную меру своих сил, чтобы на практике освоить дело, которому посвятил жизнь, войти в рабочий коллектив и учиться (а иногда и переучиваться, если учеба была слишком оторвана от практического дела) и только по прошествии года или двух лет защищать диплом. Знания, обогащенные практикой, опыт труда в коллективе позволят ему легко защитить диплом и уж действительно с полным правом получить его. При такой системе звание инженера, врача будет оправданным, будет соответствовать существу дела. А если не защитит? Думаю, что это будет происходить редко, а если уж произойдет, если молодого человека начинили в вузе знаниями, как новогоднего гуся яблоками, если он два года работал стажером и обнаружил свою неспособность применять знания и работать, почему он должен иметь звание инженера или врача и пользоваться их правами? Ему придется своекоштно переучиваться или довольствоваться положением, соответствующим его действительным способностям.

Разумеется, стажерство не должно распространяться на студентов заочных и вечерних вузов, если они работают по изучаемой специальности и занимают должности, близкие, скажем, к инженерной.

2

Тезисы подчеркивают необходимость всячески развивать инициативу и самодеятельность учащихся. Применительно к искусству, точным наукам это сравнительно легко и просто. А можно ли развивать инициативу и самодеятельность применительно к гуманитарным наукам? Можно и должно. И речь идет в данном случае не о кружках — хорошей, но вспомогательной форме работы с учащимися,— урок был и останется основной, главной формой.

Многочисленные наблюдения привели меня к выводу, что в преподавании гуманитарных наук в школах наших утвердился метод лекционный и нередко начетнический. А отсюда рукой подать до догматического, что подчас и бывает. Учитель по программе, а бывает, и только по учебнику излагает учащимся тот или иной круг вопросов, учащиеся затем повторяют по учебнику сами и, ответив по вызову учителя, получают отметку. Чем ближе ответ ученика к тому, что говорил учитель и что сообщает учебник, тем выше оценка. Всё хорошо, все рады — учитель, ученик, родители, педсовет... А хорошего ничего в этом нет, и радоваться нечему. Гуманитарные науки — не катехизис, а науки, то есть системы знаний о закономерностях в развитии общества и мышления. Идеи можно знать и даже получить хорошую отметку за их усвоение, но это еще не означает их исповедовать. Идея становится действенной, руководящей силой, когда ее не просто запоминают, а она делается убеждением. Убеждением же она может стать только тогда, когда к ней приходят в результате глубокой внутренней работы, когда ее не заучивают, не вызубривают для экзамена, а вырабатывают, ища ответа на вопрос «как надо жить»...

Говорят, что нашей молодежи не нужно искать ответа на этот вопрос, у нас-де ясен путь, известна программа, задачи и цели жизни — строительство коммунизма... Да, путь ясен, программа известна. И тем не менее каждое поколение ищет ответа на этот вопрос. Комсомольцы двадцатых, тридцатых годов и комсомольцы нынешние — они едины в главном, основном, у них не переменились ни цели, ни путь, но кто сможет оспорить, что они при своем единстве в главном вместе с тем отличаются друг от друга?

Поэтому важно приучать ребят думать самостоятельно. Думать, взвешивать, оценивать и делать выводы. Самостоятельно, без подсказки, шпаргалки, репетиции. Только тогда идея может стать убеждением.

Ответ на вопрос «как жить» в самой общей форме есть, его не нужно искать: «По-коммунистически!» Но что это значит? Как нужно поступить в таком-то случае и в таком-то? Предусмотреть все случаи, ситуации невозможно, они возникают в бесконечном многообразии снова и снова. И не всегда, далеко не всегда находится ответ в учебнике, книге, не всегда найдется учитель-наставник, и, наконец, нельзя пройти всю жизнь на поводке у книги и наставника, придет пора самому стать наставником, рано или поздно самому отвечать на требовательный вопрос детей: «Как жить?»

В. И. Ленин говорил об этом совершенно определенно: «...наша школа должна давать молодежи основы знания, давать уменье вырабатывать самим коммунистические взгляды, должна делать из них образованных людей».

3

Как помогать детям вырабатывать коммунистические взгляды? Рецептов нет (и слава богу!), создать рецепты на все случаи жизни невозможно. Приведу только один пример, чтобы пояснить свою мысль.

В самом начале тридцатых годов я учился в техникуме. Два преподавателя этого техникума воплощали два метода работы. Первый, препода-

ватель истории Г., молодой выпускник Киевского университета, отлично знал свой предмет, любил его и превосходно излагал. Говорил он быстро, увлеченно, горячо и всегда безукоризненно с точки зрения языка. Прирожденный рассказчик, он увлекался сам и увлекал нас. Слушать его доставляло наслаждение, мы сидели завороженные рассказом, который лился, как... сказка. Знали ли мы историю лучше других предметов? Нет. За исключением нескольких человек, весь класс с удовольствием слушал и не слишком много знал. И это естественно. Преподаватель все делал за нас сам. Он сообщал цифры, факты картинно, со множеством подробностей, вскрывал корни событий, явлений, делал выводы. И все это оставалось большинству посторонним, как, в общем, остается посторонней сказка,— с этим ничего не нужно было делать и некуда применить. Блестящие по форме и содержанию каскады мыслей скользили мимо.

Совсем иным был А.— преподаватель экономической географии. Не педагог по профессии, а партработник, он учился заочно в институте народного образования и не скрывал, что осваивает свой предмет вместе с нами. Говорил он медленно, тяжеловесно и иногда закручивал такие периоды, что выбирался из них не без урона для русского языка, а иногда и вовсе не выбирался, досадливо махал рукой и начинал сначала. Пришел он на урок с тоненькой брошюркой лекций для заочников по экономгеографии, прочитал оттуда вслух определение этой науки и спросил: «Что-нибудь понятно?» Мы единодушно ответили: «Нет, ничего не понятно». Определение было длинное, многословное и путаное, какими бывают все определения, когда авторы пытаются в одну фразу втиснуть определение, перечислить все исключения и заранее опровергнуть всевозможные кривотолки.

— Вот и мне ничего не понятно,— сказал А.— Однако, несмотря на этих мудрецов,— встряхнул он брошюрой,— наука такая существует. Давайте ею заниматься — может быть, в конце концов и сумеем определить, что это за наука...

И мы начали заниматься. Он не приходил с готовыми формулами, не начинял нас цифрами. («Это, если у вас головы, а не дыни, вы сами в справочнике найдете»,— говорил А.) Он сообщал факты (а впоследствии приучил нас самих подбирать факты и всевозможные сведения), и начиналось отыскивание их причин, взаимосвязей и следствий. Вся работа мысли происходила у нас на глазах, мысли, быть может, несколько медлительной, но цепкой, пристальной и бесстрашной. И она не только происходила перед нами. А. вовлекал в нее нас, и мы, споря, перебивая друг друга, а иногда и самого А., искали и находили то, к чему он намеревался нас подвести и в конце концов подводил. Суховатая, казалось бы, скучноватая наука обернулась для нас увлекательнейшим предметом. Мы рыскали по библиотекам, рылись в книгах, делали выписки, чертили диаграммы, графики, а главное — д у м а л и, напряженно думали обо всем. И на уроках А. не было равнодушных, незаинтересованных, любили и знали этот предмет почти все. Так, как А., больше ни один преподаватель не работал, но метод, навыки, приобретенные на его уроках, мы более или менее успешно пытались применять и при изучении других предметов.

Много лет спустя, взвешивая и оценивая эти два метода, двух учителей, я должен был признать, что второй (при всей моей признательности первому) был лучше. Первый учил нас только своему предмету, сообщал знания, второй, уча предмету, учил нас думать, самостоятельно думать, самостоятельно работать, помогал вырабатывать коммунистические взгляды.

Это не образец, не руководство, а всего-навсего пример. И разумеется, учитель должен быть профессиональным учителем, разумеется, он должен знать свой предмет, а не изучать его вместе с учениками.

Однако при равном, скажем, положении предпочтение должно быть отдано второму, как педагогу более талантливому.

Талант? Качество, не очень поддающееся научной классификации, определение не из государственной, так сказать, терминологии, как им манипулировать при отборе, какова его мера и как эту меру установить?

У нас есть музыкальные, художественные школы, куда отбираются (и куда сами стремятся) одаренные дети. Сейчас возникла мысль о специальных школах для детей, обнаруживающих повышенные способности к математике, физике, химии. А есть ли у нас отбор подростков, юношей и девушек, обнаруживающих задатки будущих педагогов? Нет. При поступлении в пединститут, в университет (основная задача коих — готовить преподавателей для средней школы) у юношей и девушек проверяют знания, учитывают их общественную активность, рабочий стаж и т. д. Не принимается во внимание только одно: есть ли у них, будущих педагогов, задатки, способности к педагогической работе.

Для того чтобы приобрести знания, достаточно средних, даже слабых способностей и усидчивости. Для того чтобы потом передавать эти знания другим, нужен талант. Институт, университет могут развить задатки, способности,— привить их они не могут. Стало быть, людей с педагогическими способностями надо искать, выявлять до института, университета, помогать им расти, направлять по нужному пути, помогать поступать в соответствующие вузы. Искать, отбирать педагогические дарования не менее, а более важно, чем, скажем, музыкальные или математические, ведь именно они, в будущем педагоги, должны со временем воспитывать и учить новые поколения, то есть народ, а что может быть грандиознее этой задачи?

Как же выявлять, обнаруживать педагогические таланты? Методов, способов может быть множество, их найдут, как только начнут этим заниматься. Назову только один из возможных. В каждой школе в младших классах всегда есть ребята, по тем или иным причинам отставшие от класса, оставшиеся на второй год. С ними бьются педагоги, родители, иногда даже репетиторы. Но ведь в каждой школе среди старшеклассников найдутся и такие, которые охотно помогают товарищам и столь же охотно согласятся подтянуть малышей. В процессе этих занятий совершенно явственно обнаружится, кто занимается этим делом с удовольствием, умеет найти надлежащий подход и добиться успеха, а кто пошел «за компанию», из тщеславия и т. д. Чтобы не создавать перегрузки и малышам и старшим, для таких занятий можно использовать так называемый «оргчас». Это унылое порождение ведомственной фантазии учреждено для воспитательной работы (как будто ее можно втиснуть в любой «час»!) и практически свелось к заурядным собраниям, на которых ученики под наблюдением воспитателя «прорабатывают» друг друга за те или иные провинности.

Старшеклассники, обнаружившие подлинный интерес к работе с маленькими, и должны послужить тем резервом, из коего следует, поддерживая и воспитывая этот интерес, готовить будущих педагогов. Отзыв педсовета школы, свидетельствующий о наличии у абитуриента склонности к педагогическому труду, должен служить решающим показателем при приеме документов в пединститут и университет, решать вопрос, кого именно из выдержавших экзамен следует принять.

4

Перестройка школ будет еще более успешной, если изменится положение и состояние пединститутов. Известно, что и средствами они не богаты, и помещения далеко не всегда хороши, и библиотеки, лаборатории (там, где они есть, а есть не везде) бедноваты, и силы научные также не

всегда самые лучшие. Между тем именно педагогические вузы должны быть снабжены лучшими лабораториями, мастерскими, в них следует привлечь лучшие преподавательские силы. В противном случае учитель, получивший в вузе «словесное» воспитание, и сам будет в состоянии осуществлять только такое же и, следовательно, не сможет быть полноценным педагогом в новой политехнической школе.

Довольно часто и охотно мы повторяем, что учитель у нас окружен заботой и вниманием. В общем, это справедливо. Однако не слишком ли внимательно мы следим за каждым шагом учителя и не смахивает ли это на мелочную опеку, которая может только мешать делу? Я имею в виду составление бесконечных методических разработок и планов. Из года в год педагог должен писать заново (и, в сущности, одни и те же) подробнейшие планы, педсоветы (то есть те же педагоги) — заседать, рассматривать и утверждать эти планы. Потом, по прошествии времени, педсоветы снова заседают, заслушивают отчеты, утверждают их. Все эти вороха, стога исписанной бумаги, гекатомбы человекочасов — для чего они? Помогают ли они? Нет, они только сковывают учителя, отнимают у него драгоценное время и энергию. Он пишет и пишет, пишет то, что писал десять, пятнадцать лет назад и будет писать через год, через пять лет, и заседает, заседает... А ему бы почитать в свободное время, просто подумать, наконец... Но думать и читать ему некогда, он пишет и заседает.

Надо уважать учителя и доверять ему. Избавленный от мелочной опеки, от растраты впустую времени и сил, он сможет расширять свой кругозор, повышать знания и работать с большей отдачей.

Слов нет, молодой педагог, только что пришедший в школу, нуждается в помощи. Первые год-два ему трудно без точного, подробного плана, он может сбиться, не рассчитать времени и т. д. Планы работы молодых учителей и должно рассматривать на педсоветах, где более опытные товарищи поправят неофита, укажут на ошибки, подскажут, как их избегать и поправлять. Но то, в чем нуждается молодой педагог, неуместно и вредно по отношению к старым, опытным.

Было время, когда нашей стране нужно было создавать свою промышленность, и тогда на первый план выдвинулись фигуры инженера, техника. Было время, когда перестраивалось сельское хозяйство, и на первый план выдвинулись фигуры агронома, механизатора. Ныне наступает новый этап, когда, нисколько не умаляя и не принижая значения других профессий, на первый план выдвигается учитель. Предстоящая перестройка школы — дело колоссальное по своим масштабам и последствиям. Мы ведем битву за мир, за будущее, за коммунизм. Первое место в этой битве принадлежит учителю, воспитателю новых поколений борцов за коммунизм. От того, как мы воспитываем учителя, в каких условиях он находится, в значительной мере зависит и успех нашей борьбы.

СОФЬЯ ВИНОГРАДСКАЯ

★

ДВА ВЕЧЕРА

Рассказ

«Сотня расспросов не стоит одного взгляда».
(Китайская пословица).

1. «Доказательный» палец

Невероятный девятнадцатый год на исходе. В Москве, голодной и героической, собрался съезд Советов. Седьмой по счету с начала революции.

Взволнованными глазами оглядывала Саша, молодая сотрудница «Правды», огромный, в пурпуре и позолоте, зал Большого театра, высокую трибуну, длинный и такой торжественный стол на сцене...

Впервые за свою семнадцатилетнюю жизнь очутилась она на съезде.

В то бурное время Советы собирались быстро, заседали часто. Весь семнадцатый и восемнадцатый год созывались съезды — чрезвычайные, внеочередные, особые... Затем наступил долгий интервал. Гражданская война поднималась на пик девятнадцатого года.

Фронт протянулся на десять тысяч километров и замкнулся вокруг Республики кольцом. Под ружье встали миллионы. Народ защищался. Оружие, только оружие, одно лишь оружие решало теперь судьбу Советов. Съезды не собирались.

У грязных, некогда розовых стен Страстного монастыря, на гигантской карте фронтов гражданской войны, Саша увидела ту узкую черную ленту, которая, как ножом, резала тело России.

Вдруг, в несколько дней (Саше даже показалось, что произошло это молниеносно), лента, обозначавшая линию фронтов, зловеще закрутилась, завилась... Белые генералы подступили к Москве и Питеру.

В сухой, ясный и холодный осенний день, когда Саша шла в «Правду» из Четвертого дома Московского Совета, известного прежде на всю Москву как дом Нирензее, на карте у Страстной ясно обозначилась петля. Молодая великая Республика Советов сжалась до размеров древнего Московского государства...

И сердце Саши тоже сжалось.

Теперь призывы партии к защите революции раздавались все чаще, почти непрерывно и с такой силой, словно били в набат. Да это и был набат — набат революции.

Вместо чрезвычайных съездов объявлялись чрезвычайные мобилизации. В здании ЦК на Воздвиженке, наискось от Кутафьей башни Кремля, в осень девятнадцатого года высокая, сухощавая женщина с очень суровыми, будто поседевшими глазами составляла, подписывала и отсылала в «Правду» списки членов РКП(б), мобилизованных на фронт.

В редакции на Тверской в сумерках тревожных вечеров списки сдавались в набор. Саша усаживалась рядом с секретарем и зачитывала вслух переписанные на машинке фамилии, а Мария Ильинична сверяла по оригиналу, присланному Еленой Стасовой из ЦК.

Наутро члены партии находили в газете свои фамилии, имена, номера партбилетов — трехзначные, четырехзначные... и отбывали на Южный фронт. Шла партийная мобилизация.

В минуты опасности коммунисты — комиссары, политработники (тоненькая, красного коленкора, мягкая, гнущаяся книжечка на груди) — ложились в цепь, первыми поднимались в атаку, погибали... Списки мобилизованных становились мартирологом. Могилы часто терялись в безвестности. Так сражалась правящая партия, рожденная в рабочих кварталах.

С самого начала революции эта партия находилась на линии огня. В осень девятнадцатого года огонь достиг зенита. Белые уже стояли в Орле и Гдове. Судьбу революции решали дни.

Вдруг, как-то сразу, во мраке последних ночей октября, отвалили от Москвы и Питера белые. Добровольческая армия покатилась к Черному морю.

И тотчас, едва обозначились победы революционных войск, в Москве собрался съезд Советов, которого не было целый год.

Делегаты прибывали прямо с фронтов, в военной форме, при оружии. Члены прежнего ЦИКа, которых Саша помнила с лета одетыми кто как — в толстовки, косоворотки, пиджаки, апашки,— были теперь сплошь в защитном. Гимнастерки, френчи, шинели, бекеши... Пестрым, неоднородным был тогда мундир на командирах и бойцах революции. Еще бедна была молодая армия рабочих и крестьян. Однако она поколотила белые армии, которые так усердно снабжала и одевала богатая Антанта.

Об этом, пока еще не открылся съезд, затянула песенку сибирская делегация, занявшая нарядные, в балдахинах, ложи партера:

Погон российский,
Мундир английский,
Табак японско-о-ой,
Правитель омско-о-ой...
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель скрылся.

Седьмой съезд был самым многочисленным. Теснота в театре была такая, что выданные было «зеленые» гостевые билеты вдруг отменили.

Караульную службу на съезде несли курсанты пулеметных курсов и отряды особого назначения. По служебному билету Саша прошла за кулисы. Там уже волновались сотрудники газет. Доклад на съезде будет делать Ленин. Когда? На первом заседании? Или в конце дня? Успеют газеты сдать его речь сегодня?

По молодости и неопытности Саша не очень ясно представляла себе, в чем именно «сложность положения», о которой толковала Мария Ильинична со старшими сотрудниками. Но и ей передавалось общее волнение. Ведь она «присутствовала» на съезде впервые! Было от чего и волноваться, и трепетать, и радоваться!

Мария Ильинична, слегка простуженная и потому одетая теплее обычного — поверх шерстяного платья еще толстая жакетка с вместительными карманами,— расставляла на посты своих «часовых»: указывала, кто составит хронику съезда, кто будет писать живой отчет доклада Ленина...

— А вы, Саша,— сказала Мария Ильинична,— будьте все время тут, чтобы...

— Быть у вас под рукой...— с нескрываемым разочарованием договорила ее помощница.

Саше предстояло в этот день выполнять почти непрерывно всякие поручения: передать делегату из Омска просьбу редакции написать о борьбе сибирских партизан с Колчаком; получить у секретаря ЦИКа талоны на обеды для сотрудников, работающих на съезде; выяснить, с каких заводов прибыли уральцы. Среди них вербовались рабкоры для «Правды».

А Саше хотелось делать совсем другое... До дрожи в пальцах хотелось, чтобы ей тоже вдруг сказали:

— Саша, а вы сегодня сдадите живой отчет на сто строк!

Сказали бы так, как говорят опытным, старшим сотрудникам.

«Живой отчет»! Какое влекущее слово! Живой, да еще по докладу Ленина. «А могла бы я составить такой отчет? — спрашивала себя помощница секретаря.— Наверно, нет... Хотя почему? Ведь на митингах я писала отчеты... А что нужно для «живого»?»

Так размышляла Саша, стоя у кулис справа в боевой готовности: в одной руке портфель с пряжками на ремешках, в другой — «Обращение» редакции к красным фронтовикам с краткой и выразительной просьбой: «Товарищи, сообщайте в «Правду» о подвигах рабочих и крестьян, обороняющихся от помещиков и капиталистов».

Саша сейчас поджидала туркестанского делегата в защитном френче и белых бурках — крутолобого, светлоглазого, с жестким ежиком волос. Тот был занят важным, по-видимому, разговором с известным стране журналистом, и Саша ждала, нетерпеливо теребя поясок на своем синем, наглухо, до подбородка, застегнутом платье. (Девушки-партийки тех лет одевались строго, причесывались гладко, на прямой пробор, либо стриглись, украшений не признавали, серьги, кольца, всякие излишества в одежде презирали, как мещанство или буржуазность. В праздники подруги дарили друг другу маленькие рубиновые звездочки.)

С места, где ожидала Саша, ей видно было всех — кто прошел на сцену, кто беседует за кулисами, кто еще только прибывает на съезд. Вдруг за кулисами началась странная и веселая суетня. Там, в глубине, появился Ленин.

Саша вмиг забыла обо всем на свете.

Ленин прошел каким-то тесным проходом. Прошел стремительно и на ходу расстегнул пальто. Добротное, черного сукна пальто с каракулевым воротником шалью, которое так шло ему. В этом пальто Саша впервые увидела Ленина месяц назад, на Октябрьской демонстрации, когда шагала в колонне по Красной площади. Ленин стоял тогда на высокой деревянной трибуне. Снег валил с самого утра и облепил ему шапку, воротник, плечи, грудь. Густо оснеженный Ленин казался неожиданно высоким, стройным, даже монументальным!

Много позднее Саша узнала, что эту вот «профессорскую» шубу купила ему в Петербурге Мария Ильинична вместе с Фофановой (у Маргариты Васильевны Ленин скрывался). Было это в семнадцатом году, когда уже надвигалась зима, и политический эмигрант Ульянов, вернувшийся на родину из Швейцарии, не имел шубы для русских морозов.

За кулисами Ленин задержался у маленькой лестницы, оглянулся вокруг, быстро поискал что-то глазами и спросил скороговоркой:

— А раздеваются сегодня где?

— Здесь, Владимир Ильич, здесь и раздевайтесь. Мы отнесем...

К нему тянулись руки, чтобы помочь, кто-то принес стул.

— Спасибо, товарищи, спасибо! — Ленин сбросил с плеч пальто.— Не беспокойтесь! — Он снял шапку.— Представьте, именно по этому вот поводу,— он скинул с ног галоши,— у меня всегда происходили недора-

зумения с швейцарами.— Он сунул галоши под стул.— Но я все же так-таки ни разу им не уступил...

Продолжая пошучивать, Ленин удивительно спорыми движениями ладно сложил пальто подкладкой наверх, перекинул его через спинку стула, примостил тут же каракулевую шапку с аккуратно подвязанными ушами. Затем он пригладил по привычке волосы на затылке, оттянул под пиджаком жилет и стал ощупывать карманы.

В ту секунду, когда рука Ленина извлекла из кармана сложенную бумагу, выражение его лица вмиг переменилось. Только что обращенное к товарищам, такое округлое, твердое и светлое, это лицо словно потемнело. Была, видимо, какая-то связь между бумагой, которую развернул Ленин, и такой разительной переменой лица.

Теперь, весь сосредоточенный в себе, Ленин сунул два пальца в жилетный кармашек, вытянул оттуда маленький, желтый, с белым костяным наконечником карандашик и торопливо прошел на сцену, прямо к столу президиума, за которым еще никого не было. Он присел на краешек стула и, сильно клонясь набок, стал что-то помечать и писать на листках, которые извлек из кармана. Никто не мешал ему. Товарищи понимали, что Ленин просматривает конспект предстоящего доклада.

Изредка Ленин подносил к губам кончики пальцев, словно припоминал что-то с помощью этого жеста. Затем косил глазом вниз, в сторону шумного партера, быстро-быстро что-то прочитывал, перелистывал странички, затем опять что-то записывал и опять водил глазами в сторону партера. И тогда Саше, не отрывавшей глаз от Ленина, видно было его лицо снизу — сосредоточенное и твердое.

Вдруг к столу, по-хозяйски уверенно и спокойно, подошел худощавый, невысокий человек с лицом и фигурой мастерового, одетый как в праздник. Чистая сорочка без галстука застегнута на железные узорчатые пуговки. Брюки засунуты в мягкие голенища небольших сапожек. Из-под очков с тоненькими никелевыми оглобельками бежали к ушам лучи морщинок, хотя лицо было далеко еще не старым. Приветливо улыбались умные, добрые, близорукие глаза...

Саша не слышала, о чем Калинин заговорил с Лениным. Она лишь заметила, как в ответ Ленин указал на что-то рукой и закивал головой, а Калинин сдвинул в сторону массивную чернильницу и достал из-под нее лист бумаги, наполовину отпечатанный на машинке, наполовину написанный от руки.

Это был список представителей групп и партий, стоявших в оппозиции к большевикам и прибывших на съезд.

Брови Ленина поднялись.

— А-а, все старые знакомые...

Просматривая список, он все более оживлялся.

— Ну, интернационалистов можно поставить и поближе, а?

— Сами придвинутся,— успокоительно заметил Калинин.

— Да, кажись, уж подвинулись! Совсем подвинулись,— рассмеялся Ленин.— От поляков — Кон? Отлично! А Надежда Константиновна все беспокоится о нем. Она верна своим ссыльным связям, и старик Кон — ее слабость. Так, дальше. Боротьбисты... Максималисты... Их пятеро? Ну, давайте прикинем, сколько все они возьмут времени. Присаживайтесь, подсчитаем...

Ленин придвинул к себе стул и пригласил Калинина сесть рядом. Стул пришелся на самый угол стола.

— Семь лет без взаимности? — Калинин шутливо покачал головой.— Не согласен! — И он пошел влево, чтобы сесть с другой стороны.

— В таком случае я сам сюда! — Ленин проворно вскочил со своего места и пересел на самый угол.— Пожалуйста, Михал Иваныч! Я не боюсь!

Все кругом смеялись, глядя, как усаживался Калинин на безопасное место.

В ожидании начала съезда вокруг стола и по сцене прохаживались наркомы, члены ЦИКа, государственные деятели Страны Советов.

Сегодня их лица были веселыми, легкими — ведь белые так скоро побежали от Москвы, и Красная Армия гонит их все дальше. Того и жди, опрокинет в море... Праздник у большевиков!

Вот позади стола образовался круг. В центре — делегат с фронта. Тощий, остролицый, близорукий интеллигент в очках. Френч измят. Реденькие волосы ниспадают длинными прядями.

«Удивительно, до чего похож на вечного студента. Прямо Петя Трофимов из «Вишневого сада»,— думает Саша.— Не хватает лишь выгоревшей фуражки да полинялой студенческой тужурки».

Имя этого человека уже принадлежит истории. Оно связано неразрывно с падением Зимнего и арестом Временного правительства.

Теперь, в кругу своих товарищей по партии, этот человек заразительно смеялся над тем, как Ленин и Калинин шутя менялись местами на углу стола.

— Наш Ильич никогда не оставался без взаимности,— сказал он,— в любви, как и в ненависти...— И опасливо огляделся — не слышит ли Ленин?

«Сегодня здесь все, конечно, влюблены в товарища Ленина»,— думала Саша и вдруг увидела лицо Марии Ильиничны.

«Лучше, чем кому-либо из вас, понятно мне это особое чувство влюбленности в брата. С детских лет и навеки владеет оно мною»,— прочитала Саша в улыбке и долгом молчаливом взгляде горячих глаз младшей сестры Ленина.

Марии Ильиничне было уже за сорок. Несмотря на это, улыбка ее оставалась совсем молодой, застенчивой и по-девчоночьи несколько неуклюжей. Удивительно молодыми были и смех ее и звонкий голос... Когда Мария Ильинична смеялась, Саша живо представляла ее себе девочкой, там, во дворе родного симбирского дома, как во время игр носится она вслед за старшими, пронзительно визжа; подол платья при этом развевается, а коса на спине ходит маятником...

Сейчас Мария Ильинична следила за тем, что происходит за столом президиума. Вот Ленин поднялся, вынул часы, проверил на слух... Мария Ильинична очутилась рядом.

— Выходит, мне начинать после восьми,— сказал Ленин.

Лицо Марии Ильиничны омрачилось — рушились редакционные планы.

Она посмотрела на брата с немой просьбой и коснулась его руки.

У нее была эта привычка — обращаясь с просьбой к близким, тихонько касаться руки пониже плеча.

— Маняша, что хмура, как день ненастный? — спросил Ленин сестру.

— Мы рассчитывали на твою речь сегодня. Думали, ты выступишь с утра...

— Все равно,— Ленин покачал головой и вскинул ее вверх, словно разглядывал что-то там, в вышине, где колосники.— Все равно сегодня ничегошеньки бы из этого не вышло. Стенограмму не успел бы выправить.

Мария Ильинична понимающе пожевала губами. Она знала, как внимательно и придирчиво правит Ленин записи своих речей, восстанавливая точный смысл каждой фразы.

Вдруг под председательской рукой властно заговорил звонкий колокольчик. В центре стола президиума стоял Калинин. Он открывал Седьмой съезд Советов.

До самых верхних галерей теснились делегаты и гости, упираясь головами в потолок, по которому, трубя в трубы, летали грациозные музы. Самая большая ложа в центре, делившая ярусы на два крыла,— бывшая царская — была занята представителями оппортунистических партий. Дипломатической ложи не было, дипкорпус не существовал — еще никто не признал первую Республику Советов. Но она существовала уже третий год и на весь мир оповещала о себе знаменитыми нотами Чичерина: «Всем, всем, всем!»

Председатель ЦИКа начал речь. Он перечислял борцов за революцию, погибших в тяжелый и великий девятнадцатый год:

Почетные члены ЦИКа Роза Люксембург и Карл Либкнехт.

Первый председатель ЦИКа Свердлов.

Старый народник Натансон-Бобров.

Командир 25-й дивизии Чапаев.

Убитый в бою рабочий Романов.

Погибший при взрыве бомбы секретарь МК Загорский.

Замученный белыми молодой большевик Цыпкин.

Огромное количество бойцов международного пролетариата — Тибор Самуэли, Лео Тышка и другие.

В единый ряд вписывал Калинин имена вождей мирового пролетариата и простых русских бойцов, которые пали, «положив живот свой за революцию». Он так и сказал: «Положив живот свой за революцию...»

То был поэтический язык времени. Революция писала тогда на стенах домов: «Мир хижинам, война дворцам», «Кто не работает, тот не ест»... Ораторы, как и поэты, заимствовали этот язык у Великой французской революции и у рабов Рима, восставших против своих угнетателей, в библии и евангелии, у первых христиан и у древних славян.

Вслед за Калининым выступали посланцы фронтов — Южного, Северного, Восточного, Западного; Красного Флота на Балтике и партизанской армии, добивающей Колчака в Сибири.

— Привет красноармейцам, чьи пушки и винтовки сильнее слов взывают к нам!

— Отражены жестокие набеги на северную столицу!

— Бежит Деникин — второй претендент на корону милостью мировой биржи!

— Рабоче-крестьянские полки пробили широкие ворота в Туркестан!

— Великая Сибирь переходит под красное знамя!

— Цитадели капитализма падут!

Был уже вечер, когда на трибуне появился Ленин в черном костюме и галстуке — самый штатский на этом съезде военных победителей.

«Овации возобновлялись троекратно»,— отметили в своих блокнотах репортеры газет и РОСТА.

Словно пешеход, застигнутый на мостовой нескончаемым потоком транспорта, пережидал Ленин, пока окончатся овации.

Вот опустились наконец хлопающие руки, зал насторожился, и Ленин тотчас заговорил. Подобно реке, которая, начавшись из маленького родника, постепенно расширяет и углубляет свое русло, текла ленинская речь. В начале фразы были предельно простыми и предельно короткими. Но постепенно они усложнялись.

Несмотря на это, мысли Ленина были прозрачно ясны, как воды родников, питающих реку.

Речь сопровождали скупые плавные жесты: то вращательное, то отсчитывающее, то мерно постукивающее движение указательного пальца. И каждый жест был так выразителен, так точно соответствовал мысли, что Саше казалось: достаточно ей запомнить последовательно, один за другим, эти жесты, чтобы по ним восстановить всю речь председателя Совнаркома.

По традиции того времени каждый доклад непременно начинался с международного положения Советской Республики. Советы врезались в земной шар, которым доныне владел безраздельно капитал. И вот потому уже двадцать пять месяцев шло на полях России кровавое сражение между трудом и капиталом.

— Как могло совершиться такое чудо, что два года продержалась в отсталой, разоренной и уставшей от войны стране Советская власть?— спросил Ленин. И остановился. Словно дал время всем собравшимся сильнее ощутить и вновь вспомнить все невероятные лишения и жертвы этих двух лет.

— Это действительно чудо,— продолжал он после паузы,— потому что Антанта была и остается неизмеримо более могущественной, чем мы.

Тут Ленин свел три пальца в выразительном жесте, как бы ухватив ими что-то, и в такт движениям руки сказал:

— Главные трудности уже позади.

Указательный палец его простучал по столу:

— Мы одержали гигантскую победу.

«Неужели? — спросила себя Саша.— Неужели главные трудности позади?» И на лицах товарищей прочитала тот же вопрос.

Затем Ленин сам ставил вопросы и сам отвечал на них. Съезд услышал, почему Антанте пришлось убрать из России свои войска и почему ряд представителей французской интеллигенции во главе с Анатолем Франсом выступил против вмешательства империалистов в дела русской революции. Принимая вызов врагов, Ленин сказал:

— Нас всегда обвиняли в терроризме. Это ходячее обвинение, которое не сходит со страниц печати. Это обвинение в том, что мы ввели терроризм в принцип.— Ленин презрительно поморщился.— Мы отвечаем на это: «Вы сами не верите в такую клевету».

Потом съезд услышал, что написал по этому поводу известный французский историк Олар: «Я учился истории и учил ей. Когда я читаю, что у большевиков только уроды, монстры и пугала, я говорю: то же самое писали про Робеспьера и Дантона».

Театр колыхнулся от смеха, а Саша удивилась: «Робеспьер? Дантон? И рядом Ленин?» Девушка представила себе Ленина рядом с Робеспьером в напудренном парике. И ее тоже взял смех. Ленина в партии ставили в ряд только с Марксом.

«А съезд Советов, это, по их представлению, что? Конвент? — спрашивала она себя.— Большевики — монтаньяры?»

И вдруг услыхала ритмический стук — указательный палец Ленина стучал по столу.

— Нам террор был навязан. Забывают о том, что терроризм был вызван нашествием всемирно-могущественной Антанты... Если бы мы попробовали на эти войска, созданные международным хищничеством, озверевшие от войны, действовать словами, убеждением, воздействовать как-нибудь иначе, не террором, мы бы не продержались и двух месяцев, мы бы были глупцами.

Делегаты кивали головами, шушукались, выражая согласие, одобрение.

А Ленин продолжал:

— Крестьяне знают теперь, что диктатура пролетариата, может быть, и слишком мудреное латинское слово, но что оно на практике есть та Советская власть, которая передает государственный аппарат в руки рабочих.

«Как просто!» — поразилась Саша.

Переход от международных дел к внутренним задачам был плавным, хотя и неожиданным. Три раза повторил Ленин хватательное движение

пальцами и перечислил три задачи: хлеб, топливо, борьба с тифом.

— Или вши победят социализм, или социализм победит вшей! — воскликнул он.

Съезд был возбужден.

— Позади лежит главная полоса гражданских войн...— говорил Ленин.— Впереди — главная полоса того мирного строительства, которое всех нас привлекает, которого мы хотим, которое мы должны творить и которому мы посвятим все свои усилия и всю свою жизнь.

Казалось, не с трибуны говорит Ленин, а с какой-то недосягаемой высоты, откуда раскрывается перед ним далекий горизонт. И все-все подались вперед, словно вместе с Лениным пытались они заглянуть туда, где уже видно будущее.

— Перед нами открывается дорога мирного строительства!..— восклицал Ленин. И снова огромный зал колыхался в своем движении вперед, туда, к нему, и к будущему. И на лицах застыло счастливое изумление: «Неужто уже видна мирная дорога? Все вокруг еще дымится в огне и крови, а уже брезжит рассвет труда?»

— В этом деле мирного строительства мы в ближайшие годы сотворим несравненно бóльшие чудеса, чем мы совершили за эти два года...— сказал Ленин. Под ликование съезда он покинул трибуну.

* * *

Поздний декабрьский вечер стоял над городом. В нетопленных, скудно освещенных жилищах Москвы отходили ко сну очень голодные люди. Улицы столицы, как поле невиданной битвы, были сплошь в снежных траншеях и брустверах сугробов. Снег не убирали и не вывозили. С тротуаров не видать было мостовой. Белую тишину замороженного вечера будоражили голоса. Со съезда расходились делегаты. Они пробирались снежными траншеями узких московских тротуаров.

В морозном воздухе носились жаркие слова надежды, мечты, предчувствия нового.

— Придет времечко — Ильич говорит: скоро! — и за Москву-матушку возьмемся. Перестроим старушку. Все заново сделаем. По-пролетарски!

А в «Правду» уже примчались со съезда сотрудники, и в красном кирпичном корпусе во дворе на Тверской сразу начался ночной аврал — как всегда в дни съездов.

Вскоре на стол лег «живой отчет» доклада Ленина. Саша проверила его после машинки, Мария Ильинична прочитала внимательно.

— Хороший отчет... Посмотрите, пожалуйста! — И протянула одному из редакторов, сидевшему тут же.

— Да, хороший! — согласился редактор.— Можно сдавать.

— Нет, Мария Ильинична, нет! — огорчилась Саша и стала качать головой.— Я думала, иначе все будет написано. Ведь если отчет «живой», то нужно, чтобы все увидели Ленина. Нужно показать, как он все объяснял, вот так и потом вот так,— Саша то вытягивала указательный палец, то мерно отсчитывала такт,— и как он поднимал и опускал вот так доказательный палец!

Хохот оборвал Сашу.

— До-о-о-казательный?! — воскликнула Мария Ильинична.— До-казательный палец?!

Саша смущенно умолкла. Она поняла, что оговорилась.

А Мария Ильинична взмахивала руками.

— По-оказала! До-оказала! — и вновь смеялась: — До-о-о-казательный!

— Ну, оговорка не такая уж плохая и даже не случайная. — Редактор улыбнулся самому себе мягчайшей улыбкой.— Не расстраивайтесь, Саша. Палец у Владимира Ильича и на самом деле не столько *у*-казательный, сколько *до*-казательный! Прежде чем Ильич нам *у*-кажет, он сто раз *до*-кажет!

Стараясь скрыть свое смущение, Саша сосредоточенно, чересчур сосредоточенно свертывала в трубочку отчет, который посылала в набор. А в ушах и взволнованном сердце отдавались ударами невидимого молоточка слова ленинской речи, неотделимые в памяти от движения его «доказательного» пальца.

2. Сражение с Мартовым

Шел второй день съезда. Уже наступил вечер, и москвичи расходились с субботников, когда в Большом начались прения по докладу председателя Совнаркома. Первым против Ленина выступил Мартов. Лидер меньшевиков. Главарь оппортунистов...

«Так вот он какой, Мартов!» — удивилась Саша. Худой, сутулый. Шаркающей походкой идет по сцене, чтобы подняться на трибуну.

Как же может так уныло, словно нехотя, волочить ноги противник, выходящий на политическую дуэль? Большевики совсем иначе ходят, иначе выглядят. И почему Ленин любил когда-то Мартова? Мария Ильинична как-то пропела: «Любил он Мартушку, любил, пока совсем не разлюбил!» А Стасова даже помнит строчку из «Туруханки», сочиненной Мартовым в ссылке о рано полысевшем Ильиче: «Лавр, чудо, как к лысине идет!»

Саша все пристальнее вглядывалась в Мартова. Впалая грудь. Нервная худая рука. По облику — тип старого журналиста... Весь какой-то прокуренный, продымленный...

Когда Мартов появился на трибуне, Саша увидела близко-близко его лицо — тонкое, узкое, с удлиненными влажными глазами.

Он морщил лоб, немного прикрытый начесом волос, падающих от бокового пробора... Близоруко, с несколько беспомощным выражением вглядывался в партер, словно ища там поддержки в том трудном деле, на какое вышел...

Мартов заговорил хриплым голосом, покашливая:

— ...В связи с тем, что мы слышали об успехах военной политики... В докладе главы правительства... Мы в качестве оппозиционной партии можем только приветствовать и поддержать эту линию внешней политики Советского правительства...

— Вот какие выраженья, мать честная, в воскресенье! — хлопнул себя по колену, обтянутому черной кожей галифе, Сашин сосед, московский рабочий, командовавший Северной армией. То была его любимая поговорка.— Отшлифовали русские меньшевички язык-то! Как в Европах! Дебаты! Дипломаты-аблакаты! Честь честью!

По-прежнему откашливаясь и хрипя, Мартов признал и даже приветствовал победы Красной Армии.

— А что год назад говорил? Забыл? — ехидно напомнил все тот же неугомонный северный командарм.

— Что он говорил? — спросила Саша.— Я не знаю. Меня тогда не было в Москве.

— А то говорил, что никакой, дескать, армии вы, большевики, не создадите и дело ваше погиблое, и фундамент гнилой, и все тут! А мы, можно сказать, под ножом, который нам вот тут к самому горлу приставили, решили тогда на съезде создать Красную Армию — и никаких гвоздей! И создали! Вот год прошел — и побили белых. Ну, теперь мень-

шевички, конечно. приветствуют такое дело. А раньше? Только каркали: «Гибель! Гибель!» Эдакие вороны!

И рабочий-командарм с лицом круглым и смуглым, как орешек, так презрительно сверкнул колючим серым глазом, что и Саше передалась вся мера его негодования и презрения.

Мартов, между тем, продолжал свою сравнительно мирную речь.

«О, как тонко, как осторожно, как дипломатично!» — было написано в хитром взгляде Ленина, которым он как бы сопровождал речь своего противника, с кем когда-то, давно, дружил, но потом разошелся навсегда.

— ...Империализм Антанты, о котором председатель Совнаркома говорил,— все чаще откашливался Мартов. — ...Как выразился докладчик Совнаркома...

Саша вслушивалась в его слова. Что-то все больше раздражало ее в этой речи. Что? Может быть, слово «кафедра»? Почему кафедра, а не трибуна? Здесь ведь съезд Советов! Здесь не лекции читают и не проповеди! Это трибуна. Трибуна революции!

«Ни разу не назвал Ленина по имени! — догадалась наконец Саша.— «Докладчик Совнаркома...» Это он о Ленине! Это он нашего Ильича так официально?..»

И чувство естественного и столь понятного любопытства, владевшее вначале Сашей, когда она впервые в жизни увидела человека, положившего на Втором съезде партии начало меньшевизму и который сравнительно с грузным Даном и светским, лошадеподобным Сухановым показался ей на вид более симпатичным, сменилось теперь неприязнью. И хотя Мартов еще ничего особо враждебного по адресу большевиков не сказал, Саша слушала его уже не с любопытством, а настороженно и враждебно.

Вчера и сегодня, когда выступали молодые полководцы Красной Армии (их имена еще только прорезались в небе истории), каждое слово звучало героической поэзией и, казалось, вылетало из огненного кратера революции — до того опаляли их речи Сашину душу. Теперь же Мартов своими витиеватыми словами сплетал причудливую паутину осторожных полупризнаний, полунамеков, предупреждений, чем все больше и больше вызывал неприязнь Саши.

Закончив наконец свою речь, лидер меньшевиков расправил большой лист бумаги и заявил, что сейчас огласит декларацию, которую меньшевистская фракция «имеет честь внести на нынешний съезд».

Сразу дипломатически-примирительный тон сменился резко-оппозиционными выпадами. Мартов читал: «Съезд Советов запоздал... ЦИК не собирался целую сессию... Конституция не соблюдается...»

Мартов передоверил декларации все нападки на правящую партию. Но каждый его выпад делегаты тут же парировали репликами с мест:

— Съезд запоздал? Мы били Колчака, Юденича, Деникина! Не знаете, что ли?

— ЦИК не собирался? Он был на фронте! Весь, целиком!

Вдруг Мартов заговорил о революционном терроре. Все поняли — именно по этому вопросу он решил дать Ленину бой. Съезд зашумел:

— Без ЧК? А заговоры?

В глубине сцены стоял Дзержинский. Высокий, худой, усталый, председатель Всероссийской ЧК был в защитной гимнастерке, галифе, сапогах. На впалых щеках пятна чахоточного румянца, нажитого в тюремных камерах.

С ним разговаривал закованный в черную кожу чекист. Дзержинский слушал его, повернув голову к трибуне. Серовато-голубые, с красными прожилками глаза предчека смотрели на Мартова пристально.

В этом взгляде Саша вычитывала все, что, казалось ей, хотел и мог бы сказать Дзержинский... Ведь председателю ВЧК не раз приходилось отвечать на запросы оппозиционных фракций по поводу арестов. Совсем недавно, когда анархисты бросили в Московский Комитет бомбу, разорвавшую Загорского с товарищами, депутат-анархист Павлов сделал на пленуме Московского Совета в Колонном зале запрос Дзержинскому:

— Почему вы арестовали анархистов?

— Потому что анархисты взорвали МК, убили, ранили десятки революционеров,— ответил предчека.

— Эти мирные. Они не с боевиками,— заявил Павлов.

— Ну, каждому анархисту в душу не влезешь,— сказал Дзержинский.— Раз анархисты сами заявили, что они перешли к террору против нас, мы берем анархистов. А если попались мирные, проверим и отпустим...

Этот ответ, откровенный и справедливый, припомнила теперь, на съезде, Саша, глядя, как слушает предчека нападки меньшевиков на учреждение, которое он возглавил.

«Дзержинский, наверно, тоже сейчас вспоминает все-все,— думала Саша,— как стреляли эсеры в Ленина, как бросили анархисты в МК адскую машину...»

А Мартов по-прежнему читал декларацию, осуждающую революционный террор.

— Довольно! Слыхали! Надоело!— негодовал съезд.

— Самое неприятное уже прочитал...— прохрипел ехидно Мартов.

— Мартов, а это у вас не прошлогодняя декларация?— вдруг спросили из президиума.

— Да, прошлогодняя,— признался Мартов, сраженный неожиданным и таким метким вопросом. И злобно добавил:— Прошлогодняя — и на веки веков!— Он посмотрел упрямо поверх очков и вдруг стал похож на бодливое животное.

Делегаты захохотали, зашумели пуще прежнего.

— Что же новую не написали? Все зады повторяете?

— Довольно-о-о!— закричали сразу из разных лож.

— Я кончаю,— торопливо проговорил Мартов, спеша дочитать начатое.— Я уже кончил... почти кончил,— заверял он.— Я хочу кончить...

Но никто больше не слушал его. Лишь один человек в этом бушующем собрании девятнадцатого года был совершенно спокоен. Ленин. Лучше всех и дольше всех знал он Мартова и теперь равнодушно водил карандашом по бумаге. Только изредка, когда уж очень метко разила Мартова чья-либо реплика с места, Ленин поднимал голову, с любопытством оглядывал бурлящий зал и вновь склонялся над бумагой.

— Я кончил,— зло прохрипел Мартов и, стараясь неловким движением засунуть в карман декларацию, сошел со сцены.

А прения продолжались. Один за другим всходили на трибуну представители всех оппортунистических партий в России. И каждый из них повторял вслед за Мартовым все одни и те же нападки на диктатуру пролетариата и партию большевиков, руководившую диктатурой.

При каждом появлении нового политического противника Саша смотрела на Ленина. Как он реагирует? Ленин сидел по-прежнему спокойно, но явно скучал. Как на старом, уже приевшемся, неинтересном спектакле. «Ничего нового, ну ничегошеньки!»— говорил его скучающий глаз.

Наконец все оппортунисты отговорили. Прения закончились. Ленин вышел из-за стола президиума, чтобы сделать заключительное слово.

Сначала он, как и все ораторы, направился было к трибуне. Но у ступеньки, ведущей на нее, вдруг остановился, словно раздумывал — подниматься ли? И не взошел на трибуну, а шагнул вперед, на авансцену.

Невысокий, плотный, коренастый Ленин остановился перед трибуной, уперся ногами в пол и чуть-чуть расставил локти.

Съезд насторожился.

— Сейчас Ленин им покажет!— проговорил кто-то позади Саши.

— Будут помнить до новых веников,— откликнулся другой.

Это было давнее любимое выражение Ильича, еще до революции, в годы неистовых споров с оппортунистами.

Но, против ожидания, Ленин удивительно весело и даже несколько беспечно оглядел зал. Не было в его лице ни гнева, ни негодования. В глазах светился огонечек усмешки.

Сейчас начнется нечто очень веселое!— обещало его слегка задорное, чуть-чуть усмехающееся, освещенное ярким светом лицо.

Он сразу же, едва начал говорить, поймал Мартова на противоречии между дипломатически-примирительным тоном речи и откровенно-враждебной декларацией: речь относится к концу девятнадцатого года, когда Красная Армия уже одержала победы, а декларация повторяет то, что меньшевики говорили еще в восемнадцатом году.

— Мартов даже заявил, что эта декларация «на веки веков».— Брови Ленина полезли вверх и лицо изобразило деланный испуг. Но сразу лукавая, уже нескрываемая усмешка заиграла в суженных темных глазах Ильича, и он проговорил: — Я бы тут все-таки позволил себе взять в защиту меньшевиков от Мартова.

Съезд захохотал, зашумел, закричал:

— Ленин защищает меньшевиков! Ха-ха-ха! От Мартова защищает! Ох!

А Ленин, между тем, пошел быстрыми, частыми шажками по косой к самому краю сцены и, словно по секрету, сообщил съезду:

— Ибо я, товарищи, наблюдал развитие и прохождение деятельности меньшевиков, пожалуй, больше и внимательнее— что вовсе не было так приятно,— чем кто бы то ни было другой. И, на основании этого пятнадцатилетнего наблюдения, я утверждаю, что декларация эта не только «на веки веков», но и на один день не останется.

И Ленин безнадежно махнул рукой.

Голос оратора свободно достигал высоких балконов. Слова, произносимые вытянутыми, твердо собранными губами, чуть удлинялись на гласных и взлетали вверх удивительно легко, без напряжения и срывов.

— Эта декларация, если вы снимете с нее оболочку общих демократических фраз и парламентарных выражений, которые сделали бы честь любому вождю парламентской оппозиции, если вы отбросите в сторону эти речи, которые многим нравятся, а нам кажутся скучными, и возьмете настоящую суть дела, то вся декларация насквозь говорит: назад, к буржуазной демократии, и ничего больше.

В этом месте Ленин вдруг остановился, шаркнул каблуком, словно растер что-то под ногой, и с лукавой иронией проговорил:

— И вот когда мы слышим такие декларации от людей, заявляющих о сочувствии нам, мы говорим себе: нет, и террор и ЧК — вещь абсолютно необходимая.

В зале долго раскатывался смех. А Ленин, шагая вдоль авансцены, ритмично отводил согнутую в локте руку, словно загребал веслом. И так, на ходу, продолжал он свой спор с Мартовым.

— Под такой декларацией и правый меньшевик и правый эсер подпишутся сейчас обеими руками. Я имею доказательство этому...

Ленин хлопнул ладонями, словно поймал в них моль. Этой «молью» был Розанов. Тот печально-памятный меньшевик, который совсем недавно, в отчаянные для революции дни осени, был неожиданно обнаружен ЧК в штаб-квартире буржуазного контрреволюционного заговора в Москве, у известного домовладельца Щепкина.

Потом Ленин разнял ладони, словно выронил Розанова, и продолжал свой путь вдоль рампы. С лица уже исчезло лукавство. Ленин заговорил проникновенно, искренне:

— Когда нам говорят: «Ваши ЧК либо надо убрать, либо лучше организовать», то, товарищи, мы отвечаем: мы не претендуем на то, что все, что мы делаем, это — лучшее, и учиться мы без малейшего предубеждения готовы и рады.

Слова звучали размеренно, в ритм взмахам руки.

— Но если учить нас, как поставить охрану от помещичьих, белогвардейских сынков и офицеров, хотят те люди, которые были в Учредительном собрании, то мы им отвечаем: ведь вы были у власти и с Керенским боролись против Корнилова, и с Колчаком были, и вас оттуда без борьбы, как детей, выкидывали вон эти же самые белогвардейцы.

Ленин вдруг двинул плечами и так выкинул руки, как будто и в самом деле скидывал меньшевиков со сцены.

— И вы еще после этого говорите, что наши ЧК плохо организованы? — спросил он, презрительно щуря глаз.— Нет! ЧК у нас организованы великолепно! — воскликнул Ленин и вскинул голову.

Сразу загремели, застучали, захлопали тысячи ладоней. А Ленин, обрывая шум, простер к собравшимся руки. Он обращался не к противникам, а к своим товарищам.

— Когда мы только-только выходим на дорогу, тогда эти люди говорят: «У вас преувеличенный террор!»

При этом, как бы подражая противнику, Ленин нахохлился, смешно вобрал голову и поднял плечи.

— А сколько недель тому назад Юденич стоял в нескольких верстах от Петрограда, а Деникин от Орла? — спрашивал он, зацепившись пальцами за проймы жилета.— Сколько? Нам говорят: «Советы редко собираются, не перевыбираются достаточно часто...» Мы ведем борьбу с Колчаком, с Деникиным и с другими — их была не одна душа,— то надвигаясь на партер, то отступая к президиуму, разъяснял Ленин спокойным, внушительным тоном рассудительного хозяина.— ...Работники скакали на фронт, как они бросаются теперь сотнями и тысячами на топливную работу... Если это куплено ценою того, что в течение нескольких месяцев реже будут собираться Советы, то не найдется ни одного разумного рабочего или крестьянина, который не понял бы необходимости этого, который не одобрил бы этого.

Саша слушала, и все-все пленяло ее в ораторе. И его непрерывное движение по авансцене. И веселая игра улыбок на лукавом лице. И то, как просто и легко, порой даже играючи, разделывался он с Мартовым. И особенно то, что Ленин не играл, подобно Мартову, ни в дипломатию, ни в парламентаризм и называл Мартова просто по фамилии, в то время как Мартов предпочитал выражения: «Глава правительства...», «Имеет честь...»

«В Мартове все-все отдает старым, уже отвергнутым революцией,— думала Саша.— А все, что говорит Ленин,— сама революция!»

— Нас упрекают все ораторы оппозиции, что мы не соблюдаем Конституции...— продолжал Ленин.— Я утверждаю, что мы Конституцию соблюдаем строжайшим образом...

— О-го-о!— раздалось в большой ложе оппозиции.

Ленин вскинул голову и молниеносно парировал:

— И хотя из ложи, которая в прежние времена была ложей царской, а теперь является ложей оппозиции (смех побежал по рядам), я слышу иронический возглас «ого!»,— тем не менее я сейчас это докажу.

Ленин обратился прямо туда, в бывшую царскую ложу:

— Я прочту вам тот пункт Конституции, который мы строжайше соблюдаем...

С жарким весельем в пришуренных глазах, не обещавших противникам ничего хорошего, он зачитал параграф 23. Зачитал с таким видом, словно засучил рукава и принялся за работу. Съезд сразу пришел в движение. Этот знаменитый параграф первой Конституции первого на земле государства рабочих и крестьян лишал прав тех, кто пользуется ими в ущерб интересам социалистической революции. Именно он вызывал ярость российских оппортунистов.

— Если вы хотите воевать,— сказал Ленин,— давайте воевать вчистую.

И с пленительной хитрецой спросил:

— Если вы хотите, чтобы мы соблюдали Конституцию, то хотите ли вы, чтобы соблюдался и параграф 23-й?

Царская ложа молчала.

— Никогда мы не рассматривали нашу деятельность вообще и свою Конституцию в частности образцом совершенства,— заметил, между тем, оратор.

«Очень нужно еще внимание на них обращать,— подумала Саша с обидой.— Они только ищут, к чему бы придраться, что бы такое осмеять у нас. А пусть попробуют сами воевать и работать, как большевики... Легко в сторонке стоять да все охаивать...»

А Ленин уже перешел от обороны к нападению. Оно было стремительным.

— Вы учились конституционному праву великолепно,— признал он заслуги оппортунистов и, сделав маленькую паузу, добавил:— но по старым буржуазным учебникам.— и тут он снова шаркнул ногой и как будто придавил что-то каблуком.— Вы вспоминаете слова о «свободе и демократии»... обещаете народу все, для того, чтобы этого не исполнять. А мы ничего такого не обещаем... Мы не обещаем, что Конституция обеспечивает свободу и равенство вообще.

Ленин посмотрел в ложу оппозиции и спросил в упор:

— Свобода,— но для какого класса и для какого употребления?

И постоял секунду на месте, как бы выжидая ответа.

Ложа молчала.

— Равенство,— но кого с кем?

Ложа молчала.

— Тех, кто трудится, кого эксплуатировала десятки и сотни лет буржуазия и кто сейчас борется против буржуазии?— допытывался оратор и тут же отвечал: — Это и сказано в Конституции: диктатура рабочих и беднейшего крестьянства для подавления буржуазии.

Все громче и громче, точно перекликаясь с берега на берег, спрашивал Ленин всех сидевших в бывшей царской ложе:

— Почему вы, когда разговариваете о Конституции, не цитируете этих слов: «для подавления буржуазии, для подавления спекулянтов»?

Ложа молчала.

А Ленин, снова шаркнув резко ногой, сделал разворот рукой и пошел в обратный путь — мимо партера, мимо аплодисментов, смеха, восклицаний...

— Что за речь! — восхитился Сашин сосед.— Заиграл Ильич на своей струне...

— Да, на басовой заиграл,— поддержал другой.

И Саша разделила их восхищение. Вот этого Ленина, который так неожиданно весело, остроумно спорил с оппортунистами, она видела первый раз. Казалось, исчезло все — торжественная сцена, театральный зал с высокими ярусами, яркие огни... Ничего нет. И не на съезде, а у себя дома, в своей комнате, увлеченно, запросто спорит с кем-то Ленин. Побегает-побегает, вдруг подступит вплотную к тому и давай втолковывать... Отступит, вновь подойдет, выпалит беспощадную правду, выпалит в самое лицо, в упор. И опять ходит, ходит, доказывает, внушает, опровергает...

— Покажите нам образец вашей прекрасной меньшевистской конституции,— обратился вдруг Ленин к Мартову.

Мартов молчал.

— Может быть, найдете такой образец хотя бы в истории Самары, где была меньшевистская власть? — подсказал Ленин и шутливо насторожился.

Мартов молчал.

— Может быть, вы найдете его в Грузии, где сейчас меньшевистская власть, где подавление буржуазии, то есть подавление спекулянтов, происходит на началах полной свободы и равенства, на началах последовательной демократии и без ЧК?

Ложа оппозиции была нема.

— Покажите такой пример, и мы поучимся.— Ленин протянул руку с комично-покорной готовностью поучиться у соглашателей и ревизионистов искусству подавления буржуазии и спекулянтов демократично, без ЧК.

Ни единый возглас не донесся из ложи оппозиции. Противник молчал. Стрелы ленинской иронии разили метко и наповал.

— Но вы и показать этого не можете,— Ленин снова шагал по краю сцены,— ибо вы знаете, что во всех местах, где держится соглашательская власть, меньшевистская или полуменьшевистская, там царит бешеная, разнузданная спекуляция.

Ленин снова очутился впереди трибуны. Отсюда начал он сегодня свое продвижение по сцене. Теперь он заговорил о Европе. Съезд услышал, что и Вена, где после войны сидят в правительстве австрийские меньшевики, Вена, которая не знает «ужасов большевизма», голодает и мучится сильнее Москвы и Петрограда.

Венская буржуазия творит чудовищные преступления по части спекуляции и грабежа на Невском проспекте и Кузнецком мосту Вены, сообщил Ленин.

Съезд взволнованно внимал его словам.

Уже другой Ленин, без полемического задора, суровый, непреклонный, стоял теперь перед делегатами и произносил:

— Параграфом 23 мы говорим, что для переходного периода не рисуем молочных рек и кисельных берегов...

— Да, не рисуем...— кивали в ответ делегаты.

— Наша Конституция не отличается краснобайством!

И вдруг, словно до тошноты надоели и осточертели ему все эти распри и долгая тяжба с оппортунистами, махнул он рукой и неожиданно приветливо обратился лицом к ложе оппозиции и объявил всем сидящим там:

— Кто нам хочет помогать, того мы принимаем с величайшей радостью, независимо от его прошлого, не считаясь ни с какими названиями.

Речь подходила к концу, и голос оратора зазвучал предельно страстно:

— И мы знаем, что таких людей из других партий и беспартийных к нам идет все больше и больше и этим обеспечивается наша победа!

Так закончил Ленин.

— Браво! — загремел съезд.

— Браво! — пошло грохотать и перекатываться громом по взволнованным рядам и высоким ярусам.

* * *

Ленин уже уехал со съезда, но делегаты не разошлись. Происходило нечто новое, необычное. Съезд разделился на секции — топливную, продовольственную, здравоохранения. Начинали с того, что Ленин вчера назвал фундаментом мирной работы. Воины переходили к строительству, хотя впереди еще были жестокие битвы гражданской войны.

Остролицый военный, тот самый, с обликом вечного студента, который арестовал Временное правительство, возглавил теперь продовольственную секцию. И, как накануне, снова образовались на сцене кружки, и в них товарищи толковали о Ленине и его речи.

— Ну, сегодня Ильич выступал, как никогда!

— Да, наш старик был в ударе!

— Вот удар и хватил меньшевиков.

— Остались от Мартова рожки да ножки!

— Ну, поговорили они сегодня между собой...

Тут все стали вспоминать Плеханова... Почему сошел он с арены рабочего движения и почему место на этой арене занял Ленин.

Пока сотрудники «Правды» добывали стенограммы, заканчивали свои записи, Саша, пользуясь возможностью, жадно слушала разговоры. Большевики, из тех, кто свершил Октябрь, говорили об особом, новом типе вождя, которого партия имеет в лице Ленина.

— Он один-единственный из всех бывших во Втором Интернационале соединил теорию с практикой,— говорил один.

— И при своем интернационализме, как он национален! — восклицал другой...

Вдруг, словно заключая главу еще никем не написанной книги о том, кто же такой Ленин, в разговор вступил человек, седеющий, как бобер, вооруженный двумя парами очков, известный всей стране своей многотомной историей России. Большевик и ученый, революционер и профессор, Михаил Николаевич Покровский проговорил своим скрипучим голосом:

— Теоретиков много, и они появляются все же часто. А Ленин рождается раз в столетие.

Так вот оно что! Пораженная этим, Саша вслед за ученым пошла с бурлящего собрания прямо в морозную жуть и темь московской ночной пустыни безмолвных, словно вымерших улиц.

— Михаил Николаевич, простите, у меня к вам просьба, вернее вопрос, для меня он очень важен,— обратилась она к Покровскому.— Все, что я слышала сегодня, когда товарищ Ленин отвечал этим меньшевикам, и все, что потом говорили товарищи и вы,— все это, я чувствую, мне надо изучать. Я вижу — я совсем еще не подготовлена и не остановила свой выбор. Но мне кажется, что это история. Меня волнует, я хочу сказать — интересует, как складывается вождь, вот личность, которая...

— Которая как бы отбирается историей для своей роли,— подсказал ученый, видя, с каким смущением подыскивает девушка слова.— История, которой мы свидетели и участники,— это как бы перевал, который берет человечество. Ее будут изучать вот по этим съездам, речам. Если вы хотите изучать историю, то первооснова этой науки — документальность. Работа над первоисточником...

Саша с трепетом выслушала профессора, записала в книжечку час и день, который он назначил ей для приема у себя в Наркомпросе.

Огромный оледеневший дом, куда она вернулась со съезда, возвышался над узким переулком десятиэтажным айсбергом. Лифты были неподвижны в своих клетках, словно заколдованы. Напрасно скручивала Саша из газетной бумаги толстые жгутики и швыряла в голодный зев печурки, высунувшей в форточку свою жестяную трубу. Мгновенные языки пламени вспыхивали и гасли, не согревая ни комнаты, ни чайника.

Саша бросила это безнадежное дело и забралась в постель, под гору одеял и одежды. Но не было в ее душе ни леденящего оцепенения, ни голодной тоски. В сердце запела жаркая песня: она будет учиться.

Уже два года, как она покинула гимназию. Два года она училась не по мертвым учебникам, а по живой книге революции. А теперь впереди неожиданно сквозь дым гражданской войны уже прорезывается, как маяк,

университет. Скоро, скоро, сказал Ленин, начнется мирное строительство. И она, Саша, тоже начнет новую жизнь. Будет «слушать лекции». Будет «посещать семинар по рабочему движению». Будет «сдавать коллоквиум». Саша припоминала все «перспективы для коммунистического студенчества», которые рисовал Покровский. Он еще говорил о работе над первоисточниками, которые только теперь, после революции, станут доступными. Ведь открыли все государственные архивы по истории революционного движения в России.

«А интересно, как будут потом, после нас, изучать вот эту нашу революцию?» — подумала Саша. Она вспомнила все, что происходило сегодня там, на бурном съезде, в свете ярких огней огромной люстры, над которой парили нежные музы. И сознание, что это, именно это и есть самая великая история, которую будут изучать и в которую будут вглядываться, подсказало ей, что надо делать.

Она выпростала руку из-под нагромождения одеял, зажгла на столике лампочку, подтянула к себе портфельчик с пряжками на ремешках и, достав оттуда блокнот, карандаш, начала писать. Не замечая, казалось, ни холода, ни глухого часа ночи, Саша восстанавливала на бумаге все, что видела, слышала, запомнила в эти памятные два вечера. И когда ее робкий, еще неопытный карандаш передал бумаге все и подчеркнул последний жест ленинской руки, перед тем как он покинул арену сражения с Мартовым, она перечитала все записанное. Это был ее «живой отчет», о котором она втайне мечтала. И она уснула со счастливым сознанием, что нашла, возможно, свое призвание.

Тысячи таких же юношей и девушек так же спали в эту ночь в таких же ледяных постелях, грезя о недалеком уже будущем, когда, завершив борьбу с буржуазией, они примутся за науки.

А блокнот, сунутый Сашей под подушку, хранил «живой отчет» двух речей Ленина.

В этот вечер Ленин последний раз встретился с Мартовым лицом к лицу. Мартов ушел от революции навсегда и эмигрировал из Советской России.

История произнесла свой приговор.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

В своей тяжелой снежной шубе
Спит городок, глаза прикрыв,
Когда внезапно в старом клубе
Сеанс кончается, как взрыв.

Ночной покой мгновенно взломан:
Вот песня громкая слышна.
Свистят мальчишки. Говор, гомон...
И снова в мире тишина.

Дорога — улочкою гладкой,
Сиянье близкого лица.
И бесконечное, с оглядкой,
Прощанье около крыльца.

И разговор — чудной, неточный,
Где столько важных пустяков.
И дух дурманящий, цветочный
Дешевых девичьих духов.

Ведь каждый знал минуту эту,
Когда прошел уже народ,
Когда на свете слаще нету,
Чем целоваться у ворот.

И по морозцу, по морозцу,
Такою звонкою зимой,
Куря небрежно папироску,
Спешить под звездами домой.

Идти, с оградки снег сшибая,
Припоминать обрывки фраз.
А тень молочно-голубая
Тебя длиннее в десять раз.

Шагать и знать, что жизнь в избытке,
Что ты счастливый человек.
Остановиться у калитки
И папироску бросить в снег.

И, наслаждаясь ночью хрупкой,
Еще немного погодить,
Ключи нашарить под приступкой,
Войти и мать не разбудить.

ФОНТАН

Из толщи, из глуби земной,
Как самое высшее благо,
Ударил фонтан нефтяной —
Тяжелая темная влага.

Фонтан долгожданный забил,
И сразу, в мгновения эти,
Другие фонтаны затмил,
Что есть еще где-то на свете,

Что льются прозрачней стекла,
Над парком дворцовым ликуя,
И радуга ярко зажгла
Их тонко точеные струи.

Те струи взлетают, как шпиль,
И падают горкой покатой,
Роняя мельчайшую пыль
На плечи изнеженных статуй...

...А этот — он черен и груб,
Не сеет сверкающей пыли.
Но страшно он дорог и люб
Для тех, что его пробурили.

И люди застыли на миг,
Любуясь струею литою.
И можно сказать напрямик:
Не это ль зовут красотою?

У ТОЧИЛЬНОГО КРУГА

Лес снегом засыпан. Дыхания дым.
У круга точильного ночью стоим.

Я ручку верчу, тешу силу свою,
Как будто тяну из колодца бадью.

Точило, вращаясь, идет тяжело.
Горят топоры под луной, как стекло.

А искры блестят, будто брызги летят.
Ах, сколько же дней это было назад!

Ах, сколько же зим отшумело с тех пор,
Как перед работой точил я топор.

Точил — говорил: «Ты, браток, не шути,
Точило, дружок, веселее крути.

Чтоб по лесу вновь зазвучали щелчки,
Когда топором обрубают сучки.

Чтоб был мой топор, будто бритва, остер,
Чтоб камень зазубрины с лезвия стер!..»

Стоял я тогда у начала начал,
И палец из варежки драной торчал.

Вращаясь, точило тяжелое шло,
И лишь от луны да от снега светло.

«Крути веселей!»— Прибаутки и смех.
А с сосен медлительно падает снег.

И рвется тревожно в морозную даль
Звук резкий: то камня касается сталь.

ЧИСТКА КАРТОФЕЛЯ

(Из армейской тетради)

— Что там, в роте, спятили?
Ведь пусты котлы.
Сколько всех вас?..
— Пятеро,
Но зато орлы!..

Каждый по традиции
С собственным ножом.
В круг спешим садиться мы,
Время бережем.

Мой товарищ заспанный,
Молодой, как я.
И постарше — пасмурный:
У того — семья.

И из заключения
Парень хоть куда,
Бросивший учение
В прошлые года.

И мобилизованный
Прямо из Москвы,
Сильно образованный —
С ним мы все на вы.

В позе чуть расслабленной
Мы сидим кружком
Перед тем поставленным
На попа
мешком.

Женское занятие
Не коробит нас.
Смешаны понятия,
Важен лишь приказ.

Не сказали б сроду мы,
Что вот здесь — война...
Как дорога до дому,
Ночь длинным-длинна.

Разговоры разные
Можно говорить,
Вымыть руки грязные
Да и закурить.

Песня плавно катится
Медленной рекой.
Я до службы, кажется,
И не знал такой.

Неспокойно в городе,
И под стук копыт,
Утомлен и голоден,
Батальон храпит.

Канонада дальняя.
Ночь течет, свежа.
Кожура спиральная
Падает с ножа.

ПЛОТНИК

Не в кино, не в стихах, не на сценах —
Сколько в жизни рабочей своей
Он поставил домов пятистенных,
Клубов, яслей, больниц, блиндажей!

Сколько верст с топором и с пилою
Им исхожено в дождь и в метель.
Он еще, как во время былое,
Называет бригаду — артель.

Знает дело любого почище,
И, как прежде, нетрудно ему
К топору подогнать топорище
Или дверь перевесить в дому.

И едва ль не по всей по России,
Где-то там, у него за спиной,
Прочно свитые гнезда людские
Золотятся смолистой сосной.

И какие б ветра ни гудели,
Ярко светятся окна огнем.
Человек, понимающий в деле,
С похвалой отзовется о нем:

Жил на свете спокойно и ровно,
Твердо знал, что в работе не гость.
Как по струнке обтесывал бревна,
С двух ударов утапливал гвоздь.

ВПЕРВЫЕ

С закадычной подружкою в паре
Танцевала свободней она,
А сейчас, когда вел ее парень,
Чуть в движеньях была стеснена.

Посредине веселого роя,
В толчее, они были одни.
На других натыкаясь порою,
Словно вдруг пробуждались они.

Люди смотрят — обоим казалось.
У него над губою пушок.
Даже бритва еще не касалась
Этих чистых мальчишеских щек.

Над кипеньем районного сада
Осень пышных не тронула куп,
Как еще не коснулась помада
Этих пухлых девических губ.

ПЕЙЗАЖ

Все точно, только вверх ногами
В речной воде отражено:
Лужок со свежими стогами,
Дома, церквушка и гумно.

Березки тихие над яром,
Девчонка в платье голубом.
Лишь солнце кажется не шаром,
А длинным огненным столбом.

Прошла моторка-тараторка
И взбаламутила реку.
Плывет баржа... Арбуза корка
Волной прибита к ивняку.

Среди равнинного покоя,
Перед суровым полотном,
Сидит художник над рекою
На детском стульчике складном.

Над желтизной прибрежной мели,
Как снайпер, щурит левый глаз.
Он каждый день, уже неделю,
Сюда приходит в тот же час.

И часто, словно шутки ради,
Приходит женщина сюда
И долго смотрит, стоя сзади,
Как на холсте живет вода,

Как по холсту баржа большая
Плывет и как течет река,
Неторопливо отражая
Дома, стога и облака.

НАЧАЛО ЗИМЫ

В Рязани носят катанки,
А где-нибудь на Хатанге —
Высокие пимы
По случаю зимы.

Какие расстояния!
Глаза слепит сияние.
Снежинок кутерьма,
Зима, зима, зима.

Густые, непорочные,
Пока еще непрочные,
Но пышные снега
Нам бросила пурга.

Смешная, неумелая,
Пока еще несмелая,
Но все же в даль маня,
Бежит-блестит лыжня.

МОИ СТИХИ

Мои стихи живые,
Моей души запал,
Писал их, как впервые,
Порой ночей не спал...

Журнала книжку эту,
Где есть мой скромный труд,
Потом несут по свету,
На поездах везут.

Потом далекий отзвук
Дойдет обратно к нам:
Или напишут отзыв,
Иль их услышишь сам.

И счастлив я бываю,
Порывисто дышу.
Я их не забываю,
Хоть новые пишу.

Они живут на свете
Среди большого дня,
Как выросшие дети,
Отдельно от меня.

ПАВЕЛ ХАЛОВ

*

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ОГНИ ЧУЖОГО ГОРОДА

Огни чужого города.
Впервые
Его туман мне щеки холодит,
И улицы загадочны кривые,
И берега, одетые в гранит.

И все как в детстве,
все — еще начало.
И я понять пришел издалека
И грусть людскую у немых причалов,
И валкую походку моряка.

Еще по мне скользят чужие взгляды,
Еще прохожим очень все равно,
Что это сердце бьется с ними рядом,
Что эти руки с ними заодно...

Мне все понятней города заботы,
И радость,
и короткая беда.
Как будто встречу я вот-вот кого-то,
С кем не расстанусь больше никогда.

ЦУСИМСКИЙ ПРОЛИВ

Цусимский пролив, голубая вода.
Цусимский пролив — не забыта беда.

Не писан закон, но традиция есть:
Героям погибшим — моряцкую честь.

Сирена рыдает, сирена звучит.
Сирена в российское сердце стучит.

Под нами, под нами в кромешной дали
Родимые русские спят корабли.

Никто не скомандует с мостиков: «Товсь!»
Не слышат акустики наших винтов,

Не знают матросы, что в нашем краю
О них неумершие песни поют.

...В Цусимском проливе вода солона.
Горюча, как слезы людские, она.

А слева, всего в полумиле от нас,
С приспущенным флагом японский баркас.

В безветренном шелковом небе над ним
Печальным висит иероглифом дым.

И несколько смелых японских ребят
На палубе шаткой в молчанье стоят.

г. Хабаровск.

ВИКТОР КИН

★

ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОГО РОМАНА

Советским читателям хорошо известна книга Виктора Кина «По ту сторону». Последние годы своей жизни Виктор Кин работал над романом о редакции газеты, о журналистах, об уже знакомом читателям Безайсе. Роман этот, так же как и «По ту сторону», в значительной степени основан на автобиографическом материале.

Роман остался незавершенным. Ниже мы публикуем главы из него, а также автобиографический отрывок «Мой отъезд на польский фронт».

I. Экзамены

1

Когда в двадцать третьем году Безайс приехал в Москву, на него разом обрушились неприятности. Прежде всего у него украли вещи. Вор был суровый, деловитый мужчина с большой бородой; он ограбил Безайса грубо, с наглой откровенностью, даже не пытаясь смягчить свое поведение. Неторопливо, почти задумчиво, он взял полосатый, из матрасной материи сшитый мешок и вдруг мелкой рысью побежал в ворота, пренебрежительно поглядывая через плечо на Безайса. Около забора он задержался, перекинул мешок, а потом полез сам, перевалившись животом и показывая толстые ноги в пошлых зеленых носках. Безайс постоял, ожидая чего-то, потом подошел к забору и сквозь щель с недоумением разглядывал широкую спину убегавшего вора; полосатый мешок мелькал между грудами ржавого, порванного железа и кирпичного лома. Вышел дворник, подошел к Безайсу и строго сказал, что смотреть тут нельзя и смотреть нечего.

— Неужели? — обиделся вдруг Безайс, сердито сдвигая фуражку на затылок.— Нельзя даже посмотреть, как вор уносит твои собственные вещи?

Но потом он что-то вспомнил.

— Это хорошая примета,— пробормотал он беспечно, выходя из ворот на знойную, в рыжей солнечной пыли колеблющуюся улицу.

Август катил над Москвой круглые, подрумяненные с краев облака. Воздух густо дымился от раскаленного камня, около тротуаров с тележек продавали полосатые арбузы и янтарно-желтые яблоки. Разморенные жарой грузовики тяжко рычали на людей, сгоняя их с дороги, и уносились, клубя пыль. Безайс втиснулся в переполненный трамвай и, раскачиваясь на ремне, задумчиво вспоминал свой мешок, вора и его грузные ноги, поднятые к небу в наглом торжестве. Была давка, сзади напирали, ругались, наступая на каблуки, спереди все закрывала тяжелая, в меловых пятнах спина, а когда Безайс наконец сел, какому-то неврастенику

с песочными волосами показалось, что Безайс занимает слишком много места. Он тихо, но злобно толкал Безайса локтем, яростно окидывал взглядом бесцветных глаз и шептал что-то. Безайс приглядывался к нему со спокойным любопытством, но потом это надоело. Он вышел из трамвая, отыскал на бульваре свободную скамейку и сел. Все равно, где ни сидеть,— ехать ему было некуда. Сначала он хотел было доехать до реки, куда его влек темный безошибочный инстинкт всех бездельников, приходящих к реке, чтобы плевать с моста в воду. В этом занятии есть что-то успокоительное, наводящее на ровные размышления. Для человека, который не знает, что с собой делать, трудно найти лучшее место. Но и на бульваре было неплохо. Безайса никто не ждал, никто не беспокоился о его судьбе, и не все ли равно, как убивать время.

На бульваре было тоже жарко, и Безайс снял свою солдатскую шинель. Тень от листьев лежала на песке зелеными пятнами. Перед скамьей возник крошечный мальчик в надвинутой на круглые уши бескозырке; он жевал какую-то гадость и пускал слюну на запачканный лифчик. Безайс рассматривал его, стараясь убедить себя, что он любит детей, пробовал даже щелкать пальцами, улыбаться и поощрительно мычать. Подошел и сел грузный мужчина с пятнистым бульдогом на ремне. Пес протянул свою странно похожую на лицо морду и обнюхал Безайса влажным носом, втягивая незнакомый запах костра, хвои и далекой земли; потом, натянув ремень, зарычал, как на чужого. Это правда. Безайс был чужой.

Он уехал отсюда два года назад, в двадцать первом году, когда город шумел другой жизнью, и теперь не узнавал ничего — ни улиц, ни домов, ни людей.

Вечерело, внизу легли влажные тени и только вершины деревьев золотились в последнем свете, когда Безайс увидел Михайлова. Он шел, твердо ступая своими большими ногами, поводя головой с добродушным самодовольством, шею стискивал галстук невероятного, режущего глаза цвета, новые ботинки вызывающе скрипели на весь бульвар. Он оглядывался, посматривая на женщин с той грустной томностью, которая на них не производит никакого впечатления. Таков он был всегда — большой, веселый и немного смешной.

— Михайлов! — позвал Безайс.

Михайлов обернулся и на несколько секунд остолбенел. Потом бросился к Безайсу, топая, как сорвавшийся с привязи конь.

— Ты? — орал он, тиская руку Безайса своей огромной лапой.— Здесь? Давно приехал? Почему ты не зашел ко мне? А другие ребята? Идем немедленно ко мне, это здесь близко. Постой, ты обедал? А где твои вещи?

— Вещи сперли,— ответил Безайс, ошеломленный его криком.

— Кто спер?

— Кто? Какой-то дядя.

— Где? Надо немедленно заявить в ГПУ. Завтра побегу и все сделаю. Негодяй будет пойман. Но чего ты сидишь? Идем!

— Куда?

— Ко мне. Почему ты сразу не пришел?

— Я не знал даже, что ты в Москве.

— Идем!

Он схватил Безайса, как узел с вещами, и потащил за собой. Круглые лампы бросали неверный свет на густую толпу гуляющих; где-то в конце бульвара бродячий музыкант играл на скрипке избитый мотивчик. Они свернули в боковую аллею, где ветки чернели над головой тяжелой массой, и пошли, взявшись за руки, под скрип неистовых михайловских ботинок.

— Меня как будто толкнуло,— говорил он.— Кто это? Неужели товарищ отделённый третьего эскадрона, старина Безайс? Ты, значит, решил перековать меч на орало? Отлично! С твоей головой тебе давно надо было в Москву. Ты что думаешь делать? Стихи писать?

Безайс смущенно засмеялся.

— Ни за что. Я убедился, что у меня ничего не выходит.

— Да что ты говоришь? — воскликнул Михайлов, и в его голосе прозвучал священный ужас.— У тебя не выходит? Чепуха! Помнишь, что делалось на дивизионном вечере, когда я прочел твой «Крик в будущее»? Как это? «Зеленая земля, товарищ хлеб!..»

— Михайлов, замолчи,— взмолился Безайс.— Это самая ужасная мазня, которая только появилась на бумаге. Просто я был ослом тогда, и вы все тоже. Такие стихи разве слонам читать или каким-нибудь бегемотам. Мне страшно вспомнить, что я там напутал,— и птицы, и факелы, и бомбы, и розы. Помнишь, у меня лошадь пала, рыжая, Микадо? Вы все говорили, что она опилась,— ничего подобного. Как-то подошла к окну и с подоконника нажралась моих стихов, это и подорвало ее здоровье.

Он помолчал.

— Дивизионный вечер! Вот вы мне и запутали голову. Вам все нравилось. А помнишь, когда эскадронный Ванька Хлыстов в подштанниках по сцене бегал, изображая, как буржуазия от восставших рабочих спасается, как вы орали? После этого он первый человек в полку был, ему во Владивостоке ребята на прощание серебряные часы купили.

— Я ничего не понимаю. Но почему же нам всем твои стихи так нравились?

— Почему? Очень просто. Жили мы в тайге, как звери, изголодались по красивому слову. Я думал, меня в эскадроне засмеют: поэт, мол, подумаешь! Однако нет, нянчились со мной, как со стеклянным. Просто лучше ничего не было. Партизаны в лесу сидели годами, деревья опротивели, вот им и нравилось. Брось, Михайлов, ерунда!

Михайлов думал, наморщив свой крупный лоб. Перед ним рушились авторитеты, незыблемые истины, а он нелегко отказывался от своих мнений.

— Нет,— сказал он наконец.— Тебя слушали бойцы, обстрелянные ребята, они понимают. Ты привез свою поэму?

— «Горячий ветер»?

— Да.

— Привез.

— Прекрасно. Мы покажем ее профессорам. Самым шикарным, каких только найдем. О, ты увидишь! У тебя эту поэму вырвут из рук.

Безайс снял фуражку и беззаботно помахал в воздухе.

— Ее уже вырвали,— сказал он, доставая папиросу,— около вокзала. Она была у меня в мешке вместе с остальными вещами. Бессмертная поэма погибла для человечества! Может быть, растроганный вор сейчас где-нибудь рыдает над страницами «Горячего ветра», но разве он выпустит из рук такое сокровище? Но еще раз: брось об этом говорить. Ты мне лучше скажи, как твои дела.

— Мои? Я, брат, по старой специальности. Работаю у станка.

— На фабрике?

— Нет, не удалось устроиться. Пробовал, ничего не вышло. Нанялся к частнику. Крошечная конура, слесарная мастерская. Чиню примусы, какие-то кастрюли, а позавчера так ходил колбасную машину исправлять. И что ж ты думаешь — поправил.

— Много зарабатываешь?

— Рублей шестьдесят. А вот и мой особняк.

Это был невысокий, бледно-желтого цвета дом на Плющихе, в три этажа. На улицу выходили нижний, полуподвальный, и средний этажи, верхний смотрел низкими окнами во двор. Тут стоял когда-то порядок монастырских домов старой аляповатой постройки, с крылечками, слуховыми окнами, винтовыми лестницами, тупиками и крытыми переходами. В каждой комнате стояли большие кафельные печи с лежанками, окна были низкие, квадратные, без единой форточки. Строено все было надолго, для покойной и теплой жизни, из выдержанного, железной прочности дуба. Часть домов погорела, осталось три особняка. Монахинь оттуда выселили и поделили квартиры на комнаты, но еще и теперь сохранился в коридорах неуловимый запах старого, чужого жилья, и по-прежнему заливались за обоями монастырского завода сверчки.

Во дворе стояла голубятня и темными шелестящими тенями чернели буйные сиреневые кусты. Старый, пятнадцатилетний пес, тоже оставшийся еще от монахинь, вытянул свою седую морду и раздраженно, с кашлем заворчал на Безайса. Михайлов пошел по темным переходам вверх и вниз, потом опять вверх, мимоходом ругая строителей: «Навертели, идиоты, какие-то лестницы, без всякого смысла, пять штук лестниц!» — потом открыл ключом дверь и зажег свет.

Михайлов жил легко, без усилий и тайн, и был весь как раскрытая книга. По вечерам, валяясь на кровати, Безайс разглядывал его жизнь кусок за куском с веселым любопытством, точно сборник картин: «Михайлов, убирающий комнату»,— бушующая, неистовая стихия, опустошительный бич, разбивающий посуду, опрокидывающий мебель, изрыгающий ужасные проклятия,— и все это только для того, чтобы снять с потолка крошечную паутинку. «Михайлов, завязывающий галстук»,— тщеславие, извивающееся перед зеркалом величиной с ладонь. «Михайлов, увлекающийся футболом»,— перечень синяков, ссадин и разных повреждений. «Михайлов, ищущий гвоздь, который, разумеется, лежит на самом видном месте», и так далее.

Он был романтиком по натуре и в самое спокойное, тихое дело умел вносить дрожь азарта, восторг и гнев. Безайс никак не мог измерить глубины его замыслов, даже когда речь шла о том, как переставить в комнате мебель. Во-первых, свет будет падать на стол слева, это не утомляет глаз; во-вторых, с полки можно будет все брать, не вставая с кровати, а если при перестановке у комода отламывалась ручка, то это, оказывается, тоже входило в расчеты Михайлова, потому что он давно собирался сделать новую.

Из своего горячего прошлого он вынес страсть переделывать, налаживать, улучшать и носил эту страсть, как тяжелое бремя. Всегда он был одержим каким-нибудь увлечением или планом.

В углу, около печки, стояла небольшая машина с шестернями и валами, которую Безайс не любил за ее внешнее уродство и за то, что она пачкала брюки машинной смазкой. Она отдаленно напоминала маслобойку и, наверно, раньше ею и была, но теперь сбоку были приделаны коробка с регуляторами, колеса и шкив. Иногда по вечерам Михайлов, посвистывая, возился над ней, просверливая и нарезая металл, пришлифовывая части, исписывая вычислениями клочки бумаги. Вещи его знали и слушались, инструмент ходил в его руках, как смычок артиста. Он сидел над работой, согнувшись, вонзая сверло в металл, и произносил отвлеченные речи о культуре, о прогрессе, о величии техники. Ему, как воздух, нужна была большая цель, и он нашел ее для себя в этой работе.

— Это вовсе не мясорубка,— опровергал он выдумки Безайса.— Сюда, вот на эту форму, ты натягиваешь носок с дыркой, понятно? Потом подводишь дыру к этим крючкам, поворотом ручки окружаешь ее со всех сторон и — готово! Через минуту носок выпадает отсюда совер-

шенно заштопанный, как из магазина. Гражданка, получите носок. Кто следующий?

— Нет, нет, замолчи! — кричал он несколько минут спустя.— Это будет замечательно! Вот моя мысль: каждое домоуправление покупает такую машину. Ее ставят в канцелярии, вокруг вешают плакаты и лозунги о раскрепощении женщины. С этого дня в доме нет больше рваных носков! Ты знаешь, сколько времени уходит у женщин на эту штопку? По одной Москве — целые века, тысячелетия! На первом же женском съезде меня изберут почетной женщиной. Известный раскрепоститель женщин Петр Николаевич Михайлов.

— А сколько носков она уже заштопала, твоя машина?

— Она еще не готова. Кое-чего не хватает.

— Отчего-то мне кажется, что ты износишь не одну дюжину носков, прежде чем машина будет готова.

Михайлов не мог равнодушно видеть покосившийся стул, расшатанный гвоздь, надорванную пуговицу: его тянуло починить вещь, поставить ее на место. И Безайс смутно чувствовал, что Михайлов уже оглядывает его взглядом мастера, обдумывает, примеривает, куда бы его приспособить, как примерял он колеса и шестерни к своей безобразной машине. Это забавляло Безайса, не знавшего, впрочем, куда девать себя; он знал, что Михайлов придумает что-нибудь чудовищное, невероятное, и поэтому приготовился ко всему. Но тем не менее он ужаснулся, когда Михайлов выложил свои планы.

— Но ты подумай только, ведь я ни бельмеса в этом не понимаю,— говорил Безайс во втором часу ночи, обессиленный спором.— Ты сам посуди, какой из меня архитектор? Надо знать алгебру, геометрию, планиметрию, стереометрию и еще массу всяких других наук.

— Но алгебру и геометрию ты немного знаешь.

— Очень немного, заметь себе! Помню что-то такое о треугольниках и кругах. И больше ничего.

— Да много ли им надо? Для начала и это сойдет, а потом ты им покажешь!

— Да, покажу,— заговорил, вставая, Безайс, возбуждаясь при мысли об ожидавшем его позоре.— Покажу, что я знаю таблицу умножения только до семи: чтобы узнать, сколько будет семью восемь, мне надо складывать сорок девять и семь! Покажу, что я не разбираюсь в десятичных дробях, что я путаю знаменатели с числителями! Это надо придумать: сделать из меня — из меня! — архитектора!

И он начал доказывать, что к математике он неспособен совершенно и что на экзаменах он провалится. Если же он, наперекор всему, сделается архитектором, то страшно даже подумать, что из этого выйдет. Он настроит уродливые дома, которые обезобразят город,— дома-чудовища, на которые тяжело будет смотреть. Печи будут дымить, двери и окна не затворяться, потолки обрушиваться, среди жильцов разовьется небывалая смертность от простуды и несчастных случаев. Он не хотел брать на себя такую тяжелую ответственность.

— К счастью, ничего этого не будет,— закончил он.— Я провалюсь на экзаменах.

— Не провалишься,— возражал Михайлов.— Надо держать хвост трубой, это самое главное.

Это была его заповедь и боевой клич.

Просыпаясь, еще не открывая глаз, Безайс медленно начинал понимать, что у него осталось от прошедшего дня какое-то неоконченное дело. Иногда это ощущение принимало определенные формы. Он видел себя самого сидящим перед большим ворохом тетрадей с диктантом малограмотных бойцов. Надо поправить и подчеркнуть ошибки в тридцати тет-

радях. «Град величиной с голубиное яйцо побил все стекла в нашем доме». Вестовой Стонога пишет «грат». Боец Хомутов в мучительном и сладком усилии породил загадочное слово «вериноу». Оно звучит как имя корабля, плывущего за жемчугом и бананами по далеким морям, как имя марсианина в фантастическом романе.

«Девочка Маша варит кашу».

«Коси, коса, пока роса».

Фразы эти какие-то глупенькие-глупенькие, как детский невинный лепет. Кто это вообще выдумывает диктанты? Слова сами собой сливаются в бессмысленные союзы. «Покароса́». Эту штуку́ надо косить, что это такое?

Потом внезапно в этот мечтательный вздор врывался железный лязг трамвая. Старый монастырский дом панически вздрагивал от грохота колес. И Безайс вспоминал, что не надо ему править тетради. Что у него вообще никакого дела нет.

А надо встать и есть жареную колбасу, которую Михайлов всегда готовил к завтраку.

Все это вгоняло его в плохое настроение. Человек обязан иметь какое-то дело, все равно какое — командовать эскадроном, или водить паровоз, или даже играть на котрабасе. После двух недель безделья Безайс почувствовал тоску по своему делу — надо же было из-за чего-то радоваться, думать и неистовствовать.

Перед самыми экзаменами, когда уже все бумаги и заявления были поданы, на Безайса нахлынули внезапно угрызения совести. Он не готовился и ничего не читал, утешаясь тем, что он один, а наук целая куча и что за три дня подготовиться все равно нельзя. Книги возбуждали в нем суеверный ужас, и он даже не заглядывал в них.

— Сейчас я не представляю себе, что я знаю и чего не знаю,— говорил он.— Это лучше. А вдруг я не знаю ничего? Как же я пойду экзамены держать?

Утром в день экзаменов он проснулся в смятении.

— Это самая недобросовестная афера, на которую я когда-нибудь пускался,— угрюмо говорил он, завязывая ботинки.— Ужасно глупо. Понимаешь? Я чувствую, что не знаю ровно ничего.

Михайлов жарил на печке колбасу к завтраку. Он стоял к Безайсу спиной, полуодетый, и подтяжки болтались у него сзади. Он не нашелся сразу, что ответить.

— Смелей! Смелость нужна. Без этого, конечно, ничего не выйдет.

Потом он придумал новый довод:

— Ты же боевой командир Красной Армии. Что ты сегодня держишь — обществоведение? Ты им так и скажи: товарищи, я это обществоведение знаю не хуже вас. Я его нахлебался до сих пор в третьем эскадроне пятого корпуса, когда мы очищали Приморье от белых. Мы, скажи, прошли эту науку с оружием в руках.

— А они мне скажут: «Молодой человек, вы самое бессмысленное полено в Москве»,— возразил Безайс с невеселым предчувствием.— «Уходите,— скажут,— в ваш эскадрон чистить жеребцов».

— Не скажут! Ты только дави на них, не смущайся. Помнишь, как наш завхоз сено доставал?

Он снял сковородку, поставил ее на стол и запустил пальцы в свои густые волосы.

— Но у меня есть один план. Конечно, ты выдержишь и забьешь всех остальных. Но на всякий случай мы сделаем так. Я отпрошусь сегодня из мастерской и приду туда к тебе. Есть такая отличная книга — «Политграмота в вопросах и ответах». Я сажусь сзади тебя и прячу книгу под стол, и если...

Безайс попятился от этого блестящего плана.

— Ни в коем случае! Лучше об этом и не заикайся!

— Если тебе не нравятся «Вопросы и ответы», можно другую достать,— вот все, что Михайлов уловил в его отказе.

2

В университете в громадные окна глядело бледно-голубое осеннее небо, желтые клены роняли крупные листья на подоконники, на траву, на серые плечи Герцена, одиноко стоявшего во дворе. Классические барельефы изгибались по карнизам каменными завитками, покрытые столетней пылью. Пыль была всюду: на карнизах, на шкафах, на черной источенной резьбе. Это лежала пыль старых, отзвучавших слов, высохших формул, забытых проблем, над которыми трудились когда-то профессора в напудренных париках. Здесь по древним коридорам бродили тени вымерших наук — риторики, теологии, гомилетики, в сыром углу ютился желчный призрак латинского языка. Безайс с задумчивым уважением смотрел на толстые стены и плиты коридора. Десятки поколений прошли здесь: гегельянцы в треуголках и при шпаге, с голубыми воротничками, нигилисты в косоворотках, девушки восьмидесятых годов в котиковых шапочках. Стены впитали в свою толщу эхо молодых голосов, и камень стал звонким.

Лиц он не видел и не замечал: орущая, топающая толпа молодежи теснилась около досок с объявлениями, с грохотом носилась вверх и вниз по лестницам. Пестро разодетые нацмены в меховых шапках и полосатых халатах бродили, настороженно оглядываясь; около буфета, украшенного кумачом и портретами, торопливо пили чай.

Утром в канцелярии Безайсу сказали, что сегодня можно держать по русскому языку, математике и физике в 5-й, 2-й и 9-й аудиториях. Это спутало ему карты, потому что он уже привык к мысли, что будет держать по обществоведению. Ему начало казаться, что если теперь он и провалится, то всему виной будет эта канцелярская путаница.

— Чтоб вы сдохли,— бормотал он, чувствуя облегчение оттого, что может кого-то ругать.

Он поколебался в невеселом предчувствии — к математике, к цифрам, к их холодной и скупой природе он всегда питал какое-то предубеждение. У него не поднималась рука на эту науку,— черт ее знает почему. Может быть, у него это фамильный недостаток, может быть, его отец и ряд неведомых предков несли в своей крови какой-то состав солей и кислот, который безошибочно губит человека на экзамене по математике. Присев к окну, за которым падали красно-желтые листья, Безайс стал перебирать свои знания по математике, как нищий подсчитывает собранные медяки. Получалось не много, совсем не много. Геометрия была битком набита треугольниками и кругами,— это он помнил. Между двумя точками можно провести только одну прямую линию.

Он огорченно потер переносицу. Геометрия раздражала его. Только одну! В этой фразе есть что-то похожее на заклинание. Она звучит трагически. Ее надо произносить ночью, в полночь, около разбитого молнией дуба, воя и потрясая кулаками, как вызов стихиям. Между Двумя Точками Можно Провести Только Одну Прямую Линию. Это загадочно, как движение светил.

Да, открыт Северный полюс, воздвигнуты пирамиды, и аэропланы царапают небо стальным крылом, но человечеству не дано провести две линии между двумя точками. Так было и так будет — здесь положен человеку предел.

Где-то рядом с обыденной действительностью, с миром осязаемых и твердых предметов, в котором возможно все, существует тайный быт

точек и линий, в котором ничего нельзя. Если бы смело (на коне!) ворваться в пределы геометрии и твердой рукой провести две, три, десять линий между двумя точками, интересно, какой вой подняли бы треугольники, как ужаснулись бы круги, как возмущались бы квадраты и параллелограммы!

Чему-то была равна сумма трех углов треугольника. Были длинные, извивающиеся, хихикающие законы, они иронизировали, издевались над человеком, блуждающим в их путанице и тупиках: если один треугольник наложить на другой треугольник и если потом начать их вращать (действительно — занятие для взрослого человека!), то окажется, что биссектриса одного треугольника совпадет с гипотенузой второго. Или, наоборот, не совпадет. Или такого закона и нет, но есть что-то в этом роде.

Другие законы были лихорадочно поспешны, было что-то бредовое, жуткое в их торопливом шепоте. Во-всяком-треугольнике-квадрат-стороны-лежащей-против-острого-угла-равен-сумме - квадратов - двух-других-сторон-без-удвоенного-произведения-какой-нибудь - из-этих-сторон - на-отрезок-ее-от-вершины-острого-угла-до-высоты. Что это? Зачем оно?

Было немного странно сидеть в пустом коридоре на подоконнике и шептать непонятные слова. Он окидывал мысленным взглядом седые равнины геометрии, где теоремы копошились, шевеля коленчатыми лапами, и твердая уверенность овладела им.

— Я ничего не понимаю в геометрии,— трагически прошептал он, округляя глаза.

Он стоял, раздумывая, что, собственно, надо сделать в первую очередь, когда из-за угла стремительно вырвался прямо на него белоголовый пухлый человек в широкой синей рубахе. Азарт и восторг горели на его лице, он обдал на мгновение Безайса жарким дыханием и врезался в толпу. Там он остановился, подняв голову, и с необузданным удовольствием заревел:

— Которые смоленские, у меня записывайтесь!

Безайса оттолкнули к стене, он уронил фуражку, и несколько ног наступило на нее. Перед небольшой группой шел горбоносый, сердитый человек, ожесточенно махая руками:

— Не желаю! Я не обязан! При чем здесь средние века?

Безайс выбрался из толпы, отряхивая фуражку. Он покрутился около буфета, испытывая судорожное желание купить леденцов, чтобы как-то начать свою новую студенческую жизнь. Потом он внимательно прочитал объявление, полное темного, непонятного для него смысла: отменяются зачеты по триместрам, вместо них будут зачеты курсовые в тех случаях, когда предмет проходится не семинарским методом. Это не принесло Безайсу никакого облегчения.

В воздухе носились обрывки разговоров, в разных местах коридора образовывались группы и вокруг них завивались летучие вихри из эпох, цифр, экономических категорий.

Как-то вышло, что Безайс потерял вдруг способность спокойно и прилично ходить. Сначала это обнаружилось в том, что он начал наступать людям на ноги, отчетливо сознавая при этом, что он обут в тяжелые, подкованные армейские сапоги. «Я извиняюсь»,— говорил он огорченно и шел дальше, звеня гвоздями о плиты коридора. Потом от растущего смущения он начал вдруг сталкиваться с встречными и, стараясь уступить им дорогу, переступал одновременно с ними то вправо, то влево. Со стороны он представлял себе свою фигуру в старой английской шинели, недоумевающее, улыбающееся лицо и чувствовал себя несколько глупо.

Смутно ему хотелось побежать по коридору, тяжело и часто дыша, крикнуть, произвести шум. «Записывайтесь, смоленские! Отменяются зачеты по триместрам! При чем здесь средние века?» Он по-прежнему

чувствовал себя эскадронным, случайно пришедшим в этот чужой для него дом. В эскадроне вестовой Стонога чистит свистящим по бронзовой шкуре скребком жеребца Тустепа, политрук правит клеенчатые тетрадки с диктантом малограмотных бойцов, откуда-то доносится рев озверевшей медной трубы — это музыканты разучивают новый мотив. Над эскадроном раскинулось синее приморское небо, пахнущее хвоей и морем,— хорошо и просто.

Шаги заставили его поднять голову. По коридору шел человек и с хрустом поедал французскую булку. Вид его отражал беззаботность и спокойствие, рыжие волосы крутыми кольцами поднимались над красным лицом. Он прошел мимо Безайса, потом вернулся.

— Порезался? — спросил он, глядя на него с явным интересом.

— Нет еще,— ответил Безайс,— только собираюсь.

— А я порезался.

На минуту он оставил булку, чтобы сделать грустное лицо, потом снова припялся за нее.

— Жизнь! Готовился, готовился целое лето. Думал, что непременно выдержу. И на чем, главное,— на обществоведении!

Его уши порозовели от возбуждения. Он присел к Безайсу на подоконник.

— Понимаешь? Он меня вчера спрашивает: «Что должен делать коммунист, если его выберут в буржуазное правительство? В министры?» Что я ему сказал? Я сказал, что он должен защищать... это самое... рабочий класс, словом.

Он положил булку на подоконник, встал и начал изображать экзамен в лицах. Прищурив глаза и выпятив нижнюю губу, он заговорил вдруг ехидным дискантом:

— Как же это он будет его защищать?

Потом снова своим обычным голосом, придав лицу застенчивое и симпатичное выражение:

— Он будет издавать для рабочего класса законы.

— А буржуазия? Позволит она ему издавать такие законы?

— Если выбрала — значит, позволит.

Он снова сел на подоконник и задумался.

— Оказывается, он должен совсем отказаться и в правительство не входить.

Они помолчали, потом он встал, махнул Безайсу рукой и пошел по коридору, рыжий, как тигр. Безайс проводил его благодарным взглядом. Ну, если там задают такие вопросы, то это не так уж страшно.

Не убегать же домой, в самом деле!

Тут ему начало казаться, что он портит себе все дело этими рассуждениями. Может быть, не стоит так долго думать над тем, что знаешь и чего не знаешь. Это убивает в человеке мужество. Так, теперь у него не хватило бы духа экзаменоваться по геометрии, — может быть, рискнуть по алгебре?

Это было суеверие, но он ухватился за него. Вскочив с места, он побежал в 5-ю аудиторию, уже боясь, что опоздает; перед громадной дверью он остановился, оправил гимнастерку и вошел, стараясь не шуметь.

Экзамены шли к концу, и народу было мало. Старательно топая, Безайс прошел в угол, где на партах сидели поступающие. Черно-желтая парта заскрипела под ним, смутно приводя на память скрип других парт, на которых он отсиживал положенный человеку срок детства. Соседи не обратили на него внимания. Две спины помещались спереди, слева сидела большеротая, носатая девушка, сзади двое шуршали бумагой, щелкали перочинным ножом и шумно вздыхали, шевеля у Безайса волосы на затылке.

У черной зловещей доски стоял еще один поступающий. Широкими взмахами руки он ожесточенно чертил цифры, в другой руке он держал тряпку и машинально пачкал брюки меловой пылью.

Профессор, тучный, невысокий человек, сидел у стола. Он был медлителен, неповоротлив и, разговаривая с ассистентом, грузно валился в его сторону всем телом. Розовый жир его щек свисал на воротничок, на круглом носу колебалось золотое пенсне. Ассистент, тоже немолодой уже человек, сидел, склонив к столу свое усеянное родинками лицо. Безайс неодобрительно осмотрел его острые плечи и длинные пальцы, угадывая в нем человека, поблекшего среди формул, фанатика и педанта, пожирателя цифр. Он остро поглядывал на список, на поступающего, стоящего у доски.

Безайса вызвали после всех. Ассистент отрывисто продиктовал задачу по алгебре и вполголоса начал разговаривать с профессором. Бойко поскрипывая мелом, Безайс записал условия на доске и задумался над хаосом букв, скобок и цифр. Он совершенно не знал, что с ними делать. Осторожно, боясь запутаться, ощупью, он помножил несколько цифр, потом разделил их и, отступив на шаг, полюбовался на свою мазню; получилось что-то, испугавшее его самого. Он быстро, воровски стер это, бросив в сторону косой взгляд, — они не видели ничего — и снова начал чертить цифры.

Его томило смутное ощущение, которое потом перешло в уверенность, что в алгебре он не понимает ни одной запятой. Он брал цифры, вертел их на тысячи ладов в тайной надежде, что как-нибудь, само собой, они станут на свое место. Но под его руками на равнодушной доске росло что-то уродливое, бесформенное, грандиозное по бессмыслице. Задача сопротивлялась, как живое существо, приводя Безайса в исступление. Он забыл уже об осторожности и, судорожно припоминая какие-то правила и законы, метался по всей алгебре, как бык по посудной лавке. Под его неистовыми стопами хрустели обломки цифр, рушились уравнения и дроби. Никогда, быть может, алгебра не испытывала такого обращения. Невиданным еще, собственным своим способом Безайс расправлялся с задачей. Вскоре от нее остались одни развалины. Его поразила внезапно немая тишина, стоявшая в комнате. Он тихо положил мел, вытер руки жестом убийцы, отирающего кровь жертв, и нерешительно обернулся. Профессор, откинувшись назад и высоко подняв брови, смотрел на него внимательно, с любопытством ученого, наблюдающего в микроскоп не известное еще науке насекомое. Безайс опустил глаза — взглянуть на ассистента у него не хватило мужества. Сквозь полуопущенные веки он видел только две пары ног под столом.

— Вы кончили?

— Да, — неуверенно ответил Безайс.

Профессор шумно вылез из-за стола и подошел к доске. Он наклонился, собрав грудь и живот в круглые складки. Профессор высморкался. Профессор укрепил на носу колеблющееся пенсне и взглянул на Безайса, — рядом с его большой розовой тушей Безайс казался неизмеримо малой величиной, дробью... Профессор шагнул к доске — казалось, сама Алгебра, оскорбленная Безайсом, вышла из логовища, из зарослей цифр, и тяжелыми стопами пошла к нему — судить и карать. Профессор принялся внимательно рассматривать начертанный на доске страшный бред. Наступило долгое молчание, в тишине комнаты слышно было только отрывистое сопение профессора.

— А это что? — спросил он, осторожно трогая коротким пальцем пятизначное число.

— Это знаменатель.

Снова наступило молчание.

— Вы раскрывали скобки?

— Нет, — ответил Безайс, разглядывая большое слоновое ухо профессора с торчащими кустиками волос.

— Зачем вы разделили это число?

— Я хотел извлечь квадратный корень.

Ему показалось, что профессор пошатнулся.

— Извлечь... что? — спросил профессор слабым голосом.

— Корень...

И, подумав немного, Безайс дал залп с другого борта:

— Он мешал мне отыскать неизвестное.

Профессор полюбовался еще несколько секунд на изуродованную до неузнаваемости задачу.

— Это очень интересно, — сказал он. — Венедикт Семенович, пожалуйте сюда.

Ассистент подошел и, вытянув волосатую шею, осмотрел исчерченную доску. В его невыразительных глазах загорелось любопытство спортсмена. Потом он перевел взгляд на Безайса, осмотрев его с каким-то опасением, точно спрашивая, не кусается ли он, помолчал немного и вынул из кармана длинный список.

— Можете идти, — сказал он загадочно, порывистым движением вонзая карандаш в фамилию Безайса.

На другой день были экзамены по обществоведению. Отыскав аудиторию, Безайс вошел, стараясь не шуметь. С тихим ужасом он почувствовал вдруг, что у него все перепуталось в голове, что формулы и законы смешались в чудовищную кучу, из которой торчат обломки каких-то слов: «упадок мануфактурного производства», «товарный фетишизм», «процесс образования классов»... Он пробовал разобраться в этом хаосе, вытаскивал, как из клубка ниток, какие-то концы, бросал, начинал снова. За столом, откинувшись, сидел профессор и смотрел в сторону с выражением усталости и безнадежной скуки. Он поднял глаза на входившего Безайса, кивнул головой на его торопливый поклон и снова стал смотреть куда-то в угол. Напротив, у стола, сидели двое поступающих: один, курчавый и полный, говорил вполголоса, запинаясь и шевеля короткими пальцами, как бы помогая себе при ответах; другой тоскливо смотрел ему в рот и молчал. Человек двадцать сидели вокруг на стульях и на подоконниках. Безайс уселся около двери, подавленный общим вниманием.

Профессор вздохнул и потянул к себе экзаменационный лист.

— Ну, хорошо, перенаселение и рост резервной армии, — раздался его терпеливый голос. — Но какое отношение это имеет к техническому прогрессу?

Курчавый молчал, напряженно шевеля пальцами. Весь его вид выражал отчаянную решимость сопротивляться до конца. Он поднял глаза на потолок и шептал что-то сосредоточенно.

— Рост производительных сил параллельно с ростом...— запинаясь и багровея, произнес он,— а равно...

Он поймал скучающий взгляд профессора и нагнулся к нему.

— Видите ли, я это понимаю, но не могу выразить...

Профессор взял карандаш.

— У вас слабая подготовка,— заметил он осторожно.

— Я много готовился.

— Это же все элементарные вопросы. Вы не разбираетесь в основных понятиях.

— Я, знаете ли, много готовился,— безнадежно повторил курчавый.— Даже смешно: все понимаю, а ничего не могу выразить.

Профессор устало оглядел комнату.

— А вы?— повернулся он к другому.

Тот беспомощно потер лоб и не ответил. Профессор часто задышал, хмурясь, и начал разыскивать фамилии в списке.

— Отнимать время с такой подготовкой...— сказал он, надевая пенсне и высоко поднимая брови.— Я лично этого не понимаю. Надо серьезнее относиться к предмету. Можете идти... Семенов и Блауд!

Двое новых встали и подошли к столу. Курчавый все еще стоял, шевеля пальцами, его полное лицо медленно наливалось кровью. Он сделал шаг к двери и вдруг повернулся к профессору.

— Какое вы имеете право?— приглушенным голосом сказал он, нагибаясь через стол.— Вы не имеете права... нотации читать. Не ваше дело!

Он постоял, ожидая ответа, потом повернулся и ушел, хлопнув тяжелой дверью. В комнате молчали. Профессор снял пенсне и криво улыбнулся, потом, нацелясь карандашом, отметил что-то в списке.

Первый час Безайс волновался, потом устал и равнодушно смотрел на профессора, на отвечающих, слушал их голоса, не вдумываясь, и ждал, когда это кончится. Чтобы скрасить ожидание, он перечитывал надписи на стенах, ловил мух и старался только, чтобы с лица не сходило задумчивое и несколько грустное выражение, которое казалось ему самым приличным для человека в его положении. Когда же в тишине комнаты раздалось неожиданно: «Безайс и Коломийцев!»,— он вздрогнул всем телом.

Вблизи лицо профессора казалось старше. Глубоко запавшие глаза скользнули по Безайсу, как по вещи; профессор спрятал пенсне в карман и рассеянно смотрел куда-то через головы, в стену.

— Вы по каким учебникам готовились?

Сосед Безайса назвал несколько книг.

— Так. Что мы называем постоянным составом капитала?

Сердце Безайса заныло от зависти — это-то он знал хорошо. Его сосед, наморщив лоб, пристально смотрел на край стола и беззвучно шевелил губами,— тогда, поймав на себе взгляд профессора, Безайс наклонился и отчетливо, с удовольствием выговаривая знакомые слова, сказал:

— Средства и орудия производства составляют постоянную часть капитала.

Профессор кивнул головой, и Безайс, переведя дыхание, продолжал:

— ...в отличие от рабочей силы, которая, создавая прибавочную стоимость, является переменным капиталом.

— Это вы знаете. А как вы определите капитал вообще?

Слова пришли как-то сами собой, без усилий:

— Это средства и орудия производства, находящиеся в частной собственности и дающие прибавочную стоимость.

Над следующим вопросом — о прибавочной стоимости — он немного задумался, но ответил; потом подряд, не задумываясь, ответил еще на три вопроса. Он успокоился вполне, сел удобнее и кинул на профессора дружелюбный взгляд, чувствуя себя крупной дичью. Случайно, сквозь стеклянную дверь, он увидел вдруг чье-то взволнованное лицо и руки, махавшие ему с пламенным одобрением. Он вгляделся пристальнее и понял, что за дверью беснуется его неистовый друг Петр Михайлов, потрясая над головой «Политграмотой в вопросах и ответах». Сквозь толстую дверь не слышно было ничего, но Безайс знал, почти слышал его восторженный совет: «Держи хвост трубой!»

И он постарался. Глаза профессора стали мягче. Безайсу страшно хотелось навести профессора на вопрос о производстве и воспроизводстве капитала, который он знал хорошо, и в конце концов это удалось. Он говорил, округляя фразы, непринужденно, точно не на экзаменах,

а так, в частном разговоре, за чайным столом. Профессор смотрел внимательно, немного удивленно, и, когда Безайс кончил, он спросил:

— Вы проходили специальную подготовку?

Безайс лицемерно опустил глаза.

— Нет, так, читал кое-что.

— Предмет вы знаете основательно.

На следующий экзамен Безайс шел уверенно. Вчерашний день придал ему смелости. Может быть, Михайлов не так уж ошибался? Может быть, это будущий архитектор, инженер-строитель, командир этажей и крыш идет по коридору? Он не знал еще, чем все это кончится, но, во всяком случае, решил улыбаться. Должны были быть экзамены по русскому языку, и ему легко и весело было думать, как он покажет себя во весь рост. Михайлов был прав, надо держать хвост трубой. Это помогает в таких случаях. С легким сердцем открыл он дверь в аудиторию и вошел.

Он попал в руки розового, тихого, трясущегося от ласковости старичка. В сырых глинистых оврагах и в погребах вырастают такие старчески немощные, безобидно розовые грибы. С Безайсом он заговорил тем заискивающим тоном, каким доктора уговаривают детей выпить рыбий жир.

— Затворите дверь,— сказал он тихим и грустным голосом.

Когда Безайс затворил дверь, он поманил его пальцем.

— Ну-с, молодой человек, как дела? Были уже на других экзаменах? Садитесь, садитесь, что ж вы стоите?

— Спасибо, я постою. Да, был...

— Вы где учились?

— Я учился давно...

— Вы где учились?— повторил он тем же голосом.

— В высшем начальном училище.

— Потрудитесь подойти поближе, молодой человек. Знаете русский язык?

— Не вполне.

— Благоволите ответить точнее: знаете или не знаете?

«Животное!»— ужаснулся Безайс и вслух сказал:

— Знаю.

— Так. Испытаем вас по русской литературе. Вы любите русскую литературу? Много читаете?

— Кое-что читал.

— Читали Фета?

— Читал,— ответил Безайс, смутно вспоминая что-то такое насчет погоды: какое-то месиво из восходов, заходов, слез и грез.

— Например?

Он вспомнил вот что: «Румяной зарею покрылся восток, вдали за рекою потух огонек»— и еще что-то насчет пастуха и коров. Но он не был уверен в том, кто это написал: Фет или кто-нибудь другой. Во всяком случае, ему казалось, что Фет мог это написать. Но если бы ему предложили пари, он бы отказался.

— Нет, не припомню что-то.

— Забыли, да, забыли. Это ничего, вы потом вспомните как-нибудь. Придете домой, возьмете книжку и почитаете.

Он задумался, что-то неслышно бормоча.

— Хорошо,— сказал Безайс.

— А?

— Я говорю, хорошо. Приду домой и почитаю.

— Кого?

— Фета.

— Да, да, обязательно. Очень хороший поэт. Вы любите его стихи?

Из уважения к старости Безайс сказал, что любит.

— Ну-с. Кто написал «Войну и мир»?

— Толстой.

— Да, совершенно верно, Толстой. Нравится вам Толстой?

— Ничего себе.

— Хороший писатель. Теперь так писать уже не умеют. Он замечательно русскую душу понимал. Вы сами русский?

Безайс промолчал. Старик некоторое время смотрел на него, мигая кроличьими глазами. Зайчик света играл на его лысине. Безайс задумчиво смотрел на нее. Это была законченная, тщательно возделанная лысина. Лет шестьдесят время трудилось над ней, удаляя все лишнее и полируя ее поверхность до ослепительного блеска. Как выгодно будет она выглядеть на похоронах, когда университет пойдет погребать ученого тупицу! В живом виде он Безайсу не нравился.

О Толстом Безайс мямлил минут пять самые общеизвестные вещи. Незаметно для себя он попал в тон экзаменатора — стал говорить тихо, деревянным голосом и начал даже подергивать шеей. По непреложному закону особь, попадая в новые условия, приноравливается к ним. Может быть, первый тигр был изумрудно-зеленого цвета, может быть, он был лиловым. Но вот он попадает в бамбуковые заросли и становится полосатым. Удавы окрашиваются под цвет деревьев. У куропаток вырастают рябые, как степная трава, перья. И Безайс был вовлечен в орбиту этого закона: он почувствовал, что надо говорить общими местами, быть скучным, благонамеренным и тоскливым. Нельзя быть лиловым! Экзаменатор — Безайс это чувствовал — пасся по хрестоматиям и прописям, был вспоен соком юбилейных статей. Местность требовала серого цвета. Толстой был великий писатель — вот она, спасительная, тусклая мысль, знамя и прибежище! Еще раз: Толстой был гениальный писатель!

Он накручивал некоторое время этот вздор с монотонностью маятника. Но пошлость, чтобы быть законченной, должна быть симметричной. На обоях цветочки расположены рядами: цветочек направо, цветочек налево. Пряник расписывают сусальными кружками равномерно по обе стороны. На диван справа и слева кладут две вышитые подушки. Так, во имя симметрии, Толстой был великий писатель, но у него были недостатки!

Все шло как следует. Экзаменатор слушал его внимательно и ласково. Но постепенно Безайс начал испытывать замешательство. К нему незаметно привязалось словечко «так сказать», как привязывается к человеку на улице чужая собака. Он повторял его через несколько слов и никак не мог от него отделаться. «Пьер Безухов был, так сказать, непротивленцем, противником всякого убийства, так сказать». Сначала он почувствовал легкое беспокойство, потом раздражение к этому бродячему словечку. Оно отвлекало внимание и путало его.

Он пинал его, вытеснял, гнал. Подстерегал, когда оно должно было появиться, и осторожно обходил его. Среди этих усилий он заметил вдруг, что к нему подкрадывается другое слово — «понимаете ли». Некоторое время он боролся с этим наваждением, но потом смирился и закончил свой ответ среди раскатов «понимаете ли» и «так сказать».

— «Толстой написал роман». Где здесь подлежащее?

— Толстой.

— Сказуемое?

(«Какое уродливое слово!»)

— Написал.

Он забирался в опасную область, в чащу деепричастий, суффиксов, флексий. Безайс чувствовал себя здесь неловко. На его счастье, экзаменатор уронил карандаш и нагнулся его поднять; когда он выпрямился, мысли его блуждали вокруг безобидных склонений и спряжений.

Безайс с воодушевлением проспрягал глагол «ходить» в прошедшем и будущем времени и даже в сослагательном наклонении: «я ходил, я буду ходить, я ходил бы». Этот подвиг решил исход экзамена. Прозвучало торжественное, разрешающее слово:

— Ну, довольно.

. . . . . .

Прошло около недели, прежде чем Безайс успел переварить впечатления от экзаменов. Ему хотелось прямого, решительного действия — оседлать науку, как лошадь, вставить какой-нибудь ботанике мундштук в зубы и похлопать ее по крупу: «Не балуй». Он был несколько ошеломлен своим провалом. Науки повернулись к нему спиной, и это огорчило его гораздо больше, чем он сам ожидал. Он утешал себя тем, что ничего особенного в этом нет и что он не первый провалился на экзаменах. Но это было плохое утешение.

II. Редакция

1

— А по-моему, он дурак,— сказал Копин, упрямо встряхивая русыми волосами.

Было утро. Медленное осеннее солнце играло на полу и стенах крупными пятнами, свет падал зелеными пучками сквозь листву шелестевшего за окном клена. В соседней комнате ходила уборщица, бабушка Аграфена, и стучала щеткой о стулья и стены.

— Нет,— возразил Стерн, наваливаясь грудью на стол и играя в перышки с самим собой.— Может быть, он и не дурак. Он просто мямля. Неприятно смотреть, как он ходит, теребит бороду и подтягивает штаны. Это тот сорт людей, которых господь бог сотворил из обрезков настоящего человека. У них нет ни способностей, ни порывов, ни характера — ничего. Это знаки препинания. Между остальными людьми, у которых есть своя голова на плечах, они стоят, как запятые.

— Да откуда он взялся?

— Не-е знаю. Говорят, что он редактировал какую-то малокровную газету в провинции, не то «Красный кооперативный вопль», не то «Знамя глухонемых». В газете он человек случайный. С таким же успехом он мог бы заведовать музыкальной школой или аптекой. Я не думаю, чтобы он был настоящим газетчиком.

Копин широко зевнул.

— Мы проморгали,— сказал он, щуря свои красивые глаза.— Надо было держаться за Крылова обеими руками. Он умел ладить с редакцией. Совершенно не чувствовалось, что он старший, а ты подчиненный.

— Мы ничего не могли сделать.

— Могли. Устроили бы демонстрацию и не пустили бы. Надо глотку рвать, душа вон! Не такие дела делали. Помню, в девятнадцатом я служил в дивизии Сиверса. Хотели у нас его снять. Куда там! Наставили орудия на штаб, выкатили пулеметы и предложили снимать, если хотят.

— Не мели вздор, пожалуйста.

— Это не вздор. Я говорил с ребятами, но разве можно на них положиться? Надо было подать заявление, что в случае ухода Крылова мы тоже уходим.

— Не люблю я таких штук.

— Почему?

— Это смешно. Не говоря уже о том, что с партийной точки зрения это выглядит некрасиво.

— И ты такой же. Вы все чересчур уж умны. Когда надо что-нибудь сделать, вы всегда придумаете разные моральные, партийные, междуна-

родные причины, по которым ничего не выходит. А теперь будете работать с этой рыбой.

Издали, за несколько комнат, они услышали кашель и тяжелые шаги.

— Топает папа Лифшиц,— сказал Стерн, смеясь.— Сегодня что, четверг? Сматывайся отсюда, Копин. По четвергам он в плохом настроении. В среду он ходит в баню и аккуратно схватывает насморк.

Дверь с треском растворилась, и в комнату ввалился папа Лифшиц, секретарь иностранного отдела, разматывая на ходу бесконечный шарф. Он неторопливо снял пальто, кепи и оглядел комнату из-под нависших бровей. Роскошная седая борода и пышные, как львиная грива, волосы делали его сказочно, невероятно старым. В редакции шутили, что Лифшиц в молодости знавал Авраама и даже перекидывался с ним в картишки, когда Сарра уходила к знакомым. Чем-то библейским веяло от его фигуры, и в редакции, среди телефонов, машинисток, неумолчного и нервного шума голосов, он казался живым анахронизмом, воскресшим мифом времен пророков и фараонов.

— Так,— сказал он, бросив на Копина кровожадный взгляд и шевеля бровями.— Копин, разумеется, бродит по редакции и мешает людям работать. Кто вам позволил пачкать мой стол? Что это тут намазано?

— Это я нарисовал слона,— сказал Копин.— Похоже?

— Он хотел сделать вам удовольствие, папа Лифшиц,— добавил Стерн.— Простите его. Ребенок развит не по летам и хочет забавляться.

Лифшиц грузно сел за стол и развернул газету.

— Убирайтесь отсюда,— сказал он, укрепляя на носу пенсне на широкой ленте.— Идите в свой отдел, тут вам нечего делать. Слышите, Копин?

— Слышу,— ответил Копин, закуривая.— Не волнуйтесь, папа, ради бога.

Он повернулся к Стерну.

— Слушай, у меня есть к тебе одно дело. Ты будешь сегодня в конторе?

— Буду.

— Получи мне деньги по доверенности на подшефную школу.

— Ну нет, я не возьмусь. Мне будет некогда, я забегу туда на минутку.

Копин встал.

— Ну ладно, попрошу Боброва.

Когда за ним закрылась дверь, Лифшиц опустил газету и одним глазом взглянул на Стерна.

— Зачем он шляется сюда?— спросил он, шумя газетным листом.

— Имеет право — газетный работник,— возразил Стерн, полусмеясь, полусердито.— Вы думаете, он доставляет мне удовольствие?

— Газетный работник! Что он знает о газете? Что она белая и что у нее четыре угла? Он мальчишка и ничего больше. Я бы его высек.

— Вы тоже были мальчишкой при царе Горохе.

— Был. Но он скверный мальчишка. Знаете, как нас держали тогда? О, я бы не посмел прийти к секретарю иностранного отдела и рисовать у него слонов на столе. Знаете, как это было?

И он в сотый раз рассказал Стерну, как это было. Как он, студент-медик, изгнанный из университета за вольное толкование случая с Евой, пришел, в поисках заработка, в редакцию «Московского листка». Как он попал в руки лохматого и вечно нетрезвого репортера, который взял его на выучку и заставлял бегать по Москве в поисках самоубийц и утопленников. Три года он описывал квартиры висельников, отравившихся и перерезавших себе горло бритвой; ругань с дворниками, унизительные переговоры с городовыми, толкотня и визг любопытных, при-

шедших взглянуть на труп. Потом в редакции надо было употребить сложную систему уговоров и лести, чтобы просунуть в хронику своего покойника, потому что со всех сторон репортеры тащили крушения поездов, ночные грабежи и подкидышей.

Он так набил руку на этом деле, что наконец все человечество начал рассматривать с точки зрения пригодности его к самоубийству. Заработки его были невелики. Могильщики получали больше, чем репортер,— выгоднее было закапывать покойников, чем писать о них. Он жил на гроши, питался впроголодь, познавая великую тайну куска мяса, дающего крепость мускулам и легкость мыслям, употребляя невероятные приемы, чтобы свести концы с концами.

И наконец ему повезло. Благодетелем был толстый грек из Бессарабии, приехавший в Москву с партией пшеницы. Когда Лифшиц увидел его в первый раз, он лежал в номере гостиницы на полу с аккуратно, от уха до уха, перерезанным горлом и его библейская борода была малиновой от крови. В углу, около дивана, лежала полуодетая женщина, убитая ударом палки.

Это был день победы. Его отчет, полный кровавых подробностей, многоточий и восклицательных знаков, был помещен на первой странице под режущим глаз заголовком: «Таинственное самоубийство». За отчет ему выписали чудовищную сумму — пять рублей, и он дрожал, получая деньги, как не дрожал никогда после — ни при объяснениях в любви, ни при смерти друзей.

Так кончился его трехгодичный искус. Уже на другой день его послали на открытие выставки по куроводству. Это был успех, подъем, первые шаги по большой дороге, и куры, хохлатые, пестрые, краснолапые, кудахтали о его судьбе. Еще долгое время он не мог избавиться от привычки писать о покойниках, и его отчеты о воскресных гуляньях, о банкетах, о парадах отзывались как-то ладаном и «вечной памятью».

Сегодня папа Лифшиц пришел в редакцию раньше обыкновенного. Обычно по утрам в иностранном отделе бывало пусто. Здесь работа начиналась с двух, и до этого времени можно было забегать сюда писать, рыться в газетах, в перерывы приходить и сосредоточенно ругать контору, разметочный лист, всю эту «собачью работу, в которой не имеешь ни минуты покоя». Здесь был тихий оазис, заповедное место, куда шум работы доносился слабо, отдельными звуками.

У стола стояло кресло с кожаной древней подушкой. Эта подушка кочевала, говорят, по шести редакциям, видела времена Суворина, Яблоновского, Розанова, процесса Бейлиса и анафемы Толстому; она была уже такой же рыжей и потертой, когда немцы брали Калиш и газетчики стряпали первые «немецкие зверства». При ней в «Русское слово» прибежал взволнованный, бледный, в шляпе, съехавшей на ухо, репортер и, роняя палку и перчатки, по дороге к редактору крикнул:

— Они разогнали Учредительное собрание...

Прежде чем сесть за работу, папа Лифшиц проходил из угла в угол, выпячивая грудь и разглаживая обеими руками густое серебро своих волос. Потом он извлекал платок, прилаживал старательно вокруг носа, набирал воздух, выкатывал глаза и оглушительно сморкался. Это был установленный, десятилетиями выработанный обряд, что-то вроде сигнала, утренней трубы, возвещающей, что папа Лифшиц пришел, садится, точно в седло, на свою кожаную подушку и принимается за работу.

Потом обряд развертывался дальше. На зажженной спичке он обжигал перо и погружал его в чернильницу, чтобы оно не рвало бумаги и не сажало клякс,— суеверие человека, работавшего пером несколько десятилетий.

Перед собой он клал пачку газет и принимался их читать: серые, без иллюстраций, в три широкие колонки, торжественно-скучные немецкие газеты; французские — с пестрыми шрифтами и уголовными романами на третьей полосе; американские — громадные, на тридцать—пятьдесят страниц, с фотографиями боксеров, улыбающихся женщин, железнодорожных крушений, напечатанными теплой коричневой краской на изумительной бумаге. Газеты таили трепет далекой жизни, шум чужих городов: президент дал обед на триста персон; Мэри Лоутон собирается переплыть Ламанш этой весной; японское судно «Сакен-Мари» напоролось на блуждающую мину; человеку-зверю Мартину Пикару, изрезавшему любовницу на куски и сжегшему их в камине, оттяпали голову в Гренобле по приговору суда. Ну-ну.

Когда-то, очень давно, когда папа Лифшиц был еще репортером, приезжал президент Французской республики господин Фор, были иллюминация и банкеты. Какой-то спортсмен тоже собирался переплывать какой-то пролив. В Гаванской бухте взлетел на воздух американский фрегат «Мен» с экипажем в двести человек; американцы объявили Испании войну и отняли Филиппинские острова. Знаменитый Джек-Потрошитель был повешен в Лондоне. И тогда еще — давно! — заведующий иностранным отделом в «Московском листке» Исидор Кормчевский, полный человек в модном двубортном жилете и клетчатых брюках восьмидесятых годов, поляк, варварски калечивший русский язык, высказал этот задумчивый афоризм:

— Жизнь подобна колесе!

Профессиональная ирония, житейская мудрость человека, для которого новость, сенсация сделались ежедневной рутиной, материалом ремесла.

Он был журналистом по профессии, но по призванию он был скептик...

2

Утром в полутемных комнатах редакции раздался одинокий звонок. Он рассыпался мелкой дробью над пустыми столами и грудами смятой, испачканной бумаги, отозвался дребезжаньем в пустом графине и обессиленно утих. Тогда из глубины коридора вышла со щеткой уборщица, бабушка Аграфена.

Это была ее неутомимая старческая страсть, увлечение, которому она отдавалась всей душой. Она любила говорить по телефону. Для нее это не было пустой, легкомысленной забавой, она относилась к этим разговорам, как к своему долгу, торжественно и сурово. Медленно она снимала трубку, прижимала ее к желтому уху и многозначительно спрашивала:

— А откуда говорят?

Особенно волновали ее эти утренние звонки, когда в редакции никого нет и комнаты наполнены странной, выжидающей тишиной, отзвуками вчерашней работы. На улицах широко зевают милиционеры, дворники метут мостовую и бредут пьяные,— особенные, специфически утренние, они отличаются неразговорчивостью, вялостью и безразличием к внешнему миру. В эти часы иногда звонит выпускающий: «Бабушка Аграфена, вы не спите? Я забыл перчатки в хронике, так положите их в шкаф, знаете, справа, хорошо?» Потом гремит первый трамвай, приходят рабочие, которые заливают асфальтом тротуар напротив и выгоняют беспризорников из асфальтовых котлов. Телефон звонит чаще, но обычно по ошибке.

— Это мясохладобойня?

— Это базисный склад?

И тогда она обстоятельно объясняла, что нет, это не мясохладобойня, и нет, это не базисный склад. Это редакция, надо дать отбой и позвонить по другому номеру. Она шла снова подметать комнаты с сознанием, что долг исполнен, ошибка исправлена, внесена ясность в сложные отношения людей с мясохладобойней и базисным складом.

На этот раз ошибки не было. Откуда-то, из неведомого конца города, несмелый голос спрашивал, нельзя ли позвать к телефону редактора. Она выполнила весь свой установленный обряд, расспросив подробно, откуда звонят, кто и зачем, потом сообщила, что раньше четырех редактор не приходит, спросила, не надо ли секретаря,— так его тоже нет. На этом разговор окончился.

Постепенно комнаты начали наполняться. Пришел секретарь газеты Берман, курчавый желчный еврей с узкими глазами, и, усевшись за стол, начал читать свежий номер газеты. Он не искал в ней новостей или интересных статей. Его занятием было разыскивать и яростно отчеркивать синим карандашом ляпсусы.

Он охотился за ними, выслеживая, как дичь, перевернутые строки, длинные заголовки и смазанные клише. Сначала он тихо изумлялся, страдальчески поднимал брови, потом входил в азарт, в неистовство, набрасывался на газету с патетической жестикуляцией, изрыгая ругательства и вращая глазами. Он звонил выпускающему, поднимал его с постели и огорошивал вопросом, в котором дрожали возмущение и обида:

— Почему у вас Ворошилов смотрит из номера?

Или:

— Не могли вы перенести «Письмо с Украины» вниз и дать немного воздуха над подвалом?

Так он бесновался над газетой первые полчаса, заново переживая вчерашний рабочий день. Мысленно он следил за выпускающим в типографии, где ночью, согнувшись над разметкой, тот кромсал ножницами гранки. Вот он заносит руку над Ворошиловым и ставит клише на край страницы, так что нарком оказывается повернутым профилем «из номера» к внешнему краю газеты. Берман испытывает судорожное желание схватить выпускающего за шиворот и поставить клише посередине, чтобы портрет со всех сторон был окружен набором. Подвал можно было опустить и разверстать на все восемь колонок, поднять телеграммы, отодвинуть «Нам пишут» или выкинуть это к черту. Полоса заиграла бы строгой красотой отчетливой, хорошо сделанной вещи, получился бы хороший номер.

Странное это дело, но вот за полтора десятка лет работы, проведенных в разных редакциях, с самыми разнообразными людьми, Берман еще ни разу не видел «хорошего номера», в котором ничто не нарушало бы гармонии шрифтов, рисунков и верстки. Всегда надо было что-нибудь поднять, отодвинуть или выкинуть. «Хорошего номера», наверное, никогда не было на свете, да и не будет. Это миф, отвлеченная мечта о недосягаемом величии, невозможная, как философский камень или вечный двигатель. Но таков закон всякой работы — надо шире размахиваться, надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое. И Берман ежедневно возмущался над газетой — все это приводило его в приподнято-желчное настроение, которое, собственно, помогало работать и освежало, как ванна.

В комнату вошел высокий, немолодой уже человек, заведующий информацией Бубнов, и раскланялся с Берманом с той подчеркнутой любезностью, которая появляется между людьми, не любящими друг друга. По дороге он прихватил несколько пакетов и ушел к себе в информацию, где уже нетерпеливо звонил телефон.

Это была самая грязная и неуютная комната в редакции. Через одну

стену широким размахом шла ярко-красная полоса; узкой струей она начиналась от окна и заканчивалась в углу эффектным каскадом пятен. Это было последствием одной замечательной истории — о том, как сам Бубнов пробовал открыть карандашом бутылку красных чернил,— вечером он ушел домой, скрипя зубами, раскрашенный, как пасхальное яйцо, вызывая в редакции восторженное одобрение. Окно выходило на соседнюю крышу, печь была закопчена, около телефона кусок стены был покрыт густой кучей номеров и надписями: «Был на «Динамо», никого нет, поеду в пять; снимки лежат в правом ящике...» На двери кто-то несмываемым химическим карандашом вывел: «Гуляющего Лифшица песочным часам смело уподоблю».

Репортеры звали эту комнату «пещерой» и «ямой». Но в ее законченном безобразии была какая-то внутренняя симметрия, стильность, которая не оскорбляла глаз. Ежедневно через комнату проходили события — новости отовсюду,— они врывались бесформенной, орущей, неистовой толпой и оставляли на стенах свой след. Вот это пятно у стола — след похорон Лутовинова: репортер, прибежав с Красной площади, писал, не раздеваясь, отчет и вымокшим на дожде локтем испачкал стену. Большое гнездо пометок справа от телефона — память о партсъезде. Круглое углубление в стене оставило разоблачение растраты в Кожсиндикате: разоблаченный пришел лично и ждал три часа Бубнова, чтобы бросить в него пресс-папье.

У окна трое репортеров сидели и курили, болтая ногами, перекидываясь фразами с секретарем отдела Доней Песковым, погруженным в правку тассовских телеграмм. Бубнов разделся, сел за стол, засунув по привычке ноги в корзину для бумаг.

— Есть что-нибудь?

— Пока не много. Завтра приезжает эта делегация, англичане; в Иваново-Вознесенске открытие фабрики-столовой. Пошлем кого-нибудь?

Репортеры повернули головы.

— Нет, зачем, там же есть у нас Симонов. Кто у нас на съезде библиотекарей?

— Мишка. Он мне звонил, говорит — скучища!

Бубнов распечатал несколько конвертов и начал читать письма с мест. Разведки новых залежей калийных солей на Урале: «Есть основания думать, что Соликамские калийные месторождения по толщине пластов превзойдут шведские и германские разработки». В Киеве проведен праздник древонасаждения силами пионеров: три страницы популярного вздора о деревьях и детской самодеятельности. Итоги хлебозаготовок по Сибири — цифры, проценты, коэффициенты... Он вздохнул и принялся черкать глубокомысленные рассуждения о древонасаждении, одним ухом прислушиваясь к болтовне репортеров.

У всех троих заспанный вид; они еще не встряхнулись как следует и сейчас не прочь были бы поваляться на кровати с папиросой в зубах. Еще медленно, чуть заметно начал свое вращение газетный день; есть время посидеть и поговорить.

— Нет, есть гораздо лучший способ,— слышал Бубнов из своего угла размышления Розенфельда.— Если «он» заупрямится, то не помогут никакие знакомства с его секретарем. А самое главное — это узнать его имя и отчество. Я всегда так и делаю, узнаю у кого-нибудь, а потом звоню спокойно. «Это вы, Николай Петрович? Добрый день, Николай Петрович. Мне надо зайти к вам минут на пять, взять кое-какие сведения для газеты. До свидания, Николай Петрович». И они всегда соглашаются. Ни один не устоит, если назвать его по имени-отчеству. «Эге, дескать, знают меня!»

Моров слушал, раскачивая ногой стул.

— А вообще-то собачья наша работа,— сказал он, позевывая.— Когда ты приходишь в учреждение, они смотрят на тебя, как будто ты сейчас человека зарезал. «О, вы, газетчики, знаем мы вас!» А что мы, газетчики? Да самые обыкновенные люди. О редакции у них дурацкие представления, они знают только, что в ней есть редактор и корзина. Сидит редактор и бросает статьи в корзину. Иногда разве оторвется, чтобы дать аванс,— это они тоже знают.

Третий, Майский, очнулся внезапно от задумчивости и обвел глазами комнату, что-то вспоминая.

— Бубнов, когда же вы мне аванс дадите?

Телефон заглушил его слова. Бубнов, продолжая черкать, снял трубку: «Откуда?»

Мысли Розенфельда приняли новое направление.

— Черт с ними со всеми,— заявил он с воодушевлением.— Никуда не пойду сегодня. Сяду-ка я да напишу очерк о сезонных рабочих. Давно он у меня вертится — и материал собран, и мысль есть...

Он сбросил пальто, достал бумагу и оживленно взъерошил волосы.

— Это будет вещь,— бормотал он, очищая перо.— Большой очерк, строк на полтораста,— держись, Бубнов! — с лирическим вступлением, с цитатами из Пушкина и Маркса. Кто это бросает пепел в чернильницу?

Но Бубнов уже повесил трубку и нацелился карандашом в Розенфельда.

— Розенфельд, надо слетать в Административный отдел Моссовета, сегодня там совещание по борьбе с бешенством собак. Только не вздумайте брать автомобиль, платить не буду.

И, не слушая возражений, снова принялся за правку статьи.

Часы приближались к двум. Из типографии принесли длинные гранки набора, сданного вчера на утро. Берман, щелкнув крышкой часов, пошел в отдел рабочей жизни подгонять материал к сдаче, пока типография свободна и легко могла набрать несрочные заметки. В художественном отделе Розе, карикатурист, выдумывал тему: садился, глядел в потолок, вставал. Вертелось что-то неуловимое, без конца и начала, не то о поляках, не то о Макдональде, но никак не удавалось поймать на карандаш. Рисовальщик Мифасов ретушировал белилами фотографию: прогульщик, запрокинув голову, пьет бутылку горькой.

— Что-нибудь на тему о нашей нефти? — предлагал он.

— Старо...

К трем часам однообразный шум работы усилился и перешел на другой, несколькими нотами выше, от баса к звонкому альту. В машинном отделении пять машинисток подняли сухой, волнами вздымающийся треск. Из информации вышел Бубнов с перекошенным галстуком и прошелся по коридору. Берман со счетной линейкой подсчитывал строки набранного материала. Через полчаса к альту присоединился дискант— это Доня Песков по телефону принимал отчет со съезда библиотекарей. В «Рабочей жизни» правщики правили заметки, густо зачеркивая абзацы и рассыпая знаки препинания. Все было в порядке, машина попала на зарубку и завертелась, ускоряя движение. Тело газеты, завтрашнего номера, лежало почти готовым, набросанным в общих чертах. Оставалось вдохнуть в него мысль, подравнять углы и спихнуть в типографию, в машины.

В информации царил Бубнов. Он наполнял ее своим трубным голосом. На просторном белом свете много вещей делалось зараз. Кто-то на съездах говорил речи. Приезжали какие-то дипломаты. Кто-то попадал под трамвай. И каждому надо было дать десять, тридцать, семьдесят строк. Шум большого города просачивался сквозь стены, врывался в комнату и широкими волнами бушевал вокруг исцарапанного, забрызган-

ного чернилами стола. Из вздыбленного хаоса слов, мыслей и дел надо было выкроить несколько тысяч строк для следующего номера.

В эти часы мир в представлении Бубнова был битком набит съездами, дипломатами, несчастными случаями. Сбоку этой огромной неразберихи прилепился как-то он сам со своим столом, корзиной и двумя телефонами, вооруженный ножницами и ручкой, чтобы делать вторую страницу в ежедневной газете. Он командовал этой армией новостей, швырял и рассовывал их, резал свежие, еще теплые, вздрагивающие под ножницами телеграммы о наводнении с десятками жертв, о видах на урожай, о приезде делегации, а в голове сами собой роились обязательные фразы: «из достоверных источников нам сообщают...», «можно с уверенностью сказать, что...».

Ему мешало какое-то ощущение, точно он забыл что-то сделать. Он гнал его, погружался в материал, но через некоторое время оно приходило снова. Потом у края стола он заметил кого-то и медленно вспомнил, что это посетитель, который ждет его уже минут десять. Посетителей он не любил и считал, что они даром обременяют землю, но сейчас у него не хватало времени даже на то, чтобы рассердиться.

— Садитесь,— сказал он только потому, что всякая другая фраза вышла бы длиннее.

И снова взялся потрошить заметку о студенческой практике.

Он задумался, покусывая ручку. В голову полезли какие-то несуразные, бесформенные заголовки...

— Что вам угодно? — спросил он посетителя, думая о заметке.— Будьте добры, говорите короче. Сейчас я не располагаю временем.

Он ожидал услышать обычную нелепость, с которыми приходят эти люди с улицы,— кухонные дрязги, ссору из-за примуса или водопровода. Со смешной наивностью они просят разоблачить управдома, серая кошка которого оцарапала младенца, известного всему двору своим кротким поведением. Они искренне верят, что это прекрасная тема для фельетона, и, когда им говорят, что ни кошек, ни примусов не нужно, видят в этом подвох.

— Я хочу работать в газете,— ответил посетитель, напряженно глядя Бубнову в лицо.

Бубнов поднял голову и окинул посетителя быстрым взглядом. Странно, как он не заметил этого сразу,— разумеется, это начинающий. Всех их выдает этот растерянный вид, напряженный взгляд и перепачканные чернилами пальцы. Ходят по редакциям стадами и с трогательным упорством пишут бесцветные пустячки. Бубнов вздохнул и положил ручку, приготовившись выслушать робкий рассказ начинающего о первых его успехах — о стихах, напечатанных в стенной газете, или заметке, помещенной в отделе «Нам пишут».

— Вы работали где-нибудь раньше?

— Нет.

— М-м. Почему вы хотите работать в газете?

Начинающий улыбнулся, как показалось Бубнову, самоуверенно.

— Мне кажется,— сказал он,— что у меня это выйдет. Я думаю, что выйдет,— поправился он.— Но попробовать я хочу обязательно.

— Но почему бы не попробовать еще какое-нибудь дело? Из вас может выйти шофер, фармацевт, может быть, нарком. Почему обязательно в газете?

— А почему нет?

Они помолчали.

— Вы хотите работать репортером?

Начинающий снова улыбнулся.

— Я хочу работать, может быть, редактором,— легко ответил он.— Но могу работать и репортером.

— Как ваша фамилия?

— Безайс.

3

Опять телефон. Песков снял трубку, другой рукой разрывая на своем столе кучу бумаги.

— Да, да, слушаю, что надо?

И внезапно глаза его расширились, округлились, рука застыла на полдороге.

— Кто?

Он подался вперед, машинально вытирая лоб.

— Кто?

На мгновение стало тихо. Там, снаружи, что-то стряслось. Большая новость накренилась, готовая обрушиться на редакционные столы.

Песков повесил трубку.

— Умер...

И он назвал имя человека, крупного работника, речь которого всего только неделю назад печатали в газете. Это было немыслимо, невозможно; человек был здоров, и никто не мог подумать, что он умрет так внезапно.

— Кто звонил?

— Звонили из ТАССа.

Бубнов в замешательстве встал. Новости этого рода оглушают. Он видел спокойный и решительный профиль умершего, докторов, столпившихся вокруг кровати, и суматоху в передней. Бубнов знал его раньше, несколько раз сопровождал в поездках на Украину и Кавказ; дома, на письменном столе Бубнова, стояла его фотография с надписью. Умер?

Но где-то в отдаленных углах сознания уже шевелилась другая мысль. Половина девятого. Типография забита набором. Страница о сезонных рабочих размечена и сдана. Репортеры в разгоне, кого послать? Надо ломать, переделывать, заново сделать весь номер. Это в девять-то часов, черт побери!

Газета...

Так он сидел несколько секунд, держа голову в руках, точно чужую, не принадлежавшую ему вещь. Потом перевел взгляд на Пескова, глядевшего на него со смесью обожания и беспокойства.

— Позовите Волжинова.

Вызвав типографию по телефону, он велел прекратить набор всего информационного материала; того, что уже набрано, хватит, чтобы заткнуть дыры. Он одним движением сгреб со стола в ящик весь потерявший значение хлам. Затем позвал курьера, посадил к телефону и строго приказал вызвать репортеров отовсюду, куда только можно было дозвониться.

Неожиданная удача: в дверях показался Розенфельд — мрачный, разочарованный, утомленный скучнейшим совещанием по борьбе с бешенством собак.

— Это такая зеленая скучища,— начал он свои жалобы,— это такая чепуха...

Бубнов не дал ему опомниться. Он схватил его, в несколько минут поставил десяток главных вопросов, на которые надо взять беседу с профессорами, и Розенфельд исчез за дверью.

— Передайте мне оттуда по телефону!— закричал Бубнов ему вслед.

Пришел Волжинов — выпускающий. Он худ, волосат и настроен скептически: у этой информации вечно какие-нибудь фокусы.

— Ну, что тут такое? Опять опоздаем с выпуском? Кто умер?

Но через несколько секунд профессиональное самомнение ему изменило. Он дал уговорить себя подождать до часа ночи и ушел, махнув рукой:

— Зарежем номер!

Мальчик сообщил:

— Моров и Майский сейчас едут сюда. До Постоева не мог дозвониться.

А из дверей уже кто-то кричал:

— Бубнов, вас к Берману!

Он дал несколько приказаний Пескову: найти в библиотеке биографию умершего; заказать художественный портрет... Потом что? Ах да, вот что: позвонить в ТАСС насчет правительственного сообщения.

И побежал к Берману совещаться, как завтра «подать» в газете известие.

В коридорах столпились сотрудники других отделов. Они взбудоражены. Вся работа сегодняшнего дня пошла насмарку... Они проводили тяжелую фигуру Бубнова сочувственным взглядом: как это он выкрутится сегодня?

Опять звонок. Ну, разумеется!

— Правительственное сообщение будет не раньше полуночи.

И Песков яростным движением повесил трубку. Он побежал к Бубнову. На его молодом лице отражались ужас, растерянность, недоумение. Не раньше полуночи? А сколько в нем будет строк? Значит, опять придется ломать страницу?

У Бермана совещание. Входить нельзя. Тут завязывали теперь главный узел. Завтра тысячи людей увидят газету в том виде, как здесь разметят ее,— на фабриках, в учреждениях, дома они развернут страницы в траурной рамке, с портретом на первой полосе.

Бубнов, став коленями на стул, набрасывал карандашом разметку первой полосы. Портрет сверху, посередине, на три колонки. Беседу Розенфельда (он достанет!) в правом углу. Сколько сейчас времени?

Ворвался Песков.

— Правительственное сообщение будет не раньше полуночи!

И Волжинов, скептик, принимает это на свой счет:

— Я так и знал.

Одиннадцать часов.

На столе Бубнова скопился новый ворох бумаги. Гранки набора, разметочные листы, сообщения ТАССа — все это надо привести в порядок. Он глубоко врезался в этот хаос, изредка поглядывая на часы: половина двенадцатого! Надо еще ускорить темп работы, нажать на все педали.

И он нажал. Мальчик курьер безостановочно хлопал дверью. Песков притащил из библиотеки биографические материалы об умершем — еще полтораста строк в набор. Телефон передавал новые подробности: «Профессор Успенский в беседе с нашим сотрудником...»

— Ага, это Розенфельд?

И в течение последующего получаса он неистово работал, не разгибаясь и не поднимая глаз. В этом клочке времени сосредоточилось все напряжение газетного дня, его энтузиазм и горечь,— последняя, заключительная нота. Он «подавал» новость, ставил ударение на самом главном, что должно броситься читателю в глаза, вокруг он располагал подробности, впечатления, детали...

4

По лестницам с вытертыми бархатными перилами, по коврам с пыльными следами ног, мимо унылых пальм он прошел наверх, во второй этаж. Зеркало на площадке отразило его в своей мутной глубине: галстук пяти цветов, сжатые кулаки и папиросу — утешение новичков. Он оглядел себя, обычное чувство юмора изменило ему, и он не нашел ничего смешного в своих оранжевых перчатках.

Коридоры суживались впереди и загибались прямыми, отмеренными углами, по карнизам извивались приличные и безвкусные цветочки, гипсовые львы, поддерживавшие подоконники, смотрели с униженной, песьей скукой в неживых глазах.

Он прошел мимо этих стен, презирая их, шагами завоевателя, идущего за добычей, как шел когда-то брать города. Розовый ковер ложился под ногами проселочной дорогой, отступали стены — и цветы на карнизах вырастали, качались, шумели над головой, как зеленые леса в Царстве Польском. Надо взять беседу с приезжими англичанами: ему, Безайсу, поручено ее достать. Газета нуждается в ней, слышите, Безайс? Читатели с нетерпением ждут эту беседу, страна, мир, человечество жаждут ее услышать. Мы надеемся на вас, старина, вы не подведете?

И он шел, попирая ногами ковер, потрясенный и взволнованный величием возложенной на него задачи.

Англичане ехали сушей и морем, их задерживали на каждой границе, сыщики незаметно щелкали крошечными аппаратами и писали секретные донесения. Наконец готово, они приехали,— но нет, еще не завершился круг вещей. Должен еще прийти газетчик и сказать свое последнее слово, сделать из обыденного факта новость и взволновать ею сотни тысяч людей.

Его посетило видение — дух газеты. И не было у него сияния, крыльев, радужных одежд и лаврового венка. Тренированный, ловкий, с рассчитанными движениями — ни одного жеста лишнего!— поспевающий всюду и знающий все репортер. Он был стремителен, жаден и прекрасен в своем неутомимом беге, он творил песню города, схватывал зеркальным фотоаппаратом лирику мостовых, эпос каменных этажей...

В конце коридора он остановил полового.

— Где приезжие англичане? — спросил он, глядя на него очень серьезно.

Они были в зале, завтракали. Он пошел прямо туда, но у двери был остановлен рослым малым в фартуке.

— Нельзя.

— Но я из газеты,— ответил Безайс, снисходительно улыбаясь.

Это его не тронуло нисколько.

— Не приказано.

— Как не приказано? Мне надо взять беседу с делегатами.

— Извольте подождать, все ждут. Там тоже из газет — вон, на диванчике сидят. Делегаты кончат кушать и выйдут к вам.

Он оглянулся. В углу, на диване, сидело несколько газетчиков. Это его успокоило. Он подошел, раскланялся, сверкнув радужным галстуком, и сел.

Они оглядели его, задержались на вызывающих перчатках и снова возобновили болтовню. Толстый, круглоголовый, в резиновом макинтоше репортер из ТАССа рассказывал о чем-то, Безайсу показалось — о женщине.

— Она меня замучила. Я вставал среди ночи, бродил, принимал капли, но не помогало — не мог ни спать, ни работать.

— Да, от нее не скоро отделаешься,— покачал головой другой, бритый, в шляпе.— Где вы ее подцепили?

— В Доме печати. Я слишком много выпил пива тогда.

Он разглядывал их, ища на лицах признаки обуревавшего их волнения. Но они были спокойны, ленивы, один откровенно и мрачно зевал. Они или не сознавали величия возложенной на них задачи, или скрывали свое волнение. Потом из разговора выяснилось, что речь шла не о женщине даже, а об ангине, которую репортер из ТАССа вылечил борной кислотой. Остальные возражали: горчичники на ночь помогают лучше.

Из кухни половые несли суп, потом жаркое, потом рыбу, потом сладкое. После сладкого Безайс почувствовал облегчение, решив, что обед кончился. Но на пути прессы встало новое препятствие: делегаты заказали чай, русский чай с поющим самоваром и баранками. Имеют они право пить чай?

Пусть пьют. И этот разговор на пятнадцать минут с косоглазым переводчиком о достопримечательностях Москвы тоже ничего не значит. Можно подождать. Он готов ко всему. Он будет здесь ждать час, день, неделю, но унесет в кармане беседу с делегатами.

Сонный репортер предположил:

— Что ж, мы ночевать здесь будем?

— М-да...

— Все англичане здоровы жрать. Гуляют — жуют, в театре сидят — жуют, природой восхищаются — жуют.

— Нет, просто мы есть не умеем. У них это культ, наука целая. Есть надо правильно.

— А пить?

— Глупо все-таки околачиваться полтора часа из-за полусотни строк...

Но вот задвигались стулья. Кто-то в зале затянул фальшиво нерусскую песню. Безайс возбужденно встал и одернул пиджак. Добыча шла навстречу.

Из дверей вышла высокая женщина в красном платке, со значком на груди, стриженая, угловатая. Взгляд ее упал на репортеров.

— Ах да...

— Можно?

Она решительным движением поправила платок.

— Нет, товарищи, сейчас нельзя. Делегаты едут в ВЦСПС. Зайдите позже.

Репортеры заворчали.

— Да что же это такое?

— Товарищ Авилова, вы смеетесь? Чего ж вы сразу не сказали?

— Не могу.

— Да вы нам не нужны, дайте делегацию.

Но ее лицо застыло в административном величии.

— У меня нет времени. Я сказала, зайдите позже, часа в четыре.

Репортер из ТАССа продвинулся вперед.

— Товарищ Авилова, что это за женские капризы? Мы сюда не за развлечением приехали, мы работаем.

— Я попросила бы вас выбирать выражения!..

Сзади пробормотали:

— Ах, эти бабы!

— Вот тумба!

Спор перекинулся на пустяки, на вздор: «Вы меня не запугаете, перестаньте, пожалуйста», «От этих газетчиков просто покоя нет!», «А вам пора бы на покой, знаете ли»... Ее некрасивое лицо раскрасне-

лось, она спорила с бабьим мелочным азартом, упираясь кулаками в бока. Безайс разглядывал ее в нерешительном раздумье — собственно, убивать бы надо таких гадов!

Седой, плотный, голубоглазый англичанин вышел в коридор. Голоса спорящих понизились. Репортер из ТАССа быстро подошел к нему, обменялся рукопожатием и заговорил по-английски — делегат заулыбался, закивал головой. Они дошли до номера, англичанин скрылся за дверью, репортер повернул обратно.

Женщина в красном платке негодующе смотрела на него.

— Товарищи, это приемы желтой прессы!

Наступила пауза. И вдруг Безайс обиделся. Что она сказала? «Приемы желтой прессы»? Да как она смела! Потом обида перешла в злое, стремительное бешенство. Эта тупица в приступе глупой суетливости мешает им выполнять великий, прекрасный долг газетчика — ловить новости. Она...

Ноги сами вынесли его вперед. Он поднял руку в оранжевой перчатке жестом пророка, проклинающего язычников. И в тишине коридора услышал собственный свой голос — неестественный, пронзительный вопль:

— Как вы смеете?

Он постоял немного, медленно соображая, что руку надо опустить. Это глупо так держать руку, точно он собрался петь. Потом он вдруг вспомнил свой истерический, нелепый крик и ужаснулся. Что он наделал? Зачем он вылез вперед разыгрывать осла перед взрослыми, занятыми людьми?

Но остановиться было уже нельзя, немыслимо — они молчали, ожидая, что он еще выкинет. После такого вопля надо убить кого-нибудь, поджечь дом, упасть в обморок. Нельзя же взвизгивать таким образом в деловом разговоре! И вот с растущим чувством стыда, краснея, он произнес нотой ниже:

— Как вы смеете?

Она смотрела на него остановившимся взглядом. Безайс, холодея, ждал своей участи. Сейчас она позвонит Бубнову и попросит не присылать эпилептиков в следующий раз. Нет, хуже, она просто повернется и молча уйдет. Он останется с глазу на глаз с этими ребятами, и вечером в пяти редакциях будут хохотать над ним.

Она опустила глаза. Провела рукой по лбу.

— Ну хорошо, я попробую...

Сначала он даже не понял, о чем она говорит.

— Если уж вы так спешите... я постараюсь задержать делегацию минут на пятнадцать...

Глядя сзади на ее удаляющиеся ноги в телесных чулках, Безайс упивался радостью спасения. Первое, что он сделал, это убрал руку: сначала поднес ее к голове, делая вид, что поправляет кепи, потом спрятал в карман. Зверь был укрощен, но победитель чувствовал себя неважно. Обернувшись, он увидел устремленные на него взоры репортеров, они смотрели с неопределенным выражением, молча.

Он имел мужество сказать:

— Я, кажется, немного погорячился?

Толстый репортер пришел к нему на помощь:

— А, это такая каналья!

Его замечание пробудило в них старую неугасимую вражду к людям из учреждений, к завам, управделами и секретарям.

— Да, это сплошная дура, без отметинки.

— Она, собственно, не дура. Просто перестаралась.

Безайс почувствовал, что всеобщее внимание отвлечено от него, и ему стало легче...

Он бежал с лестницы, перескакивая через ступени. «В беседе с нашим сотрудником председатель делегации выразил удовлетворение по поводу порядка на железных дорогах...» Он тоже от души этому рад, очень приятно, что там все в порядке. Председатель делегации, розовый, крепкозубый, бритый шахтер, улыбаясь, пытался произнести «Крэмл» («делегаты намерены осмотреть достопримечательности Кремля») и хлопал репортеров по плечам. Остальные через переводчика расспрашивали о куче разнообразных вещей: о яслях, о рабкорах, о театрах. «Наш сотрудник отмечает живой интерес делегатов к советской общественности».

— Эй, постойте!

Он оглянулся. Вверху, в пролете лестницы, перегнувшись через перила, ему махал шляпой тассовский корреспондент.

— Подождите, пойдем вместе!

Он догнал Безайса и пошел рядом, отдуваясь, шляпа съехала на затылок, папироса небрежно торчала в углу рта. От него веяло здоровьем, веселой самоуверенностью; такой человек должен много есть, много курить, много работать.

— Вы новичок? — спросил он.

— Да. Это очень заметно?

— Конечно. Сколько времени работаете?

Нелегко было ответить на этот вопрос. Но он предпочел сказать правду:

— Это мой первый опыт.

— Я так и думал...

Он засмеялся, покачивая головой с выражением не то сожаления, не то насмешки.

— И что же — нравится?

— Очень!

— Ну-ну.

На дороге по скользкому снежному месиву ломовая лошадь тащила огромный воз. Худая, костистая, с проваленной спиной, она казалась воплощением тяжелого, безрадостного труда. Ломовой в брезентовом дождевике бил ее вожжой — равнодушно, без злобы, для поощрения, — веревка глухо стучала по костям.

Репортер папиросой указал на нее Безайсу.

— Видите? Когда на нее в первый раз надели хомут, она, наверно, ухмылялась и думала: «А забавная это штука — таскать телегу». Теперь она другого мнения. Вас только еще запрягли. Похóдите в упряжи и тогда поймете, что работа никогда не бывает легкой и веселой.

— Но я этого и не думаю. Я знаю, что это большая, громадная работа. Только я ее не боюсь, вот и вся разница.

— А кто вам сказал, что эта работа большая и даже громадная?

— Я думаю...

— Знаю, что вы думаете. Она тяжелая, это верно. Но ничего громадного в ней нет.

Он швырнул окурок.

— Бегаешь и бегаешь. Только и всего.

Безайс засунул руки в карманы и в полтона засвистел кавалерийскую зорю, которую играет горнист по утрам, поднимая эскадрон на ноги. Сероглазая девушка с коньками под мышкой улыбнулась ему, и он проводил ее беззаботным взглядом. Работа — старое проклятие земли, сунувшая в руки дикаря каменный топор, а теперь погнавшая Безайса в гостиницу, к англичанам, за репортерской заметкой, — улыбалась ему, как девушка, ласково и задорно.

— Я смотрю на свою работу как на общественную обязанность, — сказал он.

— О, я видел, в каком настроении вы пришли сегодня.

Безайс был немного задет.

— В каком же?

— Вам хотелось сдвигать горы. Изумлять и просвещать народы. А что вышло? Какая-то глупая баба устроила скандал...

— Она дура,— заметил Безайс тоном глубокой уверенности.

— Да, разумеется. Но скандал-то был унизительный. Человек пришел общественную обязанность выполнять, а его продержали полтора часа в прихожей. Потом обругали. И наконец сжалились. Ладно, мол, черт с вами. Лопайте.

А когда Безайс, торопясь, начал возражать, он перебил его:

— Хорошо, хорошо, думайте, как хотите. Я дам вам только один совет: работайте легче. Не задавайтесь и не думайте сделать что-нибудь великое. Над вами будут смеяться, вот и все.

«А!» — подумал Безайс.

И ему стало скучно. Это, кажется, из той старой оперы, что «все мы были молодыми»? Так называемая «житейская мудрость»?

— Ну, будьте здоровы,— сказал он.

Второе задание он получил тяжелое, безнадежное, и Бубнов, давая его, сказал: «Вы его провалите». Безайс пошел со стесненным сердцем, полный мрачных предчувствий, и действительно провалил задание.

Надо было поехать в правление текстильного треста и узнать о закупленных за границей машинах. Его встретил простуженный, кем-то обиженный, робкий человек. Он сидел в пустой комнате, широко открыв рот, и разглядывал в зеркало черный, с дуплом, зуб. Появление Безайса он принял, как личную обиду.

— Ничего сообщить не могу, молодой человек, я не имею этих сведений,— говорил он, играя ключом и упирая на слова «молодой человек». Очевидно, это была ирония.

— Но вы обязаны их иметь,— солидно возражал Безайс.

— А у меня их нет.

И он демонстративно открыл рот, скосив в зеркало глаза.

Придя в редакцию, он рассказал о неудаче Бубнову. Тогда тот послал его на постройку нового московского телеграфа — собрать сведения о ходе работ. Рано утром, когда улицы были еще пусты, Безайс явился на постройку. В хаосе были набросаны разбитые куски стен и обломки сводов старого здания. Высокими желтыми штабелями лежал лес; рельсы, серые от инея, звенели под ногами. Грузовик, гремя цепями, осторожно пятился к куче щебня. Мерзлая земля была разворочена кирками и динамитом; пластами лежали столетние наслоения городских отбросов — черепков, костей, извести и перегнившего мусора. Рабочие, рыжие от кирпичной пыли, устанавливали ажурную тонкую вышку; ее металлические ребра звенели на ветру.

Он нашел инженера в прокуренной темной будке. Сдвинув фуражку на затылок, инженер пил чай с баранками и сушил у раскаленной печки мокрые сапоги. В углу, невообразимо скорчившись, спал техник, укрывшись пальто; он исступленно храпел, чмокая и свистя; это был сон человека, выбившегося из сил.

— А, садитесь,— сказал инженер, когда Безайс объяснил ему, зачем он пришел.— Хотите чаю? Там собачий холод. Я могу дать вам только общие сведения,— продолжал он, изогнувшись над печкой,—если хотите чего-нибудь специального, подождите главного инженера. Будет часов в двенадцать...

В редакцию он пришел к часу и спрятался в комнате иностранного

отдела. Он перечитал свои наброски, ощущая, что у него в руках большой и важный материал. Твердый звук разбиваемого камня и чистый, точно девичий голос, звон железа звучали вместе, как звучит рифма. Его захватило очарование работы, и он написал обо всем этом — о камне, о железе, о взрытой земле, о том, как бегут над тонкой вышкой холодные облака. Получилось очень много, и, на взгляд Безайса, получилось хорошо. Заметка получилась задумчивой, лиричной и, конечно, длинной. Чтобы цифры не портили впечатления, он говорил о них мимоходом, и они сидели в заметке, как изюм в тесте. Пятнадцать строк заняло описание забора вокруг постройки и песен, которые пели рабочие, поднимая балки. Он собирался рассказать о стенной газете «Строитель», когда вдруг заметил, что набежало уже строк полтораста. Конец он бойко закрутил. Было уже два часа, он потер руки, сказал «уф!» и пошел к Бубнову, довольный собой.

— Это ерунда,— сказал Бубнов.

— Мне тоже так кажется,— солгал Безайс, царапая на ногте чернильное пятно.— Можно было бы написать больше, я поторопился.

— Не в этом дело. Не так надо писать.

Бубнов пошарил ногой под столом.

— Читателю нет дела до облаков и какого они цвета,— продолжал он, нащупав ногой корзину и засовывая в нее ноги.— Он берет газету и спрашивает: в чем дело? Зачем строят телеграф? Какой? Почему я должен прочесть о телеграфе? А вы ему напускаете туману насчет балок и заборов. Вы не начинайте издалека, не ходите вокруг да около. В первых же строчках изложите существо дела, а потом давайте добавочные замечания.

— Это выйдет скучно,— сказал Безайс.

— Скучно?

И Бубнов, улыбаясь, рассказал ему старый-старый газетный анекдот, выдуманный, наверное, еще во времена ручных машин и гусиных перьев. Его рассказывают всем начинающим газетчикам, как дают младенцам манную кашу. Информация положила ручки и приготовилась слушать.

— Вы идете по улице и видите: лошадь задавила человека. Немного дальше, за углом, вы встречаете его жену и начинаете ей «рассказывать», что случилось. «Я,— говорите вы,— сейчас видел вашего мужа. На нем был галстук в клетку, мне он понравился, где вы выбирали такой? Да, кстати, вашего мужа задавила лошадь».

Он изрезал отчет, и оставшиеся крохи попали на другой день в хронику по городу.

Следующее задание пришло не скоро — через три дня. Это было степенное, длинное собеседование с членом райсовета о домах жилищной кооперации и о размещении в них рабочих семейств. Член райсовета был рад этому случаю — рад за себя, за кооперацию и за рабочие семьи. Ему лестно было внимание газеты к его делу, и он принял Безайса с торжественной серьезностью. Поглаживая бороду, он влачил его через сводки, схемы, планы, оглушал цифрами и под конец совсем уморил какой-то штукой на двадцати листах; позже Безайс так и не мог вспомнить, что это было. Несколько раз он пытался задать основные вопросы и уйти, но член райсовета не мог с ним расстаться. Глядя в его простодушные глаза, Безайс чувствовал, что завтра, когда в газете появится отчет всего в пятьдесят строк, член райсовета сделается его врагом до гроба.

Он сидел и писал отчет поздно вечером в комнате машинисток. Круглая лампа освещала желтые столы, ворох мятой бумаги и покрытые чехлами машинки. Две дежурные машинистки сидели на диване с Саррой Малаховец, техническим секретарем редакции, молодой, когда-то даже

миловидной, но рано постаревшей женщиной. Безайс кусал карандаш, стараясь вспомнить, сколько «н» в слове «кожаный», одно или два. Сквозь строки отчета он слышал разговор — Сарра рассказывала о своих семейных неприятностях, у нее их было уйма.

— И вот как-то на папиросной коробке я заметила надпись: «Катя ждет в субботу в семь часов». Я у него спрашиваю, что это значит, и он, подлец, так это спокойно объясняет мне, что он живет на две семьи уже около года, что у него от нее есть девочка...

Безайс мотнул головой, отмахиваясь от этого вихря семейных несчастий. Заметка писалась вяло.

В расселении жильцов в кооперативных домах строго соблюдался классовый принцип. Прежде всего удовлетворяли требования рабочих. Их вселяли в первую очередь, предоставляли нижние этажи, наладили рабочий контроль. Были попытки срыва классовой политики...

МОЙ ОТЪЕЗД НА ПОЛЬСКИЙ ФРОНТ

(Отрывок)

Я пришивал к ремню большую железную пряжку. Передо мной на столе лежал список вещей, которые надо было взять с собой в дорогу. Их было немного: нож, иголка с нитками, махорка, карандаш и бумага.

На столе горел ночник из подсолнечного масла — крошечная точка пламени. Напротив, за столом, сидел отец. Видны были ухо, нос и немного бороды.

Он сидел и выдумывал, что бы ему сказать. Это было нелегкое дело, если принять во внимание обстоятельства. Он уже второй день, приходя с работы, слонялся по комнатам, барабанил пальцами по столу, насвистывал, испытывая потребность что-то сделать, сказать, быть у места. Совершалось важное дело: сын уезжал на фронт, и он хотел достойным образом вести себя. Мать знала свое материнское ремесло и плакала, собирая белье в дорогу. А что, собственно, должен говорить и делать отец, когда старший сын уезжает добровольцем на фронт, чтобы нести польским рабочим и крестьянам свободу на конце штыка?

Мой отец был средний человек — жертва и материал статистики. Таких, как он, в стране жило несколько миллионов, и он ничем от них не отличался. Это была статистическая судьба среднего рабочего. На его долю приходилось сорок лет работы, шесть лет безработицы и три года фронта — все это он получил сполна. Потребление мыла и бумаги, заработная плата, заболеваемость, детская смертность — все это в нашей семье соответствовало средней норме.

Судьбы средних людей — массовое производство, они одинаковы, как банки консервов. Мой отец не имел самостоятельной судьбы. На производстве он был рабочим, на фронте — солдатом, в стране он существовал как плательщик налогов. Над ним возвышалась иерархия начальников, командиров, властей, которые следили, чтобы отец не выходил из среднего процента.

Жизнь моего отца — жизнь средней продолжительности — была обречена течь по кривому руслу уездной улицы. Эта улица, как проказой, была заражена своим названием: она называлась Еременихинской. Разумеется, на ней росла трава и паслись козы. Она ничем не отличалась от других таких же улиц. Было, все было: и лужа, и скворечни, и кирпичная церковь, и дурак Иона, которого дразнили мальчишки.

Если вы проживете сорок пять лет на такой улице, вы не сможете похвастаться воображением. У моего старика его и не было. Пока что он обходился без него, человеку статистики его и не полагалось. Что бы

он стал с ним делать здесь? Взгляните на комнату: стены оклеены розовыми обоями с цветами, каждый величиной с блюдце. Шесть истощенных стульев и кушетка, в которой стонут пружины, как грешники в аду, когда на кушетку садятся. На стене висит картина. Она называется «Истома» и изображает женщину в красном платье с закинутыми за голову руками — это наше представление об искусстве. На окнах растут кактусы и герани.

И вот — перемена.

Я уезжал на фронт добровольцем. Ничего подобного раньше не было: весь семейный опыт оказывался бесполезным. В этой комнате, среди ее гераней, разыгрывалась распря с Польшей. Мы посягали на мировую историю. Польские корпуса взяли Житомир и Киев, форсировали Днепр — ах, так? В таком случае штопайте мне носки, укорачивайте казенную солдатскую шинель, собирайте белье!

Впервые в этой обстановке возникла необходимость новых слов, жестов, поступков. Это было вторжение пафоса на Еременихинскую улицу. Она со своими лужами и заборами вдруг превратилась в отечество, ее намерены были защищать с оружием в руках. А эта мебель — эта продавленная кушетка, эти рахитичные стулья, исцарапанный буфет, если их свалить посередине улицы и посадить сзади бородатых отцов и младших братьев с ружьями,— пожалуй, она покажется даже красивой.

Я видел, я ощущал, как отец бродит от одной фразы к другой, выбирая, оценивая. Желание сказать прощальные, заключающие слова родилось в нем и искало выхода. Он шевелил руками — может быть, он хотел положить левую руку на грудь, а другую торжественно поднять вверх?

Он должен был сказать мне:

«Слушай! Я кормил и сек тебя. Я делал это, как умел, чтобы дать тебе приличное воспитание. Теперь тебе семнадцать лет, и я говорю: пора! Они хотят драться? Ладно, покажи им, как это делается.

У нашей семьи есть свои счеты с буржуазией. Раньше я надеялся, что господь бог вмешается сам. Но у него, очевидно, столько своих дел, что ему некогда обратить внимание на Юго-Восточную дорогу.

Сорок лет я гонял паровоз по этой дороге. Юго-Восточная дорога поручила мне бросать уголь в топку. Паровоз потребляет в час двенадцать пудов угля; за сорок лет работы мне предстояло перебросить миллион двести тысяч пудов. Сжечь эту гору угля — вот был мой долг, мое призвание и смысл жизни. Я был обречен жить с лопатой в руках и умереть, радуясь, что я не обманул доверия Юго-Восточной дороги. Сорок лет дорóги! Вот, вероятно, разнообразная жизнь! Но за эти годы все, что я видел, — это кусок рельсов, от станции Поворино до Царицына. Думаю, если бы меня посадили в тюрьму, разница была бы небольшая.

А я был свободен, совершенно свободен! Меня никто не заставлял быть кочегаром, наоборот, мне говорили: если тебе это не нравится, можешь убираться к черту. Я по собственной воле и выбору взялся бросать уголь в топку. Я был свободным человеком, и мои права охранялись законом. Этот закон гласил: нехорошо принуждать человека играть на скачках или сажать его директором банка, если он хочет быть кочегаром.

Точно так же я свободно устраивал свою жизнь. Колбасные магазины предлагали мне окорока. Рестораны звали меня отведать омаров, трюфелей, устриц, на их стойках мерцали самые дорогие вина. Рекламы убеждали меня: «Одумайтесь! Неужели вы не понимаете, что английское сукно прочнее, удобнее и красивее вашего тряпья?» Но я оставался глух к этим убеждениям. Я продолжал есть свою селедку с картофелем и носить куртку.

Она росла, она прямо-таки пухла у меня на глазах, Юго-Восточная дорога. Ей везло. Она построила новую ветку на Урюпино в 1894 году. Я запомнил этот год потому, что тогда умер твой брат пяти месяцев от роду. Второй умер в 1897-м, когда дорога заново перестраивала все вокзалы на своей линии. В 1904 году Юго-Восточная ввела новые мощные паровозы серии «С-19». У меня осталась метка на память — оторвало палец бесконечным винтом, который у «С-19» сделан не так, как у старых.

А она росла, паровозы Уатсона сменялись Декаподами, затем сверхсильными, курьерскими. Росло атмосферное давление, число вагонов, километры рельсов. Я наблюдал эти перемены с паровоза — они неслись мимо меня со скоростью от сорока до шестидесяти километров в час. В голой степи поднимались телеграфные столбы, из земли возникали водокачки, появлялись разъезды и полустанки. Этот клубок сил и скоростей стремительными толчками развертывался на юг, захватывая деревни, нагромождая пакгаузы, паровые мельницы, мосты.

Да, она цвела и распускалась, как подсолнечник, цвела и приносила плоды. Я видел, как здесь добрели и наливались соком начальники станций и участков, старшие инженеры и инспектора. Сначала это были худенькие путейцы, мамины мальчики с острыми носиками. Мне они говорили «вы» и «извините». Потом у них отрастали бороды, багровели затылки, созревали величественные зады; вырастала сорокалетняя, пузатая, хриплая, мордастая шайка. Зубы у них крупнели и желтели, на кулаках вырастали волосы. Эти животы и подбородки символизировали мощь дороги, ее полнокровие и процветание.

Это чертовски несправедливо. Нас обжуливают — вот что я думаю о своей жизни. Если господь бог существует, то он не умеет взяться за дело; во всяком случае, он никогда не вмешивался в дела Юго-Восточной дороги.

С меня довольно всего этого. Ты прекрасно делаешь, что идешь на фронт. Это твой прямой долг. Я не боюсь войны, не бойся и ты. Твой дед, и твой прадед, и прапрадед — все были бравые ребята с бородищами и круглыми рожами. Все это солдаты турецких, кавказских и туркестанских кампаний. Много они поели солдатского хлеба и истоптали солдатских сапог! Они орали песни под Плевной, и воровали кур под Бухарой, и околевали на Кавказе. Мы поколение солдат. Мы представители всех родов оружия — артиллеристы, пехотинцы, драгуны, гусары, уланы, саперы. Нас вооружали кремневыми ружьями, пистонными ружьями, шомпольными ружьями, винтовками Бердана и трехлинейными винтовками образца 1891 года.

Юго-Восточная дорога стригла с меня шерсть, но в четырнадцатом году у хозяев разыгрался аппетит. Им захотелось мяса. Доктора осмотрели меня и решили, что я достаточно хорош для того, чтобы быть убитым. Шкура, вырезка, филейная часть — все было первого сорта. Русскому командованию не пришлось бы краснеть перед немецким за своих покойников.

И я воевал. В Восточной Пруссии, под Танненбергом, где генерал Людендорф начисто уничтожил армию генерала Самсонова, война покалечила мне руку, отметила, чтобы поймать и добить потом. В Перемышле австрийский главнокомандующий Конрад фон Гаузенштейн приказал выбить нас осадной артиллерией из крепости. Силой взрывов меня бросало из стороны в сторону, швыряло на пол. Под Карпатами генерал Маннергейм расставил пушки в шахматном порядке и стрелял по окопам залпами. Вставала сплошная стена земли и дыма, второй залп — еще ближе к окопам, третий, четвертый. 6 августа 1915 года я видел, как хлор густым, тяжелым облаком плыл к нашим окопам, а мы смотрели, удивлялись, не понимали. Потом, в госпитале, я видел, как вы-

резают кожу со лба, чтобы починить разрубленный нос, как вставляют стеклянные глаза, заменяют куски черепа гуттаперчевыми заплатами, делают резиновые стоки для мочи, если мочевой пузырь ранен осколком...

С меня довольно всего этого: шутки в сторону! Драться так драться! Я голосую за войну. Я настаиваю на войне! На э т о й войне!

Ну, желаю удачи. И вот тебе родительский совет, заповедь: что бы там ни было — держись до конца!..»

Но он не сказал ничего этого. Надо прожить сорок пять лет на улице, которая называется Еременихинской, в комнате с фикусом и бумажным веером, чтобы растерять все эти слова. Наша мебель не вынесла бы их.

Вот что он сказал:

— Соловейчик предлагает копать огород за выгоном — знаешь, около винного склада?

Некоторое время мы молчали, пораженные тупостью этих слов. Старик, собственно, был нем, как рыба, без языка. Он был обречен безвкусным, как репа, словам, огрызкам слов. Он был ограблен. Прекрасные слова, которые можно, как цветы, носить в петлицах пиджаков, были захвачены и спрятаны в книжных шкафах, как столовое серебро в буфетах. И вот, отправляя сына на фронт, все, чем он располагает, — на гривенник прилагательных и падежей.

Пожалуй, лучше бы объясняться знаками...

— Ты бы к дяде-то зашел. Родной все-таки.

— Он мещанин,— ответил я с тем выражением строгости, которое за последние два дня не покидало меня.— Да он сам не очень-то во мне нуждается.

— Ну, перед отъездом надо зайти. Это странно даже — не попрощаться.

Я представил себе дядю, его шляпу, пенсне и скорбные усы. Для меня он не был даже человеком. Это был символ, абстрактная идея, воплощенная в образе уездного кооператора. До того, как стать кооператором, он много лет служил телеграфистом на станции Дебальцево. Он был обычен, скромен и честно нес на своих острых плечах проклятие русской станционной скуки. Из аппарата Морзе струилась бесконечная лента, испещренная суетным житейским вздором,— поцелуи, поздравления, соболезнования, торговые распоряжения. В конце рабочего дня дядя судорожно, с визгом и слезами, зевал, надевал форменную фуражку и шел женихаться под окна моей тети.

В октябре станция загудела, замитинговала, зашушукалась о конституции, о гектографах, о бомбах. В незабываемый день 15 октября дядя принял телеграмму Всероссийского стачечного комитета. Сначала аппарат отстукал: «Люблю тоскую пришли пальто каракулевым воротником целую Серафим», а потом, через паузу, появились исторические слова: «Всероссийский стачечный комитет объявляет всеобщую стачку» и так далее.

И дядя почувствовал в пыльном воздухе станции трепетание незримых крыл...

— А если он сам придет? Лучше будет? Он тебя все-таки любит...

На улице стояла влажная майская ночь и дышала в окно запахом черемухи и тополей. Далеко за рекой упоенно пели лягушки — их замирающие любовные вопли вызывали в памяти представление о черной тяжелой воде, о берегах, заросших ивняком и сочной лакированной травой. Пахнет кувшинками и бледно-розовыми болотными цветами. По дну ходят большеголовые, крупноглазые сомы и шевелят усами, как наш учитель математики Процек. Там, на дне, стоит мертвый обоз 114-го стрелкового полка: в восемнадцатом году, когда казаки входили в город,

обоз переправлялся через реку, и лед не выдержал тяжести груженых подвод. Треснуло разом от берега до берега, страшно закричали лошади, и от воды пошел редкий пар. А уже наутро пролом затянуло тонким слоем льда. Второй год стоит на желтом дне обоз 114-го полка — взнузданы истлевающие лошади, в ящиках лежат зеленые патроны, и пулеметы повернуты дулами к монастырю, откуда должны показаться казачьи цепи. Рыбий глаз заглядывает в ружейные стволы, и щука скользит мимо холодным боком.

— Не пойду.

Отец подумал, с шумом переставил тяжелые каблуки и сказал:

— Семенова встретил. Он теперь из мастерских ушел, работает на своем огороде за Чаровым мостом. Спрашивает меня: «Уезжает сын?» Уезжает, говорю. «Как же,— спрашивает,— вы его отпускаете?» Сам, говорю, уходит. Только головой покачал.

Он помолчал немного.

— Колодец завалился,— продолжал он тянуть разговор.— Думают устроить послезавтра всей улицей субботник. Уж и не знаю, идти мне или нет.

Послезавтра, в субботу, я должен был уезжать.

— Иди, конечно,— посоветовал я.

— Пожалуй, пойду.

Пауза.

— Каплунова коза, подлая, повадилась ходить к нам тополя объедать. Я ему сказал, что если еще поймаю, плохо его козе будет. А шинель скатывать ты умеешь?

— Нет.

Он встал, явно обрадованный.

— Это мы сейчас. Я тебя сразу научу. На фронте пригодится. Сначала отстегиваешь хлястик и расстилаешь шинель на полу. Потом подворачиваешь полы и воротник, потом берешь ее таким манером...

На полу он разложил мою новую, вчера только полученную шинель и с ловкостью старого солдата закатал ее в тугой и ровный жгут. Я попробовал сам, но вышло плохо, неровно, с буграми.

— Не торопись, главное,— говорил он, ползая на коленках рядом со мной.— Рукава уложи сначала, чтобы не горбились в плечах. Ну вот! Теперь с этого боку... с другого... и веди ее к концу. Понял?

На пятый раз он осмотрел мою работу с одобрением. Мы снова уселись, и я взялся за пряжку...

ФИЗУЛИ

★

РУБАИ И ГАЗЕЛЬ

Недавно азербайджанский народ, литературная общественность нашей страны торжественно отметили четырехсотлетие со дня смерти великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.

Творческая деятельность Физули (он родился в 1498 году в городе Кербале, близ Багдада, и умер от холеры в том же городе в 1556 году) продолжалась более сорока лет. За эти годы Физули создал огромное количество поэтических, философских, научных произведений, используя все жанры и художественные формы средневековой литературы.

Газели Физули, его романтическая поэма на азербайджанском языке «Лейли и Меджнун», аллегорические произведения «Спор фруктов», «Семь бокалов», «Здоровье и болезнь», философская поэма «Источник убеждений» снискали ему славу одного из крупнейших поэтов Востока.

Сочинения Физули неоднократно издавались в Советском Азербайджане. В 1958 году Академия наук Азербайджанской ССР выпустила первые три тома пятитомного собрания сочинений Физули, в Гослитиздате вышла поэма Физули «Лейли и Меджнун» на русском языке.

Ниже мы печатаем рубаи и газель Физули в новых переводах.

РУБАИ

Тот, кто, моля свиданья, тоской не изойдет,
Свиданья не достоин! Не радуется тот...
Отыщется лекарство от каждого недуга,—
Не знавшего недугов лекарство не спасет!

———

Вот славно,— умирая, упиться бы вином!
До судного призыва проспать бы пьяным сном...
И, пробудясь нетрезвым, не думать об отчете,—
Бесчувственному к пыткам вновь поиграть с огнем!

———

Коль душенькой пленился, не быть тебе с душой.
От душеньки подальше, певец души большой!
Свою хранящий душу, без душеньки останься:
Одной из двух соперниц, поверь мне, ты чужой!

———

О друг, кувшин и чашу не выпускай из рук —
Познаешь радость сердца без горечи и мук!..

Когда бушует море печали и тревоги,
Ковчег вина, как Ноя, спасет тебя, мой друг!

К вину я в этой жизни привык давно, о шейх:
Чем дальше, тем упорней зовет вино, о шейх!
Мне пить вино приятно, тебе, о шейх,— молиться...
Судить, чей вкус превыше, не нам дано, о шейх!

Конец! Твои проклятья так жгучи, проповедник!
Вино, любовь я помню... Что лучше, проповедник?
Для гурий и Кевсера мы жертвовали счастьем,
А стоит ли, не знаем... Не мучай, проповедник!

Вино ты осуждаешь,— я пью, о проповедник!
Любовь ты проклинаешь мою, о проповедник!
Мы бросим ради рая и чашу и подругу,—
Но что нам предлагаешь в раю, о проповедник?

К любой на свете цели что нас ведет? — Любовь!
Кто гения приводит к мирам высот? — Любовь!
Любовь — желанный жемчуг сокровищницы мира...
Сны всяких опьянений что нам дает? — Любовь!

В огне своих же вздохов сгорел Меджнун давно,
В бушующем потоке Вамиг ушел на дно...
Фархад погиб в стремленьи к возлюбленной
далекой...
Они — земля! Я — новый, я с той землей — одно!

Перевела **А. Адалис.**

ГАЗЕЛЬ

О душа моя, четок не трогай, на молитвенный коврик колен
не склоняй,
Не садись за трапезу с ханжами, им — усердно молящимся —
не доверяй!

Преклоняя главу на молитве, ты уронишь корону свободы своей.
Будь собою самим! Лицемерным омовеньем глаза свои
не раздражай!

Не ходи в их мечеть понапрасну, иль истоптан ты будешь,
как старый палас,
Если ж вынужден будешь войти к ним, как Менбер, так надолго
ты не застревай.

А услышав призыв муэдзина, понапрасну, о друг, не тревожься
душой,
Не беги за советом к аскетам! И поверь — не откроют дверей
они в рай!

Средь скопленья людского в мечети возникают и ссоры,
и брань, и вражда.
Пожалей свою душу живую, в суете их участия не принимай.

Проповедник неискренен сердцем; ты, внимая речам его,
не обманись!
Глуп имам, и свободную волю ты ему в легковерии
не подчиняй!

Физули, в благочестии ложном ты ни правды, ни пользы себе
не найдешь.
Лицемерного богослуженья ты, как можешь, для пользы души
избегай.

Перевел **Владимир Державин.**

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

★

НА СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

1. С чего начать?

Поездка моя окончена.

Я сижу в самолете Иркутск—Москва, и уже гудят его моторы, однако наружная дверца все не закрывается, и мы все ждем чего-то.

Не принято начинать рассказ с конца, но именно в эту минуту свершилось его начало: в кабину стремительно поднялся летчик. С кипой газет в руках он быстро пошел по проходу, раздавая газеты пассажирам.

— Летим, летим. Теперь можно,— успокоительно ответил он на чей-то вопрос и все продолжал раздавать газеты.

Я развернул газету и сразу увидел заголовок: «Информационное сообщение». Это было сообщение о том, что Пленум Центрального Комитета партии решил созвать в январе 1959 года внеочередной XXI съезд партии для утверждения контрольных цифр развития народного хозяйства нашей страны на предстоящую семилетку.

Я кончил читать газету, когда мы уже находились на большой высоте и все, что было связано с моей поездкой, осталось позади. И вдруг все это — встречи и беседы, то, что я видел и слышал за эти недели,— как бы осветилось и приобрело новое, особое значение. Прояснилась связь событий; казалось бы, разрозненные явления и действия обрели вдруг строгую последовательность.

Однако буду последовательным и я — расскажу обо всем по порядку, с самого начала.

А начиналось так же. Пол кабины неожиданно приподнялся, тело не сильно, но все же довольно ощутимо вжалось в спинку кресла. Полосатый детский мяч быстро прокатился по ковру в хвост кабины. Пальто и плащи косо повисли на вешалках.

Ощущение такое, будто тобой выстрелили из пушки. Впрочем, это не только ощущение: мы на самом деле летим со скоростью 122-миллиметрового гаубичного снаряда — двести семьдесят метров в секунду, около тысячи километров в час.

Постепенно все приходит в прежнее положение: кабина выравнивается, плащи висят нормально, девочка с розовым бантом на макушке бежит за мячом и возвращает его на место.

Моя дорога сегодня дальняя — в Иркутск. Мне бы ехать и ехать в тот далекий край пять дней и пять ночей, часами простаивать у окна, слоняться по вагону, выбегать на станциях за горячими пирожками, словом, в полную меру насладиться всеми прелестями дороги, но срочное дело зовет меня, мне не терпится,— на самолете моя дальняя дорога оказывается не дольше загородной прогулки.

Удивительное дело: только, кажется, поднялись над Москвой — и уже приземляемся в Омске, снова забираемся на высоту и летим дальше.

Еще в Москве я задумал непременно описать Сибирь с самолета. Какая заманчивая возможность раскрывается перед тобой — написать, как ты видишь с десятикилометровой высоты сразу громадные пространства: дороги, прорубленные сквозь дикую тайгу, заводы, поднявшиеся на берегах могучих сибирских рек, совхозы на целине, белеющие среди безбрежного моря хлебов, строительные котлованы для гидростанций, самых больших в мире. Но вот я лечу над Сибирью, приникнув к окошку, и ничего этого не вижу.

Земля закрыта. Внизу, под нами, не земля, а небо. Вверху тоже небо. Не часто у человека бывает два неба, но сейчас это именно так. Внизу, под нами, то же самое, что и наверху, с той лишь разницей, что внизу оно белое, а вверху голубое. Белое — такое же бестелесное, как и голубое. Голубое небо не образует купола, оно не темнеет к зениту, не светлеет к горизонту, оно одинаково голубое; и белое — такое же ровное, такое же одинаково белое. Разграничительная линия между белым и голубым проходит посредине — она ясная и четкая.

Где-то впереди, а может позади, висит солнце, но его не видно в круглом окошке иллюминатора и ничто не говорит о его присутствии: солнце не оставляет на белом небе ни одной тени, ни одного отблеска.

Так мы летим на высоте 10 тысяч метров. Несколько лет назад на такую высоту были в состоянии подниматься лишь те, кто прошел специальную подготовку. А сейчас сюда запросто поднялись и женщины, и старики, и девочка с розовым бантом — семьдесят пассажиров спокойно сидят в просторной герметической кабине, пьют кофе, перелистывают журналы, решают кроссворды в «Огоньке».

Так я лечу в Иркутск, где меня поджидает срочное дело, о котором я имею пока самое туманное представление. Вот что я знаю о моем деле.

В Иркутске уже несколько дней идет совещание ученых — конференция по развитию производительных сил Восточной Сибири. Из газет, прихваченных еще в Москве, я узнаю, что туда съехалось около двух тысяч человек со всей Восточной Сибири, приехали десятки, а может быть и сотни, ученых из Москвы, Новосибирска, Ленинграда. В моем положении это может означать, что все гостиницы в городе забиты приезжими и я рискую остаться без крыши над головой. Опыт учит: надо посылать впереди себя телеграммы и заказывать номер в гостинице. Телеграммы из Москвы посланы, но я-то знаю, что это еще ничего не значит.

Против ожидания на этот раз все совершается как в сказке. В аэропорту дежурные машины встречают людей, прибывающих на конференцию. Шофер отвозит меня в гостиницу, и, проследовав с некоторым смущением мимо кучки единоличных путешественников, не имеющих брони, провожаемый их завистливыми взглядами, я получаю ключ от номера. Путь от московской квартиры до иркутской гостиницы занял не более десяти часов.

Теперь, когда я получил номер, цифра две тысячи человек, приехавших в Иркутск на конференцию, приобретает для меня свое истинное значение. Две тысячи специалистов приехали в Иркутск, чтобы совместно обсудить десятки, сотни различных проблем и разработать модель развития Сибири на десять—пятнадцать лет вперед. Задача грандиозная. Рекомендации Иркутской конференции войдут в контрольные цифры семилетнего плана, будут обсуждаться всем народом, прежде чем станут директивами XXI съезда партии.

Просматриваю местные газеты. В одной из них напечатано вступительное слово академика И. П. Бардина, сказанное им на открытии конференции:

— Из всех экономических задач, решаемых нашим народом, одной из самых грандиозных и трудных является задача превращения Советского Востока в цветущий социалистический край.

И снова — в который раз — тревожная мысль: «Как написать обо всем этом? С чего начать?» Видимо, придется прежде всего пойти в Восточно-Сибирский филиал Академии наук.

Направляюсь в академию, чувствуя себя в положении ученика, который не знает урока. Мое положение даже хуже: ведь я должен не отвечать, а задавать вопросы. А вопрос у меня готов только один — больше я ничего не успел придумать с самой Москвы. К тому же вопрос простой, банальный: «Почему конференция происходит именно в Иркутске?»

Поднимаюсь по широкой белой лестнице старинного особняка, следую по коридорам и смело вхожу в кабинет с табличкой: «Председатель Восточно-Сибирского филиала АН СССР проф. В. А. Кротов».

К счастью, Виктор Александрович Кротов у себя. Я знаком с ним по прошлым поездкам в Иркутск, знаком, впрочем, не настолько, чтобы признаваться ему в полном незнании «урока». Рядом с Кротовым сидит мужчина, не знакомый мне.

Первый вопрос задает Виктор Александрович Кротов.

— Опять к нам?

— Опять к вам.— Вопрос легкий, и я отвечаю на него сразу.

— Познакомьтесь, Павел Павлович Силинский, председатель нашего Облплана, председатель местного отделения Географического общества, а сейчас, кроме того, наш ученый секретарь,— говорит профессор Кротов.— Итак, прошу вас, спрашивайте. Что вас больше всего интересует?

Вот он, страшный вопрос. Но я не подаю вида и после некоторой паузы спрашиваю:

— Почему эта конференция происходит именно в Иркутске?

Виктор Александрович Кротов загадочно заулыбался, глядя на меня, а его сосед, Павел Павлович Силинский, придвинулся ближе ко мне и посмотрел на меня с таким видом, будто я произнес что-то необыкновенное. Явно одно — вопрос понравился моим собеседникам.

Дополняя друг друга, Кротов и Силинский отвечают на мой вопрос. Начинает Кротов:

— Во-первых, Иркутск является исторически сложившимся центром Восточной Сибири, центром ее культуры, науки. Во-вторых...

— Конференция сорок седьмого года,— подсказывает Силинский.

— Во-вторых, мы имеем опыт конференции сорок седьмого года, посвященной той же теме — производительным силам. В-третьих, наличие в Иркутске филиала Академии наук, наличие большого научного задела, научной литературы. В-четвертых...

— Что же в-четвертых? — спрашивает Силинский.

— Да ваше же Географическое общество,— отвечает Кротов.

— Одно из самых старых в стране,— подхватывает Силинский и начинает быстро перечислять: — Сто семь лет существования. Действительные члены — Пржевальский, Черский, Обручев, Петрашевский. Научные труды, специальные экспедиции.

— Следует отметить,— продолжает Кротов,— еще один момент. Перед Иркутской конференцией в шести городах Восточной Сибири состоялись так называемые региональные совещания. На них обсуждались местные проблемы, в них приняло участие почти шесть тысяч человек. Теперь региональные совещания завершили свою работу, и Иркутская конференция занимается проблемами всей Восточной Сибири в целом, решает основные, так сказать магистральные, проблемы. Готовились чуть ли не целый год...

Звонит телефон. Кротов извиняется и начинает долгую беседу. Павел Павлович Силинский подвигается ко мне еще ближе.

— Скажу вам по секрету, сначала нас слушать не хотели. Я о филиале говорю. В сорок девятом году я поехал в Москву, говорю: «В Иркутске нужен филиал Академии наук». «Что? Академия в Иркутске? Да вы

смеетесь. Кого вы будете рекомендовать в действительные члены?» Слушать не хотели... Но мы продолжаем свое, ходим, доказываем. Дошли до ЦК. И вот результат — сейчас в нашей академии пятьсот сотрудников, приступаем к строительству огромного научного городка.

Я с удовольствием слушаю неторопливый сибирский говорок Павла Павловича Силинского. Красноярцы соперничают с иркутянами, иркутяне тянутся за новосибирцами; в каждом нашем городе живут вот такие неугомонные патриоты своего города, края. Они не мечтают вырваться из своей «захолустной дыры», не бегут в столицу, их родное место всего милее им на свете — они учителя, краеведы, экономисты, ученые, писатели, именно их трудами и заботами преображается жизнь наших окраин.

Постепенно я перестаю стесняться своих собеседников и под конец признаюсь им с тяжелым вздохом:

— Прямо не знаю, что мне делать, с чего начать.

— Походите по секциям,— следует ответ.

2. Путешествие по секциям

В Иркутске заняты не только все гостиницы и общежития для студентов,— заняты все театры, все клубы, дома культуры, занят даже клуб работников милиции: во всех общественных местах работают секции.

Вооружившись памяткой участника конференции, в которой указано, где работают секции, я начинаю путешествие по Иркутску.

Пожалуй, не часто выпадают на долю путешественников такие тяжелые испытания, хотя в смысле передвижения дело обстоит как нельзя лучше. Тринадцать секций конференции работают в различных концах Иркутска, но дежурные машины почти всегда стоят у подъезда — стоит только показать шоферу пригласительный билет, и ты можешь ехать, куда пожелаешь.

Обстановка в секциях сугубо деловая. В фойе устроены выставки. В Театре юного зрителя химики выставили экспонаты химической промышленности — различные изделия из пластических масс, искусственных тканей, резины. В аудиториях техникума машиностроения лежат на столах черные куски угля всех марок и типов, стоят модели угольных комбайнов, экскаваторов — здесь работает секция топлива. Энергетики оформили свое фойе крутыми диаграммами роста мощностей, проектами, фотографиями водяных и тепловых электростанций. В залах филармонии, где заседает секция сельского хозяйства, стоят снопы необыкновенной, трехметровой кукурузы, выращенной на сибирской земле, со стендов улыбаются передовые доярки.

Дверь в зал открыта. Высокий грузный мужчина стоит на сцене и густым голосом читает доклад. С трудом нахожу место в последних рядах и спрашиваю у соседа:

— Кто докладчик?

— Лаборатория ГУ АН. Доклад шестнадцатый,— скороговоркой отвечает сосед.

Проходит порядочно времени, прежде чем я соображаю, что можно попробовать заглянуть в программу — раздел секции геологии, пункт шестнадцатый. Таким путем я узнаю, что на трибуне стоит «д-р геол.-минер. наук» В. В. Мокрицкий из Лаборатории геологии угля Академии наук (наверно, это и есть ГУ АН) и что он читает доклад на тему «Обзор перспектив энергетических и коксовых углей Восточной Сибири».

Теперь можно послушать и содержание доклада. И я слушаю:

— Угли Южно-Якутской угленосной площади относятся к углям гумусовым, каменным, полосчатым, клареновым. Витрен и фюзен имеют в

них ограниченное распространение. Только в самой верхней нерюнгриканской свите пласты углей приобретают большее содержание фюзена.

Потихоньку выбираюсь из зала и еду в клуб работников милиции, где заседает секция энергетиков. На трибуне докладчик И. Н. Озарной. Он говорит:

— Остаточный кислород из конденсата будет удаляться за счет добавки гидрозина, вводимого через всас конденсатных насосов.

Я терпеливо сижу час, другой, слушаю второй доклад, третий, и мне начинает казаться, что делать мне здесь нечего — все равно ничего не пойму.

Пусть читатель простит мне мое невежество, но, признаваясь в нем, я вовсе не собираюсь краснеть. Современные отрасли знания настолько разделились и углубились каждая в свою область, что стали как бы монополией узкого круга специалистов. Очевидно, фюзены и витрены так же необходимы геологу, как математику его формулы и знаки действий. Современный технический и научный словарь насчитывает сотни тысяч служебных терминов, то есть терминов в нем больше, чем слов в русском языке. Одна химия насчитывает сейчас ни много ни мало миллион органических соединений — и для каждого из них нужно иметь какое-то свое понятие. Это именно понятия, а не слова, ясные для всех, говорящих на данном языке. «Трифтормонохлорэтилен» — что это такое? И не выговоришь с первого раза название этого сложного органического вещества. Где уж тут запомнить миллион таких служебных понятий! Даже математик может не знать, что такое «фюзен», как геолог может не знать формулы математика. Потому-то чем дальше, тем больше так необходимы популяризаторы науки, которые переводят и объясняют термины и явления науки для широкого читателя. Потому-то пользуется необыкновенным спросом читательских масс научно-популярная литература.

Теперь и мне суждено стать популяризатором научного совещания, то есть человеком, который не только сам понимает, что здесь происходит, но и может понятно рассказать об этом другим. Задача нелегкая! Раскрываю свою тетрадь и начинаю вносить в нее все то, чего я не понимаю или не знаю.

— Коршуниха...

— Электролиз алюминия...

— СОПС, СОПС и еще раз СОПС...

«СОПС» — я слышу это слово чаще всего. СОПС АН. Что это? Надо выяснить. Я вижу в зале молодого человека весьма ученого вида. Уж он-то, наверное, знает про СОПС.

— Простите, вы не скажете, где теперь находится СОПС?

Молодой человек смотрит на меня и улыбается.

— Вообще-то СОПС находится в Москве: Старомонетный переулок, дом номер тридцать пять. Но сейчас вы его там не найдете. СОПС приехал сюда, в Иркутск.

— Где же он?

— Должен вам заметить,— добродушно отвечает молодой человек,— СОПС — это не одно лицо, а множество лиц. СОПС — это Совет по изучению производительных сил страны при Академии наук СССР. Он создан по прямому указанию Владимира Ильича. Впрочем, тогда, в двадцатые годы, он назывался еще не СОПС, а КЕПС — Комиссия по изучению естественных производительных сил. Руководителями его в различные годы были крупнейшие ученые нашей страны. Первым председателем СОПСа был академик И. М. Губкин. Затем СОПСом стал ведать президент академии В. Л. Комаров. Во время войны, когда немцы подходили к Волге и собирались торжествовать свою победу, СОПС под председательством Комарова подготовил обширный доклад по развитию произ-

водительных сил Урала для нужд фронта. Многие годы СОПСом руководил академик Л. Д. Шевяков — он-то и проводил Иркутскую конференцию сорок седьмого года, о которой вы, наверное, уже слышали. Ныне председатель СОПСа — академик В. С. Немчинов, крупнейший наш экономист, статистик, знаток сельского хозяйства. Под его руководством и готовилась нынешняя конференция.

Молодой человек внимательно оглядел меня и неожиданно спросил:

— А вы из какой газеты?

Я попробовал обидеться. Если человек чего-то не знает и всюду ходит и задает вопросы, то все почему-то непременно считают, что он из газеты. Но оказалось, что мой собеседник сам из газеты.

Продолжаю путешествие по секциям.

У энергетиков перерыв. В фойе шумно, дымно от папирос. Три человека наседают на высокого круглолицего мужчину.

— Поймите, прорезь в истоке Ангары жизненно необходима,— настаивает один.

— Опять вы об этой дикой прорези.— Круглолицый снисходительно улыбается.

— Эта, как вы говорите, «дикая» прорезь даст стране два миллиарда рублей экономии. Всего каких-нибудь два миллиарда...

— Самая реальная экономия, которую мы можем получить от этого,— закрыть проект прорези и не тратить на него миллионы.

— Но байкаловеды уже согласились...

Фойе разделено надвое длинным стендом с фотографиями, изображающими разные этапы строительства Иркутской гидростанции. Высокий седой мужчина молча и долго разглядывает фотографии, потом вдруг говорит, ни к кому не обращаясь:

— Подумаешь, построили гидростанцию на шестьсот тысяч и кричат: гигант, гигант! А мы строим тепловые станции на миллион киловатт и нигде не кричим, что это гиганты.

В секции строителей тихо: все сидят в зале. По фойе прогуливается парочка: смуглолицая красивая женщина и толстый лысеющий мужчина.

— Нет, нет, вы не правы, Надежда Яковлевна. Как можно выступать против типового проектирования...— говорит мужчина.

— Я не против типовых конструкций,— с жаром отвечает женщина,— но я против того, чтобы типовые конструкции превращались в одинаковые стереотипные решения и чтобы проектировщики прикрывали ими свое нежелание думать.

В филиале Академии наук навстречу мне по беломраморной лестнице поднимаются двое — худой и толстый.

— Представляете, Ирша-Бородинский разрез,— скороговоркой говорит худой.— Самый крупный. Длина фронта — шесть километров. Сорок экскаваторов. К шестьдесят пятому году — двадцать миллионов тонн.

— У вас, батенька, запоздалые сведения,— с улыбкой говорит толстый.— Ваш разрез уже включен в семилетку. Но только давать он будет не двадцать, а двадцать пять миллионов.

Кто-то из иркутян сказал мне с гордостью:

— У нас в Иркутске идет настоящий фестиваль науки.

Повсюду люди спорят, что-то доказывают один другому, гневно обличают, вскакивают со своих мест и задают злые вопросы, председатели трясут колокольчиками и призывают спорящих к порядку — вокруг меня кипят, бурлят, клокочут страсти, но мой воспринимающий аппарат никак не может настроиться на их волну, и она проходит сквозь меня, как, скажем, проходят сквозь испорченный приемник радиоволны, не пробуждая в нем никаких отзвуков.

Во мне пробуждаются совсем другие чувства. Я уже начинаю понимать кое-что из того, что происходит, но чем больше я понимаю, тем тревожнее у меня на душе.

Непривычны даже масштабы происходящего, они какие-то сверхъестественные. Счет ведут здесь только на миллиарды — миллиарды пудов и тонн, миллиарды кубометров, киловатт-часов, рублей.

Я собираю по секциям доклады, отпечатанные отдельными тонкими брошюрами, моя папка разбухает, я ее опоражниваю, снова набиваю брошюрами: вся конференция лежит грудами на моем столе.

Голова идет кругом — я переполнен впечатлениями, обескуражен, растерян, подавлен. А я-то, наивный человек, считал, что знаю Восточную Сибирь,— ведь я бывал здесь не раз, даже писал о ней. Как скудны оказались мои знания!

Доктор экономических наук С. В. Славин — «Северо-Восток Советского Союза как новый формирующийся экономический район».

Секретарь Якутского обкома КПСС В. В. Митюшкин — «Природные и экономические ресурсы и перспективы развития народного хозяйства Якутской АССР».

Доктор технических наук Г. Н. Роер — «Перспективы гидроэнергетического строительства в Красноярском крае на период 1959—1975 годы». Фамилия Роера — в траурной рамке.

А. М. Гиндин — «Значение Братской ГЭС в развитии Иркутского экономического района».

Каждый из этих докладов — огромная проблема, за каждым из них скрыты неведомые мне человеческие судьбы, конфликты, споры, раздумья, итоги.

И все же я должен узнать, докопаться до сути этих проблем и человеческих судеб, стоящих за ними. Ведь я присутствую на совете, где решаются самые сокровенные вещи: куда пойдут новые поезда, где встанут новые города, новые заводы и комбинаты, когда и какие будут построены электростанции.

В конечном счете здесь, на этом совете, решается судьба сотен тысяч, миллионов людей. Где они будут жить, работать. Какие дома построят для них. На набережную какой реки выйдут вечером влюбленные, в каком новом, еще не обозначенном на картах городе родятся их дети — все-все в конечном итоге предрешается здесь. Принятые здесь решения и рекомендации пойдут в центр, соединятся там с решениями из других краев и мест и потом уже в виде проекта общего соединенного решения будут отданы для всенародного обсуждения.

Взять хотя бы те же сибирские угли. Ведь кроме фюзена и витрена, составных частей ископаемого угля, в них есть что-то еще, достойное общего внимания. Запасы этих углей выражаются фантастической цифрой — семь триллионов тонн. А уголь — это и тепло, и свет, и всевозможные переработанные с помощью химии продукты. У нас есть в запасе хорошая кладовая сибирских углей.

3. Уголь, или Пять лет по рекам Якутии

Владимир Владимирович Мокринский занимается углем чуть ли не полвека, с 1912 года, когда он окончил Киевский университет. Вся история сибирских углей прошла на его глазах, а в иных случаях он был и прямым творцом ее. На геологических картах двадцатых годов сибирский угленосный район обозначался весьма схематически: например, якутские угли значились на этой карте в виде условного знака — черточки, не

обозначавшей ни размеров, ни пределов распространений; просто от дедов и прадедов было известно, что есть в тайге горючий камень, вот и появилась черточка на карте. К 1941 году якутские угли (тогда они считались бурыми) обозначались на карте в виде расплывчатого пятна, примерно как Северная Земля до работ советских ученых.

Лишь после Великой Отечественной войны за сибирские угли взялись всерьез. В 1949 году Якутский областной комитет партии созвал ученых и создал комиссию по изучению производительных сил республики. Была подана записка в правительство с просьбой обстоятельно заняться этим районом страны. На следующий год в Якутии уже работала комплексная экспедиция Академии наук. Угольный геологический отряд ее возглавлял Мокринский.

Мокринскому, как он сам выразился, семьдесят с хвостиком, но я никак не смею назвать стариком этого крепкого, бодрого человека.

Мы сидим у него в номере на пятом этаже гостиницы. Заседание секции закончилось, и впереди у нас весь вечер.

Я привожу здесь рассказ Мокринского в третьем лице исключительно в целях краткости изложения, опустив некоторые научные подробности.

Геологический отряд — название громкое. А было в нем всего три человека, считая и начальника.

Путь на самолете от Ленинграда до Якутска оказался короче, чем от Якутска до Алдана, где располагалась база экспедиции. Несколько дней пришлось искать машину, которую можно было бы взять в аренду. Машину нашли, два дня толковали с шофером. Наконец приехали в Алдан. Угольному отряду из трех человек предстояло исследовать территорию семьсот на четыреста километров, дать заключение о масштабах угленосности района, площадь которого, кстати сказать, равна площади всей Бельгии. Но если та же Бельгия стоит на одном из первых мест в мире по насыщенности железными дорогами, то в Якутии нет ни одного километра железнодорожной колеи. Автомобильный тракт идет от Невера до Томмота, но на машине за обочину не свернешь. Геологам пришлось построить две лодки. Они увозили их на машине к верховьям рек, спускали там на воду и плыли по реке, а машина шла туда, где река снова пересекала тракт, и поджидала там лодки. На берегах рек попадались старые, заброшенные штольни: местные жители брали из них уголь для своих нужд. Иногда вместе с мезозойскими породами угленосные пласты выходили прямо на поверхность — лодки буквально были завалены образцами.

Осенью 1950 года на заседании в Якутском обкоме партии профессор Мокринский мог с уверенностью доложить о богатом угленасыщении района, а также о том, что в нем представлена вся гамма коксовых углей, особенно ценных для промышленности. Затем Мокринский стал говорить об истории образования нижнемезозойских угленакоплений — этот вопрос занимал его больше всего, и немало мыслей об этом было продумано в лодке. Но партийных работников интересовало другое.

— Каков объем запасов этих углей? — спросили Мокринского.

Владимир Владимирович подумал с минуту, ему просто необходимо было подумать: этот вопрос ни разу не приходил в голову ученому, увлеченному историей образования углей.

— У меня нет точных данных для цифрового изображения объемов запасов,— ответил Мокринский,— но я боюсь, что и цифр для этого случая не хватит.

На следующий год в якутском угольном отряде было уже десять научных работников. Решили переменить и вид транспорта.

Олень — слабое вьючное животное, но лучшего транспорта в Якутии не найти. Один олень может нести вьюк не более чем в тридцать килограммов. Для экспедиции в десять человек потребовалось чуть ли не полтораста оленей. С этаким караваном Мокринский двинулся в тайгу.

По вечерам эвенки оленеводы развьючивали оленей и пускали их на кормежку. С утра оленей собирали; собирали подолгу, чуть ли не до обеда, и только потом можно было двигаться дальше.

Осенью в Якутию приехал академик Бардин. Отчитываясь в проделанной работе, Мокринский не стал дожидаться, когда ему зададут вопрос о запасах, и первым назвал цифру — пятьдесят шесть миллиардов тонн коксующихся углей.

— Почти четыре Донбасса! — бросил реплику Иван Павлович Бардин.

Если к этому добавить, что в настоящее время первоначальная цифра, названная Мокринским, увеличилась чуть ли не в два раза, картина станет более или менее ясной.

Продолжая свою работу, геологический отряд разрастался все более. Ученые углублялись все дальше в глубины веков, устанавливая закономерности образования южного края Восточно-Сибирской платформы, выявляя тайну происхождения мезозойских угленосных отложений...

На этом месте, чувствуя, что теперь недалеко до фюзенов и витренов, я довольно невежливо перебил профессора:

— Простите, Владимир Владимирович, может, вы вернетесь немного назад и расскажете еще что-нибудь про оленей.

— Про оленей? — удивленно переспросил Мокринский, все еще безраздельно находившийся в мезозое.

— О кострах, лодках, ну, в общем, как вы путешествовали...

Мокринский засмеялся. Смеялся молодо и заразительно. Еще не зная причины его смеха, я понял, что смеется он не надо мной.

— Как мы квитанцию потеряли... Умора!

— Какую квитанцию? Расскажите.

— С удовольствием. Это было как раз в тот самый день, когда мы обнаружили выходы верхнего мезозоя, представляющего собой...

Я решил не сдаваться и упорно уходил в сторону от мезозоя. С большим трудом, но мы все же вернулись в двадцатый век. И я уже ничуть не удивился, когда вдруг услышал от Мокринского, что он мечтает написать книгу для молодежи — «Пять лет по рекам Якутии», да только боится браться за незнакомое дело.

— Что же это будет — роман или приключенческая повесть?

— У меня есть материал, но я совсем не представляю себе, в какую форму он может облечься. Во всяком случае, это должна быть поучительная книга, показывающая методику геологических работ в этом районе, в условиях тайги, болот.

— А про квитанцию там будет? Как вы ее потеряли?

— Что? Квитанцию? Положили ее в мешок, а мешок ушел на дно.

— Как же он туда попал?

— Лодка, на которой мы плыли, опрокинулась.

— Почему же она опрокинулась?

— О, вы не знаете наших якутских рек.

По этим быстрым порожистым рекам шли первые землепроходцы Сибири. По этим же рекам идут геологи — землепроходцы нашего века,— и идти им едва ли легче, чем три века назад. Правда, у них есть современные карты, компасы, непромокаемые спички, но это, пожалуй, и все. По Енисею, Лене ходят белоснежные трехпалубные дизель-электроходы, реки плотно заставлены знаками судовой обстановки, по ночам, охраняя сон путников, на воде вспыхивают огоньки бакенов, но даже Ангара судоходна менее чем наполовину, а дикие таежные реки остались по-прежнему дикими. Неизведанные повороты, водопады, пороги на каждом шагу подкарауливают геологов.

Спокойные, «немые» берега и ровное течение оставляют геолога равнодушным. Его влекут недоступные места — там он обязательно захочет

выйти на берег и, рискуя сломать себе шею, будет карабкаться вверх, отбивая образцы пород. Он плывет через пороги, и ему вдруг необходимо остановиться на самой быстрине и сделать рисунок берега: особенно яркая страница прошлого попалась ему. Он жадно вглядывается в неизведанный опасный поворот — какая новая глава раскроется за ним?

Приключения и поиски, головокружительные страхи и великие открытия ждут его впереди.

С разрешения профессора Мокринского я беру на себя смелость описать одно из таких приключений, которое случилось с его геологическим отрядом.

Случилось это в тот самый день, когда Мокринский обнаружил выходы коренных пород, плывя по Дураю. Обе лодки отряда остановились, геологи взяли образцы и двинулись дальше.

День обещал быть жарким, оставалось надеяться лишь на ветерок, который гулял по узкому коридору, прорубленному рекой в тайге. Солнце выкатилось из-за сопки и длинным сверкающим языком распласталось на воде перед самой лодкой. Владимир Владимирович стоял на носу и методично опускал шест то по одну, то по другую сторону борта, пробуя дно. Ученый секретарь экспедиции Иван Иванович Шарудо сидел на корме за рулем.

— День сегодня замечательный,— проговорил Шарудо,— можно искупаться на привале.

— Потерпите до поворота,— ответил Мокринский.— Если мы там не искупаемся, считайте, что нам повезло. Держите, пожалуйста, ближе к левому берегу.

И вот он открылся вдали, неизведанный поворот. Он возвестил о себе приглушенным, сдержанным гулом. Река убыстряла свой бег и неслась прямо на лес, который стеною вставал на ее пути. Вода вздувалась темными жгутами, крутилась, кипела водоворотами, снова и снова наскакивала на берег, вырывала из него глыбы земли, подмывала деревья — оттуда и шел этот приглушенный тревожный гул, и огромные лиственницы со змеистыми обнаженными корнями зловеще раскачивались там на самом краю откоса, и многие из них были уже свалены рекой и лежали на воде, все еще цепляясь за берег, и сплетенные клубком корни шевелились над водой, как языки пламени, и под ними клокотала река.

Шарудо вовремя взял влево, лодка мягко уткнулась носом в песчаную косу, протянувшуюся по левому берегу. Мокринский подождал, пока течение занесет корму лодки, и тогда оттолкнулся шестом от берега, и лодка пошла вперед кормой и уткнулась ею в песок чуть дальше по берегу. Тогда оттолкнулся шестом Шарудо. Лодка снова повернулась и снова уперлась носом в косу. Мокринский снова оттолкнулся от берега и тут, оглянувшись на другую лодку, увидел ее на самой быстрине.

— Держи влево, крутись за мной! — крикнул он, но было уже поздно. Другая лодка обогнала их и стремительно пронеслась мимо, потом, словно нехотя, лениво повернулась кормой вперед и ударилась о берег.

Послышался короткий треск, лодка исчезла среди стволов и корней и вдруг неправдоподобно быстро вынырнула из воды метрах в тридцати ниже по течению, уже за поворотом, и, чернея лаковым просмоленным днищем, поплыла по Дураю.

Тщетно обшаривали они глазами реку, надеясь увидеть своих товарищей,— поверхность ее была пустынной и унылой. За поворотом река все еще волновалась и шумела, а потом незаметно успокаивалась и, круто огибая косу, разливалась по широкому плесу. И лодка лениво крутилась и уходила все дальше от косы, растворяясь в точку.

— Квитанция! — воскликнул в испуге Шарудо, но Мокринскому было сейчас не до этого.

Вдруг с правого берега донесся далекий выстрел. Мокринский схватил ружье и стрелял до тех пор, пока на берегу не появились его исчезнувшие товарищи. Мокринский и Шарудо переправились за ними, усадили их, и началась погоня за перевернутой лодкой.

— Вперед! Наддай! Раз-два, наддай! — командовал Мокринский.

Они неслись вперед, обгоняя лесины и бревна, но перевернувшейся лодки нигде не было видно. Мокринский привстал на минуту и посмотрел в бинокль — черная лаковая полоска мелькнула вдалеке.

— Наддай! Вижу! — вскрикнул Мокринский. Он скользнул равнодушным взглядом по берегу, и вдруг глаза его загорелись, а руки тотчас схватились за полевой блокнот.

— Табань! — скомандовал он.

Лодка беспомощно закрутилась у крутого обрыва.

— Квитанция! — снова возопил Шарудо.

Мокринский посмотрел на него отсутствующим взглядом и снова устремил свой взор на берег.

— Как вы не понимаете,— торопливо говорил он,— это ведь те же самые выходы верхнего мезозоя, которые были перед поворотом. И там они были на левом берегу и тут на левом. И там они уходили круто вниз и тут уходят под таким же углом. Совершенно аналогичная картина. Значит, эти выходы встречаются где-то в центре излучины, на значительной глубине. И это необходимо рассчитать.— Мокринский снова взялся за карандаш.

Километров через десять они догнали перевернувшуюся лодку, с ходу наехали на нее и прижали к берегу.

Шарудо, хлопнув себя по лбу, в третий раз воскликнул:

— Квитанция!

— Какая квитанция?

— Где она?

— Квитанция! С базы. На продукты. На четыре тысячи двести рублей. Утонула в мешке с макаронами.

Когда через несколько дней я прочитал свои наброски Мокринскому, он неопределенно покачал головой.

— Жаль, что я уложил свои вещи: вот-вот должна прийти машина.

— Куда же вы, Владимир Владимирович?

— Аэропорт. «ТУ-104». Домой, в Ленинград. Так что не будем терять времени. У меня есть серьезные замечания,— сказал он.— Как можно, описывая наши экспедиции по Якутии, ничего не сказать об угле, об открытии месторождения мирового класса! Если бы вы посмотрели мои путевые дневники, то увидели бы, что истории, подобные случаю с квитанцией, занимают в них не более десяти процентов. Главным же образом в экспедиции думаешь о том, ради чего ты пошел в нее,— это и отражают дневники. Правда, вы упоминаете о выходе пород, но это лишь один случай. Изолированный от других, он как бы недействителен. Надо взять весь комплекс проблемы. Итак, о Якутском месторождении. У нас нет прав первооткрывателей — Флоров и другие исследователи еще в тридцатых годах упоминали об угленосности этого района. Наша заслуга в том, что, работая пять лет в этом районе, мы установили непрерывность угленосных площадей, равномерность их распространения. Затем мы проработали тектонику этого вопроса...

«Опять мезозой»,— подумал я, а Мокринский снисходительно смотрел на меня и читал мои мысли.

— Должен вам сказать, что вы недооцениваете значение истории вопроса. Как мы работали в тридцатых годах? Брали только то, что лежит на поверхности: описывали границы месторождения, возраст,

состав пород — и все. Так работал и я — в Ткварчели, на Мангышлаке: там мы тоже на лодках ходили. Теперь наша лаборатория копает глубже, от тридцатых годов остались только лодки, а вся методика другая — мы выясняем условия размещения пластов, историю наполнения угленосных толщ. И что же оказывается? Грубо говоря, существует пять эпох угленакопления, и каждая эпоха имеет свои площади, свои выходы на поверхность земли. Для примера: бесполезно искать мезозойские угли в Европейской части страны.

— Это действительно интересно! — искренне воскликнул я.

— Конечно. Но я еще не сделал главного вывода. Мы, геологи, копаемся в вопросах миллионолетней давности, но и работа наша направлена на сотни лет вперед.

— Как так?!

— Чем глубже мы копаемся в истории, тем дальше можем мы заглянуть в будущее, сделать прогнозы.

— Предсказывать месторождение?

— Совершенно верно. Мы уже демонстрировали наши советские карты прогнозов на парижском симпозиуме геологов. Ни в одной стране таких карт нет. Наша ближайшая задача — написать более полную и последовательную историю накопления углей. Тогда мы сможем сделать карты прогнозов более точными, полными.

— Предсказывать месторождение, сидя в кабинете?

— Не стоит преувеличивать. Да и нужно ли это? Признаюсь вам, я не знаю ничего более увлекательного, чем экспедиция на лодках по незнакомой реке. Вот, помню, был однажды такой случай...

Но теперь уже я не мог вылезти из мезозоя.

— Простите, Владимир Владимирович, над историей мезозоя вы и работаете теперь? Как называется ваша последняя научная работа?

— Памятка для студентов-геологов. Как снаряжать экспедицию, как увязывать мешки, где и как вести лодку, ставить палатку, как ловить рыбу, стрелять дичь. Ведь наши студенты ничего этого не умеют. Я после войны подписал не менее полутора тысяч дипломов, уж я-то знаю их. Им бы, сидя в кабинетах, открывать месторождения. А как заколоть метрового тайменя, ночью, с помощью остроги и ацетиленового фонаря? «Мы этого не проходили». Вот я и взялся за памятку. А книгу для молодежи то ли успею написать, то ли нет — неизвестно...

Зазвонил телефон. Пришла машина, которая должна была отвезти профессора на аэродром.

4. Еще об угле

Наш разговор об угле на этом не заканчивается. Следом за геологами за работу принимаются экономисты; щелкают арифмометры, гудят вычислительные машины: экономисты прикидывают, с какого бока лучше взяться за полезные ископаемые, открытые геологами. Геологи открывают каждый свое. Экономисты собирают их данные воедино, сводят вместе расчлененные по прихоти природы части целого.

Экономисты делают выводы.

На Иркутской конференции не работала особая секция экономики, но вопросы экономики пронизывали работу каждой секции. И как только собирались две-три секции для совместного заседания, с докладами выступали экономисты — экономика соединяла отдельные области знаний.

Я слышал один из таких обобщающих докладов и вскоре встретился с его автором в коридоре — невысокий, чуть сутулый мужчина стоял у окна и разговаривал с двумя красноярцами.

— Разумеется, вы правы,— быстро говорил он, пощипывая бородку,— но я предупреждаю вас, что вы встретите самую решительную оппозицию.

Конечно, выгоднее строить газогенераторный цех, чем за сотни километров качать природный газ, но уж слишом вразрез идет это с установившимися представлениями.

— Абрам Ефимович, мы докажем это Москве,— решительно заявил один из красноярцев.— Докажем с цифрами в руках.

— Договорились. Я всегда буду «за».

Красноярцы по очереди потрясли Абрама Ефимовича Пробста за руку и отошли. Я представился, кратко рассказал о цели своего знакомства. Абрам Ефимович не успел ответить: его куда-то позвали.

— Лучше всего поговорить вечером. Второй этаж, номер семьдесят семь.

После деловой сутолоки рабочего дня мы спокойно сидим в большой комнате со стандартной мебелью. Пробст усталым голосом говорит мне ошеломляющие вещи:

— В истории открытия сибирского угля нет ничего интересного, ничего драматического. Я, разумеется, говорю с точки зрения читателя. Просто исследовали такой-то квадрат, бурили скважины, брали образцы — и все. Вот с рудой было немало конфликтов. С алмазами. Целая эпопея. А уголь что же — открыли, и только.

— Боюсь, что я слишком поздно пришел к вам. Я уже написал о том, как геологи-угольщики ходили по рекам Якутии.

— Это, видимо, о профессоре Мокринском,— без малейшего усилия угадал Пробст. — Действительно, они проделали большую работу. Владимир Владимирович очень интересный человек, о нем одном можно написать целую книгу, но у него есть своя idée fixe: он непременно хочет, чтобы его южноякутские угли разрабатывались в первую очередь. И вообще слишком много углей. Слишком много. Каждый совнархоз теперь будет стараться разрабатывать свои угли, и только свои. Начнется раздробленность. Конференция должна вынести такие рекомендации, чтобы избежать этого... В моем докладе есть кое-какие соображения на этот счет. Почитайте его на всякий случай. У меня должен где-то быть свободный экземпляр.

Пробст встал с дивана, согнулся над портфелем, лежавшим на столе, и принялся рыться в бумагах. Мне очень хотелось получить один из самых интересных докладов конференции. Я уже при слушании сумел оценить его основное достоинство, очень существенное для меня: несмотря на то, что доклад посвящен весьма специальным и важным научным проблемам, он понятен простому смертному.

Теперь доклад лежит передо мною. Он называется «Основные вопросы развития топливного хозяйства Восточной Сибири». Это довольно объемистая книжица, отпечатанная на стеклографе в Академии наук тиражом в шестьсот экземпляров. Тираж мизерный. Тем больше у меня оснований для того, чтобы рассказать о докладе широкому читателю.

В вводной части доклада А. Е. Пробст дает характеристику энергетических ресурсов Восточной Сибири. «Общегеологические запасы угля по этому экономическому району исчисляются, по последним подсчетам, в 6 857 миллиардов тонн, что составляет почти восемьдесят процентов запасов СССР. Угля в Восточной Сибири больше, чем в о в с е х (подчеркнуто мною. — *А. З.*) капиталистических странах, вместе взятых».

А гидроэнергетические ресурсы сибирских рек! Здесь также речь идет о миллиардах киловатт-часов, которые могут дать нам реки Восточной Сибири. На них приходится чуть ли не половина всех гидроэнергетических ресурсов страны.

Все это резко отличает Восточную Сибирь от любого другого экономического района. На каждую душу населения здесь приходится в среднем 1,05 миллиона тонн потенциальных запасов угля, 188,5 тысячи потен-

циальных киловатт-часов — в десятки и сотни раз больше, чем на каждую душу, проживающую в Европейской части СССР или на Урале.

Далее А. Е. Пробст производит экономические выкладки и приходит к интереснейшим выводам. Оказывается, сибирские угли таковы, что стоимость их добычи во многих случаях будет «в десять раз ниже средней по Союзу себестоимости шахтной добычи угля».

Читатель, очевидно, уже сообразил, что речь идет о таком способе добычи, когда уголь добывается не в глубоких шахтах, а черпается прямо с поверхности земли ковшами экскаваторов. Только в одном Канско-Ачинском бассейне, где мощность угольного пласта в отдельных случаях достигает ста метров, уже теперь можно было бы добывать открытым способом сто тридцать миллионов тонн угля в год. А по всей Восточной Сибири эти возможности еще больше.

Недаром на конференции в Иркутске чуть ли не во всех секциях — у геологов, экономистов, энергетиков, металлургов, химиков, в секции топлива — то и дело звучали слова: «открытая добыча», «открытый способ».

Дело не ограничивается призывами. Уже сейчас в Восточной Сибири больше половины всех углей добывается открытым способом, а через десять—пятнадцать лет доля открытой добычи поднимется еще больше.

От Иркутска до Черемхова всего сто двадцать километров. Я не мог удержаться от того, чтобы не съездить туда на денек и своими глазами посмотреть этот «открытый способ», который весьма широко применяется в Черембассе (две трети всей добычи бассейна).

Дорога шла по ровной, широко открытой для взгляда местности, но вот машина свернула в узкий проход, прорубленный в невысокой насыпи, повернула еще раз и, повизгивая тормозами, съехала на дно широкой котловины. Мы огляделись кругом и ничего не могли узнать. За какую-то минуту мы вдруг словно очутились в совсем другой стране.

Все вокруг было изломано и взбудоражено. Ни одной спокойной линии, ни одного мягкого перехода. Вокруг нас высились какие-то рыжие конусообразные горы; они наползали одна на другую, выстраивались в длинные горные цепи с остроконечными верхушками; от одной горной гряды отходила точно такая же другая, они обступили нас со всех сторон.

Одна из таких конических гор вдруг перегородила дорогу. Колея упиралась и уходила в нее, как в воду. Машина повернула назад, и мы долго мотались взад-вперед по котловине, то ехали вдоль бесконечной гряды, то уходили от нее, а перед нами вырастала другая, то поворачивали назад в поисках выхода из этого словно заколдованного места. Что это за горы? Откуда они? Природа не могла бы создать их такими резкими и симметричными, человек, думалось, не смог бы насыпать такие громадины. К тому же ни одной живой души не видно было вокруг.

— Вот черт! — выругался шофер.— Две недели назад ехали по этой же дороге, хоть убей, а теперь опять ее засыпали.

Машина остановилась. Неожиданно одна из гор перед нами начала шевелиться, рыжая комкастая земля медленно и спокойно оползала вниз. Мы посмотрели вверх и увидели огромный стальной ковш, опрокинутый над горой: рыжая земля валилась оттуда.

Ну конечно же, это мой старый знакомец — большой шагающий экскаватор с маркой Уралмаша. Ковш поднялся и поплыл в сторону, и за ним открылась тонкая легкая стрела экскаватора, перевитая канатами.

Тут же разыскалась и дорога, петляющая среди отвалов, мы перебрались на другую сторону гряды и прямо перед собой увидели гигант-

скую машину — мощно гудя моторами, она поворачивалась всем корпусом, и стрела ее несла новый ковш земли к отвалам.

Это был самый большой среди всех больших шагающих экскаваторов — с ковшом в двадцать пять кубометров, с вылетом стрелы в сто метров. За вершинами дальних отвалов виднелись стрелы еще двух экскаваторов — они размеренно разворачивались, несли на себе ковши с землей и выбрасывали ее вниз, образуя еще одну горную гряду.

Однако шагающие экскаваторы сами не добывают угля. Они только срезают с поверхности земли слой пустой породы — делают «вскрышу». Но вот из-под земли обнажается блестящий черный пласт угля; тогда вступают в работу трехкубовые экскаваторы «уральцы». Они вгрызаются в пласт своими ковшами, прокладывают в нем широкие коридоры и грузят уголь в железнодорожные думпкары. Дойдя до границы пласта, «уралец» поворачивает и начинает двигаться в обратную сторону, а железнодорожная колея переносится на место первой проходки. Так «уралец» как бы пропахивает весь пласт, точно плуг, борозда за бороздой, только борозда у него пошире, чем у плуга,— семнадцать метров.

Пустынно, безлюдно на открытом угольном разрезе. Деревянные столбы временной электролинии пересекают поле, черная змея шланга тянется от крайнего столба к экскаватору. Размеренно и спокойно поворачивается многоэтажный корпус экскаватора, следом за ним понизу идет «уралец», быстро и ритмично взмахивая ковшом и сбрасывая уголь в думпкары. Тонко просвистит старенький маневровый паровозик, выводя из разреза нагруженные углем платформы. Несколько километров в стороне, за отвалами, работает еще такая же система машин. Вот и все — и не увидишь среди нагромождения отвалов человеческой фигуры, разве что пройдет по полю геодезист с треногой на плече или из поселка прибежит к отцу паренек «покататься» на шагающем экскаваторе. Пустынно, безлюдно на разрезе. Размеренно ворочаются машины, гудят их моторы — и тысячи тонн угля непрерывным потоком идут с разреза.

Так работают современные шахтеры, и руки их не прикасаются к углю, и производительность каждого рабочего в шесть с лишним раз выше, чем у шахтера, работающего под землей.

Есть такая интересная единица измерения — тонна условного топлива. С помощью ее можно сравнить уголь с нефтью и горючим газом. И оказывается, что сибирские угли занимают первое место в таблицах с любыми экономическими показателями. В докладе А. Е. Пробста приведены данные, из которых следует, что самая дешевая в стране башкирская нефть в два раза дороже сибирских углей, добытых открытым способом. Даже природный газ с трудом выдерживает конкуренцию с сибирскими углями.

Будущее — за открытой добычей угля. Сибиряки составили самые широкие планы ее развития. Дело теперь за машиностроителями.

Несколько лет назад я встретился на открытии Волго-Дона с конструктором большого шагающего экскаватора Борисом Ивановичем Сатовским. Сатовский опасался тогда, что их большие машины не найдут себе достойного применения.

— Новых каналов не предвидится, угольных разрезов у нас не так уж много,— говорил он.

И вот прошло всего несколько лет, и только Черемховский бассейн (один из многих в Сибири!) заказывает на семилетку девятнадцать больших шагающих экскаваторов, и заказывает не те, четырнадцатикубовые, которые работали на Волго-Доне, а новые, с объемом ковша в двадцать и двадцать пять кубов. А вместо трехкубовых «уральцев»

будут копать уголь восьмикубовые, способные за три-четыре взмаха насыпать огромный думпкар.

Планы семилетки предусматривают самое широкое развитие открытой добычи угля. К примеру, доля открытых работ в Черембассе в 1965 году составит восемьдесят семь процентов. Такой цифре можно только радоваться, но если вдуматься в нее глубже, то окажется, что тринадцать процентов подземных работ — это очень много. Даже при тринадцати процентах число подземных рабочих будет почти равно количеству рабочих на карьере, добывающих восемьдесят семь процентов угля.

Вывод: темпы роста открытой добычи недостаточны. Ни одного голоса не раздалось против открытой добычи угля, а между тем развивается она все же медленно. В чем дело? Неужели на местах есть такие страстные сторонники «закрытой» добычи и противники открытой? Не совсем так. А. Е. Пробст дает на это точный ответ. «Шахтная добыча сохраняется там по соображениям необходимости полного использования основных фондов до их полной амортизации», несмотря на то, что «это приводит к крупному ежегодному перерасходу затрат труда».

В самом деле, тонна угля в Восточной Сибири, добытая открытым способом, оказывается во много раз дешевле угля, выданного на-гора́ из шахты. Получается, что выгоднее закрыть действующую (особенно небольшую) шахту, потому что оставшаяся стоимость ее будет в короткий срок превышена экономией, полученной на открытой разработке. Выгоднее привезти уголь издалека, даже за шестьсот—семьсот километров, с открытого разреза, чем добывать его в шахте.

Тем не менее старые шахты продолжают работать — даже в Канско-Ачинском бассейне и в Черемховском, где тут же, под боком, находятся мощные открытые разрезы. Шахты сохранились здесь еще от тех далеких времен, когда у нас существовали старые министерства и ведомства и каждое из них строило шахту для своих ведомственных нужд и целей. Теперь совнархозы приняли в свои руки все шахты и продолжают их развивать, несмотря на всю очевидную никчемность этого занятия. Бывшая ведомственность оборачивается современным местничеством.

Грех получил новое обозначение, но сущность его осталась прежней. Не слишком ли смело это утверждение? Еще скажут, пожалуй, что в работе Пробста, когда он призывает закрывать менее экономичные действующие шахты, налицо левацкие загибы. Как же так? Закрыть действующую шахту со всем ее оборудованием, со всеми ее механизмами? Куда же прикажете их деть?

Однако никаких загибов здесь нет. Разумеется, мы будем строить и новые шахты: не всегда нужный уголь лежит в нужном месте и на небольшой глубине (там-то и можно использовать оборудование закрытых шахт), но в условиях Восточной Сибири, где угля особенно много и где добыча его будет расти значительно быстрее, чем по стране в целом, этот вопрос приобретает первостепенное значение. Ведь и шахты и карьеры принадлежат одному хозяину — народу, и народ должен до конца использовать те преимущества, которые дает ему социалистическая система хозяйства. Недаром в тезисах доклада товарища Хрущева на XXI съезде партии говорится, что в новой семилетке «должны строиться, как правило, крупные шахты и разрезы с более высокими технико-экономическими показателями».

Итак, уголь добыт и погружен в думпкары. Как и куда надо теперь везти его? Кто будет его потребителем? До сих пор уголь возят плохо. Конечно же, это снова старый грех ведомственности — встречные перевозки. Черемховские угли едут в Забайкалье. А навстречу им движутся из Амурской области райчихинские угли (больше миллиона тонн в год).

Машинист везет черемховские угли на Урал (словно там своих углей нет) и на разъезде видит эшелон с кузнецкими углями, идущими на восток. Машинист даст гудок, горько усмехнется про себя и поедет дальше. Наверное, и тут виноват стрелочник, который не туда передвинул стрелки.

Так или иначе, ясно одно: такое положение не может продолжаться далее, и оно не будет продолжаться: слишком уж заметно это бельмо на нашем глазу.

Совет по изучению производительных сил, действующий при Академии наук, разработал оригинальную схему районов использования восточносибирских углей. Составлена карта перевозок, на которой особо выделены пункты равной себестоимости при перевозке углей.

Взять те же черемховские угли. На восток их можно везти сравнительно далеко, за семьсот километров, до станции Горхон, а в направлении на Улан-Батор — до станции Ганзурино. Вместе с перевозкой себестоимость тонны черемховских углей в Горхоне составляет 37 рублей 70 копеек. Точно столько же стоят в Горхоне и угли, привезенные с недалекого Тугнуйского месторождения. Горхон и будет пунктом равной себестоимости для черемховских и тугнуйских углей.

На запад черемховские угли можно везти лишь на сто девяносто четыре километра, до станции Мингатуй; в пункты западнее Мингатуя выгоднее везти с запада ирша-бородинские угли; хотя до них шестьсот километров, но они дешевле черемховских углей, и потому зона их действия шире.

Угли Кузнецкого бассейна в направлении на Кемерово можно везти не дальше станции Арлюк, в направлении Новосибирска — не дальше станции Сокур: за Арлюком и Сокуром начинается зона углей Итатского месторождения.

Схема, составленная по карте перевозок, приводится в докладе А. Е. Пробста: в ней указано около двадцати различных пунктов равной себестоимости, охватывающих всю Восточную Сибирь. Об этой схеме можно сказать одно: она отличный пример того, как наши ученые-экономисты начинают всерьез и глубоко заниматься конкретной экономикой.

Но карта составлена, а эшелоны с черемховским углем все равно идут за станцию Мингатуй. Зажигается зеленый глаз светофора, и на колеса вагонов начинают накручиваться рубли убытков: каждые сто километров — тысячи рублей.

Выходит, дело не только в картах, не только в расчетах экономики, составленных экономистами. Борьба за экономию действенна лишь в том случае, когда она становится массовой. Значит, надо сделать карту широким достоянием, обнародовать ее для общего пользования. С ее помощью всегда можно найти нарушителей режима экономии — какой из начальников железнодорожной службы принял к погрузке заведомо убыточный маршрутный состав, кто дал команду на формирование эшелона.

Но ведь для угля, кроме железнодорожного транспорта, существует еще так называемый электронный транспорт. Иными словами, можно ведь не везти кузнецкий уголь, скажем, на Урал, а сжечь его на месте, обратить в энергию электричества и передать ее на Урал по проводу высокого напряжения. На первый взгляд выгода такого вида транспортировки кажется бесспорной.

А между тем какие жаркие споры разгорелись среди ученых по этому вопросу.

— Строить электростанции на месте, прямо у карьеров,— в том же Назарове — и передавать энергию, заключенную в угле, по проводам,

— Выгоднее везти уголь на колесах. Строительство новых линий потребует больших капитальных затрат. А дорога уже построена.

— Все равно каждый киловатт-час Назаровской ТЭЦ будет стоить на Урале три копейки.

— Колеса обойдутся дешевле.

— Ваши колеса не устоят перед линиями дальних передач на постоянном токе.

— А где они, ваши постоянные линии? Вы еще не создали их даже на бумаге.

— Создадим. Пока будем строить мощные ТЭЦ, создадим и линии для них.

Разумеется, я передаю эти споры в очень упрощенном виде. Кажется, что сторонники энергосистем победили, но вдруг победители сами раскалываются на два лагеря и среди них начинается новый спор, не менее жаркий,— как вести линии передач на Урал.

— Енисей—Урал! Прямая линия в широтном направлении.

— Трасса должна пройти южнее. По более обжитым местам.

— Зачем вам обжитые места? Важен фактор расстояния.

— Там, где живут люди, там находятся и промышленные центры. Там уже действуют местные энергосистемы. Опираясь на них, мы создадим единую высоковольтную сеть Сибири быстрее и дешевле.

Начинается кропотливый, придирчивый разбор вариантов — из всех должен быть выбран наиболее правильный, наиболее целесообразный, экономичный.

Однако споры не кончаются и на этом. Вот уголь добыт и, так или иначе, на колесах или по проводам, доставлен к потребителю. Что же это за потребитель? Во что лучше обратить энергию угля? Оказывается, экономика восточносибирских углей такова, что их выгодно потреблять на месте, то есть в самой же Восточной Сибири. Места достаточно. Территория Восточной Сибири [1] почти равна территории США [2], а природных богатств здесь, пожалуй, побольше. Одних углей в три раза больше, чем в Соединенных Штатах, и добывать их можно в гигантских масштабах. Значит, и потребитель должен быть здесь гигантским и мощным. Такого потребителя называют энергоемким или же топливоемким. Это алюминий, титан, магний, черная металлургия, самая различная химия — от искусственного волокна до хлора. Производство этой продукции требует наибольшего количества электрической энергии, и поэтому именно такое производство будет развиваться в Восточной Сибири.

У энергоемкого потребителя есть еще одно преимущество — забирая много энергии, он требует минимального количества рабочих. Тем более надо развивать в Сибири энергоемкое производство, потому что людей здесь в общем-то маловато — в двадцать шесть раз меньше, чем в США.

А. Е. Пробст приводит самые различные экономические выкладки и сопоставления, доказывающие неизбежность именно такого вывода. Вот как сформулировал этот же вывод член-корреспондент Академии наук В. И. Вейц, чей доклад был посвящен перспективам развития сибирской энергетики:

«Восточная Сибирь является классическим примером решающего влияния энергетического фактора на производственную специализацию районов, на структуру промышленных комплексов, на выбор энергоносителей, а тем самым на инженерное оформление технологических процессов в промышленности...»

---

[1] 7,2 миллиона квадратных километров.

[2] 7,8 миллиона квадратных километров.

5. У подножия горы Рудной

Следом за углем идет руда. Поэтому теперь я должен рассказать о Михаиле Михайловиче Одинцове.

В конце прошлого века через Восточную Сибирь прошло много изыскательских партий, которые прокладывали трассу для Великого Сибирского пути. Эти партии дали описания многих месторождений. В частности, горный инженер К. И. Богданович посетил николаевские металлургические заводы и описал небогатые приангарские рудные месторождения. Но ни горы Рудной, ни месторождения Коршуниха Богданович не знал.

Гора Рудная находится в двухстах километрах на северо-восток от Братска. Природа искусно запрятала ее от человека: покрыла непроходимой тайгой, окружила падями, гарями, топями, болотистыми речками.

Но советские геологи добрались до горы Рудной, и немало волнующих историй произошло у ее подножия.

В одном из таких походов принимал участие Михаил Михайлович Одинцов, тогда еще молодой студент-практикант.

В 1931 году Иркутск был тихим, спокойным городом. И хотя он был административным центром огромного Восточно-Сибирского края, жаркое дыхание первой пятилетки еще не дошло сюда. По всей стране гремело из края в край слово «Магнитка», а гора Рудная еще не имела даже названия, и только от тамошних охотников известно было, что где-то там, в тайге, за гарями и падями, за топями и болотами, высится сопка и землю ее можно перековывать на железо.

Весной 1931 года в Иркутске состоялся первый краевой научно-исследовательский съезд по изучению производительных сил Восточной Сибири.

Одинцов занимался тогда на втором курсе биологического факультета. Однако в геологических залах Иркутского музея природы, где он работал экскурсоводом, Одинцов проводил время охотнее, чем в аудиториях биофака. Конечно же, увлеченный геологией юноша раздобыл себе пригласительный билет на краевой научно-исследовательский съезд. Он не пропускал ни одного заседания, затаив дыхание, слушал горячие речи академика А. Е. Ферсмана, С. С. Смирнова, позже также ставшего академиком. Они говорили о большом будущем Сибирского края, о щедрости его природных богатств, о необходимости поставить их на службу народу.

Нет, не ради музея окончательно порвал с биофаком Одинцов. Едва окончился съезд, как Одинцов уже плыл на пароходе вниз по Ангаре. И должность у него была «девятнадцатилетняя» — коллектор геологической партии. Должность с огромным будущим.

Все лето их партия, составляя геологическую карту-«двухсотку», бороздила таежный водораздел между Илимом и Ангарой, прошла по месторождениям Горелая сопка, Коршуниха.

Наступила осень. Геологи уже закончили работы и собрались выходить из тайги к Заярску, на пароход, как вдруг на их стоянку прискакал на лошади начальник партии, и оказалось, что встреча с Заярском откладывается на месяц: из Иркутска пришло срочное письмо с приказом провести съемку горы Рудной.

— Кто пойдет? — спрашивал начальник.

Геологи старались не смотреть на своего начальника. Всем хотелось идти в Заярск, на пароход. Тогда вышел вперед юный коллектор Одинцов.

— Я пойду,— сказал он.— Только боюсь, не справлюсь.

— Ничего, справишься,— утешил Одинцова начальник.— Рабочим

с тобой пойдет Егор Хлыстов. Справитесь. А я к вам подойду дней через пяток. Только вот с делами своими управлюсь — и сразу к вам. Закончим съемку вместе.

На третий день Хлыстов вывел Одинцова точно к горе Рудной. Они разбили у ее подножия палатку, поставили в речку сети, и Одинцов начал съемку местности.

Гора возвышалась перед ними покатым вытянутым горбом, поросшим густой щетиной леса. Широкая извилистая падь поднималась по склону и выходила к покатому горбу. Там и нашел Одинцов первые выходы магнетита на поверхность. Он отбил молотком кусок породы и поднял его. На него глянул минерал с вкрапленными тусклыми блестками. Одинцов держал в руке первый минерал, который не был музейным экспонатом, но был достоин того, чтобы занять это место; во всяком случае, в Иркутском музее, где работал Одинцов, не было такого богатого рудного минерала.

Прошла неделя, а начальник все не приходил. Хлыстов начал беспокоиться: продукты кончаются, спичек осталось всего два коробка, вот-вот выпадет снег, и тогда придется зимовать в тайге. А юный Одинцов по-прежнему безмятежно ползал по сопке и все тащил к палатке груды магнетитовых образцов.

— Что-то нет нашего начальника,— сказал как-то вечером Хлыстов.

— Вижу, что нет,— ответил Одинцов.

— Продуктов тоже нет.

— Тайга большая, дичи в ней много.

— Тогда говори — что делать будем?

Одинцов подумал с минуту и сказал твердо:

— Будем рубить избу. Рыба в реке есть. Дичи набьем.

Они срубили избушку в одно окно, и Одинцов продолжал съемку Рудной — прокладывал на карте горизонтали, засекал выходы руды, собирал образцы. Он делал большую самостоятельную работу, которая по плечу лишь опытному геологу.

Деревья сбрасывали листву, и покатая крыша избушки была покрыта их рыжей шелухой; как-то ночью прошел дождь и смыл листву с крыши, и ни один лист больше не упал на нее: лес стоял голый.

Начальник все же пришел к Рудной.

Одинцов в то время ползал по сопке. Учуяв внизу запах дыма — кто-то разложил у их избы костер,— он спустился вниз. У костра сидел начальник, с ним еще двое мужчин, не знакомых Одинцову. Тут же паслись лошади, а мешки с продуктами лежали под пихтой.

Пока у костра шел неторопливый разговор о таежных новостях, Одинцов сидел как на иголках. Только теперь он почувствовал необычайное волнение. Сейчас начальник потребует карты, и окажется, что они никуда не годятся. Одинцов даже похолодел от страха. «Все равно уж. Скорей бы»,— думал он. А начальник не торопился. Он хвалил уток, зажаренных Хлыстовым, с аппетитом пил дымящийся чай из кружки. Одинцову стало невмоготу.

— А как же карты? — спросил он.

— Посмотрим завтра,— ответил начальник.

— Вы представить себе не можете, какая страшная была эта ночь,— говорил мне Михаил Михайлович Одинцов, заканчивая свой рассказ.— Двадцать семь лет прошло с той ночи, а не было страшнее ее в жизни. Всю ночь глаз не сомкнул, лежал у окна и все голову поднимал — не светает ли. Не выдержал, разбудил начальника чуть свет, вручил ему карты и повел на сопку. Тот злой, невыспавшийся, идет — чертыхается. А над сопкой солнце встает, белое, холодное. На земле иней. Красота ослепительная. Кончилась моя страшная ночь.

— А что же дальше? — не выдержал я.

— Два дня он проверял мои карты. Глаз у него наметанный, острый. Но все равно ни одной ошибки не нашел в картах — и подписал их.

— Ну, а дальше? Что было дальше, Михаил Михайлович?

— С картами? Положили их в архив. Они и сейчас там лежат.

— А с рудой? С вашей работой?

— С рудой было гораздо интереснее. С той первой моей экспедиции я работал уже самостоятельно. Тайга быстро приучает человека к самостоятельности. Каждую весну мы снова уходили в тайгу — на Коршуниху, на Рудную, в другие места. Была образована крупная Ангаро-Илимская экспедиция, которая покрыла своими работами все междуречье Ангары и Илима. Научным консультантом всей экспедиции был профессор Маслов Владимир Петрович, тогда еще молодой ученый, главным инженером — Владимир Павлович Зорин, ныне уже покойный. Я по-прежнему работал геологом в партии Чернова Бориса Николаевича. Бродили мы по тайге, продолжали разведку, наращивали запасы. Уже к 1935 году был полностью опровергнут старый взгляд, будто Сибирь бедна рудами. Одно Ангаро-Илимское месторождение имело к тому времени сотни миллионов тонн надежно разведанных запасов. Пора было думать о промышленном освоении этих руд. И вдруг, весной тридцать пятого года, мне, мальчишке, предлагают взять на себя геологический отряд, который должен был проложить трассу для железной дороги Тайшет — Лена. Я с радостью взялся за это дело.

— И бросили руду? — с невольным удивлением воскликнул я.

— Бросил лишь для того, чтобы скорее добраться до нее. Возьмите хотя бы гору Магнитную. О ней знали еще в начале прошлого века, но только в наше время началось ее промышленное освоение. Какой огромный разрыв во времени между открытием и освоением — сто с лишним лет. Неужели и наши открытия — Коршуниха, Рудная — будут разрабатываться только в двадцать первом веке?!

Но я уже понял всю наивность своего невольного восклицания. Как это я сразу не сообразил: ведь дорога Тайшет — Лена как раз пересекает Ангаро-Илимское месторождение железных руд, и от прокладки этой, ныне уже построенной, дороги зависело все будущее Коршунихи, будущее Рудной горы.

Геолог — необычный, воистину сказочный человек. Там, где прошел геолог, по его следам ложится на земле новая дорога — сквозь тайгу и пустыню, через реки и горы. Он ударяет по земле своим волшебным молоточком — и в этом месте вырастают новые рудники и шахты, встают новые заводы и города. Он ощупывает дно реки и ее берега — и там поднимается гигантская бетонная плотина, и река останавливается перед нею.

Геолог — начало всего и всему. Но вот возникли по его велению дороги и гидростанции, заводы и города, и геологу уже нечего тут делать, и он снова бредет нехожеными тропами, карабкается по горным кручам, пробирается через болота, и волшебный молоточек его стучит неутомимо, назначая новые места жизни на земле.

Тысячи километров исколесил, прошел пешком по Сибири Михаил Михайлович Одинцов — от Иртыша до Приморья, от северной реки Оленек до Саян. Он искал руду, алмазы, редкие металлы, прокладывал новые пути-дороги. И таких неугомонных искателей будущего великое множество на молодой сибирской земле. В докладе секретаря Красноярского краевого комитета партии А. А. Кокарева я услышал поразившие меня цифры: только в одном Красноярском крае работают две тысячи геологов. Мощная двухтысячная армия геологов открыла и разведала самые крупные в мире угольные бассейны, самые крупные

месторождения железных руд, нашла десятки и сотни других полезных ископаемых. Пожалуй, нет такого элемента в таблице Менделеева, который не был бы найден в Восточной Сибири.

— А что же стало с Коршунихой и Рудной теперь, Михаил Михайлович? Помогла им ваша дорога?

— Началось, началось,—живо ответил Одинцов.—Коршуниха включена в семилетку. Там строится ГОК — горный обогатительный комбинат. Нынешней весной побывал там — и не узнал Коршунихи: приехали тысячи людей, привезли с собой машины, срезали под нож тайгу, разворотили всю землю у подножия горы — строят. Огромный комбинат. Чтобы построить его, им придется выбрать двадцать семь миллионов кубометров земли и скалы, уложить миллион кубов камня, смонтировать тысячи тонн металлоконструкций, построить вокруг комбината город Железногорск — на сто тысяч жителей, прорубить в тайге сотни километров шоссейных дорог, провести водопровод, линии электропередач. Вот какой станет наша Коршуниха! А дорога Тайшет — Лена проходит от нее буквально в ста метрах. Руда будет добываться наиболее экономичным, открытым способом и — прямо на железную дорогу. В шестьдесят первом году вступит в строй первая очередь комбината. А там дойдет черед и до Рудной, ведь от Коршунихи до нее рукой подать. Кстати, и мы, геологи, не забываем Коршунихи — у нас там база для снабжения экспедиций.

Еще одно месторождение поставлено на службу людям. А геологи закинули на плечи свои походные мешки и двинулись дальше, через горы и леса, через реки и озера,— там ждут их новые открытия.

6. Когда приходит срок

Это было десять с небольшим лет назад здесь же, в Иркутске, в том же старинном зале областного драматического театра. Высокий седой человек неторопливым строгим голосом говорил со сцены:

— Как по количественной, так и по качественной характеристике своих энергетических ресурсов Восточная Сибирь является уникальным районом Советского Союза.

И еще:

— Так же, как Восточная Сибирь выделяется среди прочих районов страны своей энергетической обеспеченностью, так и Ангаро-Черемховский район выделяется по своим показателям внутри Восточной Сибири... Все эти факторы выдвигали и выдвигают его как район, подлежащий первоочередному освоению.

Седой человек с аскетическим лицом, говоривший это со сцены, был Александр Васильевич Винтер, крупнейший энергетик страны, академик, строитель Днепрогэса, куратор Куйбышевской, Камской ГЭС, консультант ангарских проектов.

Винтер уже никогда не приедет в Иркутск: прах академика покоится под тяжелой мраморной плитой на Ново-Девичьем кладбище. Но то, о чем говорил Винтер, претворено в жизнь. Мощный Ангаро-Черемховский промышленный район дает продукцию стране. Создан другой сибирский промышленный комплекс — Красноярский.

Когда-то и ленинский план ГОЭЛРО (весьма скромный по нынешним масштабам) казался многим утопией, и один из таких неверующих оставил после себя классическую фразу, которую так часто любят повторять, что и я не могу избежать общей участи: «Осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии».

Планы ученых на конференции 1947 года также казались некоторым людям чрезмерными и нереальными. Нашлись же инженеры, которые предлагали тогда строить вместо одной Иркутской ГЭС две станции меньшей мощности, мотивируя это тем, что слабая иркутская промышленность не сможет якобы освоить сразу такую большую мощность и такое огромное количество энергии.

Иркутская ГЭС построена, работают все восемь ее агрегатов, и вся энергия станции разошлась, расписана, что называется, до последнего киловатт-часа.

Наметки конференции сорок седьмого года выполнены, и вот возникает необходимость в новой конференции ученых. Она созывается в пятьдесят восьмом году.

Сравните названия обеих конференций. 1947 год — конференция по изучению производительных сил. 1958 год — конференция по развитию производительных сил.

Изменилось только одно слово, но оно изменило все существо работы конференции. Как логично одно вытекает из другого — изучение, развитие... а дальше? Свершение. И мы еще будем его свидетелями.

Новая конференция ученых разрабатывает модель новых планов, еще более грандиозных, еще более захватывающих. Идет разработка двух моделей — малой и большой. Малая — это модель семилетнего плана Восточной Сибири, большая — взгляд за пределы 1965 года, взгляд еще на одно десятилетие вперед.

Советская экономическая наука накопила такую сумму знаний, что ей становится посильным такое проникновение в будущее. Ученые рассчитали, например, что через пятнадцать лет Сибирь будет потреблять двести миллиардов киловатт-часов электрической энергии — больше, чем вся наша страна в 1956 году.

Потребности страны в энергии растут неизмеримо быстрее, чем потребности в хлебе, быстрее даже, чем потребности в металле. Если промышленная продукция за одно десятилетие удваивается, то производство электроэнергии за тот же период должно утроиться. А в Сибири оно будет расти еще скорее.

Двести миллиардов сибирских киловатт-часов, преобразованных из энергии дешевого сибирского угля и мощных сибирских рек, вызовут к жизни новые промышленные районы, преобразят всю жизнь Восточной Сибири.

Так со ступени на ступень, от одной вершины к другой поднимается мысль ученых, впитывая в себя все более широкий круг вопросов и проблем. Партийные работники выступают здесь с экономическими докладами, поражающими глубиной научного анализа. Ученые делают смелые выводы с широтой политических деятелей.

Председатель Совета по изучению производительных сил академик В. С. Немчинов сказал на конференции:

«Для проекта семилетнего плана на 1959—1965 годы, составление которого заканчивают плановые органы, эти научные доклады имеют значение широкой общественной и научно-технической экспертизы, корректирующей наметки плана по развитию экономики Восточной Сибири.

Рекомендации конференции особенно важны для той части проекта семилетнего плана, которая касается намечаемых проектных, изыскательских и научно-исследовательских работ. Такой плановый и проектный задел крайне необходим для создания плана на перспективу, выходящую за пределы 1965 года. Рациональное размещение промышленности, сельского хозяйства и транспорта требует серьезных предварительных научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, результаты которых позволят принять научно обоснованные решения, правильно выбрать объекты дальнейшего индустриального строительства».

В этом и состоят принципы научного планирования, впервые в истории человеческого общества разработанные и примененные в жизни Советским государством.

Так уж повелось в нашей стране — наши планы сбываются точно и в срок, как бы грандиозны они ни были, потому что они научные планы.

* * *

Еще двести лет назад первым русским академиком Михаилом Васильевичем Ломоносовым было сказано: «Российское могущество прирастать будет Сибирью».

И вот теперь Сибирь развертывается перед нами во всю свою сибирскую ширь. Несколько лет назад, когда были подсчитаны общие объемы сибирских углей, оказалось, что Сибирь удвоила запасы топлива на планете. Три года назад весь мир был повергнут в изумление открытием сибирских алмазов. Теперь, за предстоящее семилетие, их добыча увеличится примерно в четырнадцать раз — так говорят контрольные цифры. А ведь мы только-только подошли к познанию Сибири; она еще не раз удивит нас в будущем своими богатствами и своими свершениями. Можно привести такой пример из недавнего прошлого. В 1930 году был составлен первый проект использования Ангары. Высота падения воды на Падунской плотине определялась по этому проекту в двадцать один метр. И это называлось в те годы Большой Ангарострой. А ныне Братская ГЭС на Падуне будет иметь плотину высотой сто двадцать семь метров и мощность свыше трех с половиной миллионов киловатт, в несколько раз больше того, что предполагалось в 1930 году, и никто не удивляется грандиозности этой гидростанции.

Теперь на зримом, уже планируемом с помощью контрольных цифр отрезке будущего «после ввода в действие строящихся электростанций в Сибири будет производиться электроэнергии больше, чем в любой капиталистической стране Европы».

— Трудно переоценить решающее значение «энергетической целины» в Сибири. Ее энергетические запасы характеризуются следующими цифрами: сто пять миллионов киловатт и около девятисот миллиардов киловатт-часов.

Девятьсот миллиардов! Я оглядываюсь в тревоге, не ослышался ли я. Нет. Сотни собравшихся в зале людей спокойно слушают слова академика и не удивляются им. Конференция, где люди говорят о чуде, проходит буднично, по-деловому. Ученые обсуждают доклады, выслушивают представителей совнархозов, дают им свои рекомендации.

Один из центральных вопросов — где будет третья металлургическая база нашей страны. До конференции было ясно одно — она должна быть в Восточной Сибири. Но где? Красноярцы, разумеется, хотят, чтобы третья металлургическая база непременно была у них в крае,— у них самое крупное, самое уникальное Ангаро-Питское рудное месторождение, у них самые дешевые угли. Иркутяне утверждают, что третья база должна быть в Иркутской области: руда и уголь под боком и еще лучше, чем у красноярцев. Представители Якутии доказывают, что лучше всего создать третью базу именно у них: тут лучшее месторождение коксующихся углей, тут лучшая руда.

Споры эти не прекращаются и после окончания заседаний секции. По вечерам совнархозовцы ходят по номерам гостиницы, вербуют сторонников для защиты своих вариантов. Доктор геологии Владимир Владимирович Мокринский защищает интересы Якутии. Он говорил мне перед отъездом:

— Площадь Тунгусского угольного бассейна равна площади всей Европы. В то же время этот уголь удален от современных путей сообще-

ния — в нашем веке его не взять. Разрабатывая свои рекомендации, мы должны учитывать все: где будет потребитель, состояние транспорта. Чтобы не было этой сумасшедшей гонки взад-вперед по железным дорогам: вперед — руда, назад — уголь для кокса. В Европейской части, в Западной Сибири мы вынуждены устраивать такие гонки на тысячи километров — для Криворожского, для Урало-Кузнецкого комбинатов: так решила природа. А на южной границе Якутии кокс и руда находятся всего на расстоянии ста километров. Для современного комбината это даже не транспорт, а просто подъездные пути. Мы должны как можно скорее использовать эту редчайшую возможность, подаренную нам природой.

Можно не сомневаться, эта возможность будет использована в полной мере. Ученые рассматривают все точки зрения, все «за» и «против» и единогласно принимают рекомендации: в первую очередь в семилетний план следует включить металлургический завод иркутян в Тайшете. За ним — завод в Красноярском крае. Вместе с барнаульским и карагандинским заводами они-то и составят третью металлургическую базу нашей страны, способную давать миллионы тонн чугуна в год.

Вместе с тем уже теперь пора думать о более далеком будущем. Восточная Сибирь в состоянии обеспечить сырьем и четвертую металлургическую базу страны. Закрепившись на меридиане Байкала, советская индустрия двинется дальше на восток, в Забайкалье. Есть все предпосылки к тому, чтобы создать в будущем крупные металлургические заводы в Чульмане, Нерчинске, на Верхнем Амуре. И заделы для этих работ должны быть включены в семилетний план.

Иркутяне довольны таким решением.

Читинцы успокаивают себя:

— Придет срок и для нас.

Для Сибири особенно важно установить последовательность сроков: возможностей здесь столько, что глаза разбегаются, так и хочется все сразу взять и освоить, вовлечь в сферу производства. Но, чтобы не распылять своих сил, приходится сдерживать себя, устанавливать строгую последовательность свершений: за Братской ГЭС строить Красноярскую, за Тайшетским заводом — Забайкальский.

Поэтому читинцы говорят уверенно:

— Придет срок и для нас.

7. Поездка в Шелихов

Будущее раскрывалось передо мной: новые города — Железногорск, Абаза, Дивногорск. Это будущее лежало на столе плоским листом чертежа, и проектировщики, академики, архитекторы спокойно и неторопливо творили его.

Многим такой взгляд в будущее может показаться условным, как ходкий прием набившего руку публициста, но всего два года назад вот так же передо мной лежал на столе проект Шелиховского алюминиевого комбината, а сегодня я могу увидеть его в натуре. Разумеется, я постарался не упустить такой возможности, тем более, что экскурсия в Шелихов была предусмотрена программой конференции.

Рано утром старенькая серая «победа» (из числа дежурных машин) останавливается у подъезда гостиницы. Хмурого вида шофер спросил только: «Куда?», я ответил, и мы поехали в город Шелихов.

Иркутск исходил утренней свежестью, улицы были чисты и пустынны. Деревья чинно стояли за оградой, подпоясавшись белыми известковыми поясками. Огромная, во всю площадь, клумба искрилась и благоухала всеми красками и запахами. Только что впереди нас про-

ехал водовоз-поливальщик, его самого не было видно, но сверкающая черная полоса посреди улицы указывала его путь, и шофер аккуратно придерживался ее середины, следовал за ее поворотами — мимо дома совнархоза, мимо сквера, института иностранных языков. Черная лаковая полоса вдруг вильнула за угол, мокрые ребристые линии сходили с нее на серый асфальт, мы поехали по этим следам, и за нами — было видно в зеркальце — отпечатались на асфальте еще две черные полоски.

Впереди выгнулась широкая спина моста, машина вкатилась на нее, и Ангара дохнула в лицо своим свежим ветерком.

Дорога прошла по мосту, пропустив под собой великую сибирскую реку и великую железную дорогу, и начала взбираться по склону прибрежного холма. Дома по обе ее стороны становились все ниже, отдалялись один от другого, а потом и вовсе исчезли за густыми зелеными палисадниками, выставив на улицу слуховые окошки чердаков. Но вот резко оборвался и последний палисадник пригорода, и дорога запетляла по холмам.

Дорога шла по холмам, живописная и причудливая, как на черноморском юге, только вместо пальм и эвкалиптов по сторонам ее высились сосны и березы. Навстречу нам неслись тяжелые самосвалы, грузовики с возами сена, бензовозы, плыл самоходный комбайн с поднятым мотовилом.

Пока машина бежит по этой живописной трудовой дороге, я имею в запасе полчаса, чтобы рассказать о своем первом знакомстве с Шелиховом в 1956 году.

Мы ехали тогда с комсомольским работником из областного комитета, и цель поездки была чисто инспекционная. Спутник мой был из того типа молодых начинающих ответственных работников, которые, к сожалению, еще иногда встречаются у нас. Он говорил: «Завтра ночью приходит эшелон. Прибывают четыреста единиц». Приехав на место, он побежал к палаткам и первым делом спросил: «Сколько палаток поставили? Сколько в них койко-мест?» Выяснил, что количество «койко-мест» соответствует числу прибывающих «человеко-единиц», и укатил обратно в Иркутск добывать, как он выразился, «триста посадочных мест» в автобусах. На прощание он сказал мне: «Очень много работы. До осени мы должны поставить сорок коробок на восемьсот душ».

Я остался в Шелихове.

Передо мной лежало широкое плоское поле, вернее даже обширная долина, окруженная со всех четырех сторон волнообразными холмами. Посредине этой долины, затерявшись в ней маленькой точкой, белели два-три десятка палаток. Это и был город Шелихов. Так начинался он, но лента шоссе уже протянулась через всю равнину и упиралась одним отростком в палаточный городок, а другим в длинный дощатый забор, за которым скрывались какие-то склады. Прорубив тайгу, по вершинам холмов шагала и спускалась в долину высоковольтная линия для будущих шелиховцев, километрах в двух от палаток горбатился костлявый остов крана — он будет ставить дома для будущих шелиховцев, и экскаваторы, поднимая пыль, уже копали там котлованы для этих домов.

По улице палаточного городка бегал и суетился пожилой лысеющий мужчина — комендант городка.

— Уехал? — спросил он у меня.— Ну и слава богу. А то прискочит, переполошит всех и удерет. Давай ему «койко-место». А у меня на четыреста коек триста двадцать матрацев. А вода? А свет? Воду вчера тянули-тянули, да не дотянули. Да и как ее тянут, разве можно так воду тянуть? Закопали трубы на пятнадцать сантиметров, на два вершка. Она же пойдет теплая — ни напиться, ни помыться. Вот, слава богу, копатель пришел, свет протянем к вечеру.

Неподалеку от палаток стоял грузовик со странным приспособлением в задней части кузова. Внизу этого приспособления что-то крутилось и шевелило землю. Мы подошли к машине как раз в тот момент, когда длинный спиральный винт выполз из земли, оставив под собой глубокую идеально круглую дырку с аккуратной горкой земли по бокам. Трое рабочих подняли деревянный столб и поставили его в дырку. Чуть подальше, на третьем столбе, сидел рабочий и подвешивал провода к изоляторам.

Грузовик проехал по полю метров тридцать, остановился и начал снова буравить землю, «протягивая свет» к палаточному городку.

Светловолосая девушка в лыжных брюках подбежала к коменданту и с ходу выпалила:

— Надо поставить четыре столба у танцплощадки.

— До субботы еще успею,— ответил комендант.

— Сегодня. Мы будем танцевать сегодня. Комитет вынес решение.

— Они же приедут в два часа ночи.

Светловолосая девушка посмотрела на коменданта таким снисходительным взглядом, что тот сразу сдался.

— У, юла неугомонная. Будут тебе столбы.

Девушка убежала. Мы пошли с комендантом к палаткам. Приглаживая рукой редкие волосы на голове, комендант тяжело вздохнул:

— Что вы думаете? Приедут в два часа ночи и будут плясать до шести утра. Что за народ теперь пошел — одни танцы на уме.

Так начинался город Шелихов, и теперь, спустя два года, Шелихов снова раскрывается с холма, по которому идет дорога, спускаясь в долину. Большое пространство ее заставлено белыми многоэтажными домами, левее, ближе к холмам, громоздятся строения цехов — там строится комбинат.

Шелиховский алюминиевый комбинат — идеальный пример энергоемкого производства, о необходимости которого говорил доктор Пробст. Чтобы произвести тонну алюминия, надо затратить около девятнадцати тысяч киловатт-часов электрической энергии.

Машина спустилась с холма, и город, строения цехов скрылись за молодым леском по обе стороны дороги. Еще десять минут, и мы на месте палаточного городка, и я ничего не узнаю. Несомненно одно — палаточный городок был именно здесь: сиротливо торчат колышки по углам вытоптанных квадратов земли, чернеют следы от печек. Сохранился лишь забор, в который упиралась дорога,— за ним выросли производственные строения. Едем к забору, услужливая стрелка приглашает экскурсантов следовать туда. Сворачиваем в ворота и едва не наезжаем на заместителя главного инженера строительства Баранова. Не кто иной, как он, два года назад показывал мне чертежи проекта комбината; я страшно рад, что встретил знакомого человека, и бросаюсь к нему.

— Здравствуйте, Павел Константинович. Ну и много же вы настроили! Большой же получается комбинат!

Баранов узнает меня, протягивает руку, но глядит при этом крайне удивленно.

— Настроили действительно порядочно,— отвечает он,— но только это ведь не комбинат, а подсобная база для него. Сам комбинат строится в километре отсюда.

Вот тебе и на! Только подсобная база, а чего тут только нет — несколько заводов: бетонный, кирпичный, железобетонный, большой деревообделочный комбинат с лесотаской, лесопилкой, сушилкой, столярным цехом, затем идут строительные полигоны, механические цехи, цех прокатного железобетона, автобаза — всего просто не перечесть. Мы ходим

с Барановым час, другой, третий из одного корпуса в другой, от лесотаски к уникальной перлитной установке, из мебельного цеха в автобазу. Везде крутятся станки, оглушительно визжат пилы, работают краны, перетаскивая тяжести; на этой подсобной базе можно изготовить любое строительное изделие — от небольшого винта до двадцатичетырехметровой армированной фермы из бетона, от обыкновенной табуретки до готовой бетонной стены здания, снятой с прокатного стана.

Ну, а каков же тогда сам алюминиевый комбинат, если у него такая огромная подсобная база? Мы едем по полю, и перед нами во всем своем величии вырастает один из цехов этого комбината. Он протянулся по полю, как небывало огромный ангар. Два года назад я смотрел проект такого цеха, лежавший на столе в рабочем кабинете Баранова, а теперь этот цех, вернее, пока его остов (но тем ближе он к чертежу) перенесен, как говорят строители, в натуру и протянулся по полю на полкилометра, точнее, на 526 метров.

Вдоль всего цеха двумя рядами протянулись большие прямоугольные ванны, сваренные из железа и установленные на бетонных фундаментах. Показывая эти ванны, Павел Константинович объясняет мне, что монтаж их велся одновременно с монтажем самого цеха, и это по меньшей мере на один год сократило срок строительства первой очереди комбината.

Ванны, ванны — два бесконечных ряда ванн,— в них-то и будет совершаться процесс образования алюминия путем электролиза.

Павел Константинович объясняет мне, как это будет происходить:

— В эти ванны будет закладываться обыкновенный глинозем. Но, чтобы пустить через него ток, его надо растворить — для этой цели применяется расплавленный криолит. Вместе с глиноземом при температуре в девятьсот градусов он образует жидкий электролит — теперь можно начинать процесс электролиза. Теперь можно опускать в ванну электрод — анод. Включается ток. Подина (дно) ванны служит катодом — положительным зарядом, и под действием тока окись алюминия начинает разлагаться, и чистый алюминий выделяется на катоде, откуда мы его сливаем. Все очень просто.

Кроме алюминиевого комбината, шелиховцы строят и город для себя — Шелихов. Строят, к слову сказать, не хуже других, а может, и лучше. Те «сорок коробок на восемьсот душ», о которых говорил комсомольский работник, уже стоят, и, слава богу, эти коробки — добротные, удобные для человеческого жилья дома. А рядом поднялись здания еще лучше — в три и четыре этажа,— они уже сложились в кварталы, в улицы; город растет не по дням, а по часам.

Приехав в Шелихов, я как бы заглянул в будущее и смотрю на огромный цех, хожу по улицам, которые видел в чертежах. Будущее здесь зримо, реально ощутимо: до него можно дотронуться рукой.

Дома встают, выходят из котлованов, город рождается в кучах строительного мусора, среди гор перекопанной земли. Он полон сил и противоречий, как всякое молодое существо. Дома его уже образуют улицы, но для улиц нет еще названий. Только две из них, пересекающие одна другую при въезде в город, уже получили имя — улица Мира и Алюминиевая. Улиц в Шелихове много, но они еще не успели сложиться в городской ансамбль, и Шелихов просвечивается из конца в конец, и из любой его точки можно увидеть дальние горизонты — волнообразные линии холмов, окружающих долину, в которой возникает Шелихов.

В Шелихове десять тысяч жителей, но на автобусной остановке еще сохранилась старая надпись — «Шелихово»,— будто это не город, а какое-то село. В Шелихове много магазинов, но они еще без вывесок и с пустыми витринами. Во все стороны от Шелихова протянулись пустыри, перекопанные канавами, но уже на одном из этих пустырей расположился колхозный рынок, правда небольшой, всего на два недлинных

торговых ряда, но тем не менее рынок, и шелиховцы поутру тянутся к нему из своих домов, чтобы купить луку, мяса, картошки, и колхозники окрестных деревень уже спешат сюда: тут есть покупатель — городской житель.

Шелихов — город юный, город-младенец. Все здесь напоминает о первых днях творения — и свежий, только вчера положенный асфальт, и тонкие, привязанные к колышкам березки вдоль улиц, и горы строительного мусора, но детская коляска у подъезда, бумажный змей, зацепившийся за провода, заставляют задуматься о вечности.

Два года назад здесь было голое место, пройдет еще два года—заработает комбинат. Шелихов разрастется, наберется сил, окрепнет: улицы получат имена и будут названы в честь их строителей, дома города закроют дальний горизонт, зашумит листва городского парка, на площади появятся большие городские часы, и молодые парочки придут на первое свидание «под часами» и пойдут смотреть кино в только что открывшийся кинотеатр.

Так будет. А пока что наша старенькая «победа», в которой мы едем по городу, неожиданно оседает на один бок, колеса ее начинают буксовать. Кажется, мы засели. Выходим с Барановым из машины. Так и есть: засели среди бела дня, в центре города, на одной из безыменных немощеных улиц; колеса заехали в глубокую колею, и машина села на дифер.

Баранов подходит к краю песчаной ямы, в которую мы чуть было не сползли.

— Третьего дня,— говорит он, заглядывая в яму,— экскаватор раскопал здесь какие-то кости, бивни. Послали в город (он так и говорит: «город», имея в виду Иркутск). Оказалось, что это кости мамонта. Ученые тотчас прикатили сюда, и вчера мамонта увезли в музей. Они-то и развороти дорогу, вытаскивая кости.

Я чуть было не оказался в самом непосредственном соседстве с мамонтом — эта мысль вносит развлечение в наше дорожное происшествие. «Победа» скоро выбирается на ровное место. Прощаясь с Павлом Константиновичем, я кончаю тем же, с чего начал:

— Все-таки много вы настроили. И как быстро. Настроили столько, что просто удивительно.

Баранов смущенно заулыбался и замахал руками.

— Что вы? Могли бы в два раза больше настроить. Ограничивают капитальные вложения. Сейчас у нас еще только август, а мы уже выполнили план года. Теперь будем возиться по мелочам, подчищать, подскребывать: не дают денег.

Опять невпопад. Но сейчас моя оплошность только радует меня — не может не радовать. Я радовался тому, как поспешно, как скоро созидается наше будущее, а оказывается, оно могло бы твориться в два раза быстрее. А раз может, значит и будет твориться быстрее.

Вот они, параграфы семилетки, которые предусматривают еще более высокие темпы развития алюминиевой промышленности. Неограниченные сырьевые ресурсы для получения алюминия предопределяют его широкое применение в самых различных областях техники — «в машиностроении, авто- и тракторостроении, транспортном машиностроении, судостроении, в строительстве, в производстве товаров народного потребления».

В тезисах говорится, что только «использование алюминия и пластических масс в кабельном производстве сбережет за семилетие государству до 10 миллиардов рублей и даст экономию свыше 400 тысяч тонн свинца и свыше 400 тысяч тонн меди».

В Восточной Сибири, в крае энергоемких производств, алюминиевая промышленность получит наибольшее развитие. Кроме Шелиховского

комбината семилетка предусматривает «создание мощной алюминиевой промышленности в Красноярском крае на базе крупнейших запасов нефелинов с попутным получением дешевого цемента и содопродуктов. Наличие в крае дешевого угля и возможности использования электроэнергии Красноярской гидроэлектростанции обеспечат получение наиболее дешевого алюминия».

Все это уже видишь, все это уже заложено в сегодняшнем дне.

8. Связующее звено

Есть еще одна отрасль, которая объединяет самые различные роды человеческой деятельности, связывает воедино разрозненные части целого,— транспорт. Транспорт соединяет руду и уголь, алмаз и бурильный станок, дерево и бумагу, рабочее место и дом отдыха.

В условиях Сибири транспорт приобретает особое значение. Почти вся индустриальная Сибирь — все ее крупные города, заводы, фабрики вытянулись тонкой цепочкой вдоль великой сибирской дороги. Правда, цепочка получилась изрядная, на много тысяч километров, ведь магистраль Москва — Владивосток — самая протяженная сухопутная дорога на планете.

В 1898 году в Иркутск пришел первый поезд, в начале нашего века этот поезд дошел до Дальнего Востока. За годы пятилеток на сибирской дороге случились немалые перемены. Рядом с первой линией легла вторая — дорога стала двухпутной. Параллельно железной дороге строители тянут гигантский трубопровод Европа—Азия, он уже дошел до Омска, подбирается к Новосибирску и скоро доберется до самого Иркутска и пойдет еще дальше на восток. На сибирской магистрали уже не увидишь нефтецистерны, поток нефти течет в Сибирь по трубам, и мощные химические комбинаты — их немало понастроено в Сибири — производят из этой нефти всевозможные продукты; одно перечисление их заняло бы несколько страниц.

Планы семилетки предусматривают электрификацию всей сибирской дороги до самого Дальнего Востока — значит, пропускная способность ее возрастет еще более. Но тем не менее это все же одна дорога — тонкие, убегающие вдаль стальные нити; кажется, они слились в голубой дали, соединились в точку, но нет, они бесконечно бегут и бегут под быстрыми колесами электровоза, и в окне вагона мелькают по сторонам заводские трубы, башни элеваторов, надшахтные вышки, селения и города — все живое стремится быть ближе к этим тонким стальным нитям. А на юг и на север от них раскинулись огромные, безбрежные пространства, и в недрах их таятся несметные сокровища: железо и золото, уголь и слюда, соль и алмазы, цветные металлы и древесина, и суждено им лежать втуне, пока тонкие стальные нити не доберутся до них, и тогда зажжется зеленый огонь светофора, открывая им путь к людям.

Конечно, железная дорога не единственный вид транспорта, и во многих случаях ее с успехом может заменить (и заменяет) и автомашина, и линия электропередачи, и самолет, и особенно пароход или самоходная баржа; весь север Красноярского края, вся Якутия, Камчатка живут и развиваются благодаря сильному водному и воздушному транспорту, но еще на несколько десятилетий вперед железные дороги уверенно обеспечили себе главную роль связующего звена. Поэтому на конференции речь о них заходила всякий раз, как только возникал вопрос об освоении того или иного месторождения.

Академик В. С. Немчинов говорил в своем докладе:

— Назрела острая необходимость ускоренного транспортного освоения просторов Сибири, таящих в своих недрах ценнейшие природные богатства.

Где пройдут новые дороги? Как, в какой последовательности выгоднее строить их?

И опять разгораются споры и дискуссии. У каждой дороги свои сторонники, свои защитники и противники, свои «толкачи» и «тормозы».

Разбираются варианты третьей металлургической базы. Тайшетский металлургический завод не вызывает особых споров: он находится у готовой железной дороги и прямо от него идет ветка к рудным месторождениям Коршунихи. Но где быть второму металлургическому заводу? Работники московского института «Гипромез» доказывают:

— Необходимо ставить металлургический завод в Барнауле, в непосредственной близости от лисаковских руд.

— Помилуйте,— возражают работники Красноярского совнархоза.— Четыреста километров дороги — хорошенькая «непосредственая близость»! Надо ставить завод в нашем крае. И вести ветку от Ачинска к Усову, к крупнейшему Ангаро-Питскому месторождению.

— Вместо четырехсот километров дороги вы предлагаете пятьсот. И плюс еще мост через Енисей. Очевидно, все это ради экономии?

— Ваши четыреста километров — тупиковые. А наши пятьсот — магистральные. Кроме того, часть этой дороги, от Ачинска до Абалакова, длиной двести шестьдесят километров, прочно стоит в семилетке. Остается построить всего двести тридцать три километра, и мы пойдем к уникальному Енисейскому кряжу — кроме руды, там богатейшие месторождения магнезита, бокситов, полиметаллов, талька. Там будет строиться Енисейская ГЭС — она одна будет мощнее, чем все станции волжского каскада.

— Когда это будет? А чугун мы должны дать уже теперь.

— Красноярский чугун обойдется дешевле барнаульского. И дадим мы его раньше. Мы не возражаем против барнаульского завода, но будет правильнее перенести его на более отдаленный период.

Договаривающиеся стороны не могут прийти к согласию и обращаются за решением в более высокие инстанции — в центральные плановые органы.

Энергетики заинтересованы в прокладке дороги к месту намечаемого строительства Усть-Илимской ГЭС. Среди энергетиков на этот раз царит полное единомыслие:

— Наилучший вариант трассы: от станции Хребтовая Ленской железной дороги до Усть-Илима. Протяженность ее всего двести тридцать восемь километров.

— Вы слышали? Лесники записали в свою резолюцию дорогу Хребтовая—Усть-Илим. Она нужна им для освоения лесных богатств.

— Хорошее известие. Оно нам поможет. К тому же учтите: там уголь, бокситы, руда. Дорога Хребтовая—Усть-Илим проходит мимо Рудной горы, подступает вплотную к Тунгусскому бассейну. Это что-нибудь да значит для нашей аргументации.

Идет разговор и о том, как быстрее освоить уникальные месторождения южноякутских коксующихся углей и алданских железных руд.

— Нам нужна ветка на север от Амура,— говорил мне Владимир Владимирович Мокринский,— от селения Бам, близ Сковородино, на Чульман и Таежную, общей протяженностью в пятьсот восемьдесят три километра.

— Но такая дорога, слышал я, обойдется чуть ли не в миллиард рублей.

— Строительство железных дорог в Сибири обходится вообще недешево: кругом горы, реки, большие подъемы, неизбежные кривые. Но эта

дорога быстро окупится. Она создаст предпосылки для быстрейшего становления четвертой металлургической базы, самой перспективной в Союзе.

Поначалу кажется, что все эти разговоры о дорогах обособлены друг от друга, что между ними нет никакой связи. Но недаром речь идет о транспорте — связующем звене. Я прихожу на заключительное заседание транспортной секции — и разрозненные части вдруг соединяются в одно целое, вырастают в огромную комплексную проблему.

На великой сибирской дороге уже произошли большие перемены. На юг и на север от нее протянулись отростки стальных нитей, ведущие в Кузбасс, на Лену, в Комсомольск-на-Амуре. Однако это лишь первые молодые побеги от мощного главного ствола. Теперь настала очередь нового продвижения вперед по пространствам Сибири. На карту Восточной Сибири накладывается теперь сеть железных дорог, пока еще не густая, непрерывно разветвляющаяся.

Планы семилетки предусматривают завершение крупнейшей Южно-Сибирской магистрали.

Уже давно, исподволь идет работа по созданию этой второй сибирской дороги: она уже пересекла весь Казахстан, Алтай, Кузбасс, уже дошла до Абакана и двинется теперь дальше через Тувинскую республику к Слюдянке; там, у Байкала, она на миг соединится с главной сибирской дорогой, а затем снова уйдет от нее на юг — по Бурятии, по Читинской области. Эта магистраль, так называемый «Южбам», поможет быстрее освоить несметные богатства Тувы и Бурят-Монголии.

Появится и третья сибирская магистраль — Северо-Сибирская. Она начнется от Абалакова, пойдет к Енисею в районе Нижне-Ангарска (Усово) и далее через Богучаны — Усть-Илим—Хребтовую—Усть-Кут—Киренск—Бодайбо—Алдан—Таежную—Чульман—Бам. Третья сибирская магистраль будет огибать Байкал с севера.

Три огромные магистрали пересекут Восточную Сибирь в широтном направлении и в то же время получат связь между собой по меридианам. Несколько таких меридиональных дорог уже действует, три новые связи строятся: Ачинск—Абалаково, Абакан—Тайшет, Решеты—Богучаны. В более отдаленном будущем, когда Северо-Сибирская магистраль будет продолжена от Алдана на Якутск и к Магадану, дорога Невер — Чульман — Алдан также станет меридиональной дорогой. Так образуется и ложится на карту железнодорожная сеть Восточной Сибири.

Через тайгу, через горы и реки пролагаются новые автодороги, в сибирском небе проносятся скоростные пассажирские самолеты, сибирские реки несут на себе все больше грузов — Сибирь становится близкой и доступной. Уже теперь можно вылететь рано утром из Петропавловска-на-Камчатке и к обеду поспеть в Москву: разница во времени сокращает вдвое абсолютную длительность перелета.

Дороги сокращаются во времени, дороги приближают к нам месторождения, открывают доступ в богатые кладовые природы. Трассы воздушных путей, нити дорог пересекут всю Сибирь из края в край, принесут жизнь в самые глухие таежные места.

Семилетка кладет начало ускоренному транспортному освоению великих сибирских просторов.

9. Байкал

Есть поговорка: «Кто не видел Байкала, тот не видел Сибири». Она применима и к данному случаю. Могу ли я писать о Сибири и ни слова не сказать о Байкале? Стараясь быть последовательным, я рассказал об угле, о руде, об источниках энергии, о том, как создаются энергоемкие производства, как транспорт соединяет пространства Сибири, и все откладывал и откладывал рассказ о Байкале.

Теперь дошла очередь и до Байкала.

Ученые говорят, что разгадать тайну происхождения Байкала — это значит разгадать тайну всей Сибирской платформы и даже всего Азиатского материка. Многие ученые бились и бьются над загадкой Байкала, но пока тайна его происхождения не выходит за рамки гипотез. Несомненно одно — существует какая-то связь между происхождением Байкала и происхождением всех природных богатств вокруг него.

Посмотрите на карту: кажется, что Байкал затерялся в центре Азиатского материка голубой узкой полоской, но попробуйте перенести его в Европу — Байкал с трудом уляжется между Москвой и Ленинградом, а на юг протянется от Москвы до Чернигова. А во Франции Байкал разделил бы все государство на две части — от Парижа до Марселя. Вот он какой, Байкал. Он естественно стал как бы географическим центром Восточной Сибири: недаром мы говорим — «Прибайкалье», «Забайкалье», отмеривая от Байкала наше представление о том или ином районе Сибири.

Далее. Байкал — энергетический центр Восточной Сибири. Из Прибайкалья во все концы Сибири расходятся величайшие речные системы Енисея, Лены, Амура. Из Монголии сюда подходит мощная Селенга.

Сам Байкал расположен на высоте 454 метров над уровнем океана и, соединяясь с ним через Ангару и Енисей, сбрасывает запасы своих вод чуть ли не с полукилометровой высоты — тут-то и таится огромный источник энергии, энергии падающей воды. Специалисты подсчитали, что потенциальная энергия Ангары составляет семьдесят миллиардов киловатт-часов, а вместе с Енисеем почти двести миллиардов, не считая Лены, Амура, Селенги, взращенных на мощных хребтах Прибайкалья.

Вот видите, сколько сил таится в Байкале.

Как обуздать эти силы, как взять их в свои руки?

Иркутская ГЭС уже построена, Братская и Красноярская строятся, несколько других проектируются. И вот появляется новый смелый проект использования энергии Ангары и Байкала. Автор этого проекта Н. А. Григорович — инженер московского отделения Гидроэнергопроекта (Мосгидэпа). Суть проекта изложена Н. А. Григоровичем в докладе, который он представил конференции.

Я ознакомился с этим докладом уже после того, как он был прочитан и обсужден на секции энергетиков, и потому мне пришлось заново восстанавливать ход событий. Впрочем, расскажу обо всем по порядку.

В своем докладе Н. А. Григорович дает характеристику Иркутской и Братской ГЭС, рассказывает о гидростанциях, строительство которых предполагается в будущем (Усть-Илимская, Богучанская ГЭС). Озеро Байкал является естественным регулятором для работы всех этих гидростанций.

Однако, пишет Н. А. Григорович, «использование Байкала для широкого компенсационного регулирования стока Ангары в современных условиях ограничено малой пропускной способностью истока Ангары при низких горизонтах озера».

Есть образное выражение: «Байкал впадает в Ангару». Надо было видеть, как это происходило. В южной части Байкала горы, окружающие его, вдруг расступаются, и воды озера со всех сторон устремлялись в этот проем. Волны набегали одна на другую, сталкивались, вытягивались тугими мускулистыми струями, сходились в одной точке где-то в середине проема и с рокотом переливались через край подводной скалы, перегородившей исток. Могучей полноводной рекой начиналась Ангара.

Так было. Теперь плотина Иркутской ГЭС перегородила Ангару, воды ее поднялись на тридцать метров, разлились Иркутским морем и срав-

нялись с уровнем Байкала. Впрочем, по привычке все еще ошибочно говорим — Иркутское море или Иркутское водохранилище. Иркутское водохранилище, по сути, всего-навсего залив Байкала, и Ангара теперь стала короче на семьдесят километров. Ангара начинается теперь от Иркутска, с грохотом и кипением вырываясь на свободу из турбин Иркутской ГЭС. А там, где был исток Ангары, вода утихла, успокоилась, ровно переливается через подводную скалу и расходится по Иркутскому заливу. Только клык Шаманского камня все еще торчит над водой, но скоро и он скроется под волнами залива, потому что иркутская плотина поднимет уровень Байкала на полтора метра, и этот полутораметровый слой воды будет служить регулятором работы станции, так как объем его в пересчете на всю площадь озера составит ни много ни мало сорок шесть кубических километров воды.

Тем не менее пропускная способность истока Ангары практически почти не увеличится, так как и прежде случались многоводные годы, и уровень Байкала поднимался тогда на метр и даже на полтора, и высокая вода, бывало, держалась по нескольку лет. Подводная скала, перегородившая исток, крепко запирала байкальскую воду.

Проект Н. А. Григоровича предлагает увеличить «полезную емкость Байкала путем расчистки истока р. Ангары методом массового взрыва на выброс» и затем спускать излишек воды в Байкале через прорезь, сделанную в истоке.

Расчеты, сделанные Григоровичем, показывают, что в каждом метровом слое байкальской воды, если его пропустить через турбины Иркутской и Братской ГЭС, заключается двадцать миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Если понизить уровень Байкала хотя бы на пять метров, мы получим сто миллиардов киловатт-часов — огромное количество энергии. Гарантированная мощность обеих станций возрастет чуть ли не на пятнадцать процентов. Будут получены и другие экономические выгоды. Исток Ангары станет судоходным.

Как же предлагает Григорович сделать прорезь в истоке Ангары? Русло Ангары состоит из крепчайшей скалы — обычным механическим воздействием ее не расчистишь. Для получения полноценного эффекта надо сделать прорезь глубиной в двадцать пять метров и шириной по верху в сто метров, протяженностью около десяти километров, иными словами, надо вынуть семь миллионов кубометров скального грунта.

«Чтобы осуществить такой взрыв,— пишет Григорович,— по данным Союзвзрывпрома, потребуется взрывчатого вещества в переводе на аммонит около 30 тысяч тонн».

Тридцать тысяч тонн взрывчатки! Тридцать килотонн! Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность двадцать килотонн. Такой взрыв, по оценке того же Союзвзрывпрома, обойдется в сто миллионов рублей. Но если проект будет осуществлен, Григорович гарантирует два миллиарда рублей экономии. Игра стоит свеч.

Но что будет с Байкалом, если понизить его уровень на пять метров, что станет с рыбой, с прибайкальской железной дорогой? А волна, которая возникнет при таком сильном взрыве? Не причинит ли она больших разрушений? Проект Григоровича отвечает и на эти вопросы. Никаких особо серьезных последствий не предвидится.

Все же я должен поговорить со знатоками Байкала, с байкаловедами. И в первую очередь с Михаилом Михайловичем Кожовым, профессором Иркутского университета.

Звоню Кожову.

Кожов отвечает мне:

— С удовольствием встречусь с вами в первый же свободный час. Когда? Одну минутку, сейчас загляну в книжечку. Эта конференция со-

всем выбила из колеи. Ни дня, ни ночи. Уже две недели не был у себя на Байкале. Представляете? Итак, сегодня... сегодня все расписано. Завтра опять секция — утром и вечером. Потом встреча с читинцами. Послезавтра — то же самое. Так что лучше всего в четверг.

— Михаил Михайлович, я хочу поговорить с вами о прорези.

— В истоке Ангары? Тогда вот что. Вы сейчас не заняты? Вот и хорошо. Приходите ко мне.

Это становится интересным. Стоило мне сказать одно слово — «прорезь»,— и Кожов тотчас отложил все дела и назначил встречу.

Я познакомился с профессором Кожовым во время прошлой поездки в Иркутск и весьма сожалел, что мне до сих пор не удалось написать ни строчки об этом интересном, своеобразном человеке, пытливом ученом. Как много остается в жизни нерассказанного, как много остается ненаписанного из того, о чем бы хотелось написать. То нет повода, то не хватает смелости, то нахлынут новые события и заслонят старые. Зато теперь я иду к Кожову по тихой иркутской улочке и радуюсь, что у меня есть повод восполнить хотя бы один из многих пробелов.

Первая моя встреча с М. М. Кожовым произошла на Байкале, в его резиденции, на биологической станции Иркутского университета в местечке Коты. Мы (бригада московских писателей и поэтов) ехали туда сначала на машине, а потом на катере. По приезде в Коты мы были очень удивлены тем, что Михаил Михайлович Кожов сразу начал разговор с извинений: вчера, мол, был сильный шторм, рыбаки не выходили в озеро, а сегодня ушли, но еще не вернулись, а потому рыбы нет и уху варить не из чего.

Впрочем, недоразумение быстро разъяснилось. Кожов рассмеялся и рассказал нам, что еще вчера он получил телефонограмму — приедет важная комиссия из Москвы. «Я даже с палочкой пошел на причал,— смеясь, рассказывал он.— И внучку с собой прихватил — для защиты от важной комиссии».

Мы с аппетитом пообедали щами и кашей в студенческой столовой за длинным столом, сколоченным из досок. Затем Кожов вывел нас на берег и предложил на выбор два маршрута для прогулки.

— Направо — маршрут для ленивых, налево — для любознательных.

— А какая между ними разница?

— Для ленивых — по аллее, для любознательных — по козьим тропам.

Не колеблясь ни минуты, мы избрали маршрут для ленивых и были вознаграждены спокойными красотами Байкала и необыкновенно интересной лекцией о нем, как бы между делом, невзначай, прочитанной Кожовым по дороге.

Незаметно поднимаясь все выше, широкая аллея шла вдоль берега среди берез и сосен, и Байкал просвечивался за их стволами, и все шире раскрывались его дали.

Всего час назад мы плыли по Байкалу, и он был хмурым и серым и низкое серое небо висело над его горной чашей. А сейчас серое небо поднялось, в нем появились просветы, и через них хлынули вниз потоки необыкновенно сильного света. Вода озера жадно впитывала в себя этот сильный свет, становилась все голубее, все прозрачнее, а свет сверху все лился и лился, а вода напиталась им до предела и сама стала излучать его и засветилась необыкновенной ровной синевой от горизонта до горизонта, будто густая расплавленная бирюза до краев наполнила горную хрустальную чашу озера.

Но прошло еще с четверть часа, и Байкал снова переменился: на горизонте, у далекого противоположного берега, появилась темная зловещая полоса, которая быстро росла, ширилась во все стороны и приближалась к нашему берегу.

— Идет баргузин,— пояснил Кожов,— но сегодня он не дойдет до нашего берега. Сегодня еще рано для баргузина.

Мы шли по аллее для ленивых, любовались Байкалом, его шириной и мощью, и слушали ученого.

— Известно, что в Байкале необыкновенно прозрачная вода. Брошенную в воду белую металлическую пластинку можно видеть до глубины сорока семи метров. Такая прозрачность Байкала имеет самое простое объяснение. Капля воды, попавшая в озеро, может вытечь из него через Ангару только спустя четыреста лет. Следовательно, в Байкале идеальные условия для отстоя воды. Эта же прозрачность приводит к тому, что в Байкале необыкновенно холодная вода: даже в самую жару в нем не очень-то искупаешься. Лучи солнца свободно проходят сквозь прозрачную воду и не нагревают ее поверхности.

Двести сорок миллионов лет назад уровень Байкала был на много метров выше. Дорога, по которой мы идем, была под водой. На склоне видны террасы, указывающие уровень воды.

Вопрос об уровне Байкала имеет огромное научное значение. Байкал — молодое озеро, и уровень его все еще продолжает меняться.

Недавно мы раскрыли одну своеобразную ошибку прежних исследователей. Они определяли уровень озера по зарубкам на деревьях. И вдруг — что такое? — уровень меняется в течение одного дня, часа на пять, десять сантиметров. Оказывается, это ветер. Он хлынет с гор, придавит воду с одной стороны, поднимет ее у другого берега. Байкал как бы выгибается под напором ветра, получаются своеобразные приливы и отливы.

Складывающееся миллионами лет равновесие берегов и воды Байкала еще неустойчиво. На наших глазах происходят изменения в состоянии воды и берега — оползни, вспучивания. А совсем недавно — меньше ста лет назад — произошел подлинный геологический катаклизм. Как? Вы ничего не слышали о знаменитом Провале?

Вечером 30 декабря 1861 года жители так называемой Цаганской степи услышали подземный гул, похожий на быстро приближающуюся бурю. Земля заколебалась, закачались полы в избах. Сами собой зазвонили колокола на колокольнях, сами собой раскрылись двери в домах, со столов попадали самовары и рождественские пироги. Люди в страхе выбежали из своих жилищ и всю ночь провели на улице, а земля шевелилась и вздрагивала в темноте под их ногами.

Похоже было, что утро принесло облегчение, но в полдень земля задвигалась снова и стала уходить из-под ног. Расходясь все шире, по земле пробежали трещины, и люди проваливались в них. Срубы колодцев, как пробки, с хлюпаньем выскакивали из земли, грязная пена фонтаном вылетала из недр.

Байкальская вода поднялась дыбом, перехлестнулась через прибрежную гряду, и могучий вал ее понесся по степи, сокрушая все на своем пути. Так ушла на дно Байкала вся Цаганская степь территорией в несколько десятков квадратных километров. По казенным отчетам, погибло тысяча триста человек, пять тысяч голов скота, целые деревни со всеми своими юртами, избами ушли под воду — развалины их и сейчас видны на дне Провала.

10. Спор о Байкале

Так вот он какой, славный Байкал, капризный и гневный, строгий и непокорный! Какую штуку может выкинуть он, если понизить его уровень на пять метров?

— Я категорически против этой прорези, — заявил Михаил Михайлович Кожов, когда я пришел к нему.

— Но ведь проект Григоровича дает два миллиарда рублей прибыли.

— Да, два миллиарда. Точнее — два миллиарда девяносто пять миллионов.

— Разве это мало?

— А рыба?

— Какая рыба?

— Я вижу, вы не совсем в курсе дела и, кроме двух миллиардов, ничего не знаете. Поэтому наберитесь немножко терпения — и слушайте. Я же постараюсь быть кратким, как конспект.

Кожов вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с книжечкой — докладом Григоровича.

— Так вот. Месяца за три до совещания, когда вовсю шла подготовка к нему, ко мне пришли два инженера из Мосгидэпа. Нет, не Григорович, а его помощники. Пришли насчет рыбы. Какие могут быть последствия при спуске Байкала на пять метров? «А зачем,— спрашиваю,— вы хотите спускать Байкал?» Они отвечают зачем. Тогда я отвечаю им, что последствия спуска для рыбы будут самые печальные. Инженеры сказали мне спасибо и ушли. Я, признаться, не обратил должного внимания на этот визит — настолько очевидной была для меня нелепость такого проекта. К тому же как раз в это время я готовился к отъезду в Англию — на XV конгресс зоологов. Возвращаюсь из Англии и прихожу в ужас. Два инженера не теряли времени даром. Уже и радио передавало о проекте Григоровича, и одна из газет напечатала о нем заметку — и все в восторженных тонах. Инженеры ходят по иркутским организациям, заручаются поддержкой, и уже кое-кто из наших руководящих работников одобряет этот проект. Потом прилетает на «ТУ» сам Григорович — они все едут в Улан-Удэ и начинают там тоже вести подготовку. В «Бурят-монгольской правде» появляется статья Григоровича о проекте. И зачем я только в Англию ездил? Делал там доклад о Байкале, а сам, кажется, прозевал Байкал.

Словом, дело принимает серьезный оборот.

Ко мне снова является гость от Григоровича. «Здравствуйте, как поживаете, как съездили в заморские страны?» — «Здравствуйте,— отвечаю,— хорошо съездил в заморские страны. А как ваши дела?» — «Наши дела зависят от рыбаков. Если рыбаки будут «за», наши дела пойдут совсем хорошо».— «Рыбаки скажут «против».— «Жаль, очень жаль. Мы так на вас рассчитывали, Михаил Михайлович. Хотели даже обратиться к вам с огромной просьбой — попросить вас взять проект для консультации и рецензирования».

Ну что ж, я и засел за проект, чтобы установить все последствия, которые могут произойти в случае его осуществления. Пошел в наш совнархоз, написал запрос в управление легкой и пищевой промышленности Бурятского СНХ. А затем написал свою рецензию, озаглавил ее «Докладная записка», приложил к ней справки, полученные из совнархозов, размножил все это в двадцати экземплярах и отослал во все места, куда только можно,— в Госплан, в Академию наук, в наш обком, в Мосгидэп Григоровичу, в Ихтиологическую комиссию, в Общество гидробиологов и так далее.

Что тут началось! Форменная паника. Из Москвы от Мосгидэпа приехала целая комиссия из шести человек. Ходят по нашим учреждениям, снова кое-кого сбивают с толку. Поехали в Улан-Удэ, там тоже ходят. Тогда я иду в обком партии, в оргкомитет конференции: «Давайте вынесем проект Григоровича на конференцию, на самое широкое обсуждение. Как конференция решит, так и будет».

— Простите, Михаил Михайлович, я вас перебью. Вот мы говорим с вами о проекте Григоровича и еще ни слова не сказали по существу о са-

мом проекте; у читателя может создаться самое неблагоприятное мнение об авторах проекта: они куда-то ходят, летают на «ТУ», уговаривают, интригуют — словом, идут на все, чтобы, как говорится, протолкнуть свой проект.

— Ну, это уже литература, — рассмеялся Кожов. — Это вы любите в своих книжках раскладывать все по полочкам — это хорошо, а это плохо. А в жизни все бывает сложнее, закрученнее. Я вовсе не желаю компрометировать Григоровича. Я просто рассказываю, как было дело. А я? Разве я сам никуда не ходил, не писал, не уговаривал? Еще как ходил. Каждый ходит и отстаивает свою точку зрения, в справедливости которой он убежден.

— Вот-вот. Читатель хочет услышать научную критику проекта Григоровича. И пусть он сам сделает вывод, что хорошо, а что плохо. Не будем навязывать ему своих мнений.

— Теперь вы, чего доброго, хотите скомпрометировать меня, — улыбнулся профессор Кожов. — Создать впечатление, будто я предвзято отношусь к этому проекту.

— Что вы, Михаил Михайлович, что вы?

— Разумеется, я не могу быть равнодушным к этому проекту. Но должен вам сказать, что с научной стороны он не выдерживает никакой критики. Особенно со стороны биологии.

Михаил Михайлович помолчал с минуту и вдруг задал мне вопрос совершенно неожиданный:

— Как вы думаете, будет ли при коммунизме черная икра?

— Черная? Простите, но я никогда не думал об этом. Почему бы ей не быть?

— Потому что каспийскому осетру некуда идти на нерест — всю Волгу перегородили плотины. Вот-вот перекроют ее и под Сталинградом. А рыба, она несмышленая, она не понимает всей важности строительства гидростанции, ей нужны пути для нереста, пути, проторенные тысячелетиями. Сумеют ли ихтиологи повернуть ее на новые нерестилища? Потомки не скажут нам спасибо, если мы, сами того не желая, растеряем и черную икру, и среднерусские леса, и азовскую рыбу.

— Но ведь ихтиологи думают об этом?

— Думают. Конечно, думают! Но полностью еще не решили эту проблему.

— Но при чем здесь Байкал и Григорович?

— Естественная аналогия. В Байкале такой животный мир, который не встречается больше нигде в мире. Проект Григоровича нанесет удар по байкальской флоре и фауне.

— Это не совсем понятно. Как?

— Понимаете, мы сейчас на конференции разработали целый комплекс мероприятий — за пять-шесть лет мы можем чуть ли не в два раза увеличить запасы байкальской рыбы. А тут этот проект. Всю свою жизнь я отдал Байкалу...

Я слушал профессора Кожова и невольно любовался им — его совсем белой головой и его юношеской неугомонностью, его пытливым умом ученого и молодым полемическим задором.

«Всю свою жизнь я отдал тому-то» — в устах иного человека такие слова могли бы показаться выспренними или ходульными. В устах профессора Кожова они прозвучали просто и естественно.

Михаил Михайлович Кожов родился в 1891 году в семье крестьянина-землепашца, в глухой таежной деревушке на Лене. Окончил сельскую школу; с ранних лет начал работать — тянул почтовые лодки по Лене, служил переписчиком в волостной канцелярии, потом сдал экстерном экзамены на звание сельского учителя и начал работать в той же таежной школе, где учился сам. В первую мировую войну воевал на герман-

ском фронте, был ранен. После революции окончил университет, начал заниматься Байкалом и целиком отдался научной деятельности.

Профессор Кожов написал о Байкале десятки научных работ. Он изъездил Байкал вдоль и поперек, знает на озере каждый уголок, каждую скалу, бухточку. Ему ли не быть заинтересованным в судьбе Байкала! Порывисто жестикулируя, он говорит:

— Кругобайкальская железная дорога. Я биолог, дороги не моя специальность, но я наводил справки. И вот что получается. Уровень Байкала понизится. Течение рек, впадающих в озеро, ускорится. А под железной дорогой проходит несколько десятков рек и речушек. При быстром течении они могут размыть мосты, насыпи. Значит, придется укреплять дорогу. Теперь возьмем такую часть проекта. Послушайте, что пишет Григорович.— Кожов раскрыл доклад, который был у него в руках, и с пафосом прочитал:— «При взрыве на поверхности Иркутского водохранилища и в Байкале возникнет волна, выброшенная взрывом скальная порода с водой упадет обратно в реку и на ее берега и при падении частично погасит возникшую волну, частично вызовет образование второй волны». Видите, как у него все рассчитано — даже камни, выброшенные взрывом, падают в реку по расчету. Кто может знать, как они станут падать? Далее. «В образовавшуюся в дне Ангары прорезь объемом около семи миллионов кубометров со всех сторон, из Байкала и Иркутского водохранилища, с торцов и с боков одновременно хлынет вода. Это возникшее к центру прорези течение ослабит образовавшиеся при взрыве, уходящие от места взрыва волны». Тоже сомнительное утверждение. Ведь главная масса воды хлынет из Байкала и новая волна пойдет вниз по течению Ангары. Подумать только, тридцать тысяч тонн аммонита — это больше, чем атомная бомба. Представьте, какая волна образуется при этом! А вдруг Иркутская плотина не выдержит такой волны? Но и это еще не все. Только теперь можно начинать научную критику этого доклада. Только теперь начнется самое интересное.

К сожалению, самое интересное место откладывается и на этот раз: зазвонил телефон, Михаила Михайловича срочно вызывали в университет. Он заторопился, сбегал в кабинет и принес пачку бумаг.

— Тут все: моя докладная записка, справки из совнархозов, стенограмма обсуждения. Из этого вам все станет ясно.

И вот я читаю стенограмму обсуждения проекта Григоровича, читаю ее, как захватывающий роман. Она такая же пухлая, как роман, и мне придется ограничиться лишь краткими выдержками из нее.

Г р и г о р о в и ч (рассказывает суть своего проекта). В каждом метре байкальской воды заключена энергия, которая выражается огромной цифрой в 20 миллиардов киловатт-часов. Создание прорези и увеличение амплитуды колебания горизонта Байкала создает уникальные условия для энергетической эксплуатации гидроэлектростанций Ангары и Енисея. Мы должны взять от Байкала не только его рыбу, не только его красоту, но и его силу. Это необходимо для страны, и совершенно непонятно, почему рыбаки — только одни рыбаки — выступают против проекта улучшения водного режима Ангары.

К о ж о в. Я не собирался выступать, но теперь не могу молчать. Извините, что говорю без подготовки. Не только рыбаки против. Совнархозы тоже против. Всякий здравомыслящий человек будет против. Байкал — уникальный дар природы. Это самое глубоководное озеро в мире — озеро-море, но для животного мира Байкала решающее значение имеют его мелководные участки. А при понижении Байкала на пять метров будет оголена вся прибрежная полоса площадью сто тысяч гектаров, осушатся все соры — места рыбных нерестилищ. Выйдут из строя все пастбища байкальской рыбы. Береговая линия отступит от одного до

пяти километров. Устья рек обнажатся, реки промоют новые русла и начнут гулять по рыхлому илистому грунту бывшего дна Байкала и снесут весь этот питательный ил по склонам подводных хребтов. Григорович подсчитал — сто миллиардов киловатт-часов, два миллиарда рублей. Но совнархозы тоже умеют считать. Убытков будет тоже два миллиарда. Да, рыбаки против, и они прямо заявляют об этом. Мы не имеем права нарушать гармонию и красоту уникального дара природы.

Председатель объявляет перерыв.

(Позже Кожов рассказывал мне, как во время перерыва к нему подошел один из сторонников Григоровича и поздравил с блестящей речью: «Прекрасно выступали и аргументировали. Но должен вам сказать, что вы цените Байкал, как ценят прекрасные глаза женщины. А мы энергетики — нам не до эстетических красот». Кожов ответил: «Энергетики, а проект у вас однобокий — культуру вы не спросили, здравоохранение не спросили, железную дорогу не спросили. Они тоже молчать не будут, скажут свое слово».)

Спустя несколько дней обсуждение проекта возобновляется. Григорович выступает второй раз: он говорит о проекте Усть-Илимской ГЭС, которая является по своим экономическим показателям самой уникальной станцией в мире. Затем он говорит о прорези.

Григорович. Но если биологи против пяти метров, можно взять от прорези не все сто миллиардов киловатт-часов и таким образом получить сработку Байкала не на пять метров, а только на полтора. Такие цифры биологов как будто не пугают.

Голос из зала. (Это был голос Кожова.— *А. З.*) Откуда вы взяли, что не пугают? Очень пугают.

Григорович. Вы же сами мне говорили, что с двумя метрами сработки примириться можно.

Голос из зала. Тогда и прорезь не нужна.

Григорович. Далее. Я хочу перед настоящей аудиторией заявить, что мы, энергетики, так же любим природу, как и биологи.

Голос из зала. Не чувствуется.

Григорович. Мы не враги Байкала. Мы хотим, чтобы Байкал был использован не только для того, чтобы им любоваться, но чтобы он дал стране максимум того, что он может дать.

Маркушев (из Госрыбвода). Никто не дал нам права сейчас лишиться такого огромного количества рыбы — до двухсот тысяч центнеров в год. Это все равно, что лишиться ежегодного прихода в двести тысяч голов скота. Я считаю, что история резко осудит нас в этом.

Галазий (директор Байкальской лимнологической станции). Цель проекта — кратковременный энергетический эффект, временный заем, который потом придется отдавать Байкалу обратно. Причем возьмем у Байкала за четыре года шестьсот миллионов рублей, а отдавать их обратно придется в течение восемнадцати — двадцати лет, и с процентами, и тогда все ГЭС сядут на голодный паек, пока мы снова будем наполнять озеро. На Байкале за это время произойдут огромные изменения. Равновесие воды и берега нарушится, оживятся оползни. Питательные наносы с мелководья уйдут на большие глубины. К тому же надо учитывать метровую толщу байкальского льда,— значит, спуск будет на метр больше. Производить подобные разрушения, лишаться рыбы ради четырехлетнего эффекта — это не государственный подход. Я предлагаю не включать в нашу резолюцию вопрос о прорези.

Григорович (бросает реплику). Рыба не погибнет. Можно построить рыбозаводы и восполнять поголовье.

Голос из зала. На Волге построили плотины, а рыбозаводы не готовы, и мы сидим без рыбы.

Председатель. Слово имеет товарищ Моисеев, главный инженер Иркутской ГЭС.

Моисеев. Прорезь в истоке Ангары в том виде, как она представлена в докладе, с нашей точки зрения, является по меньшей мере утопией. Тут Иосиф Яковлевич критиковал нас за то, что мы смотрим на Байкал, как в прекрасные глаза красивой женщины. Во-первых, никому не запрещается смотреть в прекрасные глаза. Во-вторых, Григорович хочет взорвать эти прекрасные голубые глаза Байкала. В-третьих, сумеет ли он поднять Байкал до прежнего уровня? В-четвертых, зачем мы строили такую высокую плотину на Иркутской станции? Разумеется, не для того, чтобы спускать Байкал на пять метров, а чтобы поднять его на полтора метра. Если — я этого не представляю — проект Григоровича будет осуществлен, десять метров лишней высоты иркутской плотины навеки останутся памятником Григоровичу.

(Выступают два-три оратора с защитой проекта Григоровича. Но в этих выступлениях нет других доводов в защиту, кроме тех, которые уже приводились, и потому я опускаю их.)

Лебедев (Энергетический институт АН СССР). Всеми нами уважаемый Григорий Иванович Галазий предложил здесь не включать в резолюцию вопрос о прорези. Не могу согласиться с этим. Я считаю, что мы должны включить этот вопрос и записать его следующим образом: совещание категорически высказывается против поднятия этого вопроса и против дальнейших проработок в этом отношении.

Голоса с мест:

— Правильно!

— Закрыть прорезь!

— Это будет самая реальная экономия от проекта! (Аплодисменты).

Председатель (призывает к порядку, просит присутствующих не забывать, что они находятся на серьезном научном совещании).

Лебедев (продолжает выступление). Несколько слов о Севане, с которым я как энергетик имел дело. Сколько изучали Севан, прежде чем выпустить из него воду. Несколько лет на Севане работала комплексная экспедиция под руководством академика Левинсона-Лессинга. Было создано специальное бюро по озеру Севан. В Армении был проведен всенародный референдум о Севане. Причем Севан спускали не только для энергетики, но и для орошения двухсот сорока тысяч га земель. В Армении воды для энергетики нет. А здесь, в Сибири, где только ни копнешь лопатой, получишь дешевый уголь для энергетического использования. И все же спускать Севан оказалось невыгодно, и есть мнение, что надо отказаться от дальнейшего спуска. Теперь о Байкале. Мы должны научно подойти к вопросу. Что нам дают эти четыре-пять метров? Если мы пропустим их сегодня, то лишь через две станции, и отдавать Байкалу взятую у него воду придется тогда, когда на Ангаре будут уже не две, а четыре станции. Если же мы пропустим эту воду через четыре станции, то удельный вес этой дополнительной энергии будет прямо ничтожен. Извините за ненаучное сравнение, но в этом случае овчинка выделки не стоит. Что же правильно? Хищнически относиться к природе — неправильно. Надо быстрее строить те электростанции — тепловые и гидравлические,— которые будут работать нормальным путем. Это правильно.

Григорович (просит одну минуту для справки). Очень легко аплодировать таким выступлениям — не трогать Байкал. Впрочем, я не буду говорить на эту тему, иначе я увлекусь, а это уже не будет справкой. А справка такая. Товарищ Галазий, видимо, непреднамеренно исказил факты. Он говорил об эффекте в 600 миллионов рублей, но это эффект при минимальной сработке Байкала на полтора метра. Зато все страхи

и ужасы, которые так красочно описал товарищ Галазий, относятся к глубине сработки в пять — семь метров. Страхи он описал для максимального варианта, а эффект указал для минимального. Так что все ужасы, описанные Григорием Ивановичем, отнюдь не соответствуют тому эффекту, на который он, видимо, рассчитывал.

Председатель (закрывает заседание).

Итак, последнее слово осталось за Григоровичем. В резолюции секции энергетиков о прорези сказано очень глухо, настолько глухо, что посторонний человек и не догадается даже, о чем идет речь. Что поделаешь, у нас умеют складывать такие туманные, ничего не говорящие формулировки — «обратить внимание на недостаточную проработку технико-экономической стороны некоторой части проектов» и так далее.

Однако я должен быть объективным до конца. Поэтому надо лично встретиться с Григоровичем, выслушать его точку зрения.

Я не шел к нему раньше, потому что хотел подготовиться к этой встрече. Но теперь мы уже созвонились по телефону и условились о встрече.

Поднимаюсь на четвертый этаж, двигаюсь по унылому коридору вдоль бесконечного ряда дверей. Мне нужен номер 256. Там ждет меня Н. А. Григорович, главный инженер сектора Ангары Мосгидэпа. Встреча с ним необходима мне, чтобы поставить все точки над «и». Григорович ждет меня; он не знает, что к нему идет противник его проекта. Я не имею ничего против Григоровича, главного инженера сектора Ангары, но я против его проекта. И я должен сказать ему об этом, иначе это будет нечестно.

Дверь в номер открыта. Пышно завитая девушка в кокетливом переднике стоит перед кроватью и срывает с нее простыни. Кроме девушки, в номере никого нет. Обрывки бумаг, газет валяются на полу, на письменном столе.

— Где же Григорович? — спрашиваю я и понимаю, что опоздал.

— Какой Григорович? — сердито спрашивает завитая девушка.— Уехал. Вот записка, можете взять.

На столе действительно лежит записка, адресованная мне: «Неожиданно улетаю в Братск. Буду там три-четыре дня, в Управлении строительством, потом поеду в Усть-Илим. Прошу извинить меня. Н. Григорович».

Я ухожу.

Ничего. Еще ничего не потеряно. Послезавтра я тоже еду в Братск и найду там Григоровича.

С М. М. Кожовым я встретился еще раз на заключительном заседании конференции. Потоки людей текли по улице Карла Маркса, стягиваясь к зданию театра, вливались в его распахнутые двери, расходились по лестницам, коридорам. Профессор Кожов шел по проходу партера. Свесив голову из ложи бельэтажа, я окликнул его. Кожов помахал мне рукой и сел в пятом ряду, как раз подо мной.

— Как прорезь? — спросил я, хотя в общем уже знал решение секции.

Кожов ответил и при этом указал рукой на сцену:

— Сейчас услышите.

Начинается заключительное заседание. Член-корреспондент Академии наук Л. В. Пустовалов зачитывает текст поправок.

— Увековечить память русских ученых — исследователей Сибири: В. А. Обручева, И. Д. Черского, С. С. Смирнова.

Зал отвечает аплодисментами.

А вот и Байкал!

— В президиум совещания, — говорит Пустовалов,— поступила записка от группы ученых. Выяснилось, что в проекте решения нашей

конференции нет ни слова о Байкале. Группа ученых предлагает исправить это упущение и входит с таким предложением: ходатайствовать перед Советским правительством об объявлении величайшего озера мира Байкал государственным заповедником.

Зал разражается громом аплодисментов. Я вижу, как бешено бьет в ладони и широко улыбается Михаил Михайлович Кожов. Аплодируют седовласые академики и безусые студенты, секретари обкомов и хозяйственники. Аплодируют даже бесстрастные стенографистки, отложив в сторону свои перья. Все аплодируют Байкалу. Нет никакого сомнения, закон правительства об объявлении Байкала заповедником будет горячо одобрен всем советским народом. Уникальный, неповторимый дар природы, Байкал должен остаться неприкосновенным.

Председатель Совета по изучению производительных сил академик В. С. Немчинов подводит итоги конференции. Полтора часа он читает доклад, не заглядывая в бумажку. Сотни цифр, десятки выводов и логических построений держит он в голове — и ни разу не ошибется, не обмолвится лишним словом.

Слушая Немчинова, сидит за столом президиума академик И. П. Бардин. Инженер-академик, неутомимый ученый-строитель. За время конференции Бардин успел побывать и в Братске, и на Коршунихе, и в Шелихове, и в Ангарске — все увидел своими глазами, дал сибирякам множество ценных, конкретных советов.

Сидят в зале другие академики, доктора наук, кандидаты. Все они славно потрудились для Восточной Сибири.

В перерыве я вижу в фойе профессора Кожова и подхожу к нему.

— Признайтесь, Михаил Михайлович, вы написали записку в президиум?

— Академики! Группа академиков! — скромно отвечает Кожов.— Я тут ни при чем. Ну как, разговаривали с Григоровичем?

— Он уехал в Братск.

— Да, да, вспоминаю, он говорил мне. Жаль, что вы не встретились. Замечательный инженер. Замечательный! Умный организатор, отличный руководитель.

Я с удивлением гляжу на Кожова.

— Вы о ком это, о Григоровиче?

— О Григоровиче,— невозмутимо отвечает Кожов.— А, понимаю: переоценка ценностей. Так то же была дискуссия. А теперь все возвращается на свое место. Вы бы посмотрели, какой замечательный проект Усть-Илимский ГЭС разработан под руководством Григоровича — самая экономичная ГЭС даже в условиях нашей Сибири. Будет очень жаль, если ее не включат в семилетку. Но здесь-то мы поддержим Григоровича.

— Так или иначе, поздравляю вас...

Кожов живо возражает:

— Еще рано праздновать победу. Дело еще не закончено. Пока есть только предложение...

* * *

Конференция по развитию производительных сил Восточной Сибири окончилась. Выработаны десятки и сотни конкретных предложений. Сделаны точные экономические расчеты будущего. Но не закончились дела, начатые конференцией. Они войдут своей составной частью в те разделы контрольных цифр, которые будут касаться Восточной Сибири. Они будут обсуждаться всем народом, затем приняты съездом партии.

Разъезжаются мои новые знакомые. Я даже не успел попрощаться с Абрамом Ефимовичем Пробстом — у СОПСа много дел в других районах страны, и ученым еще предстоит два месяца напряженнейшей работы,

прежде чем будут опубликованы тезисы контрольных цифр. Михаил Михайлович Одинцов спешит в Братск, а оттуда в тайгу — надо использовать последний осенний месяц для экспедиции. Михаил Михайлович Кожов уже уехал на Байкал, на свою биологическую станцию.

Виктор Александрович Кротов улетел в Брюссель, на Всемирную выставку. Павел Павлович Силинский, председатель Иркутского облплана, не может уделить мне даже пяти минут для встречи — иркутяне заканчивают составление семилетки для своей области, заседание следует за заседанием, снова начинают споры, дискуссии уже в масштабах области: Москва торопит — скорее присылайте проект семилетки.

И я спешу закончить свои дела, я уже побывал в Братске (но это особый разговор) и теперь собираюсь в обратную дальнюю дорогу, а сам уже непрерывно думаю о том, как же мне начать свой рассказ, ищу свою первую фразу и совсем не подозреваю, что там, на высоте, уже ждет меня встреча с газетой, которая по-новому прояснит мне все то, что совершалось в Иркутске, и сама подскажет мне начало, потому что сам XXI съезд партии и тот большой разговор, который развернется на съезде, те грандиозные задачи на будущее, которые утвердит съезд, все это будет началом нового этапа свершения коммунизма на нашей земле.

К 200-летию со дня рождения Роберта Бернса

С. МАРШАК

★

РОБЕРТУ БЕРНСУ

Тебе сегодня двести лет,
Но к этой годовщине
Ты не состарился, поэт,
А молод и доныне.

Зачем считать твои века,
Когда из двух столетий
Не прожил ты и сорока
Годов на этом свете?

С твоей страницы и сейчас
Глядят умно и резко
Зрачки больших и темных глаз,
Таящих столько блеска.

Все так же прям с горбинкой нос
И гладок лоб широкий,
И пряди темные волос
Чуть оттеняют щеки.

И твой сюртук не слишком стар,
А кружева, белея,
Заметней делают загар
Твоей крестьянской шеи.

Поэт и пахарь, с малых лет
Боролся ты с судьбою.
Твоя страна и целый свет
В долгу перед тобою.

Ты жил бы счастливо вполне
На малые проценты
Того, что стоили стране
Твои же монументы.

Ты стал чертовски знаменит,
И сам того не зная,
Твоими песнями звенит
Шотландия родная.

Когда, рассеяв полумрак,
Зажжется свет вечерний,
Тебя шахтер или рыбак
Читают вслух в таверне.

В народе знает стар и мал
Крутую арку моста,
Где твой О'Шентер проскакал
На лошади бесхвостой.

Поют под музыку твой стих,
Сопровождая танцы,
В коротких юбочках своих
Праправнуки — шотландцы.

Ты с каждым веком все родней
Чужим и дальним странам.
«Забыть ли дружбу прежних дней?»
Поют за океаном.

Мила и нам, твоим друзьям,
Твоя босая муза.
Она прошла по всем краям
Советского Союза.

Мы вспоминаем о тебе
Под шум веселый пира,
И рядом с нами ты в борьбе
За мир и счастье мира!

ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА

Переводы С. Маршака

★

«СВЯТАЯ ЯРМАРКА»

Фрагмент поэмы

Был день воскресный так хорош.
Все было лету радо.
Я шел в поля взглянуть на рожь
И подышать прохладой.

Большое солнце в этот миг
Вставало, как с постели.
Резвились зайцы — прыг да прыг —
И жаворонки пели
В тот ясный день.

Бродил я, радостью дыша
И вглядываясь в дали.
Как вдруг три женщины, спеша,
Мне путь перебежали.

На двух был черный шерстяной
Наряд — назло природе.
На третьей был наряд цветной
По моде, по погоде
В тот летний день.

Две первых были меж собой,
Как близнецы, похожи
Унылым видом, худобой
И мрачною одежей.

А третья козочкой шальной
Попрыгивала весело
И вдруг присела предо мной
И мне поклон отвесила
В тот яркий день.

Я шляпу снял и произнес:
— Я вас припоминаю,
Но вы простите за вопрос,
Как звать вас, я не знаю.

С кивком задорным головы,
Смеясь, она сказала:
— Со мною заповедей вы
Нарушили немало
В досужий день!

Я — ваша Радость, я — Игра,
А это — Лицемерье
И рядом с ней — ее сестра,
Глухое Суеверье.

Давайте в Мóхлин мы пойдем
И, если две сестрицы
Идут на ярмарку, найдем
Предлог повеселиться
Мы в этот день.

— Нет, я пойду сперва домой
И праздничную смену —
Сюртук и новый галстук мой —
Для ярмарки надену.

Поспел я к завтраку как раз,
Надел костюм воскресный.
А уж на праздник в этот час
Спешил народ окрестный
В тот шумный день.

Трусили фермеры верхом,
Шли батраки оравой.
И молодежь одним прыжком
Брала в пути канавы.

Бежали в праздничных шелках
Девицы-босоножки,
Несли сыры они в руках
И сдобные лепешки
В тот добрый день.

Монетку бросить был я рад
В тарелку с медью мелкою,
Но, уловив святоши взгляд,
Бросаю две в тарелку я.

Я в загородку заглянул.
Народ шумит, хлопочет,
Несет скамейку, доску, стул,
А кто и лясы точит
В свободный день.

Для знати выстроен навес
(Изменчива погода!),
А вот стоит вертушка Джесс*,
Мигая всем у входа.

Другие шлюхи сели в ряд,—
Без них какая ярмарка!
А там ткачи сидят, галдят
(Из города Кильмáрнока).
Пришел их день!

---

* Джесс — девица легкого поведения, дочь трактирщицы, известной по стихам Бернса.

Здесь кто вздыхает о грехах,
Кто в гневе шлет проклятья
Тем, кто измазал впопыхах
Их праздничные платья.

Кто сверху смотрит на других
Высокомерным взглядом,
А кто веселых щеголих
Зовет усесться рядом
В привольный день.

Но бесконечно счастлив тот,
Кто, отыскав два места,
Местечко рядышком займет
С подругой иль невестой.

Глядишь, рука его легла
За ней — на спинку стула,
Потом ей шею обняла,
А там на грудь скользнула
В тот чудный день.

Уселась публика и ждет.
Ни суеты, ни шума.
Вот Мбди* речь держать идет,
Унылый и угрюмый.

Он целый час пугает нас
Десницею господнею.
Сам дьявол от его гримас
Сбежал бы в преисподнюю
В столь грозный день.

Толкуя нам один, другой
И третий тезис веры,
Он гневно топает ногой,
Волнуясь свыше меры.

Распутника и гордеца
Громит курносый пастырь
И жжет отступников сердца,
Как самый едкий пластырь,
В тот страшный день.

Но вот встают сердито с мест
Земные наши судьи.
И впрямь,— кому не надоест
Такое словоблудье!

Речь произносит мистер Смит*,
Но люд благочестивый,
Уже не слушая, спешит
К холодным бочкам пива
В столь жаркий день...

---

* Моди и Смит — имена местных священников.

НЕВЕСТА С ПРИДАНЫМ

Я пью за невесту с приданым,
Я пью за невесту с приданым,
Я пью за невесту с приданым,
С горой золотых для меня!

Долой красоты колдовское заклятье!
Не тоненький стан заключу я в объятья,—
Нужна необъятная мне красота:
Хорошая ферма и много скота.

Красивый цветок обольстит и обманет,
Чем раньше цветет, тем скорее увянет,
А белые волны пасущихся стад
И прибыль приносят и радуют взгляд.

Любовь нам порою сулит наслажденье,
А вслед за победой идет охлажденье.
Но будят в душе неизменный восторг
Кружки, на которых оттиснут Гебрг.

***

Был я рад, когда гребень вытачивал,
Был я рад, когда ложку долбил
И когда по котлу поколачивал,
А потом свою Кэтти любил.

И, бывало, под стук молоточка
Целый день я свищу и пою.
А едва только спустится ночка,
Обнимаю подругу мою.

Бес велел мне на Бэсси жениться,
Погубившей веселье мое...
Пусть всегда будет счастлива птица,
Что щебечет над прахом ее!

Ты вернись ко мне, милая Кэтти.
Буду волен и весел я вновь.
Что милей человеку на свете,
Чем свобода, покой и любовь?

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

БОРИС АГАПОВ

*

ПОЕЗДКА В БРЮССЕЛЬ

I

Теплоход «Грузия». Едва мы спустились в его подводный город, нас обдало рокотание сжатого воздуха, продуваемого сквозь все коридоры, сквозь все каюты, душевые, трапы, канцелярии, кухни, электростанции, прачечные, гладильные, дизельные, кубрики, парикмахерские... Он весь из железных балок и стальных листов, покрытых белой глянцевитой краской, в которой круглятся мутные отражения ярких ламп. Всюду, куда ни глянешь,— пуговки заклепок, грань швеллеров, замотанные в эмалевые бинты толстые трубы и кабели. Дрожь и гул машин исходят от пола, от стенок, от дверей, от коек — кажется, пятнадцать тысяч лошадиных сил пульсируют во всем, к чему ты ни прикоснешься.

Я бросил чемодан на койку и поднялся на палубу. Громада судна высилась над слабо освещенной мостовой порта. Мачты казались короткими и толстыми по сравнению с длиной корпуса, труба непомерно широкой, все напоминало гигантский отель с увеселительными верандами, нагроможденными одна над другой. Сотни людей толпились на них, перебивая лучи света из окон...

На носу было безлюдно. Тут стояли машины с громадными барабанами и цепями толщиной в бревно. Бунты толстых канатов источали запах дегтя и влажного брезента. Ветерок приноравливался задуть навстречу — тут было что-то от корабля.

Вдруг залп страшного рева рванул воздух.

Две медные воронки у трубы возвестили отплытие.

Вскоре мы незаметно двинулись по темно-синему стеклу Даугавы, которое как будто светилось изнутри. Впереди была темнота с бледным следом заката. Из далекой фабричной трубы, обозначенной красными огнями для самолетов, выходил конус дыма под самый Юпитер.

* * *

От Риги до Антверпена трое суток пути.

Мчится море от носа к корме, мчится, мчится, как бурная река. И справа и слева — ничего, кроме неба и моря. Громадный лемех носа разламывает воду и отбрасывает ее от бортов сине-зелеными ломтями, покрытыми пеной. Ветер срывает хлопья пены, бросает их в воздух, и они оборачиваются чайками, летящими за кормой. Вот, косо взмыв от воды, они догоняют корабль, летят с ним рядом — неподвижные крылья, веретенообразное тело, такое обтекаемое, такое серебристое, что только окошечек не хватает на нем.

Чайка, когда она птица, а не символ,— злющее существо: клюет на лету собратьев по профессии, вырывает у них добычу. Впрочем, откуда же быть доброте: изволь-ка от восхода до ночи носиться над морем и ловить

рыбу, а попробуй устрой себе выходной — заголодаешь, ослабнешь, и тогда конец. Вот с одной как будто и случилась беда: быстро машет крыльями и еле поспевает за судном. Ни смелых виражей, ни внезапных пике к волне: шарахается и вот-вот упадет...

Долго летела бедняжка за судном, наконец изнемогла совершенно и села на стрелу деррика. Я подошел. Нахохлившись, втянув голову в плечи и дрожа, передо мной сидел... голубь. Я взял его на руки. Сердчишко колотилось, глаза были полузакрыты, он не сопротивлялся. Когда он немного пришел в себя, мы дали ему хлеба. Он жадно стал клевать крошки, громко стуча клювом по доскам палубы.

— Смотрите,— сказал кто-то,— у него на лапе кольцо!

— Серебряное или алюминиевое...

Чьи-то руки протянулись к голубю, чтобы взять его. Но птица увернулась. С голубиным скрипом быстро захлопали крылья, и только крошки хлеба были перед нами.

— Пошел в Швецию,— сказал матрос.

Какой мускулистый, круглый ветер дует в лицо, когда стоишь на носу, какая безбрежная синева вокруг — не надышишься, не наглядишься! Плывет по морю по окияну кусок советской земли, и все тут быть должно, как на советской земле. Хоть строилось судно в капитализме и сделано для классового общества: наверху роскошные люксы, пониже — первый класс, еще ниже — второй, а ниже уровня моря — третий, хоть есть для каждого класса соответственно достатку пассажиров отделанные рестораны и салоны, у нас эти переборки сняты — все бывают всюду, обедают независимо от того, какая досталась каюта, сидят в каком угодно салоне.

...Уже в первый день плавания жизнь на теплоходе вошла в колею.

Двое немолодых юношей делали все, чтобы мы не скучали. Их бодрые возгласы слышны были с утра до вечера, и я думаю, не было на судне ни одного матроса, который так бы уставал к концу дня, как эти товарищи.

— Туристов, желающих потанцевать, просим на кормовую палубу! Играет салонный оркестр.

— Начинаем соревнование в ловкости и сноровке! Надо взять левой рукой вот это колечко, правой вот эту спиральку, быстро снять и обратно надеть... Победитель получает комплект газеты «Спутник».

— Когда пляшете вприсядку, не наклоняйтесь вперед, наоборот, откидывайте корпус назад! Смотрите, вот так...

Да, беднягам доставалось в эти жаркие дни!

Однако самым замечательным было то, что все охотно принимали участие в их затеях. Под всеобщий хохот снимали спиральки и разучивали частушки, а потом пели все хором с авторитетным участием академиков, министров и председателей совнархозов.

Если песню запоем,
Непременно влюбятся...

С этой песней, нестройной, но громкой, мы и выкатились на главную трассу Балтийского моря.

Тут кончилась безлюдность водных просторов.

Первые, кого мы обогнали, были рыболовецкие сейнеры — «Герр Герман Штаде» и «Патриций». Они шли друг за другом, громко, как заводные игрушки, стуча моторами, совершенно обтекаемые и ослепительно белые.

Эх, красители!

Как нам быть с красителями?! Почему у нас нет таких красителей?! Ведь делаем вещи не хуже любых заграничных, строим дома, корабли,

автомобили отличного качества, а кроем их чем-то, что через полгода становится мутным, бурым, в потёках и портит внешний облик нашего нового мира. Если вы хотите знать, что именно бросается в глаза в Германии, Голландии, Бельгии прежде всего, я отвечу тотчас: прежде всего — свежая и яркая поверхность предметов, будь это кузов грузовика, капот трактора, ткань тента над столиками кафе, рамы окон, стены домов, упаковка товаров, станки, женские платья, что угодно. Серость и щербатость поверхности вы встретите только в местах или старины, или нищеты. Конечно, и первого и особенно второго в Европе немало, но уж это зависит не от качества краски, а от иных причин.

Для моряка наш путь — нечто вроде улиц Горького или Крещатика: все хожено-перехожено, каждая пядь известна. Старинная, испытанная дорога. Она тем более многолюдна, что справа и слева мелко, хотя берегов и не видно, суда идут сравнительно узкой полосой, отмеченной буйками. Буйки качаются на волнах и равнодушно ухают и подмигивают лампочками в красных клетках.

А мимо идут и идут суда, как машины на автостраде.

Низкие плоские танкеры, лесовозы, похожие на громадную пригоршню, полную гигантских спичек, сейнеры, у которых капитанские мостики откинулись назад как будто от встречного ветра, широкобедрые, полногрудые, белотелые пассажирские лайнеры, универсальные грузовозы, оснащенные целым лесом погрузочных устройств...

Вот справа по борту забелели откосы берегов — это шведские острова, издали похожие на побережье Великобритании возле Дувра. Серые низкие треугольники движутся перед ними друг за другом — шведские военные сторожевики идут кильватерной колонной, подходят ближе, на флагмане поднимается красный флаг с серпом и молотом, мы отвечаем подъемом шведского, отсалютовали, разошлись...

Красивая штука — море, особенно если ты едешь лодырем в плавучем отеле и нет качки!

* * *

Справа — Дания, остров Лоланн.

Слева — Мекленбург, остров Фемарн. Позади слева, далеко — Росток.

Медленно тянутся часы. Морское путешествие — тренировка на терпение. Проходит полдня, и наконец мы входим в Кильскую бухту.

Все население нашего плавучего отеля, вооружившись всей наличной оптикой, вытолпилось на палубы, к борту не подступиться: скоро канал, одно из замечательнейших сооружений на свете.

Это уже Западная, федеративная Германия.

Громадное пространство воды завершается низкими берегами.

Вдали возвышается нечто тюрьмоподобное, на чем не хватает только свастики, настолько оно мрачно, отчужденно и высокомерно,— плоская башня высотой этажей в восемнадцать—двадцать, вероятно как символ господства. Шум наших машин прекращается. К борту подкатывается ярко-желтый катер, в катере сидят три лоцмана — три белые фуражки, три больших носа, три большие трубки, три пары громадных рук, положенных на острые колени. Один из них встает и с детской улыбкой поднимается на теплоход. Наш капитан Элизбар Шамарович Гогитидзе приветствует его на немецком языке. Мы медленно начинаем вдвигаться в гигантское полукружие бухты. Дамы в купальных костюмах и господа в трусах идут к нам по колено в воде: здесь мелко, как на Рижском взморье.

Все теснее, все сухопутнее кругом. Мы уже становимся неестественно громадными в этом озере.

Где же канал?

Вот он, перед самым носом! Еле заметно мы вползаем в шлюз.

Наконец-то лоцман проявляет себя.

— Форзихтих! — кричит он на девчонок, которые топчутся на дебаркадере шлюза.— Осторожно!

Всем заправляет капитан. Приятно смотреть на хорошую работу! В правой руке свисток, левая дирижирует. Быстрые тихие команды:

— Держать носовые, держать!

— Травите корму! (Свист.)

— Только не рвать. Тихо.

— Травите корму и конец.

— Стоп! (Свист.)

Теперь можно оглядеться. Там, далеко, за тюлевой дымкой, как кулисы на сцене, кругло вырезаны кроны деревьев. Какие-то аркады и гроты, напоминающие старинные иллюстрации к Гёте, зáмок с острой крышей и шпилем на башне... Ближе — колокольня с часами между двумя заводскими трубами, под которыми внезапно взрывается красное пламя. Литейка?.. А ближе — мачты, палубы, капитанские мостики, тросы, канаты: суда.

На старом «Сэндли», черном от копоти, опершись на брашпильные барабаны, стоят трое в ужасной рванине. С головы до ног они покрыты слоем угольной пыли. Эх, красители! Тут угля хватило бы на целый стакан лучшего анилина! Парни смотрят на нас внимательно — как видно, разглядывают нас в подробностях, изредка обмениваются соображениями, должно быть бесспорными для всех троих. Это кочегары, вышедшие подышать во время шлюзования.

На «Урсуле Троппман» могучая дама немолодых лет смотрит на наш теплоход в морской бинокль. Может быть, это сама фрау Урсула? А старый господин в шезлонге, который тоже поглядывает в нашу сторону из-за развернутой газеты,— герр Троппман? А подтянутый красавец за стеклами капитанской рубки — юный Троппман? Или у Троппманов нет наследников, и это наемный капитан, который командует «Урсулой» и которым командует Урсула?

Внизу, прямо под нами, на асфальте дебаркадера, довольно много народу. Все стоят, смотрят, подняв головы, на наше судно. Часто то там, то тут поднимается рука, машет в нашу сторону. Подросток в заслуженных тирольских штанишках и с токующим тетеревом на груди, другой в черном джемпере с какой-то эмблемой на плече, третий с резиновым крокодилом под мышкой, девушка с кузнечиками на юбке, другая в громадных очках, молодая женщина с мальчиком, который держится за ее руку, два скаута в широкополых шляпах с желто-красными значками на рукавах — все они заняты ловлей сувениров, которые летят к ним с палуб теплохода. Тут коробки спичек, значки туриста, открытки с видами Москвы, даже папиросы «Казбек»... Игра привлекает все новых участников. Мальчик, который держится за руку матери, очень взволнован: он не может почему-то бегать за подарками. И вдруг скаут, поймав что-то, подходит и протягивает ему всщицу. Все смеются, мать благодарит, мальчуган счастлив...

Дама на «Урсуле Троппман» опускает бинокль и быстро входит в командирскую рубку. «Урсула» гудит. Шлюзование кончилось. Мы входим в Кильский канал. Люди внизу машут нам прощально. Мальчик делает несколько шагов вперед, ножки его не сгибаются в коленях.

Путешествие по Кильскому каналу странно. Океанский лайнер занимает почти половину всей его ширины. Мы идем тихо-тихо, выдавливая пятнадцать тысяч кубометров воды, которая по какому-то гидродинамическому закону не набегает на откосы берегов, а наоборот — отходит от них, обнажая камни отмостки. Мы движемся как бы в водяной яме — вероятно, перед нами и за нами два холма воды.

Минуем первый мост, и замок оказывается рестораном. Навстречу нам с жестяным стуком идут суда, преимущественно женщины: «Гертруды», «Берты», «Катрины» и множество «Елен» — различных габаритов и назначений. За каждым на буксире — парусная яхта с молодежью, иначе как же ей пройти по каналу в полном безветрии?

Мы едем сквозь ФРГ!

Именно едем, как будто мы не на океанском лайнере, а на трамвае. И берега, до которых, кажется, можно достать рукой, говорят нам: перестаньте шуметь машиной, бросьте торчать на палубах, идите сюда, смотрите, как тут хорошо! Берега посылают к нам бабочку, ласточку, крик петушиный и, чтобы подразнить сухопутных людей, милый запах летних равнин — запах сена.

Копны стоят ровными рядами, возле них жужжат и быстро ползают маленькие верткие тракторишки, сияя синим, красным, желтым... Эх, красители!

Странно: сидим в ресторане, слушаем по радио речь Никиты Сергеевича Хрущева на пятом съезде Социалистической Единой Партии Германии, а кругом, как в синераме, проходит Западная Германия в разрезе, та самая, в которой правят Аденауэр и Штраус. Впрочем, это нам не только известно, но вскоре становится и видно. Вот перед третьим мостом на левом берегу прикрепленная к двум шестам доска с какой-то надписью. В бинокль четко видны буквы:

«ВХОД ЗАПРЕЩЕН ИНОСТРАННЫМ МИССИЯМ»

И больше ничего нигде не написано. А буквы-то русские. Слова-то русские. Для кого же они? Для английской миссии? Для американской миссии?

На первом мосту, прямо над нашей мачтой, стоял полицейский и напряженно вглядывался в теплоход. На втором мосту стояли полицейские. На третьем не было никого. И в тот момент, когда наша мачта подошла под его середину, там появились какие-то люди, и мы увидели, как от перил отделились два тюка и стали падать. Один из них развязался в воздухе, другой грузно ударился о доски палубы,— хорошо, что никого не ушиб.

Это были тюки листовок на русском языке.

Минута — и гнусные бумажонки оказались за бортом. Мост был пуст: бросавшие смылись.

Генезис и дурацкой надписи у моста и листовок ясен: раз есть ассигнования, найдутся и люди, которые будут выполнять любые поручения за эти деньги. Другое, гораздо более важное явление взволновало нас, когда мы шли по Кильскому каналу. Вначале мы думали, что имеем дело с воспитанностью, с любопытством, просто со случайностью. Но очень скоро все стало ясно.

Вот мы нагоняем вереницу велосипедистов. Задние оборачиваются, потом что-то кричат передним. Все останавливаются, соскакивают с машин, вглядываются и вдруг начинают махать нам.

— Давай-давай! — кричат по-русски.

Вот старый человек крутит катушку спиннинга и замечает нас. Он кладет свой спиннинг, поднимается и прикладывает руку к козырьку черного немецкого картуза. Он стоит длинный, в широких синих холщовых штанах, отдавая честь советскому теплоходу и улыбаясь.

Вот на берегу, в тени кустов, ярко-зеленый обтекаемый «опель-олимпия» и перед ним в столь же ярких брюках и джемперах семья за обедом — вероятно, отпуск.

Иван Семенович, маленький крепыш инженер, командует нам:

— Товарищи, тихо, ничего не проявляйте. Спокойствие.

— Эти и не посмотрят, вишь автомобиль какой! — говорит кто-то.

Мы проходим совсем близко. И тут фатер делает из ладоней рупор и что есть силы кричит в нашу сторону:

— Хорошо! Спутник! Хорошо!

И теплоход отвечает ему аплодисментами.

Так движемся мы километр за километром и всюду слышим:

— Давай-давай!

— Хорошо!

— До свидания!

* * *

Снова море, теперь уже Северное. Сияет солнце, сияет синее-синее небо. На корме в лонгшезах загорают товарищи туристы. В розовом аквариуме бассейна сопят и фыркают толстяки, худея. В салоне играют в шахматы, которые кто-то прозвал штормовыми: доска метр на метр и фигуры размером в кегли. В другом салоне сгрудились возле карты маршрута:

— Подходим к Голландии!

И вдруг стало темно. Набежал ветер. Сразу оказалось, что кругом низкие тучи на подкладке из тумана. Дождь, какой-то особенно мокрый, брызжущий в разные стороны, обрушился на нас. Черным стало море.

И тут появилась Голландия.

Она появилась в разрывах тумана, там, где пять минут тому назад было только море, только море и ничего больше. Она поднялась со дна морского, я думал, что она поднимется еще немножко, но нет, она остановилась.

Удивительный вид!

Море, а на море лежат черепичные крыши. И встают из моря колокольни с луковками наверху, как русские, и стоят над морем на ажурных подставках гигантские ажурные утюги портовых кранов. А между крышами и морем — низкий, покатый вал, как бы бруствер, по нему сбегают вниз и уходят под воду ряды вбитых в песок бревен. Идем час, идем два, идем полдня — все тянутся эти бесконечные укрепления: внизу, у воды,— камни, выше — гравий, потом бревна торчком, потом каменная кладка узором, потом колья в песке, потом кусты без листьев. За всем этим — красные, все в трубах, крыши, колокольни, заводские башни... Краны плывут, обгоняя друг друга, как бы погруженные в воду... Один бесконечный город? Китеж полуподнявшийся.

Куда ни глянь, тут нет ничего, что не было бы сделано человеческими руками.

«Природа создала море, голландцы — землю»,— говорит пословица.

В течение последних семи столетий голландцы отвоевали у моря около трех миллионов гектаров земли. Это был тяжелый труд многих поколений, великая битва, в которой победа иногда доставалась и морю. Тогда оно врывалось в города и деревни и с тупостью агрессора уничтожало жителей.

И все-таки труд победил!

В одном месте мы видели берега, какими они были до человека.

Черно-серые отмели, и по ним переливается серо-черная вода. Есть ли на свете место, где суша и море так переходили бы друг в друга, где граница между ними была бы так размыта? Есть ли более тоскливый пейзаж?

Любителям всяких теорий о тепловой смерти Вселенной, о том, что постепенно энергия обесценивается, что все уровни выравниваются, что когда-то наступит пора неподвижности и равновесия, надо именно тут сидеть, киснуть и воображать. Вот, мол, через какой-нибудь десяток миллионов лет реки разрушат все горы на свете, вынесут их песком в океан,

выгладят материки, и станет вся земная суша этакой илистой жижей — то ли вода, то ли земля. Процесс этот, мол, уже начался. Вот он.

Начался, да и кончился. Во всяком случае, в отношении выравнивания берегов.

И кончили его мы, человечество.

И весьма вероятно, что так будет не только с берегами. Потому что даже такие бодрые и такие умные среди идеалистов, как создатель кибернетики Норберт Винер, пророча неизбежную гибель Вселенной от торжества энтропии, среди прочих ошибок делают еще одну, видную каждому. Они забывают или не хотят принимать во внимание, что на нашем земном шаре есть люди. Уже сейчас мощь человечества растет быстрее, чем мощь тех процессов, в которых проявляет себя энтропия. Эти процессы протекают так, как они протекали миллионы лет тому назад, а зато процессы обратные, проводимые человечеством, становятся сильнее с каждым часом. Второй закон термодинамики (как его понимал Клаузиус), этот герб и гороскоп космического пессимизма, был составлен на основании эмпирических данных о крошечном кусочке Вселенной, но, кроме этого недостатка, он обладает еще и тем, что его авторы и защитники, уважая природу, отнеслись с неуважением к самим себе, к познающему и творящему человеческому мозгу. А между тем именно этот мозг, на помощь которому сейчас приходят создаваемые Винером и многими учеными разных стран «мыслящие» машины, способен о б р а т и т ь энтропические процессы, направить их в противоположную сторону. Сегодня в бóльшем масштабе, чем вчера, через месяц в гораздо бóльшем масштабе, чем сегодня.

Но ведь и у энтропии и у человеческой мысли практически безграничное время для сражения?

Значит, решающее значение для исхода этой войны приобретает та скорость, с какой растут силы соперников.

Кто-то говорил, что жизнь есть болезнь материи?

Кто-то доказывал, что мозг есть вместилище иллюзий?

Ну что ж, поживем — увидим.

Посмотрим на себя с Луны, приглядимся внимательнее к себе на Марсе, зажжем какое-нибудь новое Солнце, чтобы светлее было рассматривать... Может быть, тогда и разберемся, кто мы такие. Только...

Люди, давайте не воевать! Сколько труда вложено в эту планету, сколько силы накоплено в этих головах... Можно ли пускать в пыль воздвигнутое десятками поколений? И разбивать черепа, в которых вызревает прекрасное, ослепительное будущее?!

Дождь прошел так же внезапно, как начался. Но розовый туман остался. В нем лежало солнце, тоже розовое, прохладное после купания. Внизу черная дамба, прочерченная по голубой кальке моря, уходила вдаль.

Кончается наше путешествие.

Вечер. Идем устьем Шельды, громадным, как морской залив.

Слева — химические заводы. Телескопические башни, изогнутые трубы, цилиндры цистерн — все это подсвечено на многих уровнях оранжевыми огнями: говорят, что в тумане их видно лучше. Необыкновенная архитектура, как будто висящая в воздухе, состоящая из темных полос, устремленных вверх, и круглых сияний.

Входим в Антверпен. Все ближе готическая колокольня знаменитого собора и рядом почти такого же роста башня с газосветной надписью: «Кредитбанк».

Два буксира, курчавых от черного дыма, справа и слева ведут нашу теплоходину, как два черных пуделя, которых держит на поводках зоркий и спокойный капитан.

— Вира на баке! (Свист.)

И мы вплываем прямо в улицу — под флаги с драконами, под сановные лица двух пожилых львов, положивших лапы на щиты с гербами девяти бельгийских провинций.

II

От Антверпена до Брюсселя около пятидесяти километров.

В больших туристских автобусах мы проехали это расстояние довольно быстро. Пейзаж в окнах был обычным для перенаселенных мест Европы, да еще в районах столиц: сплошной город, кое-где парк или луг, до отказа уставленный коровами. Магазины, магазинчики, лавчонки, киоски и кафе. Кафе на тротуарах, кафе на верандах, кафе на эстакадах, кафе всюду. Дома шириной в четыре окна и высотой в шесть этажей, прижатые друг к другу. Небольшие площади, маленькие скверы, узкие улицы, много зеркального стекла, полированного металла, ярких красок на вывесках и рекламах...

Брюссель — красивый город с мелкими чертами лица. Здесь есть дома, подкрашенные золотом.

Наши градостроители заинтересовались подземными магистралями. В Антверпене такая магистраль проведена под Шельдой на двадцать шесть метров ниже дна реки и имеет в длину более двух километров. В Брюсселе некоторые улицы перекрещиваются двухэтажно: средняя часть улицы уходит под землю, справа и слева мостовая продолжается на прежнем уровне.

...И вот наконец я на выставке.

Меня сажают в открытый вагончик, похожий на дореволюционный трамвай где-нибудь в Тбилиси, только на пневматиках, и целый автопоезд таких вагончиков медленно катится по выставочным магистралям.

Транспортная проблема тут решена замечательно. Если я хочу, я могу взять «моторикшу»: перед рулем мотоциклиста два кресла, и вы едете, расталкивая пешеходов. Если мне угодно, я могу сесть в кабинку «телелифта», одну из тех корзиночек разных цветов, которые чередой ползут над магистралями, подвешенные к тросам. Наконец, если это соответствует моему темпераменту, я имею возможность взлететь над выставкой в адском грохоте геликоптера.

Я вылезаю из трамвайчика и решаю воспользоваться наилучшим в данном случае способом передвижения: на своих на двоих. Так все виднее.

От громадной площади, посреди которой фонтаны низвергаются в бассейн, идет уступами водная дорога. По ней ничего не движется, кроме воды. Вдоль ее берегов текут непрерывно два потока людей. Вдоль тротуаров — павильоны, а там, вдали, поднимаясь над всем, видный отовсюду,— Атомиум.

Восемь шаров из шлифованного белого металла висят в воздухе, соединенные сравнительно тонкими трубами. Девятый лежит на земле и держит их над собой, как в цирке. Каждый шар — это целый зал. В одном из них помещается ресторан — говорят, самый дорогой на планете Земля. Северный полюс верхнего шара находится на высоте ста двух метров над уровнем асфальта.

Что это? Начало новой архитектуры? Образец новой строительной техники?

Мой спутник архитектор сказал, что это не архитектура, потому что архитектура обычно ничего не изображает, кроме самой себя, тогда как Атомиум изображает атомы.

— Ну, а как вам нравится общий облик? — спросил я.

— Грузно, массивно, неподвижно, рождает мысль о статичности, а не о движении. Мне кажется, что точнее всего назвать это не архитектурой

и даже не скульптурой, а эмблемой. Это, так сказать, фирменный знак нашего времени, атомного века. Причем не без сенсации.

— А вы не думаете, что ваша оценка отдает брюзжанием? Ведь это здорово: воздвигнуть такую громадину, реющую в воздухе и как будто нарушающую законы тяжести? Тут есть какое-то озорство, которое тем забавнее, что оно в сто метров высотой.

Мы подошли к Атомиуму. Внизу помещался банк. Там стояла очередь. Нижний шар напоминал кабину стратостата, только очень увеличенную.

Рядом с нами стояло много людей. Некоторые из них делали странные движения руками или быстро переходили с места на место, неотрывно глядя в выпуклое зеркало металлической обшивки. Там искаженно отражалась толпа — они хотели найти в ней свое отражение.

Четыре дня на выставке, на которой представлены две трети земного шара! Согласитесь, что это небольшой срок. Даже если вам повезет и вы не будете тратить время на второстепенное, даже и тогда из самого главного вы увидите далеко не все.

Здесь только Бельгия имеет пятьдесят павильонов!

Значит, надо успеть повидать прежде всего то, что я знаю хуже всего... нет! — то, что я совсем не знаю.

Лучше всего я знаю мой Советский Союз, наш советский павильон. Этот павильон я изучал еще тогда, когда он был в проекте и я вместе с другими писателями принимал участие в его обсуждении. И все-таки я не могу не забежать «к себе домой» — повидать своих, а главное, увидеть павильон уже не в проекте, а в действии.

Уже издали я узнал его. Величественный, громадный, весь из металла и стекла, он возвышался на левой стороне площади, на которую выходили павильоны арабских стран, США, Ватикана и Канады. Слева от него — здание советской синерамы и вход в советскую угольную шахту. Да, все, как было запроектировано. И вместе все по-другому.

По широкой пологой лестнице шли люди. Это и составляло главное отличие от проекта и макетов. Они шли почти сплошным потоком. Во всяком случае, двигаться быстрее, чем они, значило толкаться.

Еще более тесно оказалось внутри.

Мне сказали, что цифры посетителей выставки и посетителей нашего павильона почти совпадают, то есть что почти каждый, кто побывал на выставке, посетил и советский павильон.

Бульварная газетка «Ля лантерн» («Фонарь») напечатала, что некто Клементино Гомэс и его подруга Вера были приговорены к двум годам тюрьмы за то, что опустошали карманы и дамские сумочки возле макетов советских искусственных спутников Земли.

Если это правда, то Гомэс знал, где на выставке наиболее тесно, чтобы таскать бумажники.

Если это — вранье, то «Фонарь» знал, где на выставке наиболее тесно, чтобы читатели поверили сенсации о Гомэсе.

Все огромное пространство, перекрытое прозрачной крышей без видимых опор, как бы подвешенной к воздуху, все боковые антресоли, а точнее — палубы, на которых были размещены тематические разделы экспозиции,— все было заполнено народом.

Впоследствии ни в одном из павильонов Брюссельской выставки я не встречал такого многолюдства.

Наибольшая теснота была в центре главного зала, там, где находились модели спутников.

На этот раз спутники были неподвижны, а люди всех широт земного шара вращались вокруг них — этнографическая карусель! — и все с жадным интересом тянулись к космическим кораблям, творениям гения нашего народа.

Я стоял возле и смотрел на них. Такие же, как мы. Так же можно прочесть на их лицах удивление, восхищение, радость — люди, объединенные общим чувством величия человечества, мыслью о невероятных перспективах, которые раскрываются за этими сложными сплетениями кабелей, трубок, полированными цилиндрами и металлическими усиками антенн...

Когда-то, на заре столетия, именно так толпились мы перед «блерио» и «фарманами», так же хватали за руку соседа, искали, кто мог бы ответить на сотню вопросов... Это чувство необыкновенности на всю жизнь осталось у тех, кто взрослел вместе с авиацией. До сих пор и я и многие мои ровесники, заслышав шум самолета, останавливаемся, задираем голову и смотрим на летящую машину, как будто мы ее видим чуть ли не впервые. (Наши дети, выросшие под моторный рев, этого и не замечают.)

А тут не самолет, тут зачаток космического корабля, который когда-нибудь — и, может быть, очень скоро — уйдет с нашей обжитой планеты в безжизненное пространство Вселенной.

И это сделали «красные»! Те самые коммунисты, о дикости коих говорят «просвещенные» лидеры западных государств, как о чем-то само собой разумеющемся. Как же так? Что все это значит?

Я наблюдал многих посетителей нашего павильона. Они очень разные.

Вот парочка монахинь. Они удивительно похожи, кажется, это сестры не только по названию, но и по происхождению. На головах их капюшоны с белой оторочкой, на груди от подбородка почти до поясницы полукруглые крахмальные пластроны, из-под которых спускается на живот цепочка с крестом. Рук не видно — они скрыты в широченных рукавах черных шелковых ряс, и только петля четок виднеется, прикрепленная к запястью. Капюшон, ограничивая лицо, делает его четырехугольным. Лица у монахинь гладкие, белые, без оттенков, рты тонкогубые, глаза скрыты большими стеклами очков. Что-то начальническое, повелительное есть в их быстрой деловой походке, в строго-непререкаемом выражении их губ. Вероятно, это католические педагоги. Одна из них, по-видимому, знает русский язык. Она объясняет другой витрину с детскими книгами. Та достает из большой черной кожаной сумки, похожей на саквояж, клеенчатую тетрадь и быстро записывает что-то.

Вот горбоносый брюнет в черной рясе и с тонзурой на темени. Он интересуется прежде всего тем, на что остальная публика обращает меньше всего внимания: текстами на стенах, на пилонах, текстами под фресками. Он переписывает в маленький изящный карне:

«СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ЕСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН»

Зачем бы ему это?

Вот толпа вокруг «чайки»: юноши приседают и заглядывают под передний буфер, потом, прикрыв ладонью боковое стекло, рассматривают органы управления...

Вот перед автоматическим станком отлично одетые люди ведут тихий и оживленный разговор с нашим стендистом, инженером, как, вероятно, и они. Наш вкладывает заготовку, пускает станок... Потом такую же операцию проделывает один из иностранцев. Они углублены в любимое дело, все трое,— двое в узких брюках и один в более широких, один говорит по-английски с русским акцентом, двое — с немецким или голландским, но все трое сейчас друзья, товарищи... Неужто нет средств оставить их такими и завтра и послезавтра?!

Я не хочу утомлять читателя перечислением всех видов посетителей советского павильона. Мне хочется вспомнить еще только об одной как будто бы мелочи, касающейся наших гостей. Внутри павильона над входом есть антресоли. Оттуда очень хорошо виден весь простор главного зала. Там нет ни удобных кресел, ни ресторана, ни даже буфета. Там нет и экспонатов. Но там всегда люди. Сидят на скамейках, на которых расставлены цветы, стоят, облокотившись на перила. И смотрят. Отсюда не видать никаких подробностей экспозиции, никаких отдельных экспонатов. Значит, смотрят вообще на кусочек того нового мира, о котором так мало и так неверно знают. Подолгу смотрят.

Размышляют?

Давай бог!

Я решил носиться по выставке, как быстрый нейтрон, рассчитывая только на длину ног и выносливость рецепторов. Десять кассет «Зоркого» должны были помочь мне впоследствии рассмотреть и вспомнить то, что не успел увидеть или забыл. Что делать! Первый Петя или первый Боря, которые полетят вокруг Луны, будут еще больше торопиться.

...Громадная площадь была передо мной. С высоты лестницы нашего павильона я видел овальный бассейн, из которого поднимались сорок водяных мачт, заканчивавшихся флагами из брызг. Нечто черное, напоминающее ласт моржа или хвост дельфина, вращалось среди струй, утвержденное на вершине небольшой пирамиды,— абстрактная движущаяся скульптура Александра Кальдера. Кругом стояли деревья и флаги. За бассейном высилась глухая, гладкая тюремная стена, над которой вздымалась бетонная трапеция, увенчанная крестом: павильон Ватикана.

Правее — трехэтажный стеклянный ящик ресторана, из-за которого, пересекая главную аллею, выходит эстакада на стройных бетонных опорах высотой в пятиэтажный дом, над ней нависает острая бетонная стрела павильона Франции. Слева от меня два круглых здания: одно, небольшое,— павильон арабских стран, другое, громадное,— павильон США. А дальше — двести гектаров парка, плотно застроенных павильонами более сорока государств и шести международных организаций, полсотни павильонов Бельгии, городок аттракционов, увеселительный квартал, гигантские стоянки автомашин, геликоптерные аэродромы, стадион...

Куда мчаться?

Я жил в Англии, жил в Японии, бывал в Чехословакии, в Германии, в Венгрии... Значит, это потом.

Начнем с Ватикана.

* * *

Беспросветная стена отделяет павильон от всего окружающего.

«Се — град божий, пребывающий в мире среди треволнений современной жизни. Хотя он не от мира сего, вся слава и красота его внутри».

Так написано в путеводителе.

Перед входом — дети. Их выстраивают парами женщины в монашеских одеяниях. Сейчас их поведут в «град божий» — смотреть «славу и красоту его, которые внутри».

Прямо против входа я вижу нечто очень знакомое. Э, да ведь это «Мыслитель» Родена! Почему он сидит тут, о чем размышляет?

— Вас интересует, почему здесь помещена эта скульптура?

Горбоносый, длиннолицый священник произносит французские слова грубовато — может быть, это латынь прозвучивает в его речи или он испанец? Голова неподвижна, как будто ей мешает поворачиваться стоячий крахмальный воротник, но губы чуть улыбаются. Он смотрит на

меня ласково, с какой-то профессиональной заботливостью, как психиатр. Мне кажется, что он весь обращен ко мне, как звукоулавливатель, и следит за невидимым излучением моего лица специальными приборами, которые, может быть, у него в носу.

Я пишу так подробно о нем потому, что это вслушивающееся выражение я видел у всех католических священников и монахов, которых тут прорва.

Он ждет, пока я мысленно составляю более или менее грамотный ответ.

— Я не понимаю, какое имеет отношение это произведение к католической церкви,— наконец произношу я как можно более по-французски.

— Мсье, вероятно, русский? — спрашивает он, и радость, весьма похожая на естественную, озаряет его лицо.— На ваш вопрос легко ответить. Человек мыслит, он задумывается над миром: каков этот мир? Откуда он? Кто создал его? Хорош он или плох? Какова его цель?

— А почему тут эти бабочки и цветы и вообще целый отдел естествознания?

— Если мы оглянемся вокруг себя, мы увидим, как много прекрасного в мире, как совершенно устроена природа... Объяснять все это случайностью так же нелепо, как объяснять происхождение архитектуры землетрясением... Детерминизм...

— Простите, а почему тут эта белорусская крестьянка?

— О, это не в смысле белорусской женщины, это — обобщение, это нищета вообще...

— А почему эти русские детишки у разбомбленной избы?

— Мы показываем тут бедность, лишения, которые терпит человечество... Это не русские дети, это дети вообще. Мы показываем, как страдает человек на земле, и Мыслитель задает себе вопрос: почему эти страдают, а вот эти...

Горбоносый повернул меня от старых советских фото, которые, вероятно, предназначались не для русских и комментировались гидами обычно иначе, и передо мной оказались кутящие богачи и даже декольтированные дамы с бокалами в руках.

— А вот эти погрязли в разврате...

— Да, действительно, почему?

— Потому, что они забыли бога, отвернулись от заповеди Христа...

— Понятно. А что означает эта картина?

— Мсье так торопится... Тут много важного... Вот, например, величайшие достижения техники, атомная энергия...

— На этой картине изображены последствия атомного взрыва?

— О, что вы! Совершенно наоборот. В результате размышления наш Мыслитель приходит к неизбежному выводу, что кто-то должен был сотворить весь этот прекрасный мир, столь мудро устроенный.

— И эту атомную бомбу и этих кутил?

Горбоносый разводит руками. На лице его — сожаление, он как бы говорит: о заблудшее чадо, не торопись, я все тебе объясню... Но в это время к нам подлетает крепенькая и небрежно одетая женщина и, брыкая руками, накидывается на меня, крича по-русски:

— Это вы хотите посмотреть град божий? Через пять минут я освобожусь. Ждите меня здесь!

И она убежала, брыкая руками и ногами.

— Так что же означает эта картина?

— Это панно работы профессора Ван Санэ имеет площадь в двести квадратных метров и изображает...

Панно это изображало следующее. Среди треугольников разных цветов в темном гамаке пытается приподняться существо, сделанное из

полукружий. На конце его длиннейшей шеи — нечто головообразное без глаз и рта. Общий вид вполне насекомый и геометрический.

— Это панно изображает сотворение человека богом.

Из вежливости я молчу, но он понимает отлично, что я ищу способов не расхохотаться.

— Обратите внимание на эту скульптуру модерн. Мы получили ее из Англии. Автор — Флейшман. Это — воскресение Иисуса Христа.

Привешенная к стене, надо мной была скульптура. Она представляла собой латы из светлого металла, пустота которых ощущалась даже на расстоянии. Латы имитировали голого человека с поднятыми вверх руками. Самым ужасным было его лицо. Металлический цилиндр с прорезанными овалами, обозначающими глаза, вверху был полукругло обрезан, и это изображало лоб, а внизу расклепан, чтобы получилось подобие бороды. Нос был заменен скобой, рот — поперечным вырезом. Вся эта конструкция была пустой, жестяной, отвратительно немощной, казалось, от нее исходил запах консервной банки и жестяное позванивание.

Мой гид опять прекрасно понял мои мысли. Он сказал:

— Публика привыкла к искусству модерн, она требует нового...

Сейчас, рассматривая снимок этого «Воскресения», я вспоминаю картинные галереи Брюсселя и Антверпена, которые мне удалось мельком посмотреть, великую нидерландскую живопись. Какую титаническую работу взвалили на свои плечи Рембрандт, его предшественники и последователи, чтобы утвердить легенду о Христе, то есть облечь ее в плоть, в телесность. Они стремились приблизить христианского бога к простым людям, гениально изображая в нем человеческое, прежде всего человеческое. Страдания истязуемого. Умирание прекрасного, полного молодости тела. Ужас и отчаяние матери, теряющей сына. Безысходную печаль ее, когда он уже мертв... Даже воскресение — как торжество мечты о том, что человек победит смерть... Сколько правды из окружающей их жизни показали художники, воплощая в образы выдумку, созданную за полторы тысячи лет до них! И вот теперь передо мной консервная банка с дырками вместо глаз! Невероятный, трагический упадок... Там, где когда-то люди пытались найти живое значение символа, где искренняя вера восполняла все недомолвки разума и творческий гений очеловечивал сказку о боге, ныне осталась одна жестяная условность. «Публика любит модерн!»

— Что еще можете вы мне показать? — спросил я горбоносого.

Но тут к нам подкатилась опять крепенькая женщина.

— К сожалению, у меня экскурсия из Советского Союза, а вам ведь нужны специально серьезные объяснения. Вот пер Пьер будет вашим чичероне.

Она брыкнула руками и исчезла, и я остался на попечении пера Пьера.

Он говорил по-русски, как коренной москвич. Только некоторые слова произносил не по-нашему, например, вместо телевидения он говорил «телевизия», вместо позитрона — «позитон», вместо кино — «синема».

Это был высокий стройный человек лет тридцати пяти, с розовым лицом, обрамленным рыжей бородкой, с глазами синими и, вероятно, близорукими. От него пахло сигарами и коньяком.

Сперва выяснилось, что его мать русская, через некоторое время оказалось, что его отец «тоже, собственно говоря, русский».

Пер Пьер повел меня наверх. Там, в небольшой комнатке, сидел человек, сделанный из самоварных труб. Верх верхней трубы, изображавшей голову, был искромсан, так что получилась жестяная бахрома, торчавшая к потолку, это означало: волосы встали дыбом. Трубо-руки были подняты к трубо-голове. Все в целом должно было выражать крайнюю степень растерянности.

— Современный человек,— начал пер Пьер,— находится под различными, самыми противоречивыми влияниями. Синема, телевизия, театр, литература, политическая пропаганда тянут его в разные стороны, и он не знает, что ему выбрать.

Действительно, вокруг трубо-человека было развешано множество всяких афиш и увеличенных кадров из кинофильмов.

— Беднята,— сказал я, думая о самоварном скульпторе,— действительно, как же ему быть?

— Он должен руководствоваться велениями своей христианской совести и оберегать себя от соблазнов.

— А если соблазны сильнее, чем совесть? Или если она не знает, как оценить соблазнительный фильм о гангстерах?

Пер Пьер улыбнулся.

— Издаются специальные бюллетени, в которых сообщается, какие фильмы, радиопрограммы, книги следует смотреть или читать и какие нет. Для детей существуют специальные указатели...

Это и был тот самый средневековый «индекс либрорум прохибиторум» — список запрещенных книг, о котором мы учили еще в школе, только теперь к запрещенным книгам прибавились запрещенные радио- и телевизионные программы, кинофильмы и спектакли, а самый «индекс» стал печататься в католических журнальчиках, вроде «Семэн» («Неделя») и других.

Полюбовавшись футуристической живописью, самоварной скульптурой, кадрами из фильмов, фотографиями бабочек и цветов и стремясь уже выскочить из этой мешанины, я невольно останавливаюсь перед фото, на котором изображен телескоп и рядом — портреты Нильса Бора, Гейзенберга и других известных ученых. Оказывается, это гвоздь ватиканского павильона: раздел «Религия и наука». И оказывается, что расцветом науки человечество обязано именно католической церкви и папам лично. Религия не только совместима с наукой, но наука подтверждает религию. Папа лично, персонально увлекается астрономией. Нильс Бор и Гейзенберг состоят членами папской «академии наук»...

— Это Коперник? Это Галилей? Но тогда почему же здесь нет Джордано Бруно?

Пер Пьер набрасывается на меня с объяснениями:

— Бруно действительно здесь нет, Галилей, конечно, подвергался преследованиям, но Коперник... Теория Коперника не была враждебна учению католической церкви. Книга Коперника была принята папой благосклонно... Во всем виноваты протестанты... В книге не было ничего противоречащего христианскому учению... Враги церкви распространяют эти слухи... Вот в этом проспекте вы найдете...

Приехав домой, я полюбопытствовал перелистать некоторые книжки о Галилее и Копернике и сравнить их с проспектом. В проспекте было написано, что церковь приняла коперниково учение, как не противоречащее ее доктринам.

Но в книгах о Копернике я нашел следующее:

«В декрете Конгрегации индекса запрещенных книг от 6 марта 1616 года было осуждено новое учение. «Поскольку до сведения Конгрегации дошло,— говорится в декрете,— что ложная пифагорейская доктрина, совершенно противоречащая св. писанию, которую Николай Коперник изложил в книге «Об обращениях», уже получила распространение...» И далее идет решение о запрещении.

В книгах о Галилее я прочел, как требовали от Галилея, чтобы он отрекся от коперникова учения, как допрашивали его в Инквизиции, как заставили больного ученого стать на колени и, положив руку на евангелие, прочесть перед членами инквизиции заранее заготовленную фор-

мулу, в которой он признавал ошибочными все основные свои открытия и убеждения и обязывался не распространять их ни устно, ни письменно.

Небось этой отвратительной сцены не показали устроители павильона в своем разделе «Наука и религия»!

Знаменитое сочинение Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира, птоломеевой и коперниковой», снискавшее ему бессмертную славу, было запрещено.

И еще я нашел в книгах одну очень интересную деталь, о которой мне хочется сказать, хотя она имеет лишь косвенную связь с описываемым.

Кардинал Беллармино, игравший некоторую роль в Ватикане и, вероятно, понимавший, что преследования ученых не повышают авторитета папства, предложил рассматривать систему Коперника только как математическое подспорье для описания и предвычисления явлений в солнечной системе. Что касается ее истинности, то это не дело науки. Наука не может знать, каковы вещи и процессы вне зависимости от их наблюдения, наука не касается того, существуют ли какие-нибудь объективные закономерности в движении материи. Наука лишь «спасает явления», как говорили когда-то, то есть устраняет их противоречивость в нашем сознании. Беллармино имел в виду, что истина находится только в руках бога, то есть Ватикана, и претензии человеческого разума на познание подлинной сути вещей — необоснованные, наивные претензии.

Но это ли не позитивизм? Задолго до Конта и еще более задолго до Дьюи кардинал отделил истину от познания и предложил принимать науку только как зыбкую сеть логических связей, которую бедный человеческий разум набрасывает на непознаваемый мир.

Значит, может быть, не случайно в ватиканском павильоне висят рядом с портретом Коперника портреты Гейзенберга и Нильса Бора, ученых, которые дали миру замечательные открытия в области физики, считая эти открытия, однако, не более как «способом описания» мира.

Так же не случаен этот винегрет фотографий, макетов, скульптур, книг и лозунгов... Футбол и телескоп, хирургия и коллекционирование марок, морские купания и теория расширяющейся Вселенной, экономические кризисы и насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек — все привлечено сюда. Зачем?

Для уловления душ.

Надо, чтобы каждый нашел тут то, что его интересует, и связал это с католицизмом. Вслушивающиеся, вглядывающиеся люди в черном, люди-звукоуловители, люди, нюхающие ваше дыхание, имеют в запасе штучки на разные вкусы.

Они подсчитали те добрые дела, которые были сделаны святыми сверх плановых заданий, и из этого резервного фонда могут отпустить вам ваши грехи, если вы в этом нуждаетесь.

Они подсунут вам свой «христианский социализм», если вы рабочий.

Они не будут вторгаться в ваши исследования, если вы ученый, а только препарируют их на свой лад.

Они закажут вам написать икону из треугольников и трапеций, если вы «левый» художник.

А если, например, вы православный?

Все выглядит так, что забыты анафемы, которые патриарх Фотий посылал папе Николаю I, и папские буллы, которые послы Льва IX возлагали на алтарь Софийского собора в Константинополе, с отлучением патриарха Михаила. Папа «молится за бедных верующих в странах социализма» — будь они православные, протестанты или католики, все равно. Ватиканская типография издает православные, на русском языке, евангелия, деликатно вынося в комментарий расхождения в тексте с синодальными дореволюционными изданиями. Бельгийские католики

издают русские молитвенники, да и сам пер Пьер — не гибрид ли он католичества и кафоличества? Может быть, он участвует в православных богослужениях, которые производятся в павильоне Ватикана? Так что не только астроном или футурист может найти идейное покровительство в Ватикане, но и представитель враждебной церкви.

Единственно, кто не будет там принят,— это коммунист. Вот тут-то уж сразу воскреснут все анафемы, интердикты, инквизиции, индексы... Тут-то и проходит линия фронта.

Кроме евангелия и молитвенника, вы можете получить в «граде божием» всякие-разные брошюрки и буклеты, в которых найдете черт знает что о нас, о нашей стране, о коммунизме, о Советской власти, хотя такого рода «пропаганда» и противоречит статуту выставки. Вопли оголтелых черносотенцев мешаются в них с шипением «филозофов», угрозы — с проклятиями. Все это мирно лежит рядом со «священными» книжками и научно-божественными альбомами. И дамы с вострыми носами продают и раздают это, благостно улыбаясь.

Укротить свои народы и напустить их на нас — вот политическая соль беспросветного павильона, огражденного глухой стеной, вот та его «красота, которая внутри».

Как хорошо, что можно наконец оказаться снаружи!

Но при расставании пер Пьер говорит мне:

— Может быть, вы хотели бы закусить? Наш ресторан «Град божий» — самый дешевый и самый доброкачественный на выставке.

И он показывает мне на трехэтажный стекляный ящик рядом с павильоном.

— Ах, это тоже ваше? Нет, благодарю, я сыт. Прощайте.

* * *

Американский павильон превосходно построен.

Он свидетельствует о том, что в США есть очень хорошие архитекторы и инженеры.

Очертите круг диаметром в сто три метра, поставьте по окружности стальные иглы в двадцать пять метров высотой и положите на них гигантское велосипедное колесо, в котором тридцать шесть стальных тросов высшего натяжения играют роль стальных спиц, стягивающих обод с втулкой; только эта втулка — очень большое кольцо, барабан, висящий над серединой круга. Теперь подвесьте к ободу колеса стальную сеть до полу, ячеи которой забраны прозрачной пластмассой, а спицы крыши покройте тоже листами полупрозрачного пластика, и павильон готов.

Это гигантский шатер из стали и пластмасс, прозрачный, покрывающий высокие ивы, что выросли тут, на приволье парка.

Барабан в центре крыши открыт. В него видно небо. Под ним — бассейн, куда, если дождь, стекает вода. Все просторно, легко, светло. Проект принадлежит нью-йоркскому архитектору Эдварду Д. Стоуну. Крыша и стены были сделаны в Англии.

Это, несомненно, новая архитектура, она возможна только вследствие того, что существуют такие материалы, как особо прочная конструкционная сталь, особо легкие прозрачные материалы — пластмассы. Как и архитектура Ле Корбюзье, она не приспособлена для холодного климата. Но многое в ней достойно использования и в наших условиях.

При американском павильоне существует театр. Он тоже очень хорош. Тот же архитектор применил здесь тот же прием, что и в павильоне: сетчатые стены и потолок. Но только здесь за этой сеткой расположены сотни лампочек. Их не видно, однако их свет, растекаясь по пластмассовой кольчуге, создает превосходный эффект сияющей парчи, которая складками собрана на потолке и ровным ковром покрывает стены.

Когда при наступлении антракта постепенно включается освещение зрительного зала, кажется, что само пространство, в которое вы возвращаетесь от спектакля, начинает лучиться светом...

И в павильоне и в театре нет никаких украшений, никаких колонн, пилястров, архитравов, арок и т. д. Только мягкие изгибы чистых линий, последовательность плоскостей, просторы для свободного движения взгляда.

И полное соответствие цели: в павильоне — удобство экспозиции, в театре — при небольшом объеме более тысячи ста удобных, широких кресел и сцена видна отовсюду одинаково хорошо.

Можно поаплодировать мистеру Стоуну и его сотрудникам.

Вы входите в павильон и слышите: аплодируют. Вы спешите увидеть — кто, кому? На берегу центрального бассейна — небольшая толпа. Преобладают мужчины. Они хлопают и свистят. Потом наступает тишина. Все смотрят вверх. Со второго яруса по наклонному мостику спускается молодое существо. Покачивая почти отсутствующими бедрами, оно вступает на белый, как бы накрахмаленный плот в центре бассейна. Короткая юбка кринолином, жакет-размахай и туфли на игольчатых каблуках. Уперев левую руку в бок, существо сгибает правую в локте, раскрывает ладонь на уровне плеча и задирает голову налево. Вот жест, который можно истолковать только однозначно: «Беру!» Кажется, кто-то должен подойти сзади и вложить в ладонь кредитку. Сколько? Сейчас мы узнаем..

Посредине плота стоит на тонкой ножке диск-циферблат. В центре — знак доллара, а кругом — цифры. И стрелка. Мадемуазель поворачивает стрелку: цена видна всем. Потом она сбрасывает размахай и оказывается в купальном бюстгальтере.

Тут и раздается взрыв мужских аплодисментов.

Это и есть центр павильона, его гвоздь. Над этим и сияет небо гигантского барабана, вокруг этого и излучают свет пластмассовые стены, сюда и сходятся лучи свободного пространства...

Вы этого хотели, мистер Стоун?

Или вам было безразлично, что́ там будет внутри, и вас интересовала только архитектура?

Я надеюсь, что последнее.

Потому что все остальное вызывает недоумение, и не только недоумение.

Я пошел бродить по павильону. В нем почти не было людей. Экспозиция начиналась внизу, у входов, разделом, который назывался «Лицо Америки, ее прошлое, настоящее и будущее».

Там стоял срез громадного калифорнийского дерева, что должно было подчеркивать «древность американской земли».

Рядом лежали сухие коричневые початки кукурузы пятнадцатого столетия: Америка — родина этого злака.

Рядом стоял автомобиль Форда 1903 года, что «символизировало начало конвейерного производства автомобилей, каковое сделало Америку нацией на колесах», как сказано в путеводителе.

Тут же под стеклом находился стеклянный цилиндр на ножке, о котором было сообщено, что это первая электрическая лампа в мире, изобретенная Эдисоном,— сообщение сомнительное, если не ошибочное.

Так было изображено прошлое Америки. Представьте себе, если бы наше прошлое было изображено мамонтом, колосом пшеницы «украинки», лампой Ладыгина и машиной Ползунова? Маловато. И однобоко.

А настоящее?

В длинном ящике, как в гробу, лежит человек. Собственно, человека нет, но это вы замечаете не с первого взгляда. Присмотревшись, вы

убеждаетесь, что перед вами пустота, одетая в бандажи. Кожаные, пластмассовые, мягкие, жесткие, ножные, коленные, грудные, набрюшные, локтевые... А наверху — шлем, а внизу — чудовищные ботинки, а посередке — перчатки вроде боксерских.

Оказывается, это одежда современного американского регбиста. Средневековые латы были не более громоздки.

Далее вы входите в полукруглый коридор, весь оклеенный газетами. Оказывается, нынешний день США характеризуется не тем, что́ именно пишется в газетах, а тем, что одна газета выходит на четырехстах с чем-то страницах и весит два кило.

И все в этом роде.

Вы проходите по прекрасному павильону, вы видите много хороших предметов — чемоданов, кастрюль, стульев, автоматических машин... То есть вещей. Но это вещи, которые можно встретить в любом другом павильоне, в витринах магазинов любого большого города.

У вас создается впечатление, что устроителей, которым была поручена «начинка» павильона, меньше всего интересовал народ, создающий все эти вещи.

Кто работает в Америке, если верить павильону?

На этот вопрос четко отвечает плакат, вывешенный на видном месте:

«ВЛОЖЕННЫЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЛАРЫ — РАБОТАЮЩИЕ ДОЛЛАРЫ».

Работают доллары и автоматы. А народ?

Американского народа нет в американском павильоне.

Есть пустота в бандажах.

Впрочем, есть еще тот ложный и фальшивый облик американца, который возникает в представлении посетителя, когда он осматривает павильон. Облик, живущий в воображении «идеологов», создававших «начинку» павильона.

Как эти люди представляли себе американца?

Это самодовольный, очень ограниченный лентяй, который любит только праздность, которому кажется, что все вещи рождаются сами, автоматически, и что они интересны только с одной стороны — насколько они гармонируют с ничегонеделаньем. Прошлое родины его абсолютно не интересует, что же касается будущего, то оно интересно в той мере, в какой можно будет приобрести вот этот холодильник новой марки, или вот эту юбку, или поваляться на пляже вот в таких невероятных трусах...

Если строители павильона США проявили высокий художественный вкус, то строители идеологической надстройки, действовавшие внутри павильона, показали себя и в этом отношении с худшей стороны. Заботы о пропаганде мещанства, вероятно, вытравили из них понимание прекрасного и отвращение к пошлости.

Я не бывал в Америке. Но я уверен, что тот манекен, который создали пропагандисты, организаторы павильона, никак не похож на подлинного американца, на простых людей Соединенных Штатов.

На одном из самых видных мест павильона красуется длинное, высотой в два человеческих роста панно, на котором в ультралевой манере изображены люди на фоне улиц разной архитектуры, вплоть до старорусской. Несмотря на то, что их головы меньше их кулаков, что их тела чудовищно искажены, а некоторые из них даже вовсе не имеют ног, или шеи, или живота,— это не карикатуры. Это «серьезная живопись». И она, вероятно, должна изображать не голландцев и не китайцев, а именно американцев. И эта живопись, как мне кажется, выбалтывает то ложное и скверное, что думают об американском народе организаторы па-

вильона. Люди на панно — прежде всего лодыри. С зонтиками или фотоаппаратами, в шортиках или пиджаках, они имеют скучающий и крайне индифферентный вид. Они украшены какими-то вызывающими прическами, буффами, воланами, раскосыми очками и прогуливаются по городам мира, как завоеватели по колониям. На их лицах с тонкими, презрительно искривленными губами, с глазами, глядящими сверху вниз, нет ничего — ни мысли, ни любопытства, ни ожидания, ни радости, ни удивления. Только высокомерие.

А ведь это все вранье!

Я помню тех американцев, которые приезжали к нам в тридцатых годах как специалисты и как рабочие для консультации и для передачи технического опыта. Были среди них и отдельные типы, подобные персонажам панно, но они являлись исключением. Большинство же представляло собой простых, общительных, дружески настроенных к нам людей, и именно эти-то люди и создавали в Америке все те вещи, которые так бездушно и ярмарочно выложены в павильоне США на выставке в Брюсселе.

Вот почему характер, общая направленность экспозиции американского павильона возбуждают недоумение и еще одно чувство, а именно — стыд. Стыдно, что талантливый, творческий и очень много работающий народ показан как народ сибаритов и бездумных фанфаронов.

Рядом с павильоном США находится американская циркарама.

Это круглый зал, стены которого разделены тонкими планками на одиннадцать экранов. В каждой планке — объектив одного из одиннадцати проекционных аппаратов, который дает изображение на противоположный ему экран. Экраны находятся выше роста человека, и публика, которая стоит в зале, не затмевает лучей. Потом мне показали съемочную камеру для циркарамных фильмов. Это большой и тяжелый агрегат, который прочно установлен на подвижном кране. Человек не в состоянии передвигать его собственными усилиями, для этого нужна машина. Аппарат состоит из одиннадцати съемочных камер, расположенных по радиусам полного круга и работающих синхронно. Внешним обликом своим он напоминает верхнюю часть гидрогенератора, например, такого, какие установлены на Днепрогэсе, только сильно уменьшенную.

Вот гаснет свет, и мы начинаем наше путешествие по Соединенным Штатам Америки от Атлантики до Тихого океана.

Мы медленно приближаемся к Нью-Йорку. Кругом вода, вдали встают небоскребы... Мы едем по улицам Нью-Йорка, как по узким ущельям, почти темным внизу, потом вырываемся на автостраду, проезжаем маленькие города одноэтажной Америки, летим в потрясающих каньонах Дальнего Запада, похожих на входы в ад или как будто мы уже на Марсе, и наконец приезжаем в Калифорнию.

Все это интересно, независимо от циркарамы.

Признаюсь, я почти не оглядывался назад, чтобы посмотреть на «пройденный путь». Я, как и все, глядел перед собой и лишь изредка бросал взгляд направо или налево.

Для меня несомненно, что тройное увеличение обзора сравнительно с синерамой не только чудовищно усложняет процесс съемки и проекцию, но и не дает особенных преимуществ. Необходимость стоять в течение всего сеанса и вертеться, чтобы использовать все возможности циркарамы, создает неудобную обстановку для зрителя. Все, что за вашей спиной, почти полностью не участвует в восприятии. Что касается громадного эффекта бокового зрения, то обычное панорамное кино дает этот эффект в достаточной мере.

Техническое качество американской циркарамы оставляет желать лучшего. Прежде всего экран ее темен. Все видится в сумеречном свете. Цвет однообразен, приведен к какой-то средней гамме, лишенной чистоты и яркости. Что касается звука, то он никак не использован, он неощутим как фактор восприятия. Гораздо больше творческой инициативы, художественной смелости и технического новаторства проявили создатели другого зрелища, которое я видел на выставке, хотя...

Об этом «хотя» я скажу после того, как мы с вами побываем в павильоне радиофирмы «Филипс».

III

Павильон фирмы «Филипс» ни на что не похож.

Может быть, это парус?

Или это нос какого-то судна?

Нет, пожалуй, он напоминает шатры, бетонные полотнища которых еще не все натянуты должным образом.

И вместе с тем в сочетании прямых линий с округлыми и плавно выгнутыми поверхностями есть что-то от музыкального инструмента — раструба, деки, резонатора...

Словом, ничего подобного архитектура никогда не создавала.

На первый взгляд кажется, что форма этого здания — плод произвола, случайности, каприза архитектора. Но чем больше вглядываешься, тем яснее становится, что это не только задумано, но и продумано, что все углы, наклоны, изгибы возникли от мысли, а не от каприза.

К сожалению, знаменитого Ле Корбюзье, автора проекта, не было в Брюсселе, и мне не удалось услышать от него самого объяснений его замысла. Я видел только его наброски и получил некоторые сведения от работников павильона.

В 1956 году радиофирма «Филипс» обратилась к архитектору Ле Корбюзье с предложением сделать проект павильона, в котором можно было бы демонстрировать успехи фирмы в области звука и света.

Ле Корбюзье ответил:

«Я хочу создать не павильон, а поэму. Это будет электронная поэма. Она должна быть конденсатором следующих поэтических элементов: света, цвета, изображения, ритма, звука и архитектуры. Все эти элементы должны составить некий органический синтез, доступный самой широкой публике».

— Конечно,— добавил Ле Корбюзье,— в то же самое время эта поэма будет демонстрировать технические достижения вашей фирмы.

Ле Корбюзье — один из крупнейших и самых известных архитекторов современности. Многие его жестоко критикуют, многие превозносят, но никто не отрицает его большой роли в развитии архитектуры двадцатого столетия. Здесь не место разбирать его философские ошибки, его утопические мечты, его архитектурное творчество, в последний период очень отдалившееся от реальности. Но мне хотелось бы напомнить читателю некоторые положения архитектурной теории Ле Корбюзье, провозглашенные им уже давно и в те времена бывшие новостью.

Жилище должно быть связано с природой не только вне города, но и в городе.

Транспорт должен быть изолирован от жилья.

Деловая часть города должна быть отделена от жилой.

Дом должен работать, как «машина для жилья», то есть полностью отвечать всем здоровым потребностям человека — в отдыхе, в приготовлении и приеме пищи, в гигиене, в воспитании детей, в спорте, в сосредоточенности при умственной работе.

Ле Корбюзье не делает различия между архитектором и инженером-конструктором, он рассматривает эту связь как условие создания новой архитектуры.

Назначение здания, инженерная конструкция здания и внешний облик здания составляют, по его мнению, единство, где одно зависит от другого, одно обусловливает другое.

Строительные принципы, провозглашенные Ле Корбюзье, уже давно применяются многими инженерами во всех странах мира.

Это прежде всего «свободный план» здания. Дом строится, как этажерка: на его перекрытиях можно планировать комнаты и ставить переборки как угодно, независимо от несущих стен.

Затем это «свободный фасад»: этажерочная конструкция позволяет как угодно распределять окна, входы и т. д.

Свободная крыша. Она должна быть плоской, и ее следует использовать для гигиенических целей — соляриев, плавательных бассейнов, детских площадок.

Свободный нижний этаж. Дом начинается со второго этажа, устанавливается на столбиках. Нижний этаж предоставлен для стоянки автомашин, велосипедов, детских колясок, для прохода пешеходов, для циркуляции воздуха.

Горизонтальные окна, дающие более широкий обзор и лучше освещающие помещение.

Ле Корбюзье придает особое значение в архитектуре умелому использованию самых различных строительных материалов — пластмасс, металлов, а особенно железобетона, позволяющего создавать любые пространственные формы.

На выставке я видел много примеров чудесных возможностей железобетона, который способен как бы нарушать законы тяжести и общепринятые представления о сопротивлении материалов. Представьте себе большой зал длиной более двадцати пяти метров, который висит над землей, будучи укреплен только с одного конца. В этом конце он опирается на мощные устои. Чтобы тяжесть зала не вывернула устои из земли, зал уравновешен длинной бетонной стрелой в семьдесят восемь метров. Таким образом, конструкция из искусственного камня общей длиной более ста метров имеет только одну очень маленькую зону опоры, подставленную под центр тяжести всей системы. Как на весах, тут справа и слева примерно равный вес, а небольшие его изменения в ту или иную сторону не имеют значения. Так построен бельгийский павильон «Инженерное дело».

Конечно, это выставочный трюк, он не имеет в данном случае функционального оправдания: незачем залу висеть, не к чему стреле простираться в воздухе. Однако он демонстрирует силу железобетона с напряженной арматурой. Мы знаем и другие замечательные качества этого материала, которые широко используются сейчас строителями в СССР.

Предлагая архитекторам взять на вооружение новые строительные материалы, Ле Корбюзье, как мне кажется, не делал никакой ошибки, наоборот, он расширял арсенал технических и эстетических возможностей архитектуры.

Немало в творчестве Ле Корбюзье и слабых сторон. В большой мере они определяются теми социальными условиями, в которых он работал и работает, теми требованиями, что предъявляют ему его заказчики, а также противоречивостью и путаностью его мировоззрения.

Мне говорили, что Ле Корбюзье плакал, рассказывая, как ему не дают строить то, что он считает необходимым для блага людей. С ужасом и негодованием этот старый человек описывал невыносимые условия, в которых живет большинство горожан Европы, в особенности с тех пор, как автотранспорт сделался хозяином узеньких старинных улиц, а тес-

нота в домах, и без того возросшая из-за малого строительства жилых помещений, еще усугубилась вследствие шума, который производят всевозможные звуковые приборы: радио, патефоны и т. д.

Начав с виллы в Гарше, построенной на потребу богачей, Ле Корбюзье пришел к широким мыслям о городах света, воздуха и зелени. Но мысли эти остались мечтами.

Лишенный площадки для массового строительства, оторванный от тех людей, для которых он хотел строить, наконец, видя, как его идеи, упрощенные и вульгаризованные, используются архитекторами, умеющими устраивать свои дела, Ле Корбюзье, человек нетерпимый и авторитарный, все больше стал отходить от практической деятельности, все глубже стал погружаться в сложные теоретические построения... Павильон для «Филипса» не первая его работа, в которой задачи оптики и акустики решаются ради этих задач, а не ради людей. Часовня в Роншампе, в долине реки Соны (1953),— творение того же порядка. «Приятно,— сказал он,— хоть раз посвятить себя проблеме, которая перестала быть вообще интересной,— создать вместилище интимной сосредоточенности и размышления». И уже тут, в проекте этого здания, «безжалостные математика и физика должны были стать душою тех форм, которые будут предложены зрению...»

Когда фирма «Филипс» предложила Ле Корбюзье построить для нее павильон на Всемирной выставке, он не мог не считаться с желанием фирмы рекламировать свое производство. Однако он увидел возможность если не построить «город солнца», о котором он мечтает, то хотя бы сказать миру о том, как он понимает этот мир.

И здесь он потерпел поражение — мне кажется, самое тяжкое из всех, которые выпадали на его долю.

На этот раз заказчик не интересовался тем, что́ именно будет говорить художник. Фирме было важно, на сколько голосов будет он говорить. Свет, и звук, и цвет, и изображение, да еще сложнейшее распределение всех этих элементов в пространстве и времени — все это создавало «большой стенд» для фирмы. Ее конструкторы, ее лаборатории и ее производство могли устроить фестиваль всех своих технических достижений. А поскольку Ле Корбюзье — человек с выдумкой и большой оригинал, то он, вероятно, выдумает что-нибудь такое, что привлечет любопытство публики.

Ле Корбюзье принялся за работу. К семидесяти годам горячему, умному и талантливому человеку есть что сказать миру, во всяком случае ему хочется это сделать. Тем более, что аудитория на этот раз была громадной — десятки миллионов людей из всех стран мира.

Технические условия были поставлены жесткие.

Во-первых, павильон должен был вмещать пятьсот посетителей при минимальном объеме.

Во-вторых, он должен был очень быстро освобождаться от одной партии посетителей и столь же быстро принимать следующую.

Значит, его надо сделать в виде коридора?

Нет, потому что коридор не даст возможности сгруппировать зрителей в компактную массу, не позволит им всем одновременно видеть всё, следить за перемещением цвета, звука и изображения.

Значит, куб?

Но тут вступали в действие требования акустики.

Никаких параллельных плоскостей, чтобы избежать эхо, поскольку звук будет исходить из всех точек поверхности всех стен. Звук возможен гигантской силы, и вместе с тем он должен быть отчетлив — значит, поверхности стен, которые одновременно и источники и отражатели звука, должны быть наклонены и повернуты по отношению друг к другу, или,

вернее, по отношению ко всем своим участкам определенным наилучшим образом...

Значит, шар?

Но тут вступали в силу требования оптики. Стены должны иметь такой наклон и такой изгиб, чтобы изображение, которое будет на них возникать, было минимально искажено...

Словом, геометры, акустики, математики, оптики и электротехники после длительных проб и вычислений пришли к заключению, что демонстрационный зал должен иметь форму усеченно-коническую, гиперболико-параболоидную.

О, торжество рационализма, поэтическая мечта о том, что мощь математики достаточна, чтобы создавать поэзию!

Откуда эта мечта возникает?

Я думаю, из отчужденности от людей.

Математика позволяет такую отчужденность, но поэзия, но искусство — никогда.

Поэт бежит в математику не потому, что он хочет сделать математическое открытие, а потому, что ищет в ней оправдания и объяснения своим творениям. Тогда как единственный судья для него — люди, а не математика. Но если он их ненавидит? Или боится? Или не знает? Или просто не умеет быть с ними?

Помните, Эдгар По написал статью о том, как сделана его поэма «Ворон»?

«Мое намерение,— писал он в начале статьи,— сделать очевидным, что ни один пункт в этом замысле не является результатом случая или интуиции, что произведение создавалось шаг за шагом, достигая своей законченности с точностью и строгой последовательностью математической проблемы».

И далее «шаг за шагом» Эдгар По разворачивает «историю» создания «Ворона».

Он поставил себе технические условия очень жесткие.

Во-первых, надо, чтобы ее объем не превышал ста строк.

Во-вторых, надо, чтобы она была печальна, потому что лишь печаль производит наибольшее впечатление на человеческую душу.

В-третьих, в ней должен быть припев, потому что «среди всех «метких приемов» я не преминул немедленно увидеть, что никакой прием не имел такого всеобщего применения, как припев...»

И так далее.

По этой статье выходит, что и сюжет поэмы, и форма ее, и даже слово «никогда», которое, как припев, повторяет ворон,— все это было выведено Эдгаром По с математической неизбежностью из абстрактных положений о склонностях и страстях человека и с такой же математической неизбежностью должно было произвести наибольший из всех возможных психологический эффект в душе читателя.

Был создан алгорифм поэмы. Потом началось его выполнение.

Нет ничего легче, как опровергнуть эту фантасмагорию, однако и сама статья о создании поэмы есть тоже поэма. Она тоже полна внутренней печали, потому что математикой замещена в ней любовь к людям и забота о них подменена использованием их особенностей для того, чтобы с наибольшим эффектом потрясать их души.

Пафос рационализма в искусстве есть пафос оторванности от людей, от народа.

Отчужденность от людей не означает всегда ненависть к ним, презрение к ним. Так было у По, но не так может быть у других художников. В капиталистическом обществе творить для народа и о народе нелегко, продраться сквозь экономические препоны к душам людей и служить им бывает иногда просто физически невозможно. И художник

уходит в мечту, в абстракцию, в математику, в построения, которые исходят из пользы людей, но уходят от них слишком далеко.

Так случилось и с Ле Корбюзье.

...Итак, параболоидные гиперболоиды конического сечения были воздвигнуты между альгамброй Марокко и образцовым коровником Голландии.

Физики, техники и художники, создавшие этот небывалый храм, авторы этого странного творения принимали как должное взаимные поздравления. Они торжествовали, однако делали вид, что нет ничего удивительного в их успехе.

— Это же вполне логично,— говорили и даже писали они,— что структура, состоящая из комбинации усеченных конусов и гиперболико-параболоидных форм, оказалась не только правильным практическим решением, но в то же время явилась убедительным архитектурным образом!

Математика порсдила художество. Им думается: они нашли алгорифм прекрасного!

Я не могу, разумеется, согласиться с ними, но не могу и смеяться над ними.

Все мечты о силе разума, о грядущей власти его над миром мне дороги. Может быть, и художник будущего не будет смеяться над теми, кто в стремлении получить небывалый урожай пытался наложить два поля одно на другое: поле искусства и поле науки.

А пока проверим алгебру гармонией, войдем в павильон Ле Корбюзье.

Слабо освещенный, уходящий вверх бетонный шатер. Ничего, кроме этих наклоненных и неподвижно поворачивающихся поверхностей грубой фактуры. На них вразброс — созвездия ромбических нашлепок: громкоговорители. Их четыреста!

Вдоль стен, следуя за их поворотами,— щит немного выше человеческого роста, за ним — световая аппаратура.

Все это мрачновато, неприютно и неприятно. Кажется, что ты попал не туда, куда тебя звали. Тут будут делать что-то, что важно для техников, для производственников, и ты будешь только мешать им. Сейчас включат механизмы и начнут какие-то эксперименты. Над кем? Уж не над тобой ли?

Гаснет свет. Только за щитом — слабое сияние. Тишина. Мы ждем.

И вот где-то сзади, у меня за спиной, возникает звук.

Сперва очень слабый. Он движется вокруг меня, вот им звенит уже та стена, к которой я обращен лицом.

Да, это звон. Может быть, это звенят кольца гремучих змей?

Или это идет дождь тонких сверкающих фольговых лент?

Так вступает в электронную поэму еще один ее автор — композитор Эдгар Варез. Его называют «семидесятилетним юношей», имея в виду его жажду нового и смелость исканий. Он ровесник Ле Корбюзье. Они были молоды полвека тому назад, но мальчишеский задор новаторов не погас в них...

Итак, дальше!

Над нами начинаются вспышки. Звезды? Космические лучи?

— Что это? — спрашиваю я своего гида, француза.

Кажется, он шокирован моим вопросом. Он отвечает быстрым шепотом, как в церкви:

— Не все ли равно? Никогда не доискивайтесь смысла в новом искусстве. Смотрите, слушайте и вглядывайтесь в себя. Ваше ощущение ответит вам лучше, чем ваш разум.

Звон достигает такой силы, как будто он хочет остаться в ушах навсегда.

Вдруг он переходит в свист.

Снаряд? Бомба?

Я не спрашиваю, что это. Я боюсь показаться вульгарным моему французу-знатоку.

За щитом разгорается густо-лиловый свет. Он заливает стены снизу вверх.

Густой звук, тяжелый, тягучий, как деготь, сотрясает воздух.

Вверху возникает изображение. Чего? Нечто вроде орнаментальных фресок Озанфана. Нечто геометрическое, чертежеобразное с элементами фабричных деталей.

В звуке щелчок. Ударили по бамбуку?

Да, это джунгли. Бамбук... Музыка Африки?

Обезьяны. Бизон.

Матадор. Шпага. Плащ. Бой быков?

(Все это неподвижно. Фото, а не кино.)

Что означает матадор? Смелость человека? Борьбу его воли с «джунглями дикости»? Но ведь дело не в матадоре, дело в человеческой мысли?

А, вот! Череп. Череп человека, вместилище мозга. Слава создателю, кажется, я угадал.

Лунный свет заливает стены.

Тяжкие, глухие удары.

«Бумм!.. Бумм!» — как написал Ле Корбюзье в своем сценарии.

Череп.

Мозг. Полушария мозга.

Все громче, все напряженнее: «Бумм!.. Бумм!..»

Голубой свет...

Более густой синий. Ультрамариновый свет.

Лица ученых.

Глухие удары сменяются короткими, отрывочными, острыми стукозвонами. «Пиццикато: ти! — тик! — тик!» — так обозначил этот «музыкальный момент» Ле Корбюзье в своем сценарии.

Пульсирует мысль? Прокалывает мысль тайны природы? Или «пиццикато: тик! — тик!» обозначает что-то другое?

Но спрашивать нельзя... Я не спрашиваю.

Наверху — головы ученых, глаза ученых, руки ученых...

Монтаж глаз, пальцев, лбов...

«Целый балет ученых носов»,— записал Ле Корбюзье.

Внизу ультрамариновый свет становится темным.

Выше он переходит в красный.

Еще выше — в ярко-желтый.

В этом красно-желтом свете возникает голова негра из Конго.

Потом появляется голова маори.

За нею следуют: скелеты динозавров, обезьяны, рамзесы, страшные маски, глаз петуха, глаз человека, глаз мухи, грозные статуи древних, скелет человеческой руки...

убитые на поле, Освенцим, плачущая мать, богоматерь, Будда, ученый, рабочий, Чарли Чаплин...

ракета уходит в небо, люди в ужасе, атомный взрыв, зловещие филины, детали машин, галактические туманности, солнце, поцелуй влюбленных, дети, Нью-Йорк и — под вой предельной силы и ужасного тембра, под грохот, который еле может выдержать слух,— изображения бедствий атомной войны.

Я не привожу всей моей записи «электронной поэмы», это ничего не прибавило бы к тому, что тут изложено. Изображения, которые появляются на стенах, вполне конкретны. Это фотографии. Череп есть че-

реп, негритянка есть негритянка, и матадор есть матадор. Но почему после фотографии четырех ученых появляется фотография негра из Конго — зритель понять не может. Он видит, что фотография ученых уже не портрет, а символ чего-то, и фотография негра тоже что-то обозначает, и он не в состоянии найти это значение, осмыслить эту связь.

Когда Дзига Вертов почти сорок лет тому назад создавал свою кинопублицистику, он уже в то время опередил Ле Корбюзье в отношении средств выразительности.

Прежде всего элементами работ Вертова были не диапозитивы, а живые, движущиеся кадры кинематографа. Они были полны динамической выразительности и силы. Правда, зачастую они были лишены адреса, то есть теряли значение документа о конкретном событии, однако они полностью сохраняли колорит времени, национальности, местности и служили для выражения локальных, весьма конкретных мыслей.

Затем Вертов пользовался словом. Он доводил его в своих немых фильмах до предельного лаконизма, он подчеркивал его смысл графически и динамически, заставляя буквы набрасываться на зрителя, взрываться, убегать, выстраиваться в ряды, уходящие вдаль, и т. д. Слово поддерживало весь смысловой ряд фильма и само было наделено эмоциональной силой.

Наконец, как ни неожиданны бывали сочетания кадров в фильмах Вертова, они никогда не производили впечатления произвольных. Строгое логическое оправдание всегда было налицо. Зритель понимал движение идеи, понимал не только вообще, а и в каждом отдельном куске картины, в каждом монтажном переходе.

После первых публицистических выступлений Вертова появились его более сложные, скорее поэтические, чем журналистские работы, такие, как «Энтузиазм» («Симфония Донбасса») и «Три песни о Ленине», в которых отбор и последовательность кадров были подчинены не только логической, но и музыкальной задаче. Они достигали необыкновенной эмоциональной силы. Они потрясали даже людей, которые не знали нашей страны и нашего языка, настолько выразителен был язык документальных кадров, мастерски снятых, талантливо объединенных мыслью и чувством.

«Я считаю этот фильм одной из самых волнующих симфоний»,— писал Чаплин об «Энтузиазме».

«Великий фильм, один из самых прекрасных фильмов, которые я когда-либо видел»,— писал Герберт Уэллс о «Трех песнях».

Можно ли сказать что-нибудь подобное об «Электронной поэме» Ле Корбюзье?

К сожалению, нет. К сожалению, потому что Ле Корбюзье — талантливый художник, и было бы приятно поблагодарить его за новое хорошее произведение.

«Электронная поэма» плоха.

Она плоха не только потому, что ее средства выразительности устарели: смешновато выглядят картинки волшебного фонаря в годы расцвета цветного, звукового, панорамного кино.

Поэма плоха не только потому, что ее автор не сумел сделать последовательность выбранных им фотографий последовательностью мыслей зрителя, что между зрителем и поэмой — стена неясности, болото многозначности.

Главная беда поэмы в том, что ее концепция ошибочна, наивна, ненаучна. Вот ведь какая странность: в математически построенном павильоне средствами новейшей электронной автоматики демонстрируется дилетантское, антинаучное произведение.

Когда я прочел о задачах, которые поставил перед собой Ле Корбюзье, я был поражен. Оказывается, первый эпизод посвящен... образо-

ванию Земли. Второй эпизод — «Материя и дух»; уж не этот ли «балет ученых носов» — материя и дух? Далее: «Человек творит богов в самом себе» — богоматерь и Будда в лиловом свете, вероятно, относятся к этому эпизоду. «Люди строят свой мир» — я этого не увидел нигде. «Гармония» — где она в мире и где она в «Поэме»? И — апофеоз: «Миссия человечества в том, чтобы сохранять достигнутые успехи и передавать их потомству». Вот почему в конце я видел на стене руку, которая делает жест, словно она принимает что-то.

Судя по этим темам, автор хотел охватить самое главное в жизни не только сегодня, но и на протяжении тысяч, миллионов и даже миллиардов лет существования нашей планеты.

Конечно, переход от обезьяны к человеку относится к этому главному. Но после? Что было после?

Была какая-то путаница микроскопов, масок, глаз мухи, галактик и атомных взрывов, но главного, что определяло всю историю человечества, не было.

Одни группы людей пытались угнетать и угнетали другие, а те, другие, стремились освободиться от этого гнета. Эта борьба и была причиной конфликтов в истории человечества. Разве Ле Корбюзье ничего не знает об этом?

Было в веках и то, что гений человека создавал новую технику и добивался все большей и большей продуктивности своего труда. Так росло производство, усложнялась экономика. Разве об этом не знает Ле Корбюзье?

Наконец, было и то, что неугомонный, жадный, вдохновенный мозг человека, сознательно отражающий все, что происходит вокруг, искал объяснения этому происходящему и допытывался законов природы. Так росла наука человечества.

Было еще и то, что человек стремился передать человеку свои чувства, выразить для всех, как живет скрытая для посторонних глаз душа людей. Так рождалось и расцветало искусство, лучшие творения которого звали человечество к доброму и благородному... Не может быть, чтобы над этим не задумывался художник, создававший «Поэму»!

Ничего этого нет или почти нет в «Электронной поэме» Ле Корбюзье, хотя, как я уже сказал, он поставил перед собой задачу рассказать о развитии человечества в тысячелетиях и о целях, к которым идем.

И получилось путанно и бедно. Получилось много ужасов и мало смысла.

И я невольно вспомнил человека из самоварных труб в павильоне Ватикана: схватившись трубо-руками за трубо-голову, не знает, бедный, как разобраться во всей путанице обступающего его мира.

Вот почему, вероятно, не случайно в каком-то месте «Поэмы» появляется на стене фотография головы Христа из Шартрского собора как материализованная надежда человечества на лучшее будущее!

Только надеяться — не больше!

Только грезить!

И бояться, бояться, бояться будущего.

...Я пишу все это в осуждение старому талантливому архитектору, но должен ли я так огорчать его? Во-первых, я не знаю, насколько сохранил бы «Филипс» свое безразличие к содержанию «Электронной поэмы», если бы в ней была показана движущая сила исторического процесса — классовая борьба.

Во-вторых, я не знаю, насколько знаком Ле Корбюзье с наукой об обществе, и, может быть, он, как в свое время Герберт Уэллс, будучи честным и прогрессивным человеком, вместе с тем относится с пренебрежением невежды к марксизму.

В-третьих, я отнюдь не хочу поучать Ле Корбюзье, как он должен строить свои зрительно-звуковые произведения в будущем.

Но такое уж у нас, у советских людей, обыкновение: говорить об ошибках столь же прямо, как и об успехах.

Теперь немного об Эдгаре Варезе и его музыке.

Мне сказали, что Варез — большой музыкант, что он — один из деятелей Филадельфийского симфонического оркестра.

Следуя схемам, которые предложил Ле Корбюзье, Эдгар Варез создал музыку к «Поэме», хотя музыкой ее можно назвать с тем же правом, с каким абстрактную живопись можно назвать живописью.

Пожалуй, лучше называть ее звукописью, поскольку в слове «звук» не обязательно присутствует понятие тона, без которого музыка в общепринятом смысле невозможна.

В чудесном холле голландского павильона мы с одним из работников павильона «Филипс» рассматривали наброски Ле Корбюзье и Вареза.

Холл этот ничем не был облицован внутри: темно-красный кирпич, низкая деревянная панель, деревянные балки, поддерживающие потолок, и громадное, в половину стены от пола до потолка, окно зеркального стекла. Разносили чай, крепкий, ароматный, в маленьких чашках грубого фарфора, коричневых снаружи и белых внутри, ставили на стеклянные столики, низкие, под стать низким креслам, на которых мы сидели. Вокруг было так изящно, так изолированно от мира: и цветок в керамической вазе, одинокий, по японскому обычаю, и тихо беседующие, прекрасно одетые интеллигентные люди возле окна, и тема нашего разговора — новая «электронная музыка», наброски Эдгара Вареза.

А что, если все это вздор, выдуманный рафинированными интеллигентами, которым нравятся уединенные размышления в изящных холлах, облицованных кирпичом, материалом грубым, а следовательно, и наиболее изысканным?

Но ведь замечательные произведения мысли и художества нередко создавались в сосредоточенном уединении и в обстановке, не чуждой изящества, уюта, комфорта?..

Все это так. Пожалуй, нет ничего плохого в кирпичном холле. Плохо за его пределами — в Голландской Гвиане, в Голландской Вест-Индии... Там плохо. А тут очень даже хорошо.

Итак, наброски Вареза.

Внизу листа проведена одна черта вместо пяти привычных нотных линеек. Над ней отмечены равные отрезки. Может быть, это такты? Возможно, тем более, что возле них цифры ударов метронома, указывающие темп.

На нотной линейке, выше ее и ниже, отмечены «ноты» в виде стрелок. Некоторые из них объединены в триоли, некоторые стоят отдельно с указанием длительности. Тут же значки пауз. Таким образом, ритмический рисунок читается довольно точно: его можно настучать.

Поскольку стрелочки стоят выше, ниже и на уровне линейки, можно выстукивать их разной высотой звука — скажем, тонким карандашом и книгой по доске стола.

На верхней половине листа начерчены кривые, восходящие и падающие, пересекающие одна другую. Судя по значкам «меццо форте», «форте» и «фортиссимо», это кривые силы звука для отдельных его источников.

И все?

В том-то и дело, что все.

Можно ли что-нибудь «исполнить» по этим нотам?

Конечно, нет. Ибо тут нет никаких указаний на тембр звука. На точную разницу в высоте.

Зачем же эта запись?

— Я полагаю,— сказал мой собеседник,— что этот листок только для памяти. Он нужен и понятен композитору, а для исполнителя он ничто.

— Значит, исполнить эту звукопись может только композитор?

— Да. Причем только один раз.

— А потом?

— А потом ее будет исполнять, или, вернее, воспроизводить, звукопроецирующий аппарат.

— Следовательно, исполнительское искусство исключается?

— В такой же мере, в какой оно исключается при демонстрации кинофильма. Во время сеанса механик только следит за исправной работой аппаратуры. Какая-либо интерпретация кадров или звука физически невозможна.

— Но как же создаются звуки?

— Фирма предоставила Варезу специально оборудованную лабораторию, в которой с ним работали акустический эксперт фирмы и ассистент по звуку. В распоряжении композитора — обычная запись любых звуков и шумов, вполне безграничное разнообразие: шум дождя и пение, выстрелы и звуки рояля, жужжание мухи и рев реактивного самолета...

— Но я не слышал ничего похожего на эти звуки во время демонстрации «Поэмы»!

— Конечно. Потому что эти звуки — только сырье, исходный материал для композитора. Он может их изменять и добиваться того звучания, какое кажется ему нужным.

— Каким образом?

— Пуская их воспроизведение быстрее или медленнее, накладывая на них другие звуки, даже заставляя их начинаться с конца, то есть перезаписывая их при обратном движении ленты. Техника предлагает художнику множество способов изменять звуковой материал.

— Значит, творец звукописи должен мысленно представлять себе не только тот звук, который он хочет использовать, но и способ, каким можно его получить?

— Несомненно. Он должен обладать громадным звуковым воображением. Представьте себе, что развитие темы его произведения требует в каком-то месте звуков настолько особенных, таких неслыханных, что даже своему ассистенту он не может объяснить, как они будут «выглядеть». Только приблизительно он может себе наметить то звуковое сырье, из которого можно получить желаемое. И тогда он начинает пробовать, экспериментировать с разными записями, причем возможно, что в этих поисках он находит новые звучания и новые звуковые образы... Так он совершенствует свой слух и свое умение, тренирует воображение...

— Значит, всякая мелодия исключается из этого искусства? Воспроизвести голосом тот или иной опус человек не может.

— О, конечно! Но ведь навряд ли кто-нибудь может пропеть увертюру к «Лоэнгрину»! Однако запомнить для внутреннего вашего слуха электронную музыку вы можете.

— Скажите,— решился я спросить напоследок,— а вам лично нравится звуковая сторона «Электронной поэмы»?

Тонкое и умное лицо моего собеседника озарилось улыбкой (уж не совершил ли я бестактность, задавая этот «интимный» вопрос?). Потом оно стало серьезным и как будто менее официальным.

— Когда я слушал это впервые,— сказал он, вспоминая,— я был испуган. Больше того, мне казалось, что мой слух опустошен, использован до предела его возможностей. Еще минута, и я уже не мог бы вообще выдержать это напряжение. Тембры и ритмы все время меняются, едва успеваешь освоить одно звучание, как вдруг, будто из-под земли, выра-

стает другое, его уже нагоняет третье, и еще, и все новые и новые. Я был оглушен не тем сатанинским грохотом, который вы слышали в момент атомного взрыва, когда вы кожей лица чувствуете сотрясение воздуха, а именно непривычностью звуков и внутренней работой по их восприятию. Однако эта музыка меня заинтересовала. Я думаю, что она не может не вызвать любопытства. Я стал слушать еще и еще. Впервые я начал понимать что-то с того места, когда, помните, звук, похожий на женский голос, все повышается и вращается вокруг вас. Я почувствовал в нем грусть, и заботу, и любовь... Потом я примирился с другим эпизодом: далекие удары колокола и им отвечает как бы отзвук труб. В этом есть ощущение надежды и вера в счастье.

Он умолк в раздумье. Дымок его сигары тонким стебельком поднимался вверх и закручивался там, образуя серый условный электронный цветочек. Нам принесли чай с чем-то, напоминающим отрезки матового шнура. Напротив за стеклянный столик села девушка, сделанная из шуршания нейлоновых складок и черноты искусственных ресниц. Мой собеседник спросил меня:

— А вы? Как понравилось это вам?

— О, я в худшем положении, чем вы: я слушал это только два раза и еще не привык.

На следующий день в павильоне Франции, возле экспонатов из Сахары, меня остановили странные звуки, напоминавшие творение Эдгара Вареза. Я попросил моего гида, очень милую девушку Сильвию, провести меня в кабину механика. Там сидел молодой и тучный негр и возле аппарата стоял высокий крепкий парень с буйными светлыми волосами и синими глазами. Он сделал нам знак садиться, как будто мы были его сменщики. Когда фильм закончился, он подсел к нам и стал с любопытством вглядываться в меня. Вероятно, советский человек интересовал его не меньше, чем меня интересовала «музыка» к фильму о Сахаре. Я спросил его, кто автор этой «музыки».

Он пожал плечом.

— Я не знаю. А вы хотите послушать?

— Спасибо, я уже послушал. Я хотел знать...

Негр встал и подошел к полке, на которой стояли коробки с пленкой. Он вытащил граммофонную пластинку и молча подал мне.

Я прочел:

«КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА. СОЧИНЕНИЕ ПЬЕРА ШЕФФЕРА И ПЬЕРА АНРИ. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФИЛЬМА «САХАРА СЕГОДНЯ»

— Значит, эта музыка называется «конкретной», а соответствующая живопись называется «абстрактной»? — спросил я.

Негр, смотревший на меня с таким выражением, словно только и ждал, когда советский человек скажет что-нибудь веселое, хлопнул ладонями о стол и захохотал.

— А вам как нравится сочинение Шеффера? — спросил я.

Синеглазый парень опять дернул плечом.

— Это меня не интересует. Мое дело — крутить пленку. Я не музыкант.

— Но вы можете мне объяснить, что обозначают эти звуки? Вы знаете, что хотел сказать автор?

Негр наклонился ко мне и, страшно округлив глаза, оглушительно прошептал:

— Шеффер знает, но никому не сказал об этом.

Мы поднялись. Синеглазый парень и негр кивнули нам так, как будто мы через час встретимся с ними за обедом.

Я спросил Сильвию, что думает она по поводу «мюзик конкрет».

— Я думаю, что к этому можно привыкнуть. В живописи и в музыке много значит мода. Новое хорошо не потому, что хорошо, а потому, что ново. Старое кажется архаичным. Если завтра начнут красить губы зеленым, красные губы покажутся вульгарностью и наивностью.

И она посмотрела на меня с тем милым величием, которое так идет к ее округлому лицу Будды, воплотившегося в парижанку двадцати лет.

Однако здравый смысл был в ее словах. Мода в искусстве много значит. Это плохо. Но ведь и застывший канон в искусстве тоже плохо. Искусство должно двигаться вперед, а не стоять на месте, не копировать прошлые, пусть и прекрасные образцы.

— А как вы сами относитесь к «мюзик конкрет»?— спросила меня Сильвия.

И я ответил ей так, как думал и думаю сейчас:

— Я многого в ней не понимаю. Я знаю, что это не музыка в нашем обычном смысле. Безумием было бы заменять ею нашу музыку. Но я не хочу отмахиваться от нее. Надо изучать и надо пробовать. Новое всегда кажется странным и не часто бывает сразу приятным. Кроме того, иногда оно обманывает, это тоже надо иметь в виду.

— Очень благоразумно и очень осторожно,— сказала Сильвия с высоты своих буддийских небес.

— А как вам понравились картины советских художников?

— Они очень старомодны. Но перед ними всегда толпа. Все согласны в том, что они обладают какой-то потрясающей силой. Некоторые говорят, что это сила не искусства, а вашей жизни.

— Но раз искусство передает силу жизни, значит оно хорошее искусство?

— Вот, посмотрите, это — «флоке́»,— сказала Сильвия, показывая на коричневое сукно, которым была обита стена.

Я провел пальцами по сукну, и на нем остались полосы против ворса.

— Это не сукно,— продолжала она голосом диктора.— Пульверизатор наносит на стену жидкую пластмассу, в которой настриженные волоски искусственной шерсти.

Тут она большой розовой рукой провела по ворсу и стерла темные полосы, оставленные мной.

— По-видимому, это быстро и дешево?— подтвердил я переход на новую, менее щекотливую, чем проблемы искусства, тему.

Мы бегло обошли павильон. Несомненно, мне не удалось повидать в нем очень многого.

Французы — это вкус. Иногда чересчур изысканный, иногда не в меру «модерный» (словцо пера Пьера), но всегда чуждый вульгарности и грубости, какие можно увидеть в павильоне США по вине его пропагандистов.

Я видел здесь громадные красно-бело-черные гобелены, сделанные в очень «левом» стиле, однако их супрематистский орнамент был очень красив.

Я видел рисунки обоев, напоминающие структуру стали под микроскопом, и это было тоже красиво.

Я разглядывал здесь книги по искусству, изданные ослепительно. Я уверен, что никто в мире не создает таких шедевров книжного дела, не достигает таких высот репродуцирования, как мастера и рабочие полиграфической промышленности Франции.

К сожалению, все это настолько дорого, что мало доступно рядовым французам.

Впрочем, французов не удивишь дороговизной. Сильвия показала мне флакон духов, который стоит... 450 долларов!

Я был также в отделе, посвященном литературному творчеству. Здесь с тщательностью и любовью собраны рукописи, книги, личные вещи больших писателей Франции, умерших за последние двадцать лет (со времени выставки 1937 года в Париже). Самое замечательное в этом отделе — звучащие документы. Вы можете услышать голос Колетт, Поля Элюара, Ромена Роллана, прекрасного писателя, погибшего недавно,— Антуана де Сент-Экзюпери. Как жаль, что мы до сих пор так безразлично относимся к сохранению для будущих поколений живого голоса наших писателей, слово которых еще долго будет любимо потомками! В первой четверти века эту работу вел профессор Бернштейн в Ленинграде кустарными средствами, при помощи старинного эдисоновского фонографа с восковыми валиками. У него в лаборатории удалось мне услышать голос Александра Блока — напевное, как будто безразличное чтение стихов, полное не то печали, не то обреченности... Не знаю, как передать волнение, которое осталось во мне и возникает всякий раз, когда я вспоминаю этот голос. Я уверен, что для того, чтобы верно почувствовать поэта или писателя, звучание голоса его еще более необходимо, чем внешний облик! Сохранилась ли эта запись? Переписана ли она с бедного воска?

Я простился с Сильвией возле гигантской бетонной пяты, на которой, по замыслу архитектора Жилле́, утвержден в «подвешенном» равновесии весь громадный французский павильон. Тут тоже, как и в творениях Ле Корбюзье для фирмы «Филипс», математическое обоснование играет главную роль.

«Основная конструкция павильона,— говорит Жилле,— имеет форму двузубца, на двух остриях которого покоится крыша, представляющая собой сеть, сплетенную из стальных тросов, и имеющая форму двух ромбов с одной общей стороной, изогнутых в виде гиперболических параболоидов».

Жилле утверждает, что теория напряженной сетки, разработанная Рене Саржером и практически доказанная на примере французского павильона, позволяет применять этот принцип в строительстве больших сооружений. Подобного рода способ строительства, говорит Жилле, «возможно, станет таким же этапом в развитии архитектуры, каким явилась смена тяжелого романского стиля легким готическим или каким была замена каменной кладки металлоконструкциями».

Я не спорю с Жилле о будущем. Несомненно, новые строительные технологические принципы раскрывают большие перспективы, особенно для стран с теплым климатом и не слишком буйной атмосферой. Но почему американский павильон, использующий тоже новейшие материалы и новейшие методы строительной технологии, красив, а французский — нет? (Я умышленно не хочу вводить в эту полемику наш, советский павильон: тут я являюсь, так сказать, «стороной», и меня могут заподозрить в пристрастности.)

Ленин говорил об опасности чрезмерного увлечения физиков математическим аппаратом, в результате чего «Материя исчезает», остаются одни уравнения». О произведениях архитектуры, подобных работе Жилле, можно сказать, что «красота исчезает, остаются одни уравнения».

Из бетонной пирамиды высотой с двухэтажный дом в разные стороны торчат четыре трубы огромной длины, диаметром почти в метр и шесть столь же могучих балок. Они упираются в двухтавровые балки потолка-крыши. К этому потолку примыкают наклонные прозрачные стены с такой путаницей рам, стоек, стяжек разной толщины и разных сечений, посаженных и поставленных под разными углами, что за конструкцией не видать общей формы. Кажется, что стена еще только

строится и вот уберут все эти подсобные металлические леса, тогда мы и увидим архитектуру. В общем, это несколько напоминает металлические клетки, которые водружают наши ремонтные организации, когда приводят в порядок фасады больших домов, или антенны гигантских радиотелескопов.

Вероятно, будущее архитектуры — не только в математике, хотя оно и невозможно без математики.

Впрочем, даже в математике бывают способы решения, о которых специалисты говорят, что они красивы, и бывают такие, которые, хотя и приводят к цели, однако долго, трудно и «некрасиво».

Я поднялся еще раз наверх, чтобы сфотографировать конверт, в котором лежала пластинка Шеффера: там были объяснения по поводу «мюзик конкрет». Но кабина синеглазого парня была заперта. Возле одного из стендов Сахары стояла группа экскурсантов, и молодой человек давал пояснения, любуясь тембром своего голоса.

— Сахара сегодня — это противопоставление двух миров,— говорил он.— Один мир весь в традициях тысячелетий, мир медлительных движений, привыкший к условиям жизни труднейшим... О, эта жизнь, полная молчания столь же загадочного, сколь и опасного!..

Пауза и смущенная улыбка артиста, знающего, что он сыграл хорошо. И дальше:

— А мир другой, который вторгся в эту вечность? О, это полный контраст. Это мир молодой, динамичный, шумливый, не зависящий от расстояний... Мир техников, мир машин... В течение одного столетия солдаты Франции, ее миссионеры, ее врачи и ее ученые умиротворили и познали безграничную пустыню...

Это болтовня воинственного и самовлюбленного юноши-стендиста?

Увы! Юноша декламирует с чужого голоса. Все это напечатано в каталогах и путеводителях.

«Загадочное молчание Сахары...», «Мир медленных движений...»

И — солдаты, миссионеры...

Странно, но именно тут, в этом шикарном павильоне, наполненном вещами модерн и первоклассными машинами, я с удивительной ясностью увидел, что попал к отсталым людям!

«Солдаты Франции, сорок веков смотрят на вас с этих пирамид...»

«C'est grand!»—«Это величественно!»

Боже мой, какая архаика! Неужели же кто-то всерьез верит этим басням о неподвижности Востока и о величии солдат и попов, которые «умиротворяют» пустыню?!

Да, предусмотрительно на выставке нет Великого Китая! Продемонстрировал бы он им «мир медленных движений»!

Я был в павильоне Бельгийского Конго. Это очень богатый павильон, как все павильоны Бельгии. Там много интересного. Прекрасно показан растительный и животный мир этой гигантской территории, которая больше, чем Бельгия, в семьдесят пять раз и с населением большим, чем в метрополии, на три миллиона человек.

Я как бы побывал в темнейших лесах Африки, видел громадные трубы бамбука, по которым прыгали веселые мартышки, видел бабочек с размахом крыльев чуть ли не в треть метра, любовался ярчайшими панно с птицами, цветами и плодами удивительных форм и масками, очень страшными и очень живыми...

Потом я пошел смотреть «Конгораму» — так называлось комбинированное зрелище в зале, потолок которого был выложен кусками всех горных богатств Конго.

После того как на экране были показаны людоеды, а на раздвижных ширмах — многочисленные генералы, полковники, адмиралы и солдаты («сорок столетий» смотрели на них с высоты пальм, и это было, конечно, очень «гран»), диктор, захлебываясь от восторга, начал возглашать главное.

— Медь!— кричал он, и на потолке светилась медь, а на экране черные люди копали землю.

— Сурьма!— рычал диктор, и перед экраном спускался стенд с сурьмой.

— Золото!— шептал диктор, и тут уж все начинало сверкать, распахиваться, вертеться... И снова черные голые люди тащили что-то на головах.

Все эти вспышки, стук распахивающихся ширм, шум передвигаемых стендов, крики и шепот четырех дикторов и двух дикторш посвящены одному: сказочным богатствам Конго.

Кто добывает их?

Кто живет там?

Там живут и там трудятся... этнографические объекты!

В павильоне вы можете получить о них подробные сведения:

об их лицевом угле сравнительно с лицевым углом белых рас;

об их телосложении сравнительно с телосложением белых;

о том, что раньше в Конго было людоедство и охота, а теперь — христианство и промышленность.

Вам покажут живую негритянку под стеклом. Она обратилась в христианство и обращает других. Вы можете посмотреть на детей Конго — они тоже живые и тоже под стеклом, что-то плетут, сидя в креслицах.

Единственный вопрос, на который вам не ответят в павильоне,— это почему за почти восемьдесят лет бельгийского владычества большинство населения этой громадной страны неграмотно, ходит голым и живет в соломенных шалашах.

Или, может быть, в ответ начнется болтовня о негритянской неполноценности?

Сказать по совести, тесно душе в просторных павильонах Конго! Скрыть правду нельзя. Этнографией замазать социальные проблемы невозможно. Миссионерскими интернатами не удается замаскировать дикость и бедность народа.

Возле павильона — скульптура: юноша и девушка из Конго стоят, расставив ноги, подняв над головой сложенные руки. Юноша и девушка очень красивы, полны силы, прочно стоят на крепких ногах на земле родной своей Африки. Их лица, их поза полны решимости — кажется, сейчас они двинутся и движение их будет непреодолимо.

Но в скульптуре этой есть знаменательное противоречие.

Ладони и пальцы рук художник сделал плоскими, бессильными, безвольными. Кажется, что юноша и девушка приготовились для физкультурной зарядки, что они вполне ручные, безопасные.

Смотришь на прекрасную скульптуру Дюраня, и кажется, что черные руки, гимнастически поднятые над головой, медленно-медленно сжимаются в кулак.

Советский павильон на выставке — один из самых больших. Он заполнен множеством интереснейших предметов, он представляет нашу Родину на собрании стран в парке Хейссель в Брюсселе. Но я, осматривая выставку, был все время «сам себе советским павильоном». Куда бы я ни пошел, что бы я ни увидел, все приноравливал к нам или сравнивал с нами, и, оказывается, внутренняя моя работа была направлена столь же к иноземному, сколь и к своему собственному. Особенно хорошо понимаешь и особенно сильно любишь родную страну, видя другие.

В павильонах и отделах колониальных стран чувствуешь это с исключительной силой. На первый взгляд как будто все интересно, содержательно, разнообразно. Но тотчас возникает какая-то щемящая тревога. Вы понимаете, что перед вами не Конго, не Сахара, не Уганда, а белые в Конго, белые в Сахаре. Вы видите пески, леса, озера и вершины как член «экспедиции вглубь», как изучатель дикарей, как обратитель в христианство «людоедов», как смельчак, взявший на себя тягостное бремя достать сокровища, которые таятся в глубине «таинственных территорий», полных опасностей, полных ненависти туземцев.

И я, воображая себя негром преклонных годов, кипел злобой, глядя на то, как приволокли на эту выставку кастрюльки и барабаны, маски и жалкую соломенную одежку из лесных деревень без ведома жителей, как измерили черепа матери, деда, сестры, как выставили под стеклом детишек... и как презрели, что это же люди, а не обезьяны.

Вот тут и подумаешь невольно о бывших царских колониях и о том, как выступают они на нашей выставке — сами, от себя, по планам своих ученых, по рисункам собственных художников, со своей литературой, музыкой, танцами, возрожденными через сотни лет и ставшими вровень с искусством Европы. Тут и вспоминаешь о гордости и самобытности народов, выбросивших к чертям вот этих длинноносых миссионеров и презревших вот этих золоченых адмиралов и генералов.

Тут и раскрывается правда времени. Но правда перемешана с ложью на Брюссельской выставке. Всюду ее хотят затемнить, и всюду ее чувствуешь, причем особенно остро, если сравниваешь выставленное с нашей страной.

Помню, когда возвратился один старый писатель после долгой эмигрантской жизни в Москву, шла декада узбекского искусства. Он спросил, что это такое — «узбекское». Ему объяснили, что столица Узбекистана — Ташкент, что в республику входят Самарканд, Бухара, Ферганская долина... Он напряг память и потом сказал:

— Ах, туркестанцы. Да, да... дикий народ...

А в этот именно час в пяти минутах ходьбы, в громадном зале Большого театра, звенел, замирал и все наполнял своей сверкающей колоратурой бесподобный голос Халимы Насыровой, и, как золотое веретено, летела над сценой божественная Мукаррам Турсунбаева — это чудо хореографии Востока, и гремел симфонический оркестр, исполняя произведения узбекских композиторов, и в фойе продавались книги Гафура Гуляма, Айбека, Алишера Навои, переведенные лучшими писателями и поэтами России...

Вот тебе и «мир медлительных движений», вот тебе и «загадочное молчание пустыни»!

Вот тебе и «дикий народ»!

IV

Дворец искусств был почти пуст.

Редкие посетители бродили по его залам, проходя мимо десятка картин, чтобы остановиться перед одной, сосредоточенно разглядывать ее, отходить, приближаться, изучать какую-то деталь... Они были одеты небрежно, большинство пожилые, иногда вдвоем или втроем, и тогда — короткие замечания полушепотом, приподнимание бровей, подавляемая улыбка или утвердительный кивок... Знатоки.

Я очень боялся показаться знатоком. Боюсь и сейчас. Какой я знаток? Я один из тех двух с половиной миллиардов, для которых, следовало бы думать, и пишутся все картины, создаются все скульптуры...

А чтобы быть знатоком, надо всю жизнь посвятить изучению. В данном случае надо прежде всего изучить все главные и подглавные направ-

ления живописи за последние пятьдесят лет. Их, как известно, было множество. Хотя некоторые из них были представлены всего одним или двумя художниками, но все равно каждое имело особое кредо и особую терминологию.

Вы, конечно, знаете, что такое фовизм, наивизм, дадаизм, супрематизм, не говоря уже об экспрессионизме и кубизме. Но ведь надо разбираться в тонкостях и неопластицизма, и ташизма, и районизма, каковой был изобретен в России, где прозывался лучизмом, и еще множества иных.

Чтобы быть знатоком, надо знать не только все декларации, все манифесты, но и все переходы одного течения в другое, все столкновения, все измены, все альянсы, все эволюции, все взаимоотношения всех группировок Франции, Англии, Америки, Германии, Италии... Только относительно живописи СССР «знатоку» достаточно знать, что социалистический реализм представляет собой «пережиток реализма, существовавшего до первой мировой войны, с некоторыми влияниями люминизма», как сказано в руководящей статье г-на Эм. Лангви, помещенной в генеральном каталоге Дворца искусств.

Кроме того, знаток должен совершенно свободно и творчески владеть особым словесным аппаратом, при помощи которого только и возможно разговаривать об искусстве.

«Произведения Ганса Гартунга свидетельствуют о большой силе воображения, не имеющей ничего общего с нефигуративным искусством, которое их окружает. Его линии, его формы изысканны и восходят к высшему пределу абстрактности, никогда не доходя до отождествления с каким-либо конкретным предметом или темой. Романтические в начальный период деятельности художника, они становятся с течением времени более дисциплинированными. Они никогда не бывают статичными, они все — в движении, все — в ритме...»

А на полотне — пучки темно-коричневых и тонких прутьев, намазанные поверх пучков светло-коричневых и толстых прутьев.

«Утонченные произведения Волса содержат элементы экспрессионизма и сюрреализма, перенесенные, однако, в эмоциональную абстрактность. Выполненные в тщательной и кропотливой манере, они выражают подсознательный символизм, который передается на волне энергической и всегда обновляемой точками, чертами, линиями и цветом...»

А на полотне — нечто, что может получиться, если попытаться затереть или смыть с материи пролитые чернила.

Таковы «элементы сюрреализма, перенесенные в эмоциональную абстрактность».

Нет, я не знаток, куда уж тут!

Но я, как и каждый из вас, хочу разобраться в том, что мне и миллионам таких, как я, хотят сказать новые художники Запада...

Прежде всего отбросим мысль, что все художники, которых называют «левыми»,— или шарлатаны, или спекулянты.

Вот я стою перед сооружением метра в два высотой, сделанным из железа и напоминающим вопросительный знак, воткнутый в вертикально стоящую рыбу. Из вопросительного знака торчат там и тут гвозди. Все это называется «Женщина перед зеркалом».

Шарлатанство?

Спекуляция?

Скульптура эта принадлежит Хулио Гонзалесу. Он испанец. Он родился в 1876 году, он создал «Женщину перед зеркалом» уже будучи пятидесятилетним человеком. Жизнь свою Гонзалес провел в безвестности. Он перенес жестокие лишения и унижения нищего. Он умер бедняком в начале последней войны. Как видно, он не хотел работать на ры-

нок, он был убежден в правоте своего метода, готов был на страдания ради него.

Но, быть может, он был просто бездарностью или неучем, который маниакально занимается искусством?

Недалеко стоит скульптура тоже из железа, сделанная лапидарно, с едва намеченными чертами лица. Это, как видно, крестьянка. Она сильна, даже могуча, она чего-то ждет, ее голова поднята вверх, и, вероятно, глаза ее устремлены вдаль. Какая пропорциональность в линиях тела, как прочно стоят на земле стройные, крепкие ноги. Сколько гордости и сколько горечи в этой фигуре! Ее выковал тот же Хулио Гонзалес. Это талантливо, и это очень умело!

Подобных примеров можно было бы привести множество, и прежде всего следовало бы упомянуть всемирно знаменитого Пабло Пикассо, который зачастую создает вещи непонятные и неприятные. Но ведь он же человек громадного дарования и замечательного умения? Тут же на выставке, в павильоне Франции, стоит его «Коза».

Она стоит, расставив ноги, изнеможенная ежегодным деторождением и ежедневным выдаиванием, готовая еще родить и еще доиться, только бы ей ухватить вон тот кленовый листочек, который мы не видим, но который, вероятно, видит она — так вытянута вперед ее жилистая шея и и вся ее бедная голова очень добросовестной, очень работящей козы...

Это высокое искусство — столь человечно изобразить животное. Все, кто ни проходит мимо, останавливаются, сперва вглядываются, потом лица добреют, и коза стоит всегда в кругу улыбок благодарных людей.

Нет, я уверен, что среди художников «левого» искусства есть талантливые, преданные своему делу, вполне искренние работники, ищущие нового.

Это во-первых.

Во-вторых, современная живопись, скульптура и архитектура Запада — явление сложное, многообразное, противоречивое, и, как мне кажется, не следует все валить в одну кучу.

Мне показались интересными попытки некоторых художников живописно постичь и выразить «вторую природу», создаваемую человеком. К сожалению, часто это имеет наивный и смешной вид.

Вот перед вами белая гладкая поверхность размером 113 × 176 сантиметров. В ней вырезаны строго прямоугольные площади, одна в другой, одна ниже другой. Называется это «Белый рельеф». Художник — Бен Никольсон.

Вот разветвление тонких черных линий с кружочками на них. Это схема какого-то транспортного узла. Картина называется «Сеть остановок». Линии эти прочерчены на фоне, напоминающем человеческие тела, но и фон тоже прочерчен координатными линиями. Неизвестно, что именно хотел сказать художник и этим фоном и этим чертежом, но стремление ввести в живопись такую тему уже показательно.

В так называемой «абстрактной» и вообще в левой живописи мотивы «второй природы» встречаются особенно часто. Андре Массон, Виктор де Вазарели, Джузеппе Капогросси, Карлос Ботело, Моголи-Наги, Виктор Серванкс и многие другие художники стремятся или вынуждены отражать отношение человека к новой, индустриальной, сциентифической обстановке, его окружающей.

На полотнах абстракционистов мы видим формы, близкие к деталям машин, динамическим схемам и так далее, в скульптуре мы встречаемся с разработкой геометрических, пространственных задач, с экспериментом в области сочетания разных материалов и фактур.

Прозрачный металл, пластмассы, металлические нити, фарфор, дерево входят в причудливые сочетания форм, и хотя они ничего не изо-

бражают, но иногда радуют глаз, как красивый барельеф или орнамент. В некоторых из них просвечивают технические идеи—равновесия, сопряженности, устойчивости, аэродинамичности и так далее. Может быть, эти произведения имеют некоторый оттенок прикладного, декоративного искусства, хотя они и не несут никаких утилитарных функций, однако от этого они не становятся менее изящными и сохраняют свой характер искусства, которое как-то отражает наш технически развитой век.

Однако искания в области формы в живописи и скульптуре для неспециалиста, незнатока — всегда только техника искусства, которую он не хотел бы замечать.

* * *

Каков нынешний мир?

Каков человек в этом нынешнем мире?

С этими вопросами обращается современник к художнику и скульптору.

Некоторые ответы мне непонятны. Я не берусь судить живописные заявления абстракционистов. Кое-какие их полотна мне показались интересными, мне хотелось их разглядывать, обдумывать, но они невнятны. Должно быть, они настолько субъективны, так тесно отнесены к личным ощущениям, мыслям или переживаниям, что в подавляющем большинстве случаев они не могут выполнить основной функции искусства — функции общения между людьми.

Что же касается тех произведений, которые как-то привязаны к реальности, то в их многообразии все-таки можно найти известное единство.

Конечно, его приходится искать совсем не там, куда устремлено внимание специалистов и знатоков; знатоков интересует прежде всего решение формальных задач, почти технология живописи и скульптуры. Когда же речь заходит о существе — о содержании, то есть о мирочувствовании художника, об идейной направленности произведения,— эти знатоки ограничиваются рацеями, подобными приведенным выше.

Итак, каков же нынешний человек в представлении художников — участников Всемирной выставки?

Это прежде всего человек, лишенный духовной силы.

Иногда он очень сильно проявляет себя, например в скульптуре Осипа Цадкина «Разрушенный город», где «человек» в животном ужасе проклинает убийц, налетевших с воздуха, или в скульптуре Эрнста Барлаха «Мститель», изображающей озверелого убийцу с кривым мечом в руках... Однако ни в одной картине, ни в одной скульптуре во Дворце искусств я не нашел человеческого образа, который вызвал бы во мне чувство гордости и радости, зависть, что я не такой, желание, чтобы таких было много.

Да, права была Сильвия, сказавшая о потрясающей силе, которая исходит из произведений советского искусства! Голова Горького, сделанная Шадром, и Маяковский Кибальникова возникают на этом фоне, как люди с другой планеты, вернее, как представители иного времени. Они красивы внутренней красотой устремленности, честности, самоотверженности.

Но в них есть еще одно качество, которого нет в творениях западных скульпторов и живописцев.

Групповой портрет голландской художницы Чарли Туроп, названный «Отдых друзей» и написанный в реалистической манере, изображает очень хороших обыкновенных людей, не изломанных, не рафинированных, несомненно работающих и работящих, живущих не очень легко, но и не отчаивающихся — пожилых, молодых и совсем юных. Я хотел бы посидеть с ними, послушать их рассказы, посмеяться их шуткам... Впрочем,

шутят ли они? Я не уверен. Но главной и странной чертой этого полотна является то, что все участники смотрят «в аппарат», то есть на зрителя, и внимательные глаза их так напряжены, в лицах их столько серьезного ожидания, что можно подумать, будто это не отдыхают друзья, а выслушивают приговор подсудимые. Они отрешены друг от друга. Они как бы спрашивают о чем-то живописца и зрителя. Они обращены не к миру, не к обществу, а к своей судьбе: что с ними будет?!

Я еще вернусь к этой теме — как мне кажется, главной теме нынешнего западного искусства,— когда буду рассказывать об американском балете. Сейчас я говорю о ней в связи с работами Шадра и Кибальникова. Особенностью этих образов является именно их обращенность к миру, к человечеству. Кажется, что перед ними множество народу, что вокруг них люди, и ты сам ждешь от них слова и хочешь сказать им что-то.

Можно возразить: ведь это поэты, писатели!

Во-первых, посмотрите на статую, выставленную тут же,— «Бальзак» работы Родена. Закинув голову, он стоит, одержимый своими видениями, запахнулся в пальто, как будто его пронизывает дрожь, всматривается во что-то, видное только ему одному...

А во-вторых, сравните с групповым портретом Туроп «Киргизскую девушку» Чуйкова, которая выставлена тут же, недалеко. Сколько устремленности, надежды, воли в ее лице, как все это полотно дышит будущим, как обращена эта девушка к миру, к людям: она стремится к ним. Им служить идет она! А ведь она не поэт, не писатель, а рядовая девушка из киргизского села.

Я сравнил с Шадром и Кибальниковым голландскую художницу потому, что люди на ее полотне изображены наименее искаженно, что они не уроды, а просто люди.

Но сколько уродливых и страшных людей видел я во Дворце искусств!

Вот художник Леви ле Броки изобразил «Семью».

Где-то под лестницей, в каморке, — полусбнаженные фигуры. Одна, сидящая на чем-то вроде нар в позе изнеможения или отчаяния, другая, вытянув длинную напряженную шею, обращена к зрителю с тем же вопросом и тем же ожиданием, что и на многих портретах и картинах выставки. Существо — судя по размерам, дитя — стоит тут же, узкогрудое, жалкое, тонкошеее... Беспросветность. Бессилие. Бедность...

Марсель Громэр — «Война». Одна из самых сильных работ на выставке. Каменные люди в каменных шинелях сидят в тесноте рядом, надвинув на лбы каменные шлемы и подняв бетонные воротники. Полная безжалостность и... полная покорность. Ждут. Смерти или убийства? А может быть, супа? Чудовищно и унизительно. Вот это и есть человек нашего времени?

Фриц ван ден Берге — «Генеалогия». Голые хлипкие мужчины с черными дырами вместо глаз, вытянув головы вперед, наклонившись, как для драки, то ли наступают, то ли ждут нападения. А на их плечах сидят тоже голые бабы-раскоряки разных размеров и торжествующие ублюдки-отпрыски. Вероятно, все это должно передать ужас борьбы за существование и за продолжение рода. Значит, вот он какой — человек нашего времени?

Муж и жена дома безразлично глядят перед собой.

Человек без лица сидит в небрежной позе в комнате.

Цирк. На одной картине человек жонглирует своей головой. На другой толстые акробатки с безжизненными лицами стоят одна на ногах, другая на голове, как на игральной карте. На третьей картине неживые

человечки, похожие на иероглифы, совершают условные движения циркачей...

Утопленники. Художник Хежедузик. Над утопленником стоят люди без всякого выражения на лицах. Еще Хежедузик. Серые, уже начинающие пухнуть трупы плывут по воде. Художник Нолан. Разложившаяся корова висит в сучьях дерева над убывающей водой. Пьер Полю. Вытащили утопленника из канала. Над ним силуэты четырех женщин.

О, как печален нынешний мир! Как страшно жить на этом свете, господа!

Неужели же нет ничего, что может потрясти зрителя? — спросят читатели.

Есть, что может потрясти.

Вот картина. На фоне превосходно написанного облачного неба у верхней рамки — голова. Она закинута назад. Связки и жилы на шее так напряжены, что кажется, будто с них сняли кожу. Патлы войлочных волос обрамляют лицо, или то, что было лицом. Глаза закрыты. Зубы оскалены. Страшные желваки написаны сильной кистью. Кому принадлежит эта морда?

Шея переходит в тело. Налево от зрителя это зеленоватая, с алым соском женская грудь. Ее сдавливает чья-то, в узлах мертвых мускулов, громадная рука-лапа. Вправо от зрителя шея переходит в подобие ноги. Она согнута в колене. Уродливая икра продолжается ступней, уже истлевшей, сквозь нее видна кость. Ступня эта попирает нечто телообразное, чему и принадлежит рука, сдавившая сосок. Это нечто розовато-зеленоватое лежит, подпертое какой-то тумбочкой и скелетом еще одной ступни, похожей на пень. Тут же валяются красные кишки и какие-то личинки или бобы. Внизу, совсем уже у нижней рамки, — пейзаж пустынной местности, на которой намечена маленькая фигурка человека.

Нелепое сочетание полной неправдоподобности с фотографической точностью письма делает картину сенсационной, но от этого, конечно, она не становится искусством. Люди останавливаются перед ней, сдвигают брови, пытаясь узнать, что это такое, отходят, подходят, вглядываются, переглядываются, ищут в каталоге объяснений...

В каталоге значится: Сальватор Дали. «Предостережение о гражданской войне». Вот оно что! Пугает революцией. Знаменательно, что именно ужасу перед революцией посвящена на выставке наиболее сенсационная картина! Именно эту тему и выбрал для себя наиболее аттракционный из современных сюрреалистов испанец Сальватор Дали.

«Знатоки», конечно, не интересуются темой и целью художника. Они улыбнутся на мои слова о революции. Когда я громко высказал мое предположение, один из критиков, случившихся возле, сказал:

— Это было бы слишком серьезно для Сальватора. Испанец только ищет сенсаций. Он не размышляет. Он параноически галлюцинирует, и тем интереснее, чем нелепее. Это адепт абсурда!

Эффектно сказано. Адепт абсурда, то есть человек, с которого взятки гладки. Безответственный параноик. Поэтому не трогайте его. А параноик-то — самая законченная контра!

Сюрреализм считается модным течением в Европе.

Вот картина художника Дельво. В алькове, на фоне синего неба, под хрустальной люстрой, до бедер прикрытая белой простыней (тут надо сказать — «тканью» или «покровом»!), спит молодая розовотелая женщина писаной красоты. Три совершенно обнаженные женщины, тоже писаной красоты, сидят возле, приопустив глаза как бы в молитве или в мечтах. Называется — «Люстра». Название явно дано для того, чтобы выразить полное пренебрежение художника к каким-нибудь попыткам осмыслить изображенное. Такова же картина «Руки» — тоже с пол-

ностью раздетыми женщинами, сомнамбулически шествующими рядом с полностью одетыми мужчинами...

Я далек от мысли обидеть старого бельгийского мастера Поля Дельво, хорошего рисовальщика, художника, не лишенного фантазии. Его женщины нарисованы отлично, раскрашены старательно. Я хочу только сказать, что на вопрос, который я задаю художнику,— каков нынешний человек, мой современник,— Дельво отказывается отвечать. Ибо сны, им изображаемые, говорят скорее о том, каким *не бывает* современный человек.

Эта «писаная красота» далека от жизни. Может быть, к ней ближе то безобразие фигур и лиц, которое главенствует в картинах Дворца искусств? Люди-животные, люди-палачи, люди-планктон и, наконец, люди, растоптанные жизнью,— бедняки, сумасшедшие, погибшие, утопшие?

Этого не может быть.

Несомненно, жизнь большинства людей Европы и Америки очень трудна: изнуряющий труд у работающих, изнуряющая нищета у безработных, тревога за будущее у тех и у других.

Несомненно, внешний облик этой жизни непригляден, а отношения между людьми, живущими в условиях яростной борьбы за существование, калечат человека, и это сказывается на его облике.

Однако действительно ли так ощущают эти трудные условия существования современные простые люди Европы и Америки?

Делают ли они вывод о том, что жизнь отвратительна, что люди — звери, подобные тем, которых изобразил на своем полотне «Генеалогия» Фриц ван ден Берге? Что единственный путь человека — это путь к смерти, или самоубийству, или в лучшем случае к забвению?

Я думаю, что нет.

Я подозреваю, что именно те, кому трудно живется в капиталистических странах, меньше всего думают о самоубийстве и о гибели, меньше всего склонны видеть мир разбитым на отрезки, перевернутым, залитым грязью. Уж кому живется хуже, чем героям неореалистических фильмов современного итальянского кинематографа! Такие бедняки, что даже в день свадьбы невесте нечем прикрыть наготу, такие нищие, что соглашаются на роль лошадиных помощников на крутых участках дороги... А как божественно прекрасны эти женщины, как красивы и сильны мужчины и, главное, как полны жизни и веселья, полны надежд и огненных страстей!..

Вероятно, многое зависит от того, *кто* именно берется изображать современного человека Запада.

Тот ли, кто любит и верит в него.

Или тот, кто его знает мало и видит только его заботы и его горе.

Тот, кто видит только заботы и горе, может испугаться. Прийти в отчаяние. Вообразить, что все гибнет, утопает, разваливается и нет сил, способных преодолеть беду.

Паника художника тем отличается от паники обыкновенного человека, что она видна всем и может заразить многих. Она опасна еще и тем, что может произвести впечатление, будто ею больны массы народа.

Между тем это не так. Трудовой человек, которому плохо живется, зачастую смотрит на свои лишения спокойнее и переживает их мужественнее, чем тот, кто их наблюдает и их изображает.

Трудовой человек разбирается в сложности и запутанности противоречивой жизни лучше и более трезво, чем рафинированный созерцатель, пусть и самых лучших намерений, самого гуманного направления.

В начале этой главы я написал, что человек в изображении художников, представленных во Дворце искусств, лишен духовной силы.

А что, если этой духовной силы лишены художники, его изображающие? Что, если они изображают свою интеллигентскую растерянность перед путаницей множества противоречий, обступающих их в наши дни?

Что, если художники эти похожи на трубо-человека в ватиканском павильоне: схватился за голову, бедный, и не понимает, что вокруг него происходит?

Ходишь по бесконечным залам Дворца искусств и спрашиваешь себя: чему порадоваться?

На кого полюбоваться?

Кого выбрать своим героем, своей любовью, своей мечтой?

Такого нет.

Заумные измышления, математические эксперименты, подсознательное фрейдистское визионерство..: Иногда реминисценции из примитивного искусства негров или древних индейцев...

Но, может быть, колорит? Яркость красок? Смелость композиции?

Да, несомненно. Только это относится к тем художникам, которых принято объединять под названием «импрессионистов», хотя они все вовсе разные. На их произведениях отдыхает глаз. Это праздник цвета, веселье, любовь к жизни... Сезанн, Матисс, Ван Донген, Гоген... Однако ведь они — девятнадцатый век. Их уже нет. Они уже не пишут. Это не современная живопись.

...Я не знаю, насколько произведения, выставленные во Дворце искусств на Всемирной выставке 1958 года, соответствовали общему состоянию живописи и скульптуры нашего времени в странах Запада.

У меня есть подозрение, что отбор их был пристрастен.

Однако в какой-то степени он отвечает вкусам и стилю, господствующим в изобразительных искусствах капиталистических стран.

Я признаю за художником право избирать ту манеру, те способы выразительности, которые он считает наиболее подходящими для своей темы и для своего гения. Пусть пишет, как хочет. В конце концов, если картина непонятна, это плохо не для зрителя, который пройдет и забудет, а для художника, мимо которого пройдут и которого забудут. Я уверен, что нашу живопись обедняют недостаточные поиски новых форм, узость в понимании традиций. Однако, когда пересмотришь тысячи картин современного Запада, убеждаешься, что человечно в высоком смысле слова только наше искусство, что только в нем есть радость и гордость Человека, только оно зовет к большим делам, к прекрасным целям.

V

Все на свете не так просто, как может показаться приехавшему на короткий срок журналисту. Начать раскапывать историю, забираться в тайники, прослеживать все связи — и можно в каждом, даже самом малом факте найти материала на книгу. Я виноват перед художниками, что грубовато подошел к их искусству и даже поиздевался над теми, кто столь тонко и эрудированно пытается представить их публике. Я и не претендую на то, чтобы критиковать искусство. Я думаю о человеке нынешнего времени, а ведь искусство своим предметом имеет именно человека. Как профессионал, которому приходилось достаточно близко наблюдать труд литератора, режиссера, сценариста, я знаю, что труд этот труден безмерно, что, сидя за письменным столом, люди потеют, как если бы они рубили уголь, и задыхаются в сердечных приступах не меньше, чем задыхаются летчики на крутых виражах реактивных самолетов, что отравление отвергаемыми вариантами действует так же, как отрав-

ление метаном или хлороформом, что периоды творческой неподвижности не менее мучительны, чем физический паралич... И поэтому я уважаю художников, преданных своему делу, даже если я не понимаю их произведений или не согласен с ними.

Но, сетуя на жестокость критиков к себе, каждый из нас оказывается жестоким к другим, как только речь заходит о том общем, что, как крыша над головой человечества, возводится всеми художниками, всеми писателями, всеми режиссерами, то есть об искусстве. Тут личное отступает перед существенным, а ведь существенным в искусстве в конце концов остается именно человек — его чувствование мира и общества.

Я огорчен не качеством картин, что мне довелось увидеть на Всемирной выставке, а тем обликом, состоянием человека Запада, которые просвечивают сквозь полотно и краски. Я спрашиваю себя: неужели так ощущают жизнь все художники Франции, Бельгии, Америки, Англии? Как отдельную жизнь каждого только внутри себя и только для себя, как поток печальных воспоминаний и тревожных предчувствий, как последнее разоблачение всего, вплоть до телесной красоты, вплоть до яркости солнечного света и красок природы?!

Я думаю, что не все люди искусства так чувствуют мир и жизнь там, на Западе.

Я уверен, во всяком случае, что очень многие ждут другого понимания, другого видения.

Но вместе с тем я знаю, что все это далеко не просто.

И не только не просто, но еще и нарочито осложнено наслоениями множества всяких «теорий», «философий» и «доктрин», среди которых наиболее сложны те, которые стремятся доказать незаконность вообще каких-либо теорий и доктрин. Как часто, глядя на какую-нибудь странную картину или слушая что-то очень удивительное, мы и не подозреваем, что поводом к созданию была какая-то фрейдистская идея, или теософическая теорема, или реминисценция из примитивов глубинной Африки...

Мы не вполне представляем себе, до какой степени обращены в глубь себя многие художники Запада. Кажется, они разглядывают и изучают в себе не то, что роднит их с людьми, не то, что является общим, близким и важным всем людям, а как раз наоборот — только то, что является их субъективной, приватной особенностью, а еще лучше — странностью. Это затмевает для них весь громадный, богатый и глубокий внутренний мир человечества, то есть истинный объект искусства. Как заняты они собой!

«...Я часто ставлю неподвижную, чего-то ищущую фигуру в центре сцены... Почему же эта олицетворяющая ожидание фигура представляется мне такой эмоционально насыщенной? Женщина, одиноко стоящая посреди сцены, и люди, проходящие мимо, пока сзади нее, в глубине, не появится мужчина? Почему в глубине сцены и почему всегда за женщиной и после длительного ожидания? Я не совсем уверена в ответе, но вспоминаю, что подолгу я оставалась, словно заключенная, в материнском саду. Большую часть времени отца не было дома, и я мечтала о том, как он придет и снимет с меня заклятие. Возможно, это и есть ответ».

Так пытается разгадать тайну своих творческих замыслов известная американская танцовщица и режиссер балета Агнес де Милль. Но я обратился к ней не только для того, чтобы привести собственные слова западного художника о самом себе, а и потому, что мне хотелось процитировать ее высказывания о другом очень популярном и ценимом в США хореографе — Джероме Роббинсе, о котором я хочу сказать несколько слов в заключение этого, чрезмерно затянувшегося очерка.

«Характерной чертой стиля Роббинса», пишет Агнес де Милль, является «прежде всего полное использование сильного, свободного во всех движениях тела, отдающего, как в спорте, всю свою энергию и достигающего наивысшего напряжения. Изображает ли движение радость или печаль, в него вкладывается вся сила, весь натиск, характерные для атлета... Роббинс усиливает это качество чисто акробатическими приемами и трюками...

...Но наиболее заметной чертой творчества Роббинса является, к счастью, его юмор. Он шутит над ритмом, над пространством, над светом, тишиной, звуком — все это элементы его стиля...»

Агнес де Милль пишет интересные вещи о творческих особенностях Роббинса как режиссера балета, но это относится уже к области, в которой должны разбираться знатоки. Черты, отмеченные в приведенной цитате, верны, однако они относятся к внешности искусства Роббинса. Более глубокое его содержание раскрывается в других особенностях.

Нас встретил мистер Грегори, тонкий, стройный, молодой. Он сказал, что рад видеть нас в американском театре, что истоком современного искусства является импрессионизм, что современная живопись утратила совершенство техники, что современные художники слишком технизированы и потому холодны, что его мама уехала из СССР в 1932 году и его папа, как и его мама,— чистейший русский.

Мистер Грегори провел нас в партер и, раскланявшись с изысканной вежливостью, выразил надежду, что мы приятно и с интересом проведем вечер.

Златочешуйчатый театр, уютный и красивый, был полон ровесников мистера Грегори, то есть только что оперившихся птенцов, которые являлись представителями мировой прессы. Они галдели, пересаживались, рассматривали фотографии, махали друг другу и время от времени начинали хлопать — юноши в усах и девушки в очках, может быть, будущие Драйзеры и Ромены Ролланы.

Наконец над оркестром появился дирижер, столь же молодой, как и публика. Генеральная репетиция началась.

Русскому человеку так же трудно смотреть классический балет, как итальянцу слушать оперу. Тут за нами приоритет и бессменное первенство. Первое отделение было слабо, шаблонно, манекенно: классика, как видно, далека от сердца и режиссера и исполнителей. Последнее отделение вполне оправдало слова Агнес де Милль, что наиболее заметной чертой Роббинса является его юмор — это был тоже классический балет, только наоборот: пародия на классику. Своего рода балетный капустник, часто очень остроумный. Мы смеялись, мы согласно пожеланиям мистера Грегори, чувствовали себя приятно.

Но главное было во втором отделении, относительно которого нетрудно было понять, что это и есть балет Джерома Роббинса, подлинный его балет, без реверансов в сторону классических традиций и без реверансов в сторону публики, которая пришла повеселиться.

Второе отделение было посвящено большому, сильному, настоящему искусству.

Это было видно не только по тому, что происходило на сцене, но и по тому, что было в зале. Зал замер. Молодежь притихла, все глаза были устремлены на танцующих: зрители смотрели самих себя. Они видели самих себя в тех юношах и девушках, которые были на сцене.

Страшно взревел и захохотал джаз.

И смолк.

И на сцену вышли люди. Очень молодые. В джемперах, в обычной обуви, в узких брюках... Они остановились группой. Нет, стайкой. Нет, они остановились каждый в отдельности, но рядом друг с другом.

Как будто их вытолкнула сюда какая-то сила. Поднятые плечи, немного вытянуты вперед головы. Глаза... Глаза у них были широко открыты, почти вытаращены. Они смотрели в зал. Как будто искали кого-то. Или спрашивали о чем-то. Или ждали... Опасности?

Но это были крепкие парни. Не подонки, не богема даже. Их лица серьезны, даже строги. Настороженное внимание и озабоченность. И вместе с тем каждый не даст себя в обиду. Нет. Он не хочет погибнуть. Он не знает, кто рядом с ним. В конце концов ему до этого нет дела. Каждый за себя. Такова, как видно, жизнь!

Что же будет?

Что будет со мной? Что вы сделаете с нами?!

Удар джаза. Грохот джаза.

Развернуты руки. Растопырены пальцы. Подняты головы вверх.

Что там?

Невыносимо это ожидание. Душа не может выдержать неподвижности.

Она томится. Она мечется, не находя покоя, не находя ответа.

Она припадает к земному, приникает к обычному...

Нет покоя.

Она устремляется вперед, как будто завидев что-то, подобное обещанию. Протянуты вперед руки, надломлены брови... Нет.

Ничего нет.

Плетется человек обратно к своей тоске.

А человек молод. Вот потянулся так, что хрустнули кости, скрипнули могучие мускулы. Как хорошо почувствовать силу в теле — пружинистом, знающем ракетку, весло, мяч, турник...

Какое счастье вдохнуть целую цистерну воздуха, подставить лицо пропеллерам ветра! Ведь это же двадцать лет, ведь это же лучшие годы!

И зал вздыхает. Как будто тоже потягивается. Расправляются плечи. Поднимаются головы...

Нет! Нет!

Удар джаза. Страшный рев джаза.

Как загнанный зверь, глядит юноша.

Застыл, оцепенел.

Прыжок, еще прыжок.

Танец страха. Поиски спасения. Они вместе обречены, но они не видят друг друга. Они перескакивают один через другого, но не замечают никого. Они движутся стремительно, синкопическими вздрагиваниями... Зеленые, розовые, желтые джемперы сверкают яркими пятнами на сцене, они как будто гонятся за чем-то и вместе убегают от чего-то.

Нет. Н е т!!

Убежать нельзя. Выхода нет.

Конец.

Последний, полный страшного вопроса взгляд: что же вы сделали с нами?!

И они падают, пораженные смертью, падают в разные стороны, падают, не глядя друг на друга, не видя никого рядом.

И зал молчит, как будто все это совершилось и с теми, кто сидит в креслах.

Потом грохот аплодисментов вспыхивает и несется к сцене.

...Во втором отделении было еще несколько танцев.

Некоторые из них были посвящены любви.

В них я увидел большую страсть, изобретательность в проявлении этого чувства, большую мимическую изощренность. Они отличались тонкостью и вместе с тем силой. Это были эпизоды первой, очень молодой любви.

Но и тут тщетно ждал я общения. Его не было. Люди, рвущиеся друг к другу, жаждущие один другого, не встречаются взорами. Их лица остаются напряженно отсутствующими. Но не оттого, что мимика чужда искусству Роббинса, а как раз потому, что таково мимическое решение темы.

Люди жаждут один другого, и вместе с тем они чужды друг другу. Каждый из них сам по себе. Каждый из них только свою судьбу исполняет, когда ласкает другого.

Это не они идут навстречу друг другу — человек нашел человека,— это что-то вне их толкает их друг к другу, обрекает их на совместность...

Мы повидались с Роббинсом наскоро: он спешил, у него было назначено совещание с артистами, я же уезжал на следующий день.

Мы беседовали стоя, возле кулис на сцене. Участники труппы нас окружили. Здесь, близко, я видел те же юные лица. Они все с любопытством глядели на нас, советских литераторов, и жадно прислушивались к беседе. Когда я отозвался с большой похвалой о некоторых танцовщиках и балеринах, они были совсем по-ребячьи счастливы.

Я сказал Роббинсу о моем впечатлении. Он выслушал меня и сперва стал объяснять, что взгляд танцоров в зал — накладка, что это надо исправить. Но после нескольких минут разговора он признал, что такова тема, что таков его замысел.

— А замысел,— сказал он, покачивая головой сокрушенно,— замысел таков потому, что таково время и такова молодежь. Она всегда спрашивает: что будет дальше? Что будет с нами?

На этом мы расстались. Я думаю, что рассказ мой о танце полностью соответствует мыслям режиссера.

И все-таки, может быть, я ошибаюсь?

Теперь я продолжу цитату из статьи Агнес де Милль.

«...В каждом романтическом эпизоде (балетов Роббинса.— *Б. А.*) кроется обреченность и гибель; все повторяется снова и снова. Выхода нет».

Так определяет общий характер творчества Роббинса его соотечественница и его коллега по искусству.

Но, быть может, такое понимание мира свойственно пусть и «первому хореографу США» (как рекомендуют Роббинса информационные материалы павильона США и что можно легко себе представить, ибо он действительно замечательный мастер), но только ему, и это есть его субъективное представление о молодежи Америки сегодня?

Продолжим цитату из Агнес де Милль.

«Жизнь,— пишет она,— является своего рода формой неуверенности, искания ответов: «А что же дальше?» и «Как?» Художник еще меньше, чем все остальные, знает эти ответы... Приходится прыгать в темноту...»

И еще:

«Что касается меня, то я одержима какой-то неспособностью — почти в духе Генри Джемса — привести героя и героиню к счастливой развязке».

Пожалуй, это не противоречит тому, что я написал о творчестве Джерома Роббинса. О творчестве большом и серьезном, но, как мне кажется, полном печали, тревоги и даже страха.

* * *

Промелькнули мои четыре дня в Брюсселе. Пора было пускаться в обратное плавание к родным берегам.

Я видел мало и все-таки много.

Я видел труд и творчество людей почти всего мира, пусть они были преподаны тенденциозно и многое важное было нарочно скрыто от моих глаз.

Несмотря на это, я ощутил силу человечества двадцатого столетия, силу, несравнимую с той, что была сто лет тому назад.

Я радовался мудрости ученых, восхищался смелостью инженеров, сочувствовал исканиям художников, торжествовал, видя успехи социалистических стран.

Неотступная мысль сверлила мне мозг, когда под водяной звон колоколов, в реве геликоптеров я спешил из павильона в павильон, чтобы выбрать то, чему следует посвятить отпущенное мне время.

Я думал о том, что вот в этой точке планеты произошло очень важное и показательное явление. Здесь не только совместно вели разговоры, но и совместно плодотворно строили и созидали страны разных экономических и политических систем.

Работники этих стран — торговые специалисты, инженеры, художники — нашли способ создать общими усилиями стройное целое, очень содержательное, очень интересное для всех людей мира. Прогресс человечества достиг такой высоты, которая позволяет достигать эффекта всемирных масштабов.

Неужели же нет способа преодолеть те взрывные силы, которые стремятся возбудить одни государства против других?

Неужели нельзя мероприятия, столь же широкие, как эта выставка, превратить из эпизодов в метод?

Расширить этот опыт?

Распространить его на другие созидательные дела, столь же широко охватывающие страны или хотя бы группы стран?

Почему не рассматривать эту выставку, как подготовительный семинар по сосуществованию?

Вслед за этим семинаром могут быть проведены еще и еще другие, иных направлений, разной обширности, разного характера, чтобы таким образом вступить на путь, единственно благоразумный в наш атомный век,— путь экономического соревнования, путь совместных усилий для использования сил природы, для освоения неудобных территорий, для свободного и широкого обмена благами труда и культуры.

ПУБЛИЦИСТИКА

И. ПЕШКИН

НОВЫЕ КЛАДОВЫЕ ИНДУСТРИИ

«Важной задачей предстоящего семилетия является интенсивное вовлечение в хозяйственный оборот богатых природных ресурсов нашей страны...»

(Из тезисов доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС).

В конце прошлого века была опубликована работа Дмитрия Ивановича Менделеева «К познанию России». Знаменитый ученый писал:

«...Не будь разного рода стесняющих обстоятельств... мы могли бы залить нефтью весь свет, каменным углем не только снабдить себя в изобилии для всех видов промышленности, но и отоплять многие части Европы, уже нуждающиеся в каменном угле, начиная с Италии и Франции, а железные руды могли бы превратить в такое количество чугуна, железа и стали, с какими не могли бы соперничать не только Англия и Германия, своих хороших руд почти не имеющие, но и Северо-Американские Соединенные Штаты».

Но вот пришла пора, и свершилось то, во что верили лишь передовые люди,— Россия вырвалась из «стесняющих обстоятельств», тормозивших развитие ее производительных сил, и неудержимо двинулась вперед. И тогда другой замечательный русский человек — Алексей Максимович Горький — сказал:

«Земля как бы чувствует, что родился на ней законный, настоящий, умный хозяин, и, открывая недра свои, развертывает перед ним сокровища».

Наше государство расположено на земле, недра которой содержат самые разнообразные полезные ископаемые. Однако в досоветское время геологическое изучение страны находилось на исключительно низком уровне. Особенно это относилось к районам, лежащим к востоку от Уральского хребта,— Сибири и Дальнему Востоку, где, как это предвидели прогрессивные ученые старой России, а в наши дни наука доказала со всей неопровержимостью, сосредоточены колоссальные, практически неисчерпаемые ресурсы всех видов минерального сырья.

Неоценимую по своему значению работу проделали советские геологи, чтобы раскрыть природные сокровища нашей Родины. Наличие мощной сырьевой базы способствовало тому, что СССР в кратчайшие исторические сроки вышел на второе место в мире по выпуску промышленной продукции. Лучше, чем любая другая страна, мы обеспечены сырьем, требующимся для выплавки черных и цветных металлов. У нас разведаны огромные запасы нефти, природного газа, калийных солей и других ископаемых. Советский Союз располагает всеми (абсолютно всеми!) видами сырья, нужными для непрерывного развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Наша геологическая служба продолжает отыскивать новые источники, новые кладовые для промышленного производства.

Захватывающие перспективы дальнейшего прогресса страны начертаны в историческом документе — тезисах доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде партии. В предстоящем семилетии значительно повысится экономический потенциал Советского Союза для нового подъема жизненного уровня народа. В течение ближайших пятнадцати лет, говорится в тезисах, «в нашей стране будет создана материально-техническая база коммунизма».

Для успешного решения экономических задач семилетки потребуется наличие достаточных ресурсов минерального сырья. Это значит, что нужно будет более эффективно вовлекать в хозяйственный оборот природные богатства страны.

В контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы намечено расширение геологоразведочных работ, увеличение их общего объема примерно на 65 процентов. Необходимо дальнейшее улучшение размещения производительных сил, приближение промышленности к источникам сырья, топлива и районам потребления. В семилетнем плане большое внимание уделяется освоению природных богатств восточных районов СССР.

В эти дни, когда наш народ с небывалым патриотическим подъемом встречает XXI съезд КПСС новыми достижениями и с огромной активностью обсуждает контрольные цифры на 1959—1965 годы, особо интересно перелистать страницы предыдущих планов развития нашего хозяйства, выполнение которых сделало Советский Союз столь могущественным.

Стоит только вспомнить, с чего мы начали и как начали, чтобы понять, что основой наших успехов является замечательная стратегия хозяйственного строительства, разработанная великим Лениным.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Известно, что уже в первые месяцы существования Советского государства В. И. Ленин выдвинул идею комбинирования ресурсов Урала и Сибири. В плане доклада на IX Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич выписывает цифры и факты, касающиеся состояния металлургии. Мы видим здесь рядом со словами «Надежд. завод (вдвое??)» приписанное его рукой красными чернилами замечание: «+уголь в Сибири».

Вдумаемся в эту краткую приписочку и вспомним данный Лениным в «Развитии капитализма в России» гениальный анализ причин падения старой уральской металлургии, базировавшейся на древесном угле. Возрождение уральской металлургии имело жизненно важное значение для страны. Ленин рассматривал сибирский уголь как важнейшее средство подъема производства металла на Урале.

Отсталая техника производства сделала древесноугольную уральскую металлургию неспособной конкурировать с технически более передовой коксовой металлургией юга, возникшей в конце прошлого века. И уже в самом начальном периоде хозяйственного строительства Ленин намечает единственно возможный путь, на котором мыслим был подъем Урала: плюс уголь в Сибири.

В начале 1924 года в Кемерове вошла в строй коксовая батарея, она начала выжигать кокс для Урала. В марте был заключен договор с «Уралметом» о сбыте на Урал 35 тысяч тонн кемеровского кокса, а в июне первая доменная печь на Урале (на Нижне-Салдинском заводе) перешла на кузнецкий кокс.

Следующим этапом было строительство Урало-Кузнецкого комбината, одной из основных осей первой пятилетки. Подготовка к этому началась давно. Еще в апреле 1918 года ВСНХ в развитие указания В. И. Ленина объявил конкурс на «проект создания единой хозяйственной организации, охватывающей область горно-металлургической промышленности Урала и Кузнецкого каменноугольного бассейна».

Советский индустриальный Урал поднялся и развернул свои могучие плечи, питаясь кузнецким углем. Позднее прибавился еще и карагандинский уголь. Усиленно развивалась добыча топлива в местных угольных бассейнах — Челябинском, Кизеловском, Богословском.

В предстоящем семилетии районы Урала сохранят ведущее место в Российской Федерации по производству черных и цветных металлов и тяжелому машиностроению.

Индустрия Урала колоссально выросла благодаря непрерывному увеличению ее минерально-сырьевой базы. На Северном Урале открыты уникальные залежи алюминиевого сырья — бокситов, на Южном Урале имеются богатые медные руды, никель, природные легированные железные руды и много других ископаемых.

На Урале добывают и уголь, но уральская металлургия и другие отрасли тяжелой индустрии не могут существовать без кузнецкого и карагандинского угля, без помощи других экономических районов.

Сейчас Урал получает из Кузбасса ежегодно миллионы тонн угля. Однако его топливный баланс в связи с огромным размахом промышленности остается напряженным. Северо-западнее Урала расположен Печорский угольный бассейн, чрезвычайно богатый коксующимися углями, которые частично сжигаются в топках. Перевод части уральских заводов на печорский уголь позволил бы резко сократить завоз кузнецкого угля. Расстояние от Печоры до Урала намного короче, чем от Кузбасса. Чтобы дать печорскому углю выход на Урал, нужно соединить железной дорогой Печору с Уралом.

В северной части Урала стальные пути ныне обрываются у Полуночного. Там в военные годы были открыты богатые залежи марганца, буквально выручившие уральскую металлургию. Дальше тайга и тундра. Новая железная дорога прорежет тундру и вновь открытые месторождения железной руды, бурых углей и других полезных ископаемых. В доменных печах Серова, Нижнего Тагила, Чусовой и других заводов первоклассный печорский уголь превратит уральскую руду в отличный металл.

Фактор времени играет серьезнейшую роль в нашем экономическом соревновании с наиболее развитыми капиталистическими странами. В этом отношении приобретает существенное значение изменение структуры топливного баланса СССР и повышение удельного веса более экономичных видов топлива, в частности газа. Уже в плане шестой пятилетки была поставлена задача — подготовить к эксплуатации Березовское месторождение газа (северо-запад Сибири) и приступить к строительству газопровода Березово—Свердловск.

Но для обеспечения потребностей растущей индустрии Урала этого недостаточно. В канун сорок первой годовщины Октября закончилось строительство газопровода, идущего из Башкирии к Магнитогорску. В предстоящем семилетии развернется строительство гигантских газопроводов, по которым на Урал поступит газ из Узбекистана. Потоки дешевого топлива потекут за сотни и тысячи километров из Газли (вблизи Бухары, в юго-западной части Узбекской ССР) в Челябинск и Свердловск. Они внесут коренные изменения в энергетический баланс Урала.

Снова и снова возвращаешься к гениальному плану В. И. Ленина — плану комбинирования природных богатств. Новые замыслы, новые решения нашей партии и правительства основаны на том же ленинском принципе — так размещать производительные силы, чтобы можно было обеспечить максимальную экономическую выгоду и способствовать дальнейшему подъему всех экономических районов, союзных республик. На Урал должны прийти и газлинский газ и печорский уголь. По высоковольтным линиям электропередач сюда уже течет электрический ток, вырабатываемый Волжской гидроэлектростанцией имени В. И. Ленина.

Железорудные богатства Урала известны. Рудой горы Магнитной вот уж более четверти века питаются домны и мартеновские печи крупнейшего в мире Магнитогорского завода. Он один выплавляет значительно больше чугуна и стали, чем производила вся дореволюционная Россия, и в семь-восемь раз больше, чем давал весь старый Урал. Магнитогорской рудой питался (и частично теперь еще питается) Кузнецкий металлургический комбинат. Немало ее переплавили домны Нижне-Тагильского и Челябинского заводов.

Но Магнитная гора вырабатывается, пройдет не столь уж много лет, и запасы руды в ней будут исчерпаны. Ресурсы других крупных уральских месторождений также исчерпываются, определены сроки выработки горы Благодати и горы Высокой. Возникла проблема — изыскать новую мощную базу, которая могла бы обеспечить сырьем гиганты уральской металлургии.

Выход из положения заключается, во-первых, опять-таки в комбинировании производительных сил разных экономических районов страны, а во-вторых, в комплексном использовании руд, которые до последних лет считались непригодными для промышленного использования. Металлургические заводы Челябинской области ориентируются на богатства Тургайской впадины, занимающей огромное пространство на севере Казахстана.

Раскрытие природных ископаемых Тургайской впадины можно отнести к числу крупнейших достижений советской геологии. Большой Тургай — это Соколово-Сарбайское месторождение магнетитов и Лисаковское месторождение с миллиардными запа-

сами бурых железняков, а также богатые залежи бокситов, угля и многих других ископаемых.

Тургай — близкий сосед Южного Урала, он является продолжением его. Ориентация металлургии Челябинской области на соколово-сарбайские магнетиты дает значительный экономический эффект. В предстоящем семилетии войдет в действие крупнейший в стране Соколово-Сарбайский горнообогатительный комбинат производительностью 19 миллионов тонн железной руды в год. Опираясь на такую мощную базу, а также продолжая добычу руды на горе Магнитной, Бакале и других месторождениях Южного Урала, одна лишь Челябинская область будет в 1965 году выплавлять чугуна больше, чем, скажем, сейчас Франция.

Металлургические заводы Среднего и Северного Урала получают новую железорудную базу на горе Качканар, вблизи Кушвы.

Русские геологи издавна интересовались качканарскими магнетитами. Еще в 1768 году там побывал известный ученый академик Паллас, обнаруживший на горе Качканар «весьма сильные магниты». Спустя сто лет Качканар привлек внимание тогда еще молодого геолога, впоследствии президента Академии наук СССР, А. П. Карпинского. В конце прошлого века на Качканаре была заложена штольня, разведчики обнаружили гнездо хорошей руды, но затем пошла пустая порода, работы забросили, и все месторождение было признано не имеющим промышленного значения. Для того времени это заключение было верным: качканарская руда содержит всего 16—17 процентов железа.

Однако в советские годы техника обогащения настолько усовершенствовалась, что разработка Качканара стала экономически выгодной. Из качканарского «камня» можно сделать «пищу» для домен, и притом отличную, а обойдется она совсем недорого.

На Качканаре развернулось строительство горнообогатительного комбината, и в этом семилетии домны Урала получат богатый концентрат из качканарских магнетитов. Пришло новое умение, и природные ископаемые, которые раньше не ценились ни во что, теперь пошли в дело.

Нет, не ошибался Д. И. Менделеев при оценке возможностей Урала, и очень просчитались те, кто склонен был списать Урал со счета, объявить его исчерпанным. И впредь страна еще будет черпать из сокровищницы уральских недр огромные богатства. Урал сторицей оплатит помощь, которую ему оказывают другие экономические районы страны.

ГАЗ И НЕФТЬ

Одной из основных задач, поставленных в тезисах доклада Н. С. Хрущева, является «изменение структуры топливного баланса путем преимущественного развития добычи и производства наиболее экономичных видов топлива — нефти и газа». Среди прочих преимуществ нефти и газа важное значение приобретает высокая транспортабельность их, что создает самые благоприятные условия для комбинированного использования производительных сил.

Около пятнадцати лет прошло с тех пор, как был проложен первый в нашей стране газопровод Саратов—Москва. До того у нас было одно-единственное предприятие, где в качестве топлива применяли природный газ,— стекольный завод «Дагестанские огни».

Теперь необходимые природные ресурсы для широкого внедрения газа в народное хозяйство и быт подготовлены. В последние годы в районах, перспективных на нефть и газ, одновременно работало свыше тысячи геофизических партий, в их числе почти четыреста сейсморазведочных.

Весьма примечательна история открытия газлинского газа. Первые геологические съемки так называемой Бухаро-Хивинской депрессии были произведены тридцать лет назад. Хотя искали серу, но, по прогнозам геологов, там должны были быть газ и нефть. В свое время бывшее министерство нефтяной промышленности отнеслось к этим предположениям весьма безразлично, поэтому бурение в районе Бухары велось исключительно вялыми темпами — по одной-две неглубокие скважины в год. Горсточка людей, брошенная в пустыню, была вооружена самой примитивной техникой, условия разведки отличались большими трудностями — не хватало воды.

Перелом наступил лишь после того, как в декабре 1956 года было принято решение о развертывании разведочных работ в Средней Азии. Разведчики получили передвижные буровые станки, сейсмостанции, специализированные тягачи; были вскрыты водоносные горизонты.

Уже из первых мелких скважин появился газ. Заложили глубокую скважину и... произошел обвал. Сорокаметровая вышка вся ушла вниз. Глубина образовавшегося в результате обвала кратера достигла ста пятидесяти метров, он заполнился подземными водами. В пустыне родилось озеро. А над ним запылал огонь. Так был открыт природный газ.

По самым скромным расчетам, Газлинское месторождение содержит в два с половиной раза больше газа, чем Ставропольское. Геологические исследования позволяют предполагать, что в районе Газли имеются десятки мощных газоносных структур.

Трудно переоценить значение этого открытия. Газом из района Бухары отныне и на много лет обеспечены не только республики Средней Азии, но, как уже говорилось, и промышленные центры Урала. Две новые крупные электростанции будут работать на газовом топливе, ряд действующих электростанций Узбекской ССР перейдет на газ. Обнаруженная газоносность недр Бухаро-Хивинской низины дает повод говорить о возможностях открытия нефти на всей огромной территории Каракумской платформы.

Нефть и газ живут рядом. Где нефть, там попутный газ; где газ, там можно ожидать нефть.

Двадцать пять лет исполнилось со времени, когда в Башкирии забил фонтан нефти. Оправдался прогноз одного из крупнейших геологов нашей страны, И. М. Губкина, о нефтеносности района между Уралом и Волгой.

Нефтяными вышками теперь усеяна почти вся площадь Татарии, Башкирии, значительная часть территорий Пермской, Куйбышевской, Саратовской и Сталинградской областей. Геологи отыскивают новые месторождения. В Башкирии, в северо-западной части ее, в 1957 году открыто Арланское месторождение. Перспективы его оцениваются очень высоко. Много обещают заволжские районы Куйбышевской области. Открытое здесь Мухановское месторождение служит свидетельством того, что обширный район Куйбышевского Заволжья в ближайшие годы станет одним из ведущих нефтедобывающих центров страны.

Один лишь среднегодовой прирост добычи нефти в предстоящем семилетии в два раза превышает годовую добычу всей старой России. Добыча природного газа в 1965 году увеличится в пять раз по сравнению с 1958 годом.

На юге, рядом со Ставропольскими газовыми месторождениями, которые уже ряд лет дают газ Москве, а в ближайшее время дадут его и Ленинграду, открыты крупные месторождения в Краснодарском крае (1956 год — Каневское, 1957 год — Старомышастовское).

Газовое месторождение Шебелинки в Восточной Украине приобрело общесоюзное значение. Шебелинский газ обеспечит потребности ряда районов Украины и центральных областей РСФСР — Белгородской, Курской, Орловской, Брянской.

Контрольные цифры семилетки предусматривают резкое усиление геологоразведочных работ на нефть и газ. Геологи сосредоточивают свои силы на районах Прикаспия. Имеются все основания считать, что эти районы столь же нефтеносны, как и Средний Восток.

Значительно прояснились перспективы открытия газа и нефти в Сибири. Недалеко от города Колпашева на Западно-Сибирской низменности в отложениях юрской системы открыт газ. Собраны факты, позволяющие предполагать, что вся территория этой низменности — крупная газонефтеносная провинция страны.

Во впадинах, окружающих Сибирскую платформу с запада, севера, востока, обнаружены признаки нефти или газа. Крупный газовый фонтан забил на Парфеновской разведочной площади в ста тридцати пяти километрах к северу от Иркутска.

Значительным событием явилось открытие газа в Якутии. В октябре 1956 года на правом берегу реки Вилюй, в двенадцати километрах от ее впадения в Лену, из глубокой скважины на так называемой Таас-Тумусской структуре ударил мощный газовый фонтан. При свободном фонтанировании через обсадную трубу скважины ежесуточно

выходило около двух миллионов кубометров газа. Запасы месторождения оцениваются не менее чем в двадцать миллиардов кубометров.

Березово, Колпашево, Парфеново, Вилюй — центры будущей сибирской газовой и нефтяной промышленности. Это еще и еще новые Баку — третье, четвертое, пятое, шестое... Времена, когда страна обходилась, по сути дела, одной нефтяной базой (мизерная добыча нефти на Эмбе не в счет), ушли в далекое прошлое.

Какая фантазия могла бы придумать, что индустрия Урала получит опору в песках Каракумов, что где-то на Урале встретятся березовский газ с бухарским, что волжская вода приведет в движение прокатные станы Урала!

Мы свидетели самых решительных комбинаций природных богатств, возможных только при социалистическом хозяйстве.

С этой точки зрения очень показательны намечающиеся пути развития черной металлургии в Сибири.

ОТКРЫТИЯ И ВАРИАНТЫ

Директивами XX съезда партии предусматривалось создание в течение ближайших десяти—пятнадцати лет в восточных районах страны третьей металлургической базы с производством 15—20 миллионов тонн чугуна в год. В предстоящем семилетии эта задача относится к числу важнейших.

Безошибочно выбрать место для сооружения современного металлургического завода, рассчитанного на выпуск, скажем, трех, четырех, а то и более миллионов тонн металла в год (напомним, что вся дореволюционная Россия производила немногим более четырех миллионов тонн чугуна),— дело очень сложное и трудное. Оно еще более усложняется, когда речь идет об огромных пространствах Сибири с очень редкой здесь сетью железных дорог и слабой населенностью.

Подготовка к строительству металлургической базы потребовала глубоких исследований и расчетов. Они были сделаны большим коллективом советских ученых, работников проектных и плановых органов, совнархозов и действующих предприятий. Прежде всего надо было решить вопрос о сырьевых источниках новых заводов.

Построенный в первую пятилетку Кузнецкий металлургический завод был рассчитан на уральскую (магнитогорскую) руду. В районе его расположения тогда неизвестны были месторождения железной руды, которые могли бы обеспечить металлургическое предприятие такого масштаба. За истекшие с той поры годы многое изменилось. Открыты железорудные богатства Горной Шории, разведаны крупные месторождения в Хакассии — Абаканская Благодать, Тея и другие. В расчете на них, а также на ряд месторождений на юге Красноярского края и Кемеровской области начали строить Западносибирский металлургический комбинат. По своей мощности этот колосс намного превзойдет Кузнецкий металлургический.

Проблема сырья разрешится окончательно открытием нового железорудного бассейна. Он находится в междуречье Ангары и Пита, притоков Енисея. Туда в поисках железной руды направилась экспедиция известного сибирского геолога М. А. Усова. В глухой тайге люди раскинули палатки, стали выслушивать и выстукивать земные недра. Геологические прогнозы оказались верными, и вскоре страна узнала об Ангаро-Питском железорудном бассейне. Установлено и взято на баланс, то есть записано в достоверные запасы, свыше двух миллиардов тонн железной руды. Перспективные запасы оцениваются примерно в пять миллиардов тонн.

Руду Ангаро-Питского бассейна нельзя назвать богатой. Ее основная масса нуждается в обогащении.

Обогащение — обычный, общепринятый процесс. Даже магнитогорская руда предварительно обогащается. Наиболее распространенный метод обогащения — магнитная сепарация. Но у ангаро-питской руды оказался скверный «характер»: главный железный минерал в ней представлен гематитом, а он не влияет на магнитную стрелку. Очень сложным путем удалось получить концентрат, содержащий лишь 48—50 процентов железа.

Металлурги сказали: нет, эта руда нам не подойдет. В начале 1957 года на одном из совещаний представитель Министерства черной металлургии заявил: «Нижнеангар-

ские железорудные месторождения, разведанные Западносибирским геологическим управлением, большие, но они представлены чрезвычайно бедными и труднообогатимыми рудами, содержащими только 40 процентов железа. В Криворожском бассейне на действующих шахтах такая руда, как правило, не принимается на баланс. И вот такая сырьевая база выдвигается в качестве основной для Западносибирского завода. Она удалена от него на девятьсот километров при необходимости строить железную дорогу и крупный мост через реку Енисей».

Выходило так, что Западносибирский завод придется все же ориентировать на первоначально запроектированную рудную базу. Правда, руды эти находятся в горных, труднодоступных местах, к ним нелегко добраться, но зато они привычные и обогащаются «нормальными» методами.

У Ангаро-Питского бассейна нашлись, однако, свои патриоты и свои защитники, которые занялись поисками новых путей обогащения. В конце концов удалось получить концентрат, содержащий 60 процентов железа. Это сделали работники небольшого электросталеплавильного завода в Красноярске. Проверка нового метода в заводских масштабах дала вполне положительные результаты. Обогащение по новому методу осуществляется в печах особой конструкции, в них происходит первичное восстановление железа и природа руды изменяется: немагнитный железняк превращается в магнитный.

Были представлены и экономические расчеты. Тонна концентрата из нижнеангарской руды обойдется дешевле, чем на многих горнообогатительных комбинатах.

Ознакомившись с новым методом обогащения нижнеангарской руды, академик И. П. Бардин заметил, что металлургия вступила в такой период своего развития, когда уже нельзя больше полагаться только на дары природы. «Пищу для домен,— сказал он,— надо делать. Таков генеральный путь металлургии».

Как же подступиться к вновь открытому месторождению?

Еще до открытия бассейна по направлению к нему начали строить железную дорогу — от Ачинска на Абалаково. От Абалакова до Нижнеангарского месторождения остается менее двухсот километров. Проведение железной дороги откроет кратчайший путь до месторождения руды, которое в состоянии обеспечить сырьем большую металлургию Сибири.

Дорога пройдет через район месторождений других ископаемых и, в частности, через Тальское месторождение магнезита. А новые и действующие металлургические заводы нуждаются в магнезите. До сих пор почти весь Советский Союз снабжается магнезитом с Саткинских месторождений на Южном Урале, но там запасы исчерпываются.

В Ангаро-Питском бассейне можно открытым, то есть наиболее эффективным, способом добывать 20—25 миллионов тонн руды в год. В районе месторождения разведаны и подготовлены для освоения доломиты, огнеупорные глины, известняк — все, что необходимо металлургии.

Подсчеты показали, что себестоимость чугуна из нижнеангарской руды (на кузнецком коксе) приблизится к себестоимости чугуна на Магнитогорском комбинате, самого дешевого в стране.

Решая конкретные задачи развития индустрии, наши ученые и специалисты ищут такие ответы, которые были бы приемлемы как с точки зрения чистой экономики (капитальные затраты, конечная себестоимость и так далее), так и по темпам. Мы скорее победим в экономическом соревновании самую развитую капиталистическую страну — США, если при увеличении производственных мощностей в нашу пользу будут такие факторы, как сокращение материальных затрат и времени.

СОКРОВИЩА ПРИАНГАРЬЯ

Невдалеке от места, где строится Братская ГЭС, находится Ангаро-Илимский железорудный бассейн. Он известен давно — с XVIII века. В более позднее время — в 1845 году — на базе этой руды в двадцати шести верстах от Братского острога и почти в шестистах от Иркутска построили Николаевский завод.

Летом 1920 года Ангаро-Илимские железорудные месторождения по поручению Геологического комитета детально обследовал С. А. Докторович-Гребницкий. Результатом его поездки было обстоятельное описание этого бассейна.

Наступили годы пятилеток. На очередь встал вопрос о создании новой металлургической базы на Востоке. В 1931 году Восточносибирский геологоразведочный трест отправил экспедицию для изучения Приангарья. Исследователи пришли к выводу, что Ангаро-Илимские месторождения — это «мощный и интересный железорудный район Восточной Сибири» и что «все данные за то, что этот район займет одно из первых мест среди союзных железорудных районов». Запасы бассейна были оценены в 418 миллионов тонн.

Возможности Ангаро-Илимского железорудного района вскрыты еще далеко не полностью. По мнению одного из видных наших геологов, доктора геолого-минералогических наук М. М. Одинцова, бассейн этот является частью грандиозного железорудного района, который тянется на север и северо-восток к Якутии и верховьям реки Вилюй. В Иркутской области имеется несколько десятков месторождений, которые и образуют Ангаро-Илимский железорудный бассейн.

Богатства эти находятся в весьма отдаленных местах, в глубине тайги. Пока туда не протянулись стальные магистрали, об освоении бассейна нечего было и говорить. Это одна из причин, почему он в первые пятилетки оставался в резерве.

Построенная в послевоенные годы железная дорога от Тайшета до Усть-Кута на Лене проходит совсем близко от Коршуновского месторождения. Таким образом, создались реальные возможности для использования железных руд Верхней Ангары. Это предопределило дальнейшую судьбу всего бассейна, роль и место, которые ему отводятся в создании третьей металлургической базы.

В Ангаро-Илимский бассейн входит также Рудногорское месторождение. Его руда отличается постоянством химического состава, высоким содержанием железа, а мощность рудного тела на различных участках колеблется от 30 до 65 метров. Руда может идти в доменные печи без обогащения и пригодна также для использования в мартеновских печах.

Наиболее разведанное месторождение — Коршуновское. Железная руда Коршунихи — это чистый магнетит. Она легко обогащается, дает концентрат с высоким содержанием железа. Рудник запроектирован на годовую производительность 12 миллионов тонн руды, запасов железной руды при этом хватит более чем на шестьдесят лет.

Начинается строительство металлургического завода, который окажет огромное влияние на экономику всего края и в свою очередь породит ряд машиностроительных заводов.

Для первого металлургического комбината Сибири руду возили с Урала. И это оказалось не только экономически целесообразным, но и единственно правильным решением, позволившим выиграть в темпах.

Ныне перспективные запасы железных руд Восточной Сибири оцениваются в 13 миллиардов тонн. Разведано и готово для передачи промышленности свыше трех миллиардов. Это больше всех известных запасов железных руд в дореволюционной России.

Контрольными цифрами семилетки намечается построить два крупных металлургических завода, которые явятся основой третьей металлургической базы.

Изучение производительных сил позволило определить ресурсы для дальнейшего развития металлургии уже за пределами семилетия. Серьезным претендентом на металлургический завод является Красноярский край.

На очереди создание металлургии в районах восточнее озера Байкал. Эти районы — крупные потребители черных металлов. Имеющиеся там два небольших металлургических завода (только передельных, то есть перерабатывающих привозной чугун и железный лом) не в состоянии удовлетворить возросшие нужды в металле, и он туда завозится с Урала, из Западной Сибири и даже из Европейской части СССР. Затраты на перевозки удваивают стоимость металла.

Постройка металлургического завода в Восточной Сибири намного уменьшит транспортные расходы. Однако коренное решение вопроса заключается в создании ме-

таллургической базы в районах восточнее Байкала. Открытия последних лет создают для этого благоприятные условия. На территории Южной Якутии обнаружены крупные запасы железной руды. В непосредственной близости от этих месторождений находится Южно-Якутский (Алданский) угольный бассейн, содержащий исключительно ценные коксующиеся угли. Экономисты подсчитали, что якутская сталь обойдется дешевле, чем продукция металлургических заводов, построенных в других пунктах восточнее Байкала, например, на базе Березовского месторождения в Читинской области.

Якутская сталь! Вот какой размах в недалеком будущем примет индустриализация страны.

ПРОБЛЕМА КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ

Открытие Южно-Якутского каменноугольного бассейна не только определяет условия для создания металлургии восточнее озера Байкал. Этот бассейн имеет важное значение для развития всей металлургии Восточной Сибири.

Жемчужина Сибири — это Кузнецкий каменноугольный бассейн. По последним подсчетам, он содержит свыше 900 миллиардов тонн угля, причем часть этих углей относится к коксующимся. На развитие добычи этих углей и будет обращено серьезное внимание в предстоящем семилетии.

Кузнецкий бассейн по-прежнему останется основной базой коксующихся углей для уральской и сибирской металлургии. Вместе с тем будут продолжены поиски новых источников обеспечения уральской и сибирской металлургии коксующимися углями. Для Урала одним из таких источников в перспективе станет Печорский угольный бассейн.

А каково положение в районах Восточной Сибири?

Запасы угля в Восточной Сибири исключительно велики. Здесь сосредоточено 6 триллионов тонн угля, или около 70 процентов всех запасов угля в СССР. Если следовать по Транссибирской железной дороге с запада на восток, то мы сначала пересечем Канско-Ачинский бассейн с геологическими запасами в 1,2 триллиона тонн. Несколько южнее залегает Минусинский бассейн с относительно скромным запасом в 36 миллиардов тонн, дальше на восток Иркутский бассейн — 67 миллиардов тонн, затем следует огромнейший Тунгусский каменноугольный бассейн (1,5 триллиона тонн), Таймырский (500 миллиардов тонн), Ленский (2,5 триллиона тонн), Южно-Якутский, или Алданский (36 миллиардов тонн), Зырянский (81 миллиард тонн).

На базе дешевого угля сибирских месторождений семилетний план предусматривает мощное развитие энергетики. Добыча этих углей в восточных районах возрастет на 42—45 процентов.

Однако в гигантских кладовых угля Восточной Сибири очень мало коксующихся, то есть старых углей. В более доступных бассейнах, расположенных вдоль железнодорожной магистрали,— молодые, бурые угли, а угли коксовых марок находятся в таких отдаленных районах, как Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский.

Железная дорога на Чульман протяженностью около шестисот километров даст выход южноякутским углям. Это в значительной степени снизит напряженное положение с поставками коксующихся углей из Кузбасса, которое может сложиться по мере ввода в эксплуатацию металлургических заводов следующих очередей.

Обеспечение предприятий коксующимися углями — одна из наиболее острых проблем современной металлургии. Все более выявляется необходимость коренного пересмотра технологии получения кокса.

Более двухсот лет прошло с тех пор, как англичанин Абрагам Дерби заменил в доменных печах древесный уголь коксом. Кокс обладает большей плотностью, лучше сопротивляется истиранию, чем древесный уголь. Замена древесного угля коксом была вызвана угрозой истребления лесов. В некоторых странах даже были изданы законы, предусматривавшие строгие кары за использование лесов для выплавки металла.

В наше время сложилось почти аналогичное положение. Производство металла непрерывно растет, мировая выплавка чугуна превысила 200 миллионов тонн в год, а методы производства кокса принципиально не изменились. Объемы доменных печей

увеличиваются, а качество кокса не только не улучшается, но даже ухудшается. Металлургия ориентируется на весьма ограниченные запасы коксующихся углей.

Еще в тридцатые годы в СССР были предприняты опыты получения металлургического кокса из разных некоксующихся углей и даже из торфа. Опытные плавки чугуна на торфококсе проводились под руководством старейшины русской металлургии, академика М. А. Павлова, и оказались вполне успешными.

Работы по коксованию некоксующихся углей велись в институтах Москвы, Харькова, Иркутска. Вот уже ряд лет над решением этой проблемы трудится коллектив научных работников, возглавляемый членом-корреспондентом Академии наук СССР Л. М. Сапожниковым.

Ученый проследил весь ход процесса коксования. Погружаемый в современные коксовые печи (камеры), угольный порошок накаляется от стен камер. Естественно, что слой угля, прилегающий к стенам камеры, нагревается более интенсивно, чем слои, удаленные от них: чем ближе к оси печи, тем меньше накаливается угольный порошок. В печи получается как бы несколько слоев, они по-разному спекаются и обладают разными свойствами. Сапожников пришел к выводу, что в камерных печах практически невозможно добиться равномерного нагрева угля по всему сечению печи. Поэтому к коксующимся стали относить только особые сорта углей, прошедших соответствующую подготовку в природных условиях. Ученый убедился, что дело не в качестве углей, а в несовершенстве технологии получения кокса. Взамен камерных печей так называемого периодического действия им были созданы опытные конструкции печей непрерывного действия. Свой метод коксования Сапожников назвал поточным, так как он протекает в нескольких последовательных стадиях.

Таким образом, Сапожникову удалось из каменных углей разного возраста, происхождения и состава получать топливо с определенными, наперед заданными свойствами (размеры и форма кусков, прочность, пористость, реакционная способность, горючесть и так далее). Правда, все это еще плоды лабораторных и полузаводских опытов.

Автору этих строк довелось побывать в лаборатории Л. М. Сапожникова. Мне дали большой, с кулак, чечевицеобразный брикет кокса — тяжелый и плотный на вид.

— Бросьте его на пол,— предложил Леонид Михайлович.

Изо всех сил бросаю камень на цементный пол, брикет остается целым. Ученый рассказывает, как была достигнута поставленная перед наукой цель.

Новый кокс сделан без добавки коксующихся углей. Уголь размололи, затем стремительно нагрели до температуры, при которой он стал пластичным. Из угля выделились смолы и газы, произошла как бы сухая перегонка угля, крупинки его размягчились. Тогда их под давлением в несколько атмосфер спрессовали в брикеты, а затем в течение некоторого времени прокаливали. Такой кокс обладает большей прочностью, чем получаемый в обыкновенных коксовых батареях.

Испытываются и другие пути совершенствования технологии производства кокса. Известные надежды возлагают на брикетирование. На опытной установке в Московском горном институте были получены коксовые брикеты высокой механической прочности из некоксующихся углей Кушмурунского месторождения (Казахстан). Там же начали изготавливать железококсовые брикеты.

Большие перспективы сулит метод, разработанный П. И. Канавцем. Ученый назвал свой способ химико-каталитическим. В основе его лежит гранулирование, то есть получение из мелкодробленых материалов гранул (окатышей). Понадобилось много времени и труда, чтобы сделать гранулы достаточно прочными. Новый вид сырья для доменных печей проходит опытные испытания.

— Гранулы — это, несомненно, материал металлургии завтрашнего дня,— говорит академик И. П. Бардин, под руководством которого осуществляется эта идея.— Помимо доменного процесса, их можно использовать при выплавке чугуна в электропечах. Это особенно выгодно в условиях Восточной Сибири, где будет обилие дешевой электроэнергии.

Так решается проблема сырья для третьей металлургической базы страны — большой металлургии Сибири. У нас есть для нее руда, есть и будет в достатке кокс. Имеются все другие необходимые материалы.

ГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Освоение природных богатств Советского Востока осуществляется планомерно, в последовательной очередности. В первый этап социалистического строительства в сферу промышленного производства были втянуты ресурсы, лежащие по меридиану, проходящему несколько западнее Красноярска. На службу стране были поставлены запасы Кузбасса, Горной Шории, началось освоение Хакассии. Ныне силы брошены на освоение западной части Восточной Сибири, так называемого Ангаро-Енисейского района.

Сотни геофизиков и геологов ежегодно отправляются в далекие непроходимые места, чтобы отыскать новые ископаемые. Героические страницы вписали в историю познания Земли геологи, открывшие в Якутии богатейшие месторождения алмазов, высокосортных углей и отличной железной руды.

Мы уже говорили, что на помощь Кузнецкому металлургическому комбинату скоро придет его младший брат — Западносибирский завод. Он сооружается подле угольных копей, у ворот Горной Шории. До ввода в действие Ангаро-Питского бассейна завод будет получать железную руду с шорских и хакасских рудников, а также с Коршуновского горнообогатительного комбината по железной дороге, которая пересекла Хакасию и от Абакана будет доведена до Тайшета.

Развернется строительство Тайшетского металлургического завода. В перспективе сооружение еще ряда металлургических предприятий. Одна из проектных разработок предусматривает постройку завода в Барнауле, расположенном на пути между Кузбассом и Лисаковским месторождением фосфористых железных руд (Большой Тургай). Продукцией этого завода явится не только стальной прокат — главным образом листы, но и удобрения для целинных земель.

Тайшетский, Западносибирский заводы, а также Карагандинский в Казахстане вместе с действующим Кузнецким комбинатом составят фундамент третьей металлургической базы. В Казахстане впервые организуется производство чугуна, а выплавка стали в республике вырастет во много раз.

С точки зрения рационального размещения промышленности и приближения ее к источникам сырья, а также наименьших трудовых затрат целесообразно значительное увеличение мощностей действующих металлургических предприятий.

Магнитогорский комбинат — уникальное предприятие, опередившее как по объему производства, так и по технической оснащенности наиболее крупные предприятия Америки. Экономические подсчеты показывают целесообразность дальнейшего расширения производственных мощностей Магнитогорского комбината, что позволит значительно увеличить производство металла с наименьшими капитальными и эксплуатационными затратами на тонну металла.

Это относится также и к Челябинскому металлургическому заводу, и к Нижне-Тагильскому, Орско-Халиловскому и ряду других предприятий Урала.

МЕТАЛЛУРГИЯ ЦЕНТРА И ЮГА

В 1959—1965 годах намного вырастет выплавка металла в южных и центральных районах страны. На Украине выплавка чугуна за семилетие вырастет на 47—57 процентов, стали — на 38—45 процентов. Сырьевой базой черной металлургии центра и юга явятся железорудные богатства Курской магнитной аномалии и Украины.

Широко известно, что В. И. Ленин проявлял исключительный интерес к работам по разгадке тайны Курской магнитной аномалии. В результате исследований, предпринятых еще при жизни Ленина, там были обнаружены залежи железистых кварцитов. Возглавлявший особую комиссию по КМА И. М. Губкин еще тогда поставил вопрос о промышленном использовании кварцитов. Но надо было найти экономичный способ их обогащения. Такой способ нашли. В настоящее время в городе Губкине действуют рудник и обогатительная фабрика, на которой из кварцитов получают богатые концентраты. Этот комбинат отчасти питает липецкую металлургию. По решению XX съезда КПСС для переработки кварцитов там же строится другой, более мощный горнообогатительный комбинат — Южнокоробковский. Рядом с городом Губкином

строится Лебединский рудник, на котором богатую руду будут добывать открытым способом.

Курская магнитная аномалия сначала дала металлургии концентраты из кварцитов. Несколько лет назад в районе Белгорода открыты залежи богатых руд. Эти руды оказались запрятанными на глубине в пятьсот—шестьсот метров, и в течение ряда десятилетий их не удавалось найти. Дело в том, что данные магнитометрических и гравитационных съемок были противоречивыми. Ученые предложили гипотезу, которая объясняла это противоречие. В район, где предполагались железорудные залежи, направился отряд геофизиков, но они не успели дойти до намеченного места. Случай ускорил отгадку тайны природы. По соседству бурили скважины, чтобы оконтурить границы так называемого Большого Донбасса, бурили на уголь, а натолкнулись на железо.

Открытие Белгородско-Обоянского железорудного бассейна резко скажется на дальнейших экономических путях центра и юга Европейской части СССР. Залежи богатых железных руд имеются на территории в 60 тысяч квадратных километров. Запасы руды исчисляются многими миллиардами тонн и смогут в течение долгого времени обеспечивать сырьем металлургическую промышленность центра и юга нашей Родины, а также европейские страны народной демократии.

Богатые руды Белгородско-Обоянского района покрыты шестисотметровой толщей обильно обводненных разных пород. Однако расчеты показали, что их использование экономически оправдано. Освоение богатств КМА будет происходить двояким путем: и переработкой кварцитов и развитием добычи богатой железной руды.

По-новому раскрываются и сырьевые богатства Украины. Построенные в последние годы в Кривом Роге горнообогатительные комбинаты для переработки железистых кварцитов вполне себя оправдали. Контрольными цифрами на 1959—1965 годы поставлена задача обеспечить опережающее развитие железорудной промышленности в Украинской ССР. Для этого строятся пять крупных горнообогатительных комбинатов в Криворожском железорудном бассейне и комбинат на Кременчугском месторождении.

В этой связи уместно вспомнить, что в тридцатые годы появилась ошибочная версия о том, что железорудные богатства Кривого Рога якобы подходят к концу. Получалось, что на Украине не хватало сырья для развития металлургической промышленности, а восточной металлургии и вовсе пророчили полный провал. Страна должна была остаться без металла.

На самом деле запасы Кривого Рога оказались вполне достаточными, чтобы питать во много раз выросшее производство металла.

Очень надежным источником обеспечения южной металлургии являются Керченские месторождения, содержащие миллиарды тонн руды. Созданный академиком А. А. Байковым метод переработки керченских фосфористых руд позволяет получать из них сталь хорошего качества, а из шлаков производить огромные массы удобрений для колхозных и совхозных полей.

На долю Украины приходится около 30 процентов всех запасов железной руды в стране.

А никопольский марганец! Сколько отборных дивизий положил на поле брани Гитлер, чтобы хоть на считанные дни удержать никопольские рудники и успеть вывезти в свою империю марганец!

В крупные современные металлургические предприятия превращаются старый Алчевский завод и новый завод «Криворожсталь». Вступила в действие первая домна второй очереди и пятая по счету домна «Азовстали».

Выполнение намеченного плана развития металлургии Украинской ССР выдвинет ее по производству чугуна и стали на душу населения на первое место в мире. По чугуну Украина превзойдет душевой уровень производства, достигнутый в 1957 году в США, примерно в 1,7 раза, Западной Германии — в 1,9 раза, Франции и Англии — в 2,5 раза. По производству стали уровень США будет превзойден примерно в 1,2 раза, Западной Германии — в 1,4 раза, Англии — в 1,6 раза, Франции — в 2,2 раза.

Эти цифры, приведенные в тезисах доклада Н. С. Хрущева, не могут не наполнить сердца всех советских людей чувством гордости и радости.

МЕТАЛЛ XX ВЕКА

На основе открытых новых ресурсов, успехов науки и техники в предстоящем семилетии будет широко развиваться цветная металлургия и прежде всего алюминиевая, причем этот ценный металл будут получать также и из нефелинов.

Мы свидетели переоценки многих ценностей. Ископаемые, которые длительное время считались непригодными для промышленного использования, теперь благодаря прогрессу техники приобретают важное значение в народном хозяйстве, их берут на строгий учет.

Из бедных качканарских титаномагнетитов, курских, криворожских и оленегорских кварцитов приготовляют высококачественное сырье для домен. Оригинальный метод обогащения руды круто повернул судьбу Ангаро-Питского железорудного бассейна. С подобным положением можно встретиться и во многих других случаях.

Типична история открытия новых видов сырья для получения алюминия. Виды на будущее этого «металла двадцатого века», как его нередко называют, исключительно благоприятны. И это понятно. Алюминий хорош в машиностроении и судостроении, он с успехом применяется в производстве автомобилей и тракторов, он пользуется широкой популярностью при изготовлении бытовых предметов.

В досоветское время у нас не было своего производства алюминия. Когда в первую мировую войну военное ведомство царской России стало добиваться постройки алюминиевого завода, начались поиски бокситов. Узнав об этом, житель города Тихвина (ныне Ленинградская область), некий П. Тимофеев, представил уполномоченному по постройке алюминиевых заводов, профессору А. Курдюмову, образцы тихвинских «кровяно-красных и снежно-белых глин». Оказалось, что это богатейшие бокситы, содержащие свыше 50 процентов гидроокиси алюминия.

Обнаруженные тогда залежи бокситовой руды были использованы уже в советское время. Первенцем отечественной алюминиевой промышленности был Волховский завод, построенный рядом с Волховской гидростанцией и тихвинскими бокситами. Второй, более крупный алюминиевый завод соорудили в Запорожье на электроэнергии Днепрогэса и на тихвинских бокситах, которые проделывали немалый путь — в две тысячи километров.

Таким образом, алюминиевая промышленность в нашей стране начала создаваться в годы довоенных пятилеток, сейчас она занимает одно из первых мест в мире.

По мере того как машиностроение, да и другие отрасли народного хозяйства предъявляли все больший спрос на алюминий, возникала проблема новых источников сырья. Начались энергичные поиски. Залежи бокситов были обнаружены на Урале, в Казахской ССР, то есть в районах с довольно ограниченными энергетическими ресурсами. Сибирские месторождения бокситов (как, например, Боксонское в Восточной Сибири) оказались в высокогорных районах, в условиях вечной мерзлоты, к тому же и качество этого сырья неважное.

Любопытно вспомнить, как были открыты североуральские бокситовые месторождения. В конце прошлого века знаменитый русский минералог Е. Федоров обнаружил в Богословском горном округе железную руду. Разработку тогда признали экономически нецелесообразной, так как руда содержала слишком мало железа. Образцы ее передали на хранение минералогическому музею в городе Краснотуринске. Знакомясь с коллекциями музея, геолог Н. Каржавин заинтересовался этими образцами, взял их на исследование. Анализ показал, что открытые Федоровым «убогие руды» действительно бедны содержанием железа, но зато содержат свыше 50 процентов окиси алюминия. Короче говоря, это высококачественные бокситы. Так была открыта «Красная шапочка», одно из крупнейших месторождений бокситовой руды на Северном Урале. Большие залежи бокситов обнаружены и на Южном Урале.

Но являются ли бокситы единственным видом сырья для производства алюминия?

Еще в ту пору, когда в России не было своей алюминиевой промышленности, профессор Петербургского политехнического института В. Аршинов высказал мысль, что алюминий можно получить также и из нефелинов. Идея эта приобрела особую актуальность, когда уже в советское время были раскрыты природные богатства Кольского полуострова, где имеются огромные залежи нефелинов. Душой и руководителем этого

дела, как известно, был академик А. Ферсман, настойчиво добивавшийся комплексного использования открытых на Кольском полуострове апатито-нефелиновых пород.

Экспериментальные работы начались в 1934 году, они продолжались почти двадцать лет. Удалось создать новый технологический метод комплексной переработки нефелинового сырья, из которого получается глинозем, содовые продукты и цемент. Создателям нового метода — директору Волховского алюминиевого завода И. Талмуду и его сотрудникам по разработке этой проблемы — была в 1957 году присуждена Ленинская премия.

Так открылись перспективы невиданного развития алюминиевой промышленности в Сибири.

Контрольными цифрами на 1959—1965 годы предусматривается создание в предстоящем семилетии в Красноярском крае на базе крупнейших запасов нефелина мощной алюминиевой промышленности. В семидесяти километрах к востоку от станции Ужур, Красноярской железной дороги, расположена гора Горячая, содержащая крупные запасы нефелинов. На этой базе уже строится Ачинский глиноземный завод.

В десяти километрах от горы Горячей открыты так называемые берешиты с еще более высоким содержанием глинозема, чем в горячегорских нефелинах. Одни эти залежи содержат в себе больше глинозема, чем все месторождения бокситов Советского Союза.

В Сибири имеются огромнейшие запасы сырья для получения алюминия. К западу от горы Горячей, в Кузнецком Ала-Тау, на территории Кемеровского экономического района, у истоков реки Кийский Шалтырь, в 1957 году найдены крупные залежи богатых нефелиновых руд (уртитов). Нефелинсодержащие породы обнаружены в Иркутском экономическом районе (в бассейне реки Белая Зима), в северо-западном Прибайкалье (Гаурджекитское месторождение) в двадцати километрах от озера Байкал.

Для производства глинозема требуются еще известняк и уголь. Чтобы получить одну тонну глинозема, надо затратить около пяти тонн нефелиновой руды, двенадцать тонн известняка и шесть тонн угля. Все это в Сибири имеется в изобилии, а мощные электростанции обеспечат алюминиевую промышленность Сибири самой дешевой электроэнергией.

Попутными продуктами при производстве алюминия из нефелина являются цемент и содовые продукты.

Роль цветной металлургии в экономике страны все более повышается. Развитию этой отрасли промышленности наша партия и правительство уделяют непрестанное внимание. Освоение новых месторождений открывает широкие перспективы роста цветной металлургии в Казахстане, Средней Азии, на Урале, Северном Кавказе, в районах Кольского полуострова.

Раскрываются новые перспективы развития цветной металлургии на Украине. Разрабатывающееся уже много лет Никитовское ртутное месторождение оказалось не единственным. Разведаны запасы алюминиевого сырья и никеля, найдены крупные месторождения самородной серы и графита.

История как бы повторяется. Титан открыт почти двести лет назад. Это один из самых распространенных элементов, в земной коре его, например, в шесть раз больше, чем марганца. Однако истинные свойства титана удалось обнаружить и изучить всего лишь около двадцати пяти лет назад, а промышленное производство этого ценнейшего металла началось десять лет назад.

Конструкторы высоко оценили титан: он совмещает в себе прочность стали и легкость алюминия, он коррозиеупорен. Совмещение этих свойств предопределяет значительное облегчение веса машин и широкую область применения титана. Возьмем, к примеру, турбины. Титан позволяет делать их большой мощности при малых размерах, что имеет огромное значение, если учесть, что наша страна готовится к выпуску турбин мощностью не менее 600 тысяч киловатт каждая. (Вспомним, что в одной такой турбине заключена почти полная мощность Днепрогэса.) Не требуется особых пояснений, чтобы представить себе, какую роль предстоит сыграть титану в авиационной и ракетной технике. Словом, металл этот нам очень нужен, и мы научились его добывать.

Советский Союз располагает большими запасами титаномагнетитов. Они и на Урале и в Сибири. Крупные месторождения титановых руд открыты на Украине.

* * *

Для дальнейшего мощного развития советской индустрии открыты новые богатые кладовые. Это результат невиданного размаха геологоразведочных работ, углубленного изучения геологического строения всей нашей страны, бурного расцвета технологических, химических и других наук. Опровергнута и отброшена буржуазная теория размещения производительных сил, согласно которой индустриальные очаги привязывались только к определенным географическим районам. Социалистическая система хозяйствования многократно подтвердила на практике преимущества своих принципов.

...В начале 1918 года Академия наук обратилась к Советскому правительству с предложением привлечь ученых к исследованию природных богатств страны. В связи с этим В. И. Ленин в своем «Наброске плана научно-технических работ» писал, что в план реорганизации промышленности и экономического подъема страны должно входить «рациональное р а з м е щ е н и е промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта».

Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы учитывают интересы дальнейшего подъема экономики и культуры всех союзных республик. Предусматривается ускоренное развитие экономики восточных районов страны, на что направляется свыше 40 процентов всего объема капиталовложений.

Кладовые нашей Родины полны полезных ископаемых. В тезисах доклада товарища Н. С. Хрущева начертан план широкого комплексного использования их для значительного подъема экономического потенциала страны, с тем чтобы обеспечить непрерывное повышение жизненного уровня народа.

Л. АЙЗЕРМАН,
преподаватель литературы школы № 278 г. Москвы

★

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ

1. СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Самый страшный враг урока литературы — холодное равнодушие.

Когда судьба Татьяны Лариной волнует ученика куда меньше, чем подбор цитат к ее характеристике, когда об Андрее Болконском девятиклассник рассказывает с тем же спокойствием, что и о сумме или разности квадратов, тогда работа учителя литературы обессмысливается: обескровленные, омертвленные образы не учат и не воспитывают.

Мы вывешиваем на стенах библиотек и кабинетов литературы высказывания писателей о силе книг, об испепеляющем жжении поэтического слова, но как часто на наших уроках серая безучастность приглушает биение горячего человеческого сердца.

Когда жизнь, борьба, мучительные искания, душевные трагедии героев книг, о которых мы говорим на уроках, не волнуют класс, оставляют его спокойным, тогда уроки литературы становятся не дорогой в большой мир искусства, а препятствием на пути к нему.

Более тридцати лет назад, беседуя с выпускниками школы при театре-студии имени Е. Вахтангова, Константин Сергеевич Станиславский раскрыл перед начинающими тогда актерами секрет сценической молодости спектакля.

Только в том случае зритель полюбит театр, признает его своим, нужным ему, говорил Константин Сергеевич, если он «увидит, услышит в театре ответ на то, что его волнует, что занимает его мысли в наше время», если со сцены с ним будут говорить «о самых важных и нужных ему в жизни вещах».

«— Что же вечно волнует зрителя? — обратился Станиславский к присутствующим и тут же ответил сам: — То, что он видит вокруг себя в жизни».

Найти в каждом программном произведении то, что наиболее близко, интересно, поучительно, полезно для современного школьника, и донести это так, чтобы произведение не только раскрывало мир былого, но прежде всего помогало понять, разобраться, осмыслить окружающее, сегодняшнее,— не в этом ли один из путей улучшения преподавания литературы в школе?

Белинский, Добролюбов, Чернышевский, анализируя литературные произведения, никогда не ограничивались тем, что на современном школьном языке называется «разбором произведения». Их статьи всегда были взволнованным разговором с читателем по самым животрепещущим политическим, нравственным, эстетическим проблемам.

Возьмите для примера хотя бы статьи Белинского о Пушкине. Вот критик пишет о страстях, охвативших Алеко,— и перед нами блестящее публицистическое отступление о ревности, эгоизме; объясняет он, почему Онегин не влюбился в Татьяну,— и из-под его пера выливается яркий психологический этюд о законах сердца; рассказывает о воспитании Татьяны и предпосылает ему целое исследование о положении русской женщины в семье и обществе.

Мы употребили выражение — публицистические отступления. Пожалуй, это выражение несколько условно, потому что подобные отступления никогда не были отходом, отвлечением от главной мысли. Они всегда входили в плоть и кровь критического исследования, которое без них просто невозможно себе представить. Именно эти отступления придавали критике Белинского столь характерный для нее наступательный дух, во многом определяя силу ее воспитательного воздействия.

Перечитайте статьи Добролюбова об «Обломове» и «Грозе», Чернышевского об «Асе», и вы убедитесь, что для великих русских демократов говорить о литературе всегда значило говорить о жизни, ее конфликтах, проблемах, исканиях, спорах.

И обратитесь к нашей методической литературе. Даже в лучших работах даются толковые советы, как составить план характеристики, какие выписать цитаты, что задать на дом, и лишь в редчайших случаях (а ведь методики учат учителя работать!) — какие важные вопросы жизни, возникающие при изучении данного произведения, нужно вынести на обсуждение класса. Очевидно, для методистов сие — отступление уж в полном смысле этого слова.

А ведь темы для горячих споров, дискуссий, бесед — на каждом шагу.

Вот, скажем, в 9-м классе «проходят», составляют характеристики Наташи Ростовой и Элен Безуховой. Но ведь сравнивая душевно отзывчивую, обаятельную, пленительную, хотя и некрасивую Наташу с развращенной и циничной красавицей Элен, невозможно не затронуть очень волнующий девятиклассников вопрос о красоте человека, о его подлинной ценности.

Конечно, нельзя, чтобы произведение литературы превращалось лишь в повод для обществоведческих бесед. Это бесспорно. Но так же и нельзя (а особенно сегодня!) изучать литературу, не выявляя в самом произведении (повторяю, выявляя в самом произведении, а не притягивая к нему за уши) то, что больше всего волнует нас сейчас, то, что помогает понять современность, нельзя говорить о книгах и не «толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения» (Добролюбов).

И это не просто вспомогательное средство оживления урока, а закономерная, составная часть преподавания.

Отсутствие воинствующей партийности, публицистической страстности, злободневной современности и губит нередко наши уроки литературы.

Вот учитель готовится к уроку в 10-м классе. Тема — образ Луки в пьесе Горького «На дне». Перед ним методические пособия, книги, брошюры, статьи. В них немало полезного, интересного. Но ни в одной работе нет ответа на вопрос: а чем же горьковское разоблачение утешительной лжи и проповеди терпения поучительно для нас, для сегодняшнего дня?

Или, быть может, спор философии рабского смирения, пассивного ожидания с мировоззрением активного созидания и переделки мира — перевернутая страница истории? Ну а как быть с евангельской проповедью самоуничижения («блаженны кроткие», «блаженны нищие духом»), которая и сегодня духовно закабаляет человека, о чем хорошо напомнила «Чудотворная» Тендрякова? А разве успокоительная легенда о врастании капитализма в социализм не та же «ложь утешительная», нужная тем, «кто слаб душой... и кто живет чужими соками», ложь, о которой устами Сатина говорил Горький?

Примиряющая теория «народного капитализма» и гордые строки пролетарского гимна:

> Никто не даст нам избавленья —
> Ни бог, ни царь и не герой.
> Добьемся мы освобожденья
> Своею собственной рукой —

все это, использованное в классе, преображает урок. Лука перестает быть образом, который надо «пройти», выучить, приготовить для ответа. Он становится как бы реальным человеком, живым современником. И то, что он говорит, проповедует,— это уже не просто цитаты для сочинения. Нет, теперь это предмет живого обсуждения, злободневных споров, поучительных размышлений.

Когда ученик на уроках литературы будет слышать о том, что его окружает, о том, что его волнует, тогда на уроках не будет ни скуки, ни равнодушия.

В этом «секрет молодости» урока литературы.

2. ГРАНИЦЫ УРОКА

Книга расширяет кругозор читателя, обогащает его ум, оттачивает чувство. Но и наоборот. Чем больше человек видел, пережил, передумал, тем рельефнее, осязаемее сможет он представить себе описанное писателем, тем сильнее прочувствовать произведение искусства, глубже осмыслить его идейное богатство.

Разве случайно, что наиболее толковые, осмысленные ответы при изучении романа «Поднятая целина» можно услышать от ученика, не одно лето проработавшего в колхозе, а наиболее сбивчивые, невразумительные — от тех девятиклассников, которые колхозников встречали лишь на рынке. Разве случайно, что красота чеховских

пейзажей была особенно глубоко прочувствована теми старшеклассниками, которые побывали летом в походах и имели счастливую возможность своими глазами читать книгу трав и цветов, лесов и полей, ручейков и рек, закатов и восходов!

Литература помогает разобраться в жизни, раздвигает границы увиденного и пережитого. Но и жизненный опыт, душевный склад читателя во многом определяют восприятие им книги. Мизантроп не может любить искусство, так же как человек, влюбленный в жизнь и людей, не может быть к нему равнодушным.

Учитель литературы, как никто, заинтересован в том, чтобы его питомцы больше знали, видели, перечувствовали.

Убирая со старшеклассниками в совхозе под холодным дождем, на пронизывающем ветру картошку, я подумал, что, может быть, теперь, когда будем читать на уроке «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» Маяковского, стихи о тех, кто строит завтрашний день наперекор всем трудностям, зазвучат для учеников совершенно иначе.

«Героическую поэзию труда» (Горький) в искусстве способен по-настоящему почувствовать лишь тот, кого влечет «музыка трудовой жизни» в самой действительности.

И мне думается, что завтра, в новой школе, будет интереснее, в какой-то мере легче преподавать литературу не только потому, что уже сейчас отпали многие неприятные препоны (натаскивание медалистов, погоня за процентом успеваемости, формалистические придирки инспекторов, сдерживавшие преподавателя), но потому, что вторжение жизни в школу, прежде всего труда, сделает ученика духовно богаче, содержательнее, отзывчивее.

Успех работы учителя, говорят педагогики и методики, зависит от качества урока, от того, как учитель сумеет использовать отведенные ему сорок пять минут урочного времени.

Да, значение урока велико. Но корни того дерева, которое учитель-словесник растит на своих уроках, корни, питающие ствол и крону живительными соками, за границами класса, за пределами сорока пяти минут — они в почве действительности. И учитель литературы по самому характеру своего предмета не может работать, изолировав себя в пространстве стенами класса, ограничив себя во времени сорока пятью минутами.

Не может еще и потому, что вести уроки литературы, не связывая их с жизнью школы, класса, это значит превратить их в пустую говорильню, способную научить школьников лишь одному: привычно и легко обращаться со словами, обозначающими высокие и дорогие для нас общественные понятия.

Можно, конечно, в общем неплохо проработать в 9-м классе «идейное содержание и художественные особенности» сказки Щедрина «Премудрый пескарь», достигнув, как это принято говорить в школе, цели урока материал будет понят, усвоен, закреплен. Но только тогда, когда учитель заставит девятиклассников задуматься над проявлениями обывательщины, гражданской трусости в жизни школы, в жизни того ученического коллектива, с которым он работает, только тогда достигнет он подлинной цели своего урока, ибо только тогда его урок будет не только сообщать знания, но и воспитывать.

Я не представляю себе, как может учитель литературы, анализируя, скажем, «Как закалялась сталь», на уроках говорить о кипучей жизни комсомольских коллективов и мириться с расхлябанностью в работе комсомольской организации класса, школы, рассуждать о самоотверженной дружбе, благородстве, альтруизме и проходить мимо проявлений холодной расчетливости и эгоизма у некоторых учащихся.

Литература — учебник жизни. И долг учителя литературы не только раскрыть величие тех идей, что несут книги художников слова, но и сделать все от него зависящее, чтобы воплотить эти идеи в жизнь — в человеческие характеры, боевые дела, благородные поступки.

Вот почему урок — это лишь один (пусть важнейший, но один) из плацдармов, на котором ведет наступление учитель-словесник. Его место в гуще школьной жизни: на комитете комсомола, на субботнике, на стройке, где идет производственная практика, на вечере, в походе...

Сейчас много говорят и пишут о связи преподавания биологии с работой на опытном участке, химии и физики — с трудом на производстве. Сегодня уже не представляешь себе, как может быть иначе.

А вот преподавание литературы все еще течет неторопливо по узкому и неглубокому руслу программных формулировок.

Искусство — великая сила в руках учителя, но лишь тогда, когда оно используется как важная, но все же составная часть всего педагогического процесса.

3. СОЧИНЕНИЕ О СОЧИНЕНИЯХ

На одном из педагогических совещаний мне пришлось услышать своеобразную легенду. Когда мы родились, рассказывал о судьбе словесников учитель литературы, проработавший в школе около сорока лет, у нашей колыбели собрались со своими дарами добрые феи. «Ты будешь вечно юн,— начала одна из них,— ибо всю жизнь ты будешь нести знания юным и молодым». «Тебя ждет жизнь, полная красоты и поэзии,— сказала другая,— тебе предстоит жить в мире образов, созданных величайшими мастерами слова». «Ты узнаешь, что такое настоящее счастье, ты увидишь плоды труда своего»,— обещала третья. Но, как всегда это бывает, вместе с добрыми феями явилась и злая. «Ты будешь проверять тетради»,— зловеще предсказала она.

Проверка ученических сочинений отнимает много сил и времени. Но что самое печальное — труд этот во многом затрачивается впустую, не дает ожидаемых результатов. Час за часом сидишь над ученическими сочинениями, одну тетрадь за другой перекладываешь из пачки непроверенных сочинений в стопку оцененных, очередная работа по проверке приближается к концу, а полного удовлетворения не получаешь: многие сочинения трафаретны и безлики, поверхностны и серы.

В чем же дело?

Присмотритесь повнимательнее к течению школьных будней, и вы убедитесь, что фактически, на деле, в повседневной практике, подготовка ученика к сочинению (или, как мы увидим, натаскивание к нему) становится главным и основным в работе учителя литературы.

В самом деле, именно оценки за сочинения прежде всего определяют четвертной балл за литературу. А в конечном счете это процент успеваемости, репутация словесника, положение его в школе, районе. А для школьника отметка за сочинение — это количество очков при поступлении в институт. И вот почему ученик часто взволнован не столько судьбой Андрея Болконского, сколько тем, как написать «образ Андрея Болконского».

Из года в год складывалось такое положение, при котором сочинение из важного, но вспомогательного средства развития речи и постижения литературы превращалось в самоцель. Не сочинение для литературы, а анализ литературного произведения для сочинения.

Одна весьма уважаемая, считающаяся опытной учительница говорила мне как-то в порядке передачи своего опыта: «Я собрала все темы, которые за последние годы были на экзаменах в школе и институтах. Получилось двести тем. В течение года мы их разберем, составим планы всех этих двухсот тем — и ребята будут к экзаменам подготовлены».

Судьбу Германа когда-то решали три карты. Ныне, оказывается, счастье десятиклассника и его учителя литературы обеспечивают двести тем.

Ученик больше всего боится увидеть на своей работе красные чернила. Его идеал (и скажем откровенно — особенно на экзаменах — и наш идеал) — сочинение, к которому не придраться: ведь чем больше пометок и исправлений, тем ниже оценка.

Но когда ученик идет не по широкой проторенной дороге шаблона, а пытается проложить пусть маленькие, незаметные, но свои тропинки, он, естественно, может и сбиться и где-то запутаться. Сочинение, смонтированное из критических работ, всегда будет внешне гладко. Работа, написанная своими словами, выражающая свои мысли, в некоторых местах, особенно на первых порах, будет немного корява, недостаточно отшлифована. Мы снижаем за «корявость» ученику балл (по существующим нормам оценки) и этим толкаем ученика на изъезженную дорогу шаблона. «Я пытался писать сочинения своими словами,— рассказывал мне сосед-девятиклассник,— получал двойки и тройки. Стал списывать с книг и сочинений ребят из других школ или наших учеников прошлых лет — стал получать четверки».

Четырнадцати-шестнадцатилетним мальчикам и девочкам, которых мы обучаем литературе, мы предлагаем тему для классного сочинения. Пусть тема эта сравнительно несложна. Но все же за два урока, которые имеются в их распоряжении (девяносто минут; прибавим сюда десять — пятнадцать минут перемены между этими уроками — и получим время, всегда меньшее, чем два часа), они должны, как указывают нормы оценок:

1) правильно (с точки зрения содержания и последовательности изложения) составить план сочинения;

2) дать прямой и исчерпывающий ответ на тему сочинения:

а) логически последовательно излагать в сочинении свои мысли (писать на тему и по плану),

б) обосновывать, аргументировать развиваемые положения,

в) делать выводы и обобщения;

3) стилистически правильно и грамотно в орфографическом и пунктуационном отношениях выполнить свою работу. (Не забудем, большинство старшеклассников, особенно учеников 8—9-х классов, не имеет достаточно твердых орфографических и пунктуационных навыков, и поэтому им приходится тратить время на проверку каждого предложения и каждого слова.)

По плечу ли выполнение всех этих требований для *большинства* учащихся нашей массовой школы? Глубоко убежден, что нет.

Несколько лет назад я попробовал сам написать сочинение на ту же тему, что предложил на уроке девятиклассникам.

Просидев вечером пять часов за работой, я вынужден был завершение ее перенести на следующий день.

Впоследствии я не раз предлагал знакомым учителям литературы пари: написать за то же время и на ту же тему, что и старшеклассники, сочинение и затем разобрать его так, как мы разбираем ученические работы. Никто не соглашался. А ведь вот преподаватели математики, составляя контрольную работу, делают так: решают задачу, полностью записывают объяснение ее, а затем затраченное время умножают на пять, определяя таким путем, можно ли данную задачу предложить на сорокапятиминутном уроке.

Теперь мне стало понятно, почему в ученических сочинениях так много ходячих формул и штампованных выражений. Словесный штамп не требует времени на обдумывание, того времени, которого нет у ученика, вынужденного в течение двух часов грамотно и без стилистических ошибок изложить материал темы. Ученик, вне зависимости от своих желаний, вынужден заучивать формулировки и даже целые куски из учебника и критической литературы, вынужден использовать трафаретные выражения: у него нет времени на обдумывание фразы, на ее шлифовку.

Часто же ученики отделываются общими фразами не только потому, что у них нет времени на оформление своих мыслей своими словами, не только потому, что обтекаемая, трафаретная фраза для них всего безопаснее (она гарантирует от наказуемых в соответствии с нормами оценок неправильностей «в выборе слов и составлении предложений»), а и потому, что иначе и невозможно написать сочинение на некоторые из тех тем, которые мы, следуя рекомендациям методик, предлагаем в классе.

Скажем (все примеры взяты из методической литературы), как может восьмиклассник оригинально, самостоятельно написать сочинение на тему «Чему учились у Гоголя последующие писатели-реалисты», если последующих писателей-реалистов он будет изучать только в 9-м классе? Или чем, кроме общих фраз, списанных с учебника, в лучшем случае с критической статьи, можно заполнить сочинение (объем которого для 8-го класса три—пять страничек) на темы: «Творческий путь Пушкина», «Пушкин и Гоголь», «Особенности Гоголя как писателя-реалиста»?

Напомним, что согласно нормам оценки сочинения учащийся должен «дать прямой и исчерпывающий ответ на тему сочинения».

Бывает и так, что учитель понимает, насколько абсурдно предлагать темы такого широкого охвата, что их даже студентам для курсовых и дипломных работ не дают, но тем не менее вынужден это делать.

На проходившей недавно дискуссии о реализме говорилось, насколько неправильно и вредно сводить социалистический реализм к убогой догматической схеме, втискивая в нее все многообразие и богатство литературы; на этой же дискуссии обнаружилось расхождение многих литературоведов в понимании, толковании отдельных проблем социалистического реализма, более того, оказалось, что почти нет монографических исследований, рассматривающих классические произведения советской литературы как произведения социалистического реализма.

А между тем Министерство просвещения из года в год предлагало десятиклассникам на экзаменах темы типа «Мать» как произведение социалистического реализма».

И учитель, хочет он того или нет, должен, готовя к экзаменам, «натаскивать» на подобные темы, составляя с учениками шаблонный план-трафарет, под который можно было бы подогнать нужное произведение.

А потом мы удивляемся, почему ученические работы несамостоятельны, схематичны, трафаретны, почему они смонтированы из кусков различных статей, которыми ученик начиняет голову, «готовясь к сочинению».

Для того чтобы написанное было самостоятельно, оригинально, нешаблонно, необходимо прежде всего, чтобы его содержание было понятно юному автору, заинтересовало, взволновало его. В последнее время все больше, все настойчивее раздаются голоса в защиту таких тем, которые заставляли бы ученика всматриваться не в учебник, а в жизнь, прислушиваться не к критическим брошюркам, а к себе, своим переживаниям, размышлениям: «Моя любимая книга», «Самые знаменательные дни в моей жизни», «Как я себе представляю, что такое счастье», «В чем красота человека», «Мой друг», «Есть ли романтика в школьной жизни»...

В прошлом году, изучая с 9-м классом поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», я предложил домашнее сочинение на тему «Как я представляю себе, что такое счастье». А то мы на уроках говорим лишь, как представляют себе счастье поп и помещик из поэмы, в чем находит счастье Гриша Добросклонов...

Надо было посмотреть, как неузнаваемо изменились сочинения. Они стали искренними, взволнованными, образными, самостоятельными. В этом году я резко увеличил количество сочинений на темы жизни. И проверки письменных работ (этому, наверное, не поверят учителя-словесники, но это так!) стали моим любимым занятием.

Сейчас уже вряд ли кто будет возражать против таких тем. Но на практике в подавляющем большинстве они даются бессистемно, от случая к случаю (если вообще даются) и крайне редко — один-два раза в год. Мне же думается, что на эти темы нужно отдавать не менее половины времени, отводимого на письменные работы.

Характерная деталь: в рекомендательном списке тем для письменных работ, составленном одним из методистов и опубликованном в журнале «Литература в школе», сто шестьдесят четыре темы для сочинения — и ни одной темы, взятой из жизни!

Несколько лет назад публицистические темы предлагались на выпускных экзаменах. Потом министерство их сняло. Это было воспринято учителями как сигнал отбоя. Ведь если не будет таких тем на экзаменах, то зачем писать их? Это в корне неправильно.

Я хочу обратиться с требованием к Министерству просвещения: незамедлительно, не дожидаясь общей реорганизации школы, измените практику школьных сочинений! Этого требует жизнь.

* * *

Школа переживает сейчас пору бурных изменений. Опубликованный недавно проект тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране» на первый взгляд не имеет отношения к преподаванию литературы в школе. На самом же деле — самое непосредственное. Ученик, который летом работал в колхозе, ученик, который прошел строительную практику,— это уже другой человек: шире стало видение мира, конкретнее многие представления, тоньше чувства, многограннее запросы.

Вторжение действительности в жизнь ученика приведет к тому, что все меньше и меньше его интересы, стремления, размышления, переживания будут ограничиваться стенами класса. И он с полным на то правом потребует от школы, учителя, чтобы и на уроке литературы чувствовалось напряженное биение пульса времени, чтобы произведения писателей помогали ему стать активным строителем коммунизма.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

ТОЧКА ОПОРЫ

I

Никто не будет спорить с тем, что литература — это познание жизни. Своеобразное, художественное, образное, но именно познание. Во всяком случае, авторы теоретических трактатов доказывают это без особого труда, охотно подкрепляя свои рассуждения многочисленными примерами и указаниями на исторический опыт развития литературы. Особенно неотразимо действуют здесь ссылки на те периоды развития литературы, когда она в силу своеобразных исторических условий приобретала, как говорил Чернышевский, «энциклопедическое значение». Например, русская литература сороковых — шестидесятых годов XIX века, по знаменитой характеристике того же Чернышевского: «...Как бы ни стали мы судить о нашей литературе по сравнению с иноземными литературами, но в нашем умственном движении играет она более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская литература в умственном движении своих народов, и на ней лежит более обязанностей, нежели на какой бы то ни было другой литературе. Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности... То, о чем говорит Диккенс, в Англии, кроме него и других беллетристов, говорят философы, юристы, публицисты, экономисты и т. д., и т. д. У нас, кроме беллетристов, никто не говорит о предметах, составляющих содержание их рассказов...

Быть может, Англии легко было бы обойтись без Диккенса и Теккерея, но мы не знаем, как могла бы Россия обойтись без Гоголя. Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто кроме поэта говорил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто кроме романиста говорил России о том, что слышала она от Гоголя?»

Наша современная литературная критика тоже любит говорить о познавательной сущности искусства и литературы и так же охотно прибегает к подобным историческим примерам. Но странное дело — по отношению к современной литературе мы почему-то чаще и охотнее говорим не столько о «познании», сколько об «отображении». Приходит, скажем, пора подводить итоги литературного года, и нас словно уже и не интересует, что дала нам литература в этом познании действительности, какие новые и важные вопросы нашей общественной жизни она поставила, что открыла она там такого, о чем не задумывались, чего не замечали мы раньше. Нет, мы заняты другим: мы с удовлетворением отмечаем, что вот такая-то тема нашла широкое «отображение», и сетуем на то, что вот такая-то тема все еще слабо разработана, не хотят писатели над ней работать, плохо знают они действительность. И хотя при этом, чтобы избежать неприятных упреков в тематическом подходе к литературе, мы сдабриваем наш обзор солидной дозой эстетического анализа, рассуждениями о сюжете, полнокровности или схематичности характеров, о стиле и языке, а все получается так, что главное нам известно заранее: мы знаем, что могла и должна была сделать литература. Словно в руках у нас ясная и четкая карта всех областей жизни, доступных художественному отображению, и на каждом участке ее точно обозначены все темы и проблемы, которые сюда относятся и которые литература

должна только взять и «отобразить». Да и писатели нас нередко словно бы поддерживают в таком подходе к их творчеству: в своих творческих отчетах они тоже говорят о том, что «охвачено», а что «не охвачено», планируют в зависимости от этого свои творческие командировки, распределяют силы. А читатели? Ведь печатали же мы их письма и реплики, в которых работники милиции, например, предъявляют счет за то, что их жизнь слабо отражена в литературе. А за ними — работники торговли, железнодорожники, строители, плановики, боксеры и т. д. Точная и ясная карта всего того, что еще может быть отражено. Четкая и ясная перспектива на много лет.

Читатель понимает, конечно, что мы отнюдь не против тематического многообразия литературы — оно расширяет наше знание жизни. Но мы думаем все же, что главное не в этом. Главное в том, р а д и ч е г о создается художественное произведение. «...Что можешь ты сказать мне еще нового? с какой новой стороны теперь ты осветишь мне жизнь?» — говорил Л. Толстой, обращаясь к художнику. «...Писатель,— продолжал он,— который не имеет ясного, определенного и нового взгляда на мир, и тем более тот, который считает, что этого даже не нужно, не может дать художественного произведения. Он может много и прекрасно писать, но художественного произведения не будет». Вот эта-то новизна открытия и есть то главное, что составляет ценность подлинно художественного произведения и без чего писатель превращается в описателя. В этом нелегкая тайна, природа и суть искусства. Потому-то и в наше время, когда литература разделила как будто бы свое «энциклопедическое» значение с другими отраслями умственной деятельности, критерий познавательной ценности художественного произведения остается таким же важным, как и прежде.

С этой точки зрения всякий роман, рассказ, очерк, в котором мы ощущаем живое стремление автора сказать нам что-то новое, который пронизан страстью поиска, заслуживает, конечно, самого пристального внимания. И пусть это произведение рассказывает нам о таких областях жизни, которые много раз уже описаны в литературе, пусть оно даже страдает недостатком художественности,— оно делает свое дело, если будит нашу мысль. И конечно же мы предпочтем его самому многостороннему и самому прекрасному «отображению» того, что мы уже знаем по сотням других «отображений». Именно в этом смысле и интересен новый роман Мих. Жестева «Золотое кольцо» («Звезда», 1958, №№ 7, 8), посвященный теме, с которой мы уже много раз встречались в литературе,— теме современной колхозной деревни, тому новому, что изменяет ее облик, ее жизнь и ее людей.

2

Да, многое изменилось в Покровке за последние два-три года. Каменные постройки нового животноводческого городка, новый гараж, лесопилка, дома в деревне вылезли из-под соломенных крыш, оделись в вагонку. А главное, ушли в прошлое копеечные трудодни, неизбывные думы о завтрашнем дне, у людей появилась вера в колхоз, хлеб, заработок, и вот уж потянулись обратно в Покровку те, кто еще совсем недавно бежал от ее нелегкой жизни куда-нибудь на сторону, в город, к гарантированной зарплате. Ничего необычного в этом, конечно, нет — радостная, но характерная для наших дней история. Тысячи деревень прошли этот путь.

Но каждая по-своему. И вряд ли поднялась бы так быстро Покровка, если бы не новый председатель — Федор Константинович Мельников. Городской как будто бы человек, экономист по образованию и аппаратный работник по службе, он раскрылся вдруг в Покровке как предприимчивый, смелый хозяйственник, способный пойти на риск, на неприятности, но добиться своего. О нем не скажешь, как о председателе замостинского колхоза Егоре Васильевиче Бутырине, герое прежней книги Мих. Жестева «Под одной крышей», что правота для него — это «соответствие собственных поступков с указаниями вышестоящих организаций» и что он чувствует себя в колхозе «кем-то вроде уполномоченного района», призванного «стоять на часах» там, куда его «поставили», и «потачки не давать». И уж никак не назовешь его «кладовщиком колхоза», который «привык сдавать государству поставки», но не имеет ни малейшего представления о колхозной торговле, не знает, «когда и в чем особенно нуждается потребитель». Мельников — председатель иного склада, он чувствует себя в новой атмосфере деревенской жизни

как рыба в воде, и все его помыслы направлены на то, как бы выгоднее для колхоза использовать обретенное колхозом и, следовательно, его председателем право на широкую инициативу и самостоятельность. «Нельзя, чтобы колхозы жили как при натуральном хозяйстве,— говорит он, делясь своими думами с автором-рассказчиком,— хлеб и картошку выращивай — налоги плати да все натурой получай! Торговать надо, иначе на ноги не встать, не подняться из бедности. Теперь все проще. Не спрашивают: Мельников, чего ты там выдумываешь? Теперь всем ясно: хозяйствовать да не выдумывать никак нельзя. А бывало, своей картошке не были хозяева! А сейчас я взял у МТС трактора в аренду — я им хозяин! Хочу пашу, хочу лес вожу. И даже буду зарабатывать на них, если потребуется. Другие времена пошли».

Другие времена — по-другому и работать надо председателю. Мельников усвоил крепко ту истину, что «под сидячего председателя в колхоз ничто не прибудет». И не боится сказать, что «председатель колхоза без связей и знакомств — что без рук. Он все должен знать. Где он может получить трубы для водопровода и где выгодно продать накрутившую сто тысяч километров свою «Победу»? Кому оказать одолжение и у кого одолжиться самому? Такова жизнь! Пусть мужиковствующие ханжи называют его доставалой! Да, я все, что могу, достаю! И все, что могу, продаю и доставляю другим». В минуты откровенности, словно продолжая какой-то давний спор, он гордо принимает определения и более резкие, жесткие. «Вы знаете, кто такой Мельников? Председатель колхоза Мельников? Торговец и коммерсант. Да, да! У него не голова, а сплошные торговые комбинации. Продать, купить, получить, сбыть... Тонны, километры, прибыли и убытки... И счет на миллионы... Вы не поняли самого главного — что только там будут идти дела в колхозе, где председатель торговец, коммерсант, человек, умеющий из всего делать деньги. Да поймите же вы, люди, которые не бывали в председательской шкуре, поймите одно: вся беда наших колхозов, что большинство председателей не коммерсанты. Они могут откормить свиней, но откормленная свинья еще не мясо, а мясо еще не деньги. В товар может вдохнуть жизнь только торговля. Торговля — это душа товара! Без нее самое нужное становится бесполезным, а ценное — ничего не стоящим».

И это не просто декларации. Это дела. Грандиозные операции, которые приносят колхозу деньги. Если уж Мельников продает лес, то он сумеет продать его не так, как иные: продал, а вырученные деньги — на трудодни. Нет, он купит зерно, с помощью зерна поднимет удои, за молоко выручит деньги и только тогда раздаст их колхозникам. И хозяйство поднимается, и люди начинают верить в устойчивый, а не случайный трудодень.

В городе магазинам нужен лед. Не кто-нибудь, а Мельников сумеет раньше всех заключить договор на его добычу, с тем чтобы заработать на этом немалые деньги. Уродится картошка — он сумеет добиться вагонов и погнать их в Казахстан, а оттуда привезти хлопковый жмых. Он не забудет, что десять лет назад «Сельэлектро» построило в колхозе маленькую гидроэлектростанцию. Построило неправильно, так что сначала она работала в полсилы, а потом в один из паводков рухнула плотина. И он восстановит исковую давность и взыщет с «Сельэлектро» положенные триста тысяч рублей. Он ничего не упустит.

И результаты налицо: «Жизнь вроде как направляться стала»,— говорят колхозники, и даже самая древняя старуха в Покровке и та в восторге от нового председателя: «Колесо! Истинный бог — колесо!»

Казалось бы, чего больше? А все же находятся в колхозе люди, которые, вопреки гипнозу председательского обаяния, стоят на том, что ошибается Мельников и не той дорогой идет, что нужно. Во главе этой своеобразной оппозиции председателю — секретарь парторганизации колхоза, механик Владимир Николаевич Елагин, такой же, как Мельников, горожанин, такой же доброволец и искренний энтузиаст колхозного дела. Мягко, тактично, отнюдь не вступая с председателем колхоза, которого ценит и любит, в тривиально-эффектные драматические конфликты чисто литературного происхождения, но настойчиво, даже упрямо завоевывает он на свою сторону все больше и больше колхозников — и добивается своего.

В чем же дело, из-за чего идет этот невидный, но острый спор? В общем-то из-за того, на чем строить богатство колхоза, на что делать главную ставку и где найти главную точку опоры. Но тут есть разные аспекты. Наиболее очевидный из них — экономический.

3

В самом деле, как ни удачливо хозяйствует Федор Константинович Мельников, а о главном, о том, без чего колхоз существовать не может и богатство его не будет прочным,— о земле он не думает. Истощенная, из года в год дающая низкие урожаи, она просит заботы, просит удобрений. И они есть — торф, уже разработанный, целые караваны торфа, которые сразу же могут решить проблему плодородия покровских земель на долгие годы. Есть и техника, чтобы вывезти все это богатство на поля. Но тракторы нужны Мельникову для добычи льда. Деньги! Шестьсот тысяч, которые сами идут в руки! Разве можно от них отказываться? А торф — торф когда-нибудь потом. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

И так во всем. Расчет лишь на коммерцию, на подряды, на выгодные операции, которые сами по себе, без особых забот о земле, способны принести колхозу доход. Вплоть до игры на ценах — закупить в соседних колхозах осенью капусту по семидесяти копеек за килограмм, заложить в срочно построенное овощехранилище, которого нет у соседей, а в марте продать на базаре по пятерке. Верных два миллиона. «Щельная экономика», как называет этот метод хозяйствования один из покровцев. Где щель, там и зарабатывай. Сегодня в городе льда нет — руби лед да втридорога требуй за него, завтра метлы потребуются — зарабатывай на метлах. «Выходит, можно не сеять и не жать, а процветать. Какой-то торговый колхоз. Что за чепуха!» — резюмирует автор. И прав Елагин, когда говорит: «Ведь эти деньги могут разложить колхозников. Какой смысл трудиться, когда можно сделать так, чтобы другие сажали капусту, а ты скупай ее и огребай миллионы?» Вся-то разница, что раньше, когда дела плохи были, «шабашки срывали» поодиночке, а теперь целым колхозом. А земля, хлеб, овощи, картофель? Ведь если вначале, когда нужно было срочно найти оборотные средства, не грех было воспользоваться и щелями, то нельзя же вечно оставаться «рыцарем первоначального колхозного накопления», как метко определяет Мельникова Елагин. Да и сама жизнь накажет — год от году щелей все меньше, придется в конце концов вернуться на землю. Что она даст тогда, истощенная вконец?

Волей автора читатель наблюдает эту расплату уже в конце книги — может быть, несколько раньше, чем это могло произойти. Комбинации Мельникова срываются, «щельная экономика» терпит крах, и председателю приходится признать свою неправоту. Впрочем, правдоподобие здесь не нарушено, все могло случиться именно так, как описано в книге. И все же нам кажется, что автор несколько поторопился с подобным финалом. Он, так сказать, «наглядно демонстрирует» лишь неправильность экономической политики председателя колхоза. А поскольку именно такого рода расплата завершает книгу, то создается впечатление, что в общем-то именно в этом «экономическом» аспекте и заключена суть проблемы, а также смысл образа Мельникова. Между тем и сам автор и герои книги прекрасно понимают, что дело тут не только в том, что методы «первоначального накопления» носят временный характер и не могут быть основой построения экономики колхоза.

В самом деле, а что, если бы «расплата» пришла много позже? И даже больше: что, если бы вообще Мельников — тот Мельников, которого мы видим в книге,— с самого начала шел по правильному пути и, добывая, где только возможно, необходимые средства, главное внимание уделял земле, подъему хозяйства? Такой «вариант» Мельникова — предприимчивого хозяйственника и рачительного хозяина — тоже возможен. Что же, и исчезли бы тогда все проблемы? Вряд ли.

Есть в этом типе председателя, искренне болеющего за колхоз, нечто такое, что вызывает недоверие и настороженность независимо от того, занимается ли он только операциями со льдом или в совокупности с заботами о земле. И снова тут хочется вспомнить одного из героев прежней книги Мих. Жестева «Под одной крышей» — председателя тихачевского колхоза Ивана Никитича Бакунова. Вот как рассуждал он о том, почему Тихачево и Замостье раньше были под стать друг другу, а потом вдруг Замостье покатилось вниз, Тихачево же продолжало идти в гору. «Характером были разные. А раз характером, то и судьбой... Вспомни-ка сам, куда из района всякие людишки то за поросеночком, то за картошкой ездили? К нам или к вам? К вам!.. Не с нашей, а с вашей фермы корову заведующему райзо по колхозной цене дали! Невелик убыток тысяча

рублей, велик урон от того, что из-за таких радетелей колхозник перестал считать себя хозяином в колхозе. А у нас в ту пору такой случай был. Решили строить свой дом культуры. Все согласны, один старый Нефед против. Не хочу, говорит, от себя свое кровное отрывать... Ну что же, могли бы и не обращать внимания на Нефеда. А мы нет. Подсчитали, сколько с трудодня идет на дом культуры,— и Нефеду в руки. Вот твои двести рублей, получай. А когда построили, пригласили его на открытие. И вот человек понял: все строили дом культуры, а он нет. Всех труд вложен, только не его. Обидное это чувство. А люди хоть и были довольны, что проучили Нефеда, а в душе каждый с радостью думал: а все же мои права уважают. Колхозная касса надежная, никуда из нее моя копейка не уйдет. Чувствуешь, какой характер у тихачевцев воспитывался? А в Замостье.., рублем колхозника без самого колхозника распоряжались... От этого тоже характер колхозного коллектива зависит — неустойчивый он получается».

Ну, а Мельников? Что за характер воспитывает он в своем колхозном коллективе? Да вряд ли он и думает даже об этом. Это честный, искренне болеющий за колхоз и отдающий ему все свои силы человек, но так уж он устроен. Вот идет он в своем светло-сером отутюженном костюме и фетровой шляпе по с в о е м у колхозу, и каждая черточка его лица, его походка, его серые быстрые глаза, по-хозяйски оглядывающие поля,— все в нем как бы говорит. «Я здесь хозяин, сюда вложен мой труд, и если вы видите перед собой вон те крытые шифером фермы, слышите звон пилорамы и чувствуете во всем дыхание напряженных дней весеннего сева,— это я, Мельников, добился, что недавно отстававший колхоз идет в гору, и как еще идет». И не случайно он оговаривается, когда говорит о Елагине: «хорош у меня секретарь — другого не надо». Не случайно и бабка Лукерья, знакомясь с писателем, который приехал в Покровку, замечает: «То-то говорят, что у Федора Константиновича свой писатель объявился». Да и правда, у кого же еще, если именно Мельников ворочает всей жизнью в колхозе. Это он комбинирует, это от его находчивости и предприимчивости зависит достаток колхоза... Вот почему спор о том, вывозить или не вывозить торф на поля, браться за землю или ждать, приобретает не только узкоэкономический характер. Умница Елагин начинает постепенно понимать, какую опасность для колхоза таит в себе этот энергичный, смелый, инициативный его хозяин и его экономика. Пока колхоз «по-серьезному не возьмется за плодородие земли,— размышляет он,— люди не будут знать, на что надеяться — на свой труд или комбинаторские таланты председателя, и, может быть, пойдет хозяйство вперед, но так, как хромой человек: припадая то на одну, то на другую ногу, с вечной боязнью, как бы не поскользнуться и не упасть». И именно с Мельниковым не соглашается и спорит он, когда на лекции совсем в другом колхозе разъясняет колхозникам значение XX съезда и говорит о том, что нужно делать для подъема колхоза: «По-моему, так прежде всего надо уважать друг в друге хозяев колхоза! Самим уважать и требовать этого уважения от других. Сосед ли он, председатель ли колхоза, или секретарь райкома».

«И я скажу, товарищи, кто подымает это чувство хозяина в колхознике, тот выполняет решения съезда, а кто думает, что колхозник только рабсила, а он, председатель колхоза, всему голова и один только с умом, тот против идет. Такого председателя нынешний Пантелей долго держать не будет. Да и вряд ли усидит такой председатель. Не вкривь, так вкось сам куда-нибудь забредет. И вы обязаны глядеть в оба. Колхоз ваше детище, так поглядывайте за иной нянькой, чтобы она его, упаси боже, не обронила».

Вопрос о земле, о том, вывозить ли торф на поля или использовать тракторы на рубке льда и заработать на этом шестьсот тысяч, ставший своего рода узлом всех проблем, Елагин выносит на открытое партийное собрание, куда сходится весь колхоз, и весь колхоз принимает участие в обсуждении. Умница, Елагин и тут понял, что решать его должны сами люди. И когда он добивается победы — люди голосуют за землю, а не за лед,— победы трудной, потому что нелегко же в самом деле отказаться от таких денег, он знает: это победа в главном. Люди проголосовали за свой труд как за основу колхозного богатства, люди сами вынесли это важнейшее решение, хотя бы и вопреки всеми уважаемому председателю, люди начинают чувствовать себя хозяевами своего колхоза. И главное поражение Мельникова состоялось именно здесь, на собрании, а не тогда, когда про-

горела его комбинация с капустой. От него зависит, поймет ли он до конца, что если раньше вера в колхоз была основана на вере в него, председателя, то теперь эта вера все больше и больше будет строиться на вере в с в о и с и л ы, в свой коллективный ум, и не на вере, а н а д о в е р и и к нему, председателю. Перед ним очень нелегкая задача — не только осознать, что значит д о в е р и е и чем оно отличается от в е р ы, но и завоевать это доверие.

Но так или иначе, а главное заключается в том, что Покровка начала наконец обретать ту точку опоры, которую Алексей Темляков, герой очерков «Под одной крышей», определил однажды так: «Помните, что сказал Архимед насчет точки опоры? Так вот. Наша точка опоры — это чувство колхозника: он хозяин на своей земле. И если сегодня он проникнется этим чувством, то это будет означать: «Замостье уже не отстающий колхоз». Там Замостье, а здесь Покровка. А вообще-то говоря, только ли Покровка?

4

Такова та жизненная ситуация и тот своеобразный общественно-психологический тип руководителя, которые составляют самую суть нового романа Мих. Жестева «Золотое кольцо». Этой-то жизненностью, этим стремлением как можно внимательнее разобраться в непростых общественных явлениях он и привлекает прежде всего. Писатель сознательно и прямо полемизирует здесь с теми, кто, не утруждая себя раздумьями по поводу того или иного сложного общественного явления, спешит дать ему какое-нибудь банальное, примитивное объяснение и весь вопрос видит лишь в том, как его «обозначить», какой краской помазать, белой или черной: что сверх того, то от лукавого.

Мих. Жестеву свойствен иной подход к жизни. Он не спешит ответить на вопрос, что представляет собой Мельников — «уникум, случайную игру социальной природы или один из типов нашего времени», не спешит пришпилить к нему определительный ярлычок с «добром» или «злом». Он словно приглашает самого читателя поразмыслить обо всем том, что он увидел в жизни и вот теперь предлагает его вниманию. И это главное: книга действительно вызывает желание думать, размышлять, анализировать.

Тут, однако же, сразу хочется заметить, что желанию этому приходится нередко пробиваться через не совсем приятные и расхолаживающие художественные впечатления. Автор назвал свою книгу романом, хотя скорее это книга очерков. Мы отнюдь не принадлежим к строгим ревнителям строгих границ жанра и совсем не собираемся предъявлять автору претензии только за то, что он назвал свою книгу романом, а «правил» романа не выдержал. Роман ли, повесть, цикл ли очерков — какая разница? Дело не в названии. Лишь бы перед нами было цельное, крепко спаянное произведение, построенное в соответствии с тем жизненным материалом, который вошел в него, и теми задачами, которые автор перед собой ставил. Но вот как раз этого-то, на наш взгляд, и не получилось.

Читатель, видимо, обратил уже внимание на то, что главные проблемы, которые ставит и решает Мих. Жестев в своей книге,— это проблемы не столько общественно-психологические, сколько общественно-экономические, хозяйственные, производственные, организационные, политические. Именно с этой точки зрения интересует его и сам Мельников. Если попытаться как-то сформулировать тот вопрос, который мог бы задать своему герою писатель, когда работал над его образом, то вопрос этот вряд ли был такой: «А ну-ка, что ты за человек? Откуда ты взялся, какие общественные условия создали тебя? Что тобою движет и чем интересен ты как общественно-психологический тип нашего времени?» Психологическая разработка образа, его генезис — словом, то, что близко собственно художественному изображению,— не так уж, видимо, интересовали писателя. Все это есть, но мало, бегло, как-то «сбоку», и акцент сделан на другом. Вопрос тут был, пожалуй, такой. «Вот ты есть, каким я тебя увидел. А что ты несешь с собой колхозу? Правильны ли методы твоего хозяйствования? По пути ли тебе с Покровкой, и что надо сделать, чтобы было по пути?» Словом, несомненно то, что ближе к публицистике, к очерку.

И действительно, в постановке именно этих вопросов, в попытках их решения сосредоточен главный интерес книги. Это чувствуешь с самого начала и потому не предъявляешь автору особых претензий за то, что образы психологически разработаны «не так, как в романе», а пестрота от-

дельных зарисовок, обилие персонажей не охвачены стройными рамками единой сюжетной интриги. Напротив, испытываешь даже какое-то недовольство, когда автор вдруг начинает явно «беллетризировать», отвлекаясь от самого интересного и главного. А случается это, надо сказать, на каждом шагу. Видимо, для того, чтобы придать книге «занимательность», Мих. Жестев использовал здесь уже известный прием: он ведет рассказ от имени автора — молодого писателя, приехавшего в Покровку, с тем чтобы написать о ней книгу. И вот на протяжении всего произведения молодой автор делится с нами своими соображениями о будущей книге, рассказывает о своих сомнениях по поводу героев, терзается тем, что рушатся его представления о Мельникове, полемизирует с кем-то по поводу тех или иных литературных проблем и т. д. Мы давно уже догадались, что книга, о которой идет речь, о которой заботится молодой писатель,— та самая, что мы читаем. Мы давно уже поняли, что это своего рода литературная игра, а рассказчик вновь и вновь заставляет нас делать вид, что мы ничего не понимаем, и продолжает играть с нами в литературные прятки. Право же, это скучно — тем более, что все эти раздумья и доверительные сообщения не очень-то и интересны, новы, оригинальны, особенно рядом с тем, что тут же рассказывает он нам о людях, которые окружают его. Так и хочется сказать: «Ну, дорогой, хороший, ну хватит. Мы уже все поняли, не отвлекай нас от того, что действительно у тебя интересно».

Но главное, пожалуй, даже не в этом. Главное, пожалуй, в том, чего, судя по всему, опасался и сам автор, когда раздумывал в одной из первых глав о жанре своей книги: «Ведь, действительно, возьмите все наши очерковые произведения, написанные от первого лица. Ходит и бродит автор по их страницам, что-то смотрит, о о чем-то рассуждает, и неизвестно, что он делает среди своих героев,— только резонерствует да мешает им». Так оно, в общем-то, и получилось, хотя автор и привязан несколькими сюжетными ниточками к своим героям. Мешает он им — и не столько тем, что резонерствует, сколько тем, что заставляет их раскрываться перед нами только тогда, когда они общаются с автором.

Нередко, правда, Мих. Жестев не выдерживает строгостей им же самим установленного режима и, нарушая все порядки и условности, просто рассказывает о людях и их судьбах, оставляя в тени вопрос о том, откуда же он все это знает. Но все же в основном герои не имеют лучшей возможности познакомиться с читателем, как через речи, обращенные к автору, и беседы с ним. Это тоже снижает впечатление. Как-то не нашел здесь писатель своей точки опоры — той художественной точки опоры, которая дала бы жанровое единство его книге. Получилось так, что прием, направленный как будто бы на то, чтобы сообщить книге более «художественный» вид, привел к обратным результатам и не позволил писателю в полной мере использовать те реальные художественные возможности, которыми действительно располагает очерк. А жаль. Жаль, что не поверил он до конца в свой жанр, не доверился полностью тому живому потоку, который пробивается в его книге через все «литературные» наносы и делает ее действительно ценной. Этот поток жизни — в интересных и поучительных наблюдениях автора над новыми, очень своеобразными явлениями современной колхозной деревни, в плодотворном стремлении передать их подлинную сложность.

Р. ОРЛОВА, Л. КОПЕЛЕВ

★

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Заметки о зарубежной литературной молодежи

I

«РАССЕРЖЕННАЯ» МОЛОДЕЖЬ

...Герой этого романа очень молод. Он окончил университет, работает то журналистом, то продавцом, то шофером; с грехом пополам зарабатывает себе на пропитание, одежду, даже на выпивку и развлечения. Но главное в его жизни — едва ли не его призвание — это недовольство всем окружающим. Он занят преимущественно тем, что высказывает презрение и недоверие к общественному порядку и очередной возлюбленной, к религии и собутыльникам, к идеалам прогресса и рекламе сигарет... Он очень рассержен, этот юноша. Рассержен на своих родителей и учителей, начальство, парламент, газеты и кино, словом на всех, кого считает ответственным за устройство, вернее, неустройство этого мира. Вокруг него друзья и сверстники, и все под стать ему. Эти юноши и девушки щеголяют откровенно циничным, подчеркнуто грубым неприятием всех устоев общества и всех его традиций.

Им наплевать на все — и на давно уже потускневшие заповеди буржуазной морали, и на светлые мечты самых славных из предков и самых благородных из современников. Им наплевать на лицемерных пошляков и на вдохновенных романтиков, на пресыщенных банкиров и на голодных безработных, на прожженных политиканов, обрекающих целые народы на гибель во имя грязных корыстных расчетов, и на революционеров, самозабвенно отдающих свою жизнь ради счастья других людей и даже еще не рожденных поколений.

Героиня тоже очень молода. И не менее цинична. Впрочем, она не сердится на большой мир — мир общественных проблем и политических страстей, потому что просто не знает и не замечает его. Но, в отличие от героинь других веков и других эпох, ее не влечет ни великая всепоглощающая любовь, ни святость материнства, ни семейный долг, ни искусство. Еще подростком она пришла к убеждению, что ничего этого не существует. И поэтому она никому не верит, даже самой себе, даже собственным непроизвольным чистым порывам. Ей очень скучно живется, скучно даже во время изысканных развлечений. Впрочем, она ни к чему не стремится, ничего не ищет. Для нее более или менее значительны только очень непосредственные, мгновенные наслаждения. Самые сильные чувства, на которые она способна,— это безотчетное, смутное, чаще всего эротическое влечение или столь же безотчетная, смутная грусть, вызванная недовольством собой и едва отличимая от постоянной скуки.

Герой и героиня легко сходятся и легко расходятся, легко и даже со своеобразным мучительным злорадством разрушают свои и чужие мечты и надежды, обманывают других и самих себя...

Он всячески, то пьяный, то трезвый, шокирует и эпатирует ближайшее окружение, кощунствует и издевается, задирает ноги на респектабельные столы, плюет на паркеты и мраморные гробницы и гогочет в почтительной тишине ученых кабинетов.

И оба они бродят, нестриженые и немытые, с обкусанными ногтями, в нарочито мешковатой одежде, от бара до бара, одурманенные бездушной исступленностью

рок-н-ролла, лихорадочными ритмами джаза, яростным самозабвением автомобильных гонок и боксерских матчей — любыми проявлениями слепого азарта.

Это молодые люди, не знающие ни молодости, ни связи времен, ни традиций прошлого, ни надежд на будущее. У них нет ни вчера, ни завтра, а лишь крошечное сегодня, даже только «сей час», «сия минута».

...Книги, строго соответствующей тому, что рассказано выше, нет. И вместе с тем мы ничего не выдумывали, а просто попытались свести воедино персонажей нескольких произведений, опубликованных в последние годы в различных странах.

Мы имели в виду романы и пьесы так называемых «рассерженных» молодых людей Англии («Счастливчик Джим» Эмиса, «Место наверху» Брейна, «Соперники» и «Торопись вниз» Уэйна, «Оглянись во гневе» Осборна); книги, декларации и самый образ жизни представителей так называемого «бит дженерейшн»[1] в США (Керуак — «На дороге» и «Люди из подземелья», Клелан Холмс — «Иди!», стихи Аллена Гинсберга); повести француженки Франсуазы Саган — «Здравствуй, грусть», «Неопределенная улыбка», «Через месяц, через год...». К ним близки и многие произведения молодых французов, называющих себя «реистами» (Роб-Грийе, Натали Саррот, Бютор).

Эпидемия литературной «рассерженности» распространяется со скоростью вирусного гриппа. В Западной Германии ее признаки обнаруживаются в книгах молодых писателей Рольфа Беккера (романы «Ноктурно 1951» и «Михаэль Фрост»), Зигфрида Ленца (роман «Человек в потоке» и сборник новелл «Охотник, над которым смеялись»).

В Испании книги «злых» молодых писателей (Гойтисоло, Кирога и других) впервые за долгие годы франкистского гнета вызвали оживление в литературе. В некоторых зарубежных газетах уже появились сообщения о первых книгах «сердитых» молодых литераторов Норвегии, Швеции, Исландии и Дании...

Что позволяет сопоставлять и даже связывать между собой эти во многом очень различные явления?

Ведь «рассерженные» юноши английской литературы воплощают открыто социальную проблематику в традиционных формах реалистической прозы. Эмиса, например, критика называет продолжателем Филдинга и Диккенса. В романах Эмиса и Уэйна действие развертывается на широком социальном фоне современной английской действительности. Они еще, несомненно, остаются в русле литературы критического реализма XX века. Их заокеанские ровесники, напротив, нарочито асоциальны и в ряде случаев столь же нарочито антиреалистичны. Нередко они оказываются наследниками наиболее крайних формалистических опытов Джойса и Фолкнера. Во Франции Саган, не переступая границ тесного камерного мирка малых чувств и малых мыслей своих вполне современных героев, остается в пределах строгой, даже изысканной простоты французского классического повествования. Ее земляки — «реисты» — превращают в самоцель собственно повествование. Они выступают с претензиями на создание совершенно нового типа экспериментального современного романа, «свободного» от сюжета, героев, психологических характеристик, основанного только на самих реальных «вещах» (отсюда и само название направления: от латинского «rei» — вещи). Однако произведения реистов роднят с творчеством Саган те же черты крайнего субъективизма, которые характерны для современного декаданса.

Таким образом, все эти писатели представляют разные эстетические традиции, разные литературные направления, разные масштабы в пределах своих национальных литератур и уж, конечно, различные дарования. Каждое из этих явлений может и должно стать предметом специального исследования.

Но, несмотря на весьма существенные различия, в них явственно ощутимы и некоторые общие черты — прежде всего общность социально-исторической природы, воплощенной в их героях, родственность их отношений к действительности.

С романом Кингсли Эмиса советский читатель уже мог познакомиться по журналу «Иностранная литература» за 1958 год. «Счастливчик Джим» — Lucky Jim — это прозвище стало нарицательным. «Лаки джимами» в Англии теперь называют и самих

---

[1] „Beat" («бит») — для современных американцев означает «импульс», «толчок», «биение», «ритм», «судорога», «дергание» и в то же время «истрепанность», «избитость», «изношенность»; „generation" («дженерейшн») — поколение. Мы пока еще не нашли адекватного перевода этого выражения.

литераторов — глашатаев «рассерженной» молодежи. Для очень многих современных молодых литераторов — и не только в Англии — характерна неспособность подняться над своими героями. Писатели настолько слиты со своими персонажами, что собственное отношение автора к описываемым событиям и явлениям совершенно неразличимо.

Герой романа Эмиса является типичным представителем тех групп современной буржуазной и мелкобуржуазной молодежи, за рассерженностью которых, по меткому определению советского критика П. Палиевского, «скрывается не мировоззрение, а скорее состояние ума».

Джим Диксон — преподаватель одного из английских университетов — не столько мятежник, сколько озорник. Он дебошрит в доме почтенного профессора и, взойдя пьяным на кафедру, потешается над священными преданиями «доброй старой Англии», язвительно обличает преуспевающих буржуа и в конце концов не только вопреки, но и благодаря своим эскападам отлично устраивается в нелюбезном ему мире благополучной пошлости, становится счастливым кандидатом в зятья удачливого дельца, который оказывается «своим» парнем.

Из той же породы «счастливчиков джимов» и Джо Лэмптон — мелкий банковский служащий, который рвется к «месту наверху». Именно так назван роман Брейна. Юноша из рабочей среды, он ненавидит бедность почти так же, как ненавидит богатство, которого ищет. Он презирает тех, от кого зависит, и не скрывает своего презрения. Однако он отнюдь не собирается разрушать ненавистный ему мир, напротив, он хочет завоевать в нем наиболее удобное, наиболее выгодное место. Он этого и добивается, переступив через труп любившей его и любимой им женщины, затоптав собственные чистые чувства.

Но когда «место под солнцем» уже почти завоевано, Джо начинает понимать, вернее — ощущать, что заплатил за него слишком высокую цену. «Место наверху» не принесло ему счастья...

Большинство американских родственников этих героев, в отличие от них, не отягчено никаким образованием. Они не издеваются над культурными и историческими «святынями», потому что не знают их, да и не очень хотят знать. Иногда в их беседах мелькают имена Достоевского, Шопенгауэра, Ницше, Кафки, Хемингуэя, но о них просто упоминают, так как это те, «о ком все говорят». Персонажам романов и повестей Керуака и Холмса чужда и враждебна сколько-нибудь серьезная духовная, мыслительная деятельность.

Все они, как правило, «хипстеры», то есть «вихляющие бедрами»,— так называют в США молодых людей, развинченных тряской рок-н-ролла. В посвященных им романах нет действия, нет сюжета в обычном значении этого понятия. События здесь случайны, почти не связаны между собой, хаотически чередуются со столь же произвольными отступлениями и могут быть переставлены, перетасованы в любом порядке, как карты в колоде. Персонажи мелькают на страницах книг, словно прохожие на улице или посетители, сменяющиеся у стойки бара.

В романе Керуака «На дороге» герой, молодой писатель из Нью-Йорка, то в одиночку, то вместе со своими приятелями непрестанно мечется по дорогам США. На вопрос о цели непрерывных и безостановочных скитаний один из них отвечает: «Не знаю, куда и зачем, просто мы должны двигаться».

Они теряют друг друга, «голосуя», подсаживаясь в попутные машины, и снова оказываются вместе, встречают новых случайных спутников и спутниц либо относительно давних знакомых или приятелей. И сам рассказчик Сол Парадайз и главный из его друзей-попутчиков и отчасти даже наставник Дин Морайэрти, так же как и все другие (названо множество имен), почти совершенно безлики. Ничего не известно ни об их убеждениях, ни даже о характерах. О Дине сообщается, правда, что для него «половая жизнь была самой большой и, пожалуй, единственной святыней его существования». Он стремится обладать всеми женщинами, живет одновременно с двумя, но легко «уступает» и даже навязывает их друзьям...

Вся жизнь Сола и Дина и всех, кто с ними,— это прежде всего непрерывное движение. Они все время в пути. Из Нью-Йорка в Чикаго, из Чикаго в Денвер, оттуда в Сан-Франциско, потом в Лос-Анжелос, в Мексику, обратно в Чикаго и Нью-Йорк. Они ездят на автобусах, попутных легковых и грузовых машинах, одалживают машины, воруют, выменивают, ломают, бросают их, участвуют в нелепых гонках. Иногда они работают, чтобы оплатить дорогу, работают где попало и кем попало — сбор-

щиками хлопка или полицейскими стражниками, литературными «неграми» в Голливуде или грузчиками. Они сходятся и расходятся с девушками, такими же бродячими и такими же безликими; называются только их имена и самые общие приметы: блондинка, брюнетка, маленькая, тихая... Все они — и юноши и девушки — много пьют. Значительное место в их жизни занимают всяческие наркотики — кокаин, героин, опиум, морфий. И так же, как наркотикам, предаются они джазу, рок-н-роллу и бугги-вугги. Но самое главное для них — это своеобразный культ непрерывного, стремительного, истерически судорожного движения.

Судороги непрерывно сотрясают все их существование. Пожалуй, их даже можно назвать «судорожным поколением». Судороги бешеных ритмов джаза, судороги азарта автомобильных гонок, судороги бездушных ласк, судороги наркотического транса...

Все это развертывается на фоне современной Америки, и хотя приметы времени очень скупы — беглые упоминания о выборах президента, о выставках вооружений,— но вся книга совершенно недвусмысленно, хотя так же судорожно и бесцельно, отрицает сытое, косное и самодовольное существование солидных буржуа, лакированное рекламное благополучие пресловутого «американского образа жизни».

У представителей этой мечущейся молодежи много существенных недостатков и пороков: они беспардонные и безответственные индивидуалисты, они развращены, болезненно ущербны, безвольны и безыдейны... Но в то же время они несомненно враждебны миру бизнеса, корысти, стяжательства, военного и расистского психоза, шовинистическим претензиям «стопроцентного» американизма и наглой развязности истовых долларопоклонников.

И, кроме того, они ощущают страшное убожество своего бытия, тоскуют по иной жизни, по каким-то неясным идеалам. «Мы должны наконец куда-то прийти... что-то найти»,— говорит центральный персонаж романа «На дороге».

Все это беспредметное томление, в ряде случаев связанное к тому же и с религиозными — впрочем, столь же неопределенными и беспредметными — исканиями, все эти судорожные порывы молодых отщепенцев буржуазного общества, разумеется, безмерно далеки от подлинного революционного протеста.

Однако все же это и не тот слащавый, насквозь лживый буржуазный конформизм, которым пропитана значительная часть книжно-журнальной «продукции» американских издательств, не ядовитое крошево антикоммунистической, шовинистской и расистской «атомной» беллетристики, беззастенчиво служащей разжиганию военной истерии, не каннибальские «комиксы» и не безнадежно тлетворные и бесчеловечные литературные поделки настоящих «последовательных» декадентов...

В книгах молодых американцев, книгах, подобных роману Керуака, обнаруживаются принципиально иные качества. Эти качества еще не отстоялись, не определились. Они характерны именно для тех молодых литераторов, которые находятся в самом начале пока еще довольно неопределенного в своей сложной и мучительной внутренней противоречивости пути идейно-творческого развития. Но именно эти черты и роднят их со многими их литературными ровесниками по эту сторону океана. В произведениях молодых американцев, так же как в книгах молодых англичан и французов, невозможно отделить авторов от героев, они видят мир только глазами своих персонажей и судят о нем только с их позиции.

В Западной Германии в первые послевоенные годы выступили молодые писатели, страстно, до исступленности страстно отвергавшие недавнее прошлое своей страны. В рассказах и драме Вольфганга Борхерта, в романах и новеллах Генриха Бёлля, в повестях и романах Герта Ледига, Ганса Пумпа, Карллюдвига Опица и других воплотилось вполне определенное общее (несмотря на различия) чувство. Это был отчетливо целеустремленный и — при всех внутренних противоречиях — антифашистский, антивоенный гнев, обуревавший поколение бывших солдат. Однако в книгах молодых литераторов Западной Германии самого последнего призыва, тех, кого буржуазная критика уже называет «немецкими «сердитыми» молодыми людьми», звучат иные — увы, более ущербные — ноты.

...Восемнадцатилетний немецкий солдат возвращается с фронта в 1945 году. Он сын артистки, брошенной мужем. Горькую правду о своем отце он узнает одновременно со страшной правдой о судьбе своей страны. Он лишился всех политических и нравственных иллюзий и стал циничным нигилистом, ненавидящим все и всех. Это помогает ему преуспевать в жизни. Однако,

встретившись неожиданно с отцом, которого он не любит, презирает и все же не может оттолкнуть, герой столь же внезапно, как он раньше взбунтовался, круто поворачивает — отдает маразматическому старику все свое состояние, отказывается от блестящей карьеры и выгодной женитьбы и уезжает в Америку начинать новую жизнь (Рольф Беккер — «Михаэль Фрост»).

...Старый водолаз работает в послевоенные годы в порту на подъеме затонувших судов. Опасаясь лишиться этой работы, так как давно уже достиг предельного возраста (а у него ведь двое детей), он подделывает документы... Его дочь увлечена юношей, типичным представителем уже даже не «рассерженной», а озлобленной молодежи. Это молодой циник, нарочито равнодушный и аморальный, способный на преступление ради наживы, ради «удовольствия». И все же в нем где-то глубоко скрыты черты живой человечности. Он умен, наблюдателен, искренне любит дочь водолаза, но стыдится своих добрых порывов. Таким его сделала окружающая действительность — та жизнь, в которой честный старый труженик должен лгать и подделывать, чтобы не стать безработным нищим, и самым благородным из людей, окружающих его, оказывается вор.

В этой жизни все напрасно: старика водолаза разоблачают, и ему грозит уже не только увольнение, но и тюрьма, а юноша, покинутый возлюбленной, нелепо гибнет, пытаясь добыть с затонувшей подводной лодки ценности, чтобы продать их... (Зигфрид Ленц — «Человек в потоке»).

Той же тоской безнадежно одиноких людей проникнуты и рассказы Ленца. В них он, даже обращаясь к далеким экзотическим краям Африки и Заполярья, даже явно — и не слишком удачно — подражая Хемингуэю (заглавный рассказ сборника «Охотник, над которым смеялись» — прямой перепев «Старика и моря»), в то же время выражает — прежде всего и главным образом — мысли и настроения своих земляков-ровесников, молодых западных немцев, рассерженных, озлобленных лживой, бессмысленной действительностью.

В трех повестях Франсуазы Саган, наблюдательной, тонкой стилистки,— несомненно очень одаренной, но еще более разрекламированной,— действует по существу одна и та же героиня. В первой книге она, будучи еще почти ребенком, с недетским умением и знанием человеческой психологии разрушает брачные планы отца и становится — сама того, впрочем, не желая — причиной гибели его возлюбленной («Здравствуй, грусть»). Потом она — скучающая студентка, бездумно и безрадостно переходящая от одного любовника к другому. Внезапно встретив нечто близкое к настоящей любви, она обнаруживает, что это ей недоступно, что приходится довольствоваться только коротким подобием счастья («Неопределенная улыбка»). В последней книге Саган она представительница художественной богемы, спокойно и даже равнодушно убежденная в ничтожестве своем собственном и всех окружающих ее людей. Ничтожны и ее занятия искусством и ее любовь. От всего, чем она живет, «через месяц, через год» не останется и следа («Через месяц, через год»).

Произведения Роб-Грийе, Саррот и Бютора во многом существенно отличаются от повестей Саган. На первый взгляд творческие позиции этих молодых писателей могут показаться даже противоположными.

Роб-Грийе считает, что все не осязаемое, не «вещное», не материальное вообще недостойно внимания писателя и просто не может быть воссоздано средствами художественной литературы. Поэтому он пишет только об очень конкретных предметах, о том, что можно действительно увидеть, услышать, ощупать. В его книге «Ревность», которая почему-то все же названа романом, нагнетаются непрерывные описания предметов, тел, одежды, движений, всего, что видит и слышит человек, от лица которого ведется повествование. Он ревнующий муж, и это должно выражаться в том, как именно он наблюдает за своей женой и как она воспринимает его наблюдение.

Ничего не известно ни о характерах, ни о мыслях, ни о каких-либо иных чувствах этих двух единственных персонажей странного повествования. Да и само понятие «персонажи» здесь применимо с оговоркой. В них нет ничего персонального, то есть личного, индивидуального. Наружность жены еще как-то описана, а рассказчик-муж — это уже нечто совершенно условное, как нулевая «величина» в математике.

Натали Саррот, напротив, устремляется в мир чистой «духовности», в совершенно уже не материальные области самодовлеющих «потоков сознания» и смутных, зыбких образов «подсознания». Она словно стенографирует отрывочные, внезапно вспыхива-

ющие и угасающие мысли, безотчетные ощущения. Эти мысли и ощущения либо самопроизвольно, либо в силу «чистых» случайностей хаотически цепляются друг за друга, вырастают в бесконечные цепочки осмысленных, полуосмысленных и вовсе бессмысленных ассоциаций, которые могут быть прерваны в любом звене, в любое мгновение. От этого ничего не изменится...

Именно так построены книги Саррот «Портрет неизвестного» и «Мартеро», в которых действующие лица столь же немногочисленны и столь же неразличимы, как в сугубо «вещных» произведениях Роб-Грийе, и присутствуют только в виде чисто условных знаков, лишенных какой бы то ни было индивидуальности, как скобки, как обозначения интегралов или дифференциальных уравнений. Но, в отличие от определенности математических символов, здесь часто даже не понять, к какому именно знаку — то бишь персонажу — относится тот или иной всплеск непрерывных мутных «потоков сознания» и подсознания.

Таким образом, весь, казалось бы, сугубо «нематериальный» характер произведений Саррот лишь мнимо противоположен нарочитой «вещности» эстетических теорий творческой практики Роб-Грийе. В действительности и в том и в другом случае повествование, основанное на запечатлении очень дробных, предельно малых, мгновенных элементов материального мира или человеческого сознания,— которые считаются единственно возможными «предметами» литературного творчества,— не допускает художественного обобщения, типизации, создания психологических «портретов» и неизбежно ведет к распаду сюжета, к формалистическому вырождению.

Бютор, в отличие от Роб-Грийе и Саррот, несколько ближе к традициям французской прозы. У него еще сохраняются, так сказать, остаточные элементы сюжета.

...Преуспевающий торговый служащий, которому приходилось постоянно ездить в Италию по делам фирмы, решает совершить это путешествие «для себя самого». Он намерен круто изменить свою жизнь. Он едет, чтобы перевезти свою любовницу из Рима в Париж. Этой поездке, оказавшейся в конце концов безрезультатной, и посвящен роман. Минута за минутой запечатлены мельчайшие подробности мельчайших поступков пассажира — героя, прежде всего поступков. Потому что из мыслей и чувств его рассматриваются только самые конкретные, связанные с его непосредственными впечатлениями. Нет ни больших идей, ни больших страстей, так как эти «беспредметные», «нематериальные» категории остаются за пределами романа. Зато очень подробно, очень точно, словно увиденные крупным планом кинообъектива, воспроизведены движения ног, переступающих через ноги спутников, табачный пепел, падающий в пепельницу, и столь же мимолетные, случайно подмеченные подробности пейзажа, обстановки.

Но из этих многообразных, тщательно выписанных конкретных частностей вырастает один общий, неумолимый вывод — ничто в мире не меняется, все остается так, как и всегда было... (Бютор — «Изменение»).

Однако в творчестве всех этих мнимо противоположных друг другу молодых «реформаторов» французской литературы обнаруживается тождество или, во всяком случае, близкое родство. Во всех их произведениях нет не только социальной действительности, не только отсутствуют реальные герои, но и вообще *нет характеров, нет типических образов*, нет и следов живых людей.

Так неумолимо сказываются диалектические закономерности искусства. Последовательное развитие крайне индивидуалистического, субъективистского сознания в художественном творчестве приводит к исчезновению подлинно индивидуальных образов, к страшной нивелировке, к стиранию творческих индивидуальностей.

Творчество молодых французских писателей, называемых «реистами», во многом существенно отличается от творчества их литературных ровесников в Англии, США, Германии.

Однако все они хотя и по-разному, но явно не приемлют мир, в котором живут, не принимают его мораль, его традиции, его искусство. И в то же время никто из них не пытается бороться против этого мира и даже ничего ему не противопоставляет. *Пассивность отрицания* — вот что роднит все эти разные явления в творчестве литературной молодежи нескольких капиталистических стран.

Разумеется, все сказанное выше характеризует лишь часть — и отнюдь не преобладающую — современной зарубежной литературы, часть, которая в свою очередь представляет лишь одну группу современ-

ной литературной молодежи буржуазных стран.

Однако сами по себе эти факты показательны и симптоматичны для основных процессов развития буржуазного сознания и буржуазного искусства наших дней. Поэтому они и заслуживают пристального внимания.

2

О РАЗНЫХ «ПОТЕРЯННЫХ ПОКОЛЕНИЯХ»

Французский буржуазный критик Морис Надо сказал недавно, что XX век — век «потерянных поколений». Разумеется, такое утверждение далеко от истины. В нашем веке — трудном и славном столетии войн и революций — выросло несколько поколений не только не «потерянных», но впервые в истории человечества обретших ясное сознание будущих судеб мира. В литературах разных стран это проявлялось и в творчестве художников-революционеров, художников социалистического реализма, и в лучших произведениях многих честных буржуазных гуманистов.

Разве можно считать творчеством «потерянных поколений» социальные романы тридцатых годов, созданные американскими и английскими писателями, немецкую литературу периода антифашистской эмиграции, поэзию и прозу героического испанского народа, сражавшегося за республику, литературу Народного фронта и антифашистского Сопротивления во Франции и всю многоязычную антиимпериалистическую и антиколониальную литературу нашего века?

Однако наш век действительно знал «потерянное поколение» — и не одно. Две мировые войны, несколько потерпевших поражение революций, опустошительнейшие кризисы буржуазной экономики и буржуазной культуры, десятилетия изуверских фашистских режимов в разных странах и на разных континентах не могли не оставить глубоких трагических следов в общественном сознании и художественном творчестве.

Как известно, само понятие «потерянное поколение» возникло в связи с появлением в литературе книг, созданных бывшими участниками первой мировой войны. В творчестве Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка, Дос Пассоса воплотился горький опыт тех юношей, кто в грязных и смрадных окопах излечивался от иллюзий буржуазного гуманизма и буржуазной демократии, но в то же время не сумел прийти к революционным выводам.

Это были двадцатые годы нашего века. А десятилетие спустя появилось новое поколение литераторов, разочарованных и не находящих выхода из сумятицы общественных, политических и нравственных противоречий.

Торжество фашизма в Германии и других европейских странах, циничные триумфы японских и итальянских агрессоров в Китае и Абиссинии, трагическое поражение Испанской республики, мюнхенский позор вызывали в среде буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, а также у многих рабочих настроения горестного бессилия, в иных случаях даже паники. Этому благоприятствовали также серьезные ошибки некоторых революционных партий, к руководству которых пробирались оппортунисты и догматики, и те нарушения социалистической законности, сообщения о которых широко распространялись и раздувались антисоветской пропагандой.

Не умея разобраться в сложных путях исторического прогресса, некоторые политически незрелые или нестойкие попутчики пролетариата впадали в сомнения, предавались безнадежному отчаянию, становились дезертирами, ренегатами.

Бессильный страх или желчный цинизм взамен потерянных надежд, готовность по-декадентски развенчивать весь род человеческий в тех или иных формах проявлялись в некоторых книгах Дос Пассоса, написанных после «Сорок второй параллели», в книгах Ричарда Райта после «Сына Америки», во всем, что написал Андре Мальро после «Надежды», в произведениях Стивена Спендера, Густава Реглера и других.

Тлетворный дух нового «потерянного поколения» сказывался и в отдельных книгах писателей старых призывов. Но все эти метания растерянных буржуазных интеллигентов, ошеломленных молнийными зигзагами мировой истории, приводили в результате лишь к тусклым, реакционным однодневкам, вроде «Блудных родителей» Синклера Льюиса или «Приключений молодого человека» Дос Пассоса.

Это «второе», так сказать, «послекризисное потерянное поколение» XX века оказалось и идейно и художественно несоизмеримо менее значительным, чем первое — Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон...

Противоречивые особенности второй мировой войны порождали сложные противо-

речия общественного сознания, которые отразились в художественной литературе послевоенных лет.

В американских антивоенных, а вместе с тем и антисоциальных романах, таких, как «Приключения Уэлси Джексона» У. Сарояна, «Обнаженные и мертвые» Нормана Мейлера, «Отсюда и в вечность» Джеймса Джойса, в произведениях упомянутых выше западнонемецких писателей, в книгах французских экзистенсиалистов в разных формах воплотился противоречивый, трагический опыт «маленьких людей», захваченных сокрушительными и непонятными для них событиями войны и первых послевоенных лет.

Однако не успели еще люди опомниться от военных кошмаров, от ужаса ночных бомбардировок, от рева ураганного огня, от ран, голода, нечеловеческих лишений и страданий, не успели еще остыть пепелища городов, страшные печи концлагерей и развалины Хиросимы и Нагасаки, а буржуазные политиканы, газеты и радио уже начали новую, «холодную» войну против стран социализма. Впрочем, не только против них и не только «холодную». В Китае и Вьетнаме, в Малайе и в Индонезии, в Алжире, на Мадагаскаре, в Греции и Корее лилась горячая человеческая кровь, пылали города, не смолкал орудийный огонь.

Юношам и девушкам во многих странах Европы и Америки, которые вступали в жизнь в конце сороковых годов нашего века, было отнюдь не легко разобраться в том, что происходит в мире. Ведь никогда еще в истории человечества не существовало такой совершенной, даже «научно» обоснованной системы обмана десятков и сотен миллионов людей. Буржуазная пресса, радио, телевидение, кино, театр, церковь, издательства затрачивают огромные средства и огромную энергию на то, чтобы отравлять сознание людей ложью, ненавистью, страхом и неверием в себя. Главными целями этой «психологической войны», этих непрерывных атак на умы и на души людей было внушить вражду и ненависть к силам социализма, внушить злобный ужас перед странами социалистического лагеря и недоверие к любым возможностям борьбы за мир и независимость в странах капитализма.

Успех этой пропаганды обеспечивался в немалой степени кризисом политики ряда европейских социал-демократических партий. Ведь очень многие обыватели в Западной Европе и Америке всерьез принимали заявления о «социалистическом» характере этих сил и все их неудачи расценивали как неудачи принципов социализма.

С другой стороны, велась безудержная, крикливая реклама «американского образа жизни», якобы процветающего «народного капитализма» США.

Все это было непосредственно связано с очередным крушением «мелкобуржуазных иллюзий в социализме», подобным тем, которые уже не раз в продолжение последнего столетия повергали в смятение значительные группы либеральных интеллигентов.

Но в то же время каждый день приносил и приносит все новые доказательства гнилостного распада капиталистической системы, ее экономики, ее политики, ее морали, ее искусства. И в самом буржуазном обществе непрерывно возникают все новые оппозиционные, недовольные и даже враждебные ему элементы.

Такова та историческая почва, на которой вырастает буржуазная и мелкобуржуазная молодежь сороковых—пятидесятых годов. Из этих юношей и девушек, чья сознательная жизнь начиналась в условиях мучительного кризиса — кризиса идей и принципов, общих взглядов на мир и конкретных представлений о добре и зле, о красоте и уродстве,— и формируется новое «потерянное поколение».

3

МОЛОДЕЖЬ НАКАНУНЕ «КОНЦА СВЕТА»

Американский поэт и публицист Кеннет Рексрот, которого молодые «рассерженные» американцы считают своим идеологом, пишет о них так:

«В политике они убежденные атеисты, не верящие ни в государство, ни в войну, ни в ценности цивилизации бизнеса. Большинство из них только потому не называет себя анархистами, что это означало бы примкнуть к какому-то «движению». Для них подозрительно все, что хоть каким-либо образом напоминает определенную идеологию» («Разобщенность: искусство «бит дженерейшн»).

Это определение Рексрота в значительной степени применимо ко всем названным в начале статьи группам и направлениям молодых писателей пятидесятых годов. Все

они, по сути, представители одного «потерянного поколения» холодной войны.

И поэтому им всем — и англичанам, и американцам, и французам, и немцам — присущи общие черты в самых основах мировоззрения и мироощущения. Они словно говорят: «Не надо нам вашего мира, не надо нам вашей культуры». Но в то же время — и это также характерно для большинства молодых литераторов разных стран — они сознают свое бессилие создать новый мир и новую культуру. Однако в отличие от «последовательных» декадентов, которые склонны видеть в гниении, во всяческих извращениях, в аморализме естественное состояние человека, многие из «рассерженных», отнюдь не отвергая ни теории, ни практики современного декаданса, все же понимают, вернее ощущают, противоестественность, порочность своего отношения к миру.

Эрих Фрид, молодой западнонемецкий поэт пишет:

Я стал слишком велик
Для маленькой любви.
Я стал слишком мал
Для большой любви.
Я слишком устал,
Чтобы глаз не смыкать.
Я слишком тревожен,
Чтобы заснуть.

Так сознание бессилия и душевной опустошенности нерасторжимо сочетается с острой, мучительной неудовлетворенностью своим существованием и своим отношением к этому существованию.

Подобные настроения присущи многим молодым американцам, французам, испанцам, немцам, англичанам и шведам.

Они очень одиноки, эти молодые люди второй половины XX века. Их горькое, почти безнадежное одиночество определяет многие особенности творчества молодых литераторов современного Запада. Эти особенности мировосприятия молодежи видят и некоторые писатели за рубежом. Так, например, в последней драме американского драматурга Теннеси Уильямса «Орфей нисходящий...» молодой бродяга музыкант говорит: «Мы все осуждены на пожизненное заключение, каждый в одиночной камере своей шкуры... вот в чем правда...»

Осенью 1958 года известный французский режиссер Марсель Карне поставил фильм «Обманщики», который стал значительным событием в общественной жизни страны, был удостоен «Гран-при» (первой премии французского кино) за прошлый год. Споры о нем все еще не умолкают. Юноши и девушки — герои этого фильма, во многом похожие на «судорожных» молодых американцев, ведут подвижную, лихорадочно беспокойную, бесцельную и бессмысленную жизнь. Они пьют, трясутся в рок-н-ролле, воруют автомашины, шантажируют богатых буржуа; все они принципиально, нарочито порочны. В их среде пуще всего презираются проявления «старомодных» чувств любви, дружбы, какие бы то ни было идеалы, которые, как им кажется, безнадежно испакощены буржуазным ханжеством и лицемерием. Юноша и девушка, искренне полюбившие друг друга, стыдятся этого, скрывают свое чувство, не знают слов, чтобы выразить его. И героиня в конце концов убивает себя. Нелепый, уродливый трагизм воплощен в этой смерти, в бессмысленной гибели новой Джульетты — юной француженки 1958 года. А ее возлюбленный, этот злосчастный современный Ромео, переживает жестокий удар, который, однако, заставил его вновь и по-иному задуматься над тем, как и зачем жить в мире, где общество только «сумма одиночеств».

Много воды утекло с тех пор, как возникло само понятие «потерянное поколение». Совершенно очевидны принципиальные отличия Керуака от Хемингуэя или Эмиса от Олдингтона.

Но их можно сопоставлять, потому что творчество тех и других определяется неприятием капиталистической действительности и вместе с тем неумением и нежеланием с ней бороться. Пассивность отрицания — характерная черта всех «потерянных поколений».

Что же все-таки отличает разочарованную, «рассерженную» и «судорожную» молодежь нашего времени от их давних и недавних предков, от лишних людей прошлого века, от дадаистов и «ничевоков»?

Прошло тринадцать лет с тех пор, как над Хиросимой и Нагасаки взорвались первые атомные бомбы. И с тех пор над миром нависла зловещая тень атомной войны. Советским людям даже трудно себе представить ту степень нервной, почти истерической напряженности, которая всеми средствами пропаганды поддерживается в повседневной жизни почти всех капиталистических стран. Изо дня в день в солидных научных журналах и грошовых листках комиксов, по радио и по телевиде-

нию, с церковных амвонов и с эстрад кабаре, с парламентских трибун и в классах начальных школ шепчут, говорят, кричат о неизбежности атомной войны, несущей гибель всему человечеству.

Именно в этой атмосфере вырастали современные молодые западные литераторы. И многие из них всерьез поверили, что живут в последние годы существования вселенной, что все предшествующие века развития культуры и науки, политической борьбы, творческих исканий понадобились лишь для того, чтобы подвести человечество к атомному самоубийству.

Отсюда и возникает абсолютный пессимизм, неверие и своеобразное презрительное отчаяние молодых людей, считающих себя последним поколением человечества. Отсюда их отвращение ко всякой общественной деятельности, неверие во всякую политику и всякую науку, отсюда их болезненное тяготение к простейшим и мгновенным радостям — «а после нас — хоть водородная бомба...»

Вероятно, нечто подобное происходило в христианских странах Европы в 999 и тысячном году, когда ждали конца света. Но только от тех времен почти не осталось литературных памятников.

Однако своеобразие нынешней исторической обстановки определяется не только этими мрачными, болезненными чертами. Действие рождает противодействие. Небывалая по своим масштабам угроза атомного уничтожения привела и к небывалому в предшествующей истории массовому движению борьбы за мир, рождая небывалое по своему размаху стремление к общечеловеческой солидарности.

И в этих условиях нет места для литературы эстетического отшельничества. Даже самым разочарованным художникам некуда бежать от действительности. Башен из слоновой кости давно уже не воздвигают, и самому утонченному снобу не придет в голову строить себе атомное убежище из слоновой кости...

Вот почему в развитии мировой литературы творчество «рассерженной» молодежи в конечном счете не представляет главного, стержневого потока.

К тому же литературные процессы, в том числе те, которые связаны с творчеством «сердитых» или им подобных, определяются многими особенностями, очень своеобразными для каждой страны и для различных литературных школ.

Общность исторической почвы, как известно, не означает тождества идейно-эстетических плодов, на этой почве произрастающих, но еще более разнородны пути развития людей, которые взращивают эти плоды.

В задачу данной статьи не входит исследовать все эти сложные и многоликие явления; мы хотим лишь отметить некоторые принципиально значимые общие черты.

4

КУДА ОНИ МОГУТ ПРИЙТИ?

Первые книги «рассерженных» молодых людей в Англии появились в 1953 году. Примерно тогда же опубликовали свои первые произведения и их литературные сверстники в Испании и во Франции.

«Потерянное поколение» холодной войны еще очень молодо. Тем более своевременно задуматься над его перспективами. Опыт истории учит, что эстетические бунты скоропреходящи. «Чистого» отрицания не может хватить надолго.

Куда же идут, куда могут прийти нынешние молодые писатели Запада?

Как уже отмечалось вначале, в творчестве некоторых из них отчетливо проявляется склонность к примирению с действительностью. Пусть это неполное и непрочное примирение, пусть в нем сохраняется горький привкус разочарования, неуважение к миру незадачливых, обанкротившихся отцов, но так или иначе все же некоторые «сердитые» блудные сыновья уже возвращаются в лоно буржуазного конформизма...

Характерно, что один из литературных пионеров «рассерженной» молодежи, Эмис, после своей первой книги «Счастливчик Джим» выпустил книгу с недвусмысленно декларативным заголовком: «Мне здесь нравится». Речь идет о той самой нынешней буржуазной Англии, на которую очень сердились сам автор и его герой еще несколько лет тому назад...

Таков один из возможных путей. Он уже достаточно проторен. По нему бесславно прошли некоторые литераторы, тоже начинавшие со всяческих мятежей и даже не только «духовных», не только эстетических. В тридцатых годах — Жид и Дос Пассос, за ними Мальро и совсем недавно Фаст. На этом пути эксбунтари — покаявшиеся блудные сыны — находят, конечно, и «жирных тельцов»: министерские портфели, голл

ливудские договоры, но безнадежно утрачивают творческое первородство, перестают создавать сколько-нибудь значительные художественные произведения.

Так, даже самые снисходительные консервативные критики в США вынуждены признать, что Дос Пассос, публикующий почти ежегодно новые книги, после разрыва с «красными» не написал ничего такого, что хоть в отдаленной степени может сравниться с произведениями его мятежной молодости.

Какой убийственной иронией прозвучал недавно вопрос, заданный на пресс-конференции Андре Мальро — министру деголлевского правительства: «Как должен вести себя молодой алжирец, прочитавший старые книги писателя Мальро?» Потому что ярким и талантливым — при всей их противоречивости — книгам своей молодости («Условия человеческого существования», «Годы презрения», «Надежда») Мальро может противопоставить сейчас только холодные бенгальские фейерверки профессионального красноречия.

Так примирение, соглашение с буржуазной действительностью приносит художникам сытость, обеспеченный быт и.., творческую импотенцию.

Иным кажется, что вторым — едва ли не прямо противоположным — путем является верность самому духу отрицания: неизменное и бесконечное оплевывание всякой действительности, всех людей и человечества вообще. Это путь, так сказать, «последовательного» декаданса — путь Луи Селина, Эзры Паунда и Сэмюэля Бекетта, «крайних» экзистенсиалистов и всяческих «ничевоков».

Но те, кто всех людей считает преступниками, только помогают настоящим ворам, те, кто убежден, что человечество не может достичь, да и недостойно лучшего существования, только мешают людям бороться за новую жизнь, отравляют их надежды и мечты.

Отнюдь не случайно Эзру Паунда его недовольство американской действительностью привело... на службу фашизму — в годы войны он был радиодиктором у Муссолини. Он пошел по стопам других «чисто эстетических» бунтарей — Маринетти и д'Аннунцио. Тем же путем прошли и «непримиримый» декадент Селин, отлично сотрудничавший с гитлеровскими оккупантами, и бывшие экспрессионисты Иост и Эверс, которые стали трубадурами гитлеровщины, а сегодня уже числятся в пропагандистском обозе нового вермахта.

Впрочем, было бы грубым упрощением полагать, что последовательные декаденты обязательно вступают, так сказать, на штатную службу реакции. Они могут оставаться вне каких бы то ни было организаций и учреждений и могут совершенно искренне считать себя независимыми, гордыми «рыцарями духа», одиноко противостоящими прозаической мещанской действительности. Но в лучшем случае это наивный самообман. И когда Сэмюэль Бекетт в пьесе «Конец игры» изображает пакостное прозябание последних четырех людей на земле, он присоединяется к разноголосому хору провозвестников атомной войны.

Так этот якобы второй путь оказывается лишь причудливым ответвлением первого и по существу идет в том же самом направлении — к утверждению, а не к отрицанию буржуазной действительности.

Но перед литературной молодежью современного Запада есть, конечно, и по-настоящему иной путь. И его тоже не нужно прокладывать заново, хотя он много труднее и порой пролегает через лишения, страдания, тюремные камеры. Это тот путь, которым прошли Анри Барбюс и Бертольт Брехт, Иоганнес Бехер и Луи Арагон, Пабло Неруда и Поль Элюар. Они тоже начинали только с эстетических, литературных мятежей, но с годами выросли в настоящих пролетарских революционеров, а вместе с тем—и благодаря этому—стали большими писателями. И даже самые консервативные, самые недоброжелательные к пролетарской революции критики вынуждены признать, что развитие Арагона от сюрреализма к поэзии Сопротивления и «Неоконченному роману», Неруды от «Песен отчаяния» к «Всеобщей песне», Брехта от «Ваала» и «Барабанов в ночи» к «Мамаше Кураж» и «Галилею» — это пути созревания крупнейших поэтов нашего века.

И в наши дни в тех же странах, где происходят шумные сенсационные выступления «рассерженных» и им подобных, продолжают успешно развиваться традиции последовательно революционного искусства. Они проявляются и в творчестве многих молодых литераторов.

Молодые французы Жан Шаброль (автор знакомого советским читателям романа «Гиблая слобода»), поэты Шарль Добжинский и Луи Гийевик известны далеко за пределами своей родины. Их произведения посвящены жизни и борьбе трудо-

вого народа. Молодой английский писатель Дэйв Уоллес в романе «Трамвайная остановка на Ниле» вслед за Олдриджем успешно развивает антиколониальную тему, одну из самых плодотворных тем современной английской литературы. Американский юноша Джон Килленз в своем первом романе «Молодая кровь» по-новому и очень талантливо рассказал о трудной борьбе американских негров.

Существенно новую главу истории мировой литературы открывает именно в наши дни целый отряд молодых литераторов, представителей колониальных или недавно освободившихся от колониальной зависимости народов.

Мы уверены, что именно этой зарубежной литературной молодежи принадлежит будущее. Необычайно многообразны и вовсе не просты пути ее творческого становления, которые, конечно, невозможно охарактеризовать в одной статье. Однако мы упоминаем здесь о них не только затем, чтобы иллюстрировать тот факт, что «рассерженные» являются отнюдь не единственным и даже не самым значительным направлением в жизни литературной молодежи капиталистического мира.

Наиболее значительно и для настоящего и для будущего то, что в произведениях молодых писателей и поэтов — представителей передовых демократических сил современности воплощаются и развиваются те идейно-эстетические принципы, усвоение которых открыло бы наиболее плодотворные перспективы для всех и для каждого из литераторов «рассерженной» молодежи.

Разумеется, далеко не все молодые литераторы по характеру своего миропонимания смогут встать на путь революционного пролетариата. Но в современной зарубежной литературе еще живы и традиции критического реализма, традиции пусть во многом ограниченного, внутренне противоречивого, но в конечном счете все же прогрессивного гуманистического искусства. В той или иной мере они воплощены в творчестве Роже Мартен дю Гара, Томаса Манна, Эрнеста Хемингуэя, Грэма Грина, Артура Миллера, Генриха Бёлля и всех тех честных писателей, которые постоянно и неутомимо ищут путей к правде, стараются своими — иногда пусть даже наивными, иллюзорными, но честными — средствами помогать людям в борьбе за мир и счастье. И этот извилистый, трудный путь тоже ведет к художественной правде.

Мы не знаем, кто из названных в начале статьи молодых литераторов завтра пойдет по новым путям. Но так как не только в настоящем искусстве, но и в истории общества ничто не может просто повторяться, то перед молодыми литераторами наших дней — иные задачи, иные преграды, иные трудности, чем те, которые преодолевали и преодолевают зрелые художники. Поэтому им предстоит искать новые, свои решения. И если они найдут действительно правильные, плодотворные решения, они перестанут быть «потерянным поколением», они обретут себя как граждане своих стран, как художники своих народов.

А пока главным—и в большинстве случаев единственным,—что позволяет надеяться на плодотворность будущего развития лучших представителей нынешней литературной молодежи, является все же их «сердитое» неприятие буржуазной действительности, их недовольство окружающей жизнью и самими собой.

Литературные деятели прогрессивного лагеря пристально наблюдают за развитием этой молодежи и очень бережно, дружески стараются помочь ей разобраться в том, что происходит в мире и в искусстве. Примерами этого могут служить статья английского литературоведа коммуниста Арнольда Кеттла в журнале «Марксизм сегодня» о творчестве «сердитых» молодых людей, серия статей старейшего пролетарского писателя Америки Майкла Голда, посвященная «бит дженерейшн», и ряд выступлений боевого органа революционной интеллигенции Франции «Леттр франсез».

Сегодня легко судить о закономерностях, определявших развитие литературы в эпоху романтизма или литературных мятежей двадцатых годов, но очень трудно предвидеть — а предсказывать незачем,— какой будет зрелость литературного поколения пятидесятых годов.

Но одно очевидно — от самих писателей зависит выбор: борьба — и значит творческий расцвет, примирение — и с ним упадок. Этой дилеммой во многом определяется не только личная судьба каждого литератора, но и завтрашний день зарубежной литературы.

С. ШТУТ

★

„ДВЕНАДЦАТЬ“ А. БЛОКА

1

Среди первых героических образов советской литературы — красногвардейцы из поэмы Александра Блока «Двенадцать». Героических?! — изумится читатель.— Да это же бесшабашные молодцы, гулящая голытьба, анархическая вольница, буслаевские разбойнички!

Мы не преувеличиваем. Именно в таких весьма энергичных выражениях и аттестуют обычно героев «Двенадцати». Порою к этому присоединяют вялое признание их революционной устремленности и соответственно вздохи сожаления по поводу их двойственности и противоречивости. Но даже и в этом лучшем для красногвардейцев случае их анархичность, их буйный разгул не берутся под сомнение. Здесь все критики единодушны и непреклонны.

А разве может быть иначе? — спросят меня. Ведь это о них, о красногвардейцах, сказано в поэме: «На спину б надо бубновый туз!», «Запирайте етажи, нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба — гуляет нынче голытьба!», «Уж я ножичком подосну, подосну!» И ведь это они, подтверждая справедливость такой их характеристики, действительно «подосуют ножичком» — убивают Катьку. Но в том-то и дело, что сказано это не о них, точнее — не о всех них. И совершают убийство не они, точнее — не все они. Всегда и везде блоковские красногвардейцы рассматриваются обезличенно, как некий единый образ[1]. И это, на мой взгляд, так же несправедливо, как если бы мы в реальной жизни равнодушно осудили за убийство всех оказавшихся рядом, даже не попытавшись найти среди них действительного виновника.

В поэме Блока и искать незачем. И автор прямо назвал убийцу («Лишь у бедного убийцы не видать совсем лица...»). И сам убийца признался в своей виновности («Загубил я, бестолковый, загубил я сгоряча...»). И, наконец, это же подтвердили свидетели («Али руки не в крови...»).

Короче: все, что касается преступления, ясно в поэме с самого начала. Лишь две строки вызывают недоумение: «Стой, стой! Андрюха, помогай! Петруха, сзаду забегай!..» — но и они, противоречащие буквально всему в поэме, не могут поколебать окончательного вывода: убийство совершил именно Петька, он один, а не все скопом. И совершил он преступление не от имени всех двенадцати — ведь остальные красногвардейцы осуждают его,— а от имени враждебного им и разрушаемого ими преступного старого мира.

Этот мир ограничивают обычно персонажами 1-й главы. Действительно, маленькая 1-я глава с непостижимой емкостью вместила в себе целую галерею монстров страшного мира. Вместила, но не исчерпала. Заканчивающее эту главу восклицание: «Товарищ! Гляди в оба!» — выполняет, как и большинство концовок в поэме, двойную функцию: и концовки и зачина. Прочно подготовленное и содержанием главы — изображением враждебных революции сил прошлого — и эмоциональным отношением к ним поэта («черная злоба, святая злоба»), это восклицание по праву завершает собою рассказ. И в то же время, отделенное от всей главы многоточием и интервалом, оно обращено вперед. Этот призыв к бдительности тревожит, подготавливает, настораживает: вот-вот появится нечто чужое и враждебное. И появляется. Выходит на сцену Ванька — дезертир и изменник («Был

[1] Правда, В. Перцов в своей монографии о Маяковском говорит, что среди красногвардейцев есть разные люди. Но это его наблюдение на общую оценку героев поэмы никак не влияет.

Печатая статью С. Штут, редакция считает необходимым отметить ее дискуссионный характер.

Ванька наш, а стал солдат!»), продавший свой революционный долг за деньги («Ванюшка сам теперь богат...») и справедливо за это презираемый («Ну, Ванька, сукин сын, буржуй...»). Рядом с ним, развивая этот же мотив бесчестия, продажности и жадности, возникает Катька с керенками в чулке. И наконец, привязанный к ней грубой и злобной ревностью («Катька с Ванькой занята — чем, чем занята?..»), вступает в действие Петька.

В отличие от Ваньки, Петька — красногвардеец, часовой и боец революции. Но в революцию он пришел с тех площадей и улиц, по которым только что провел нас поэт. И слабый, неустойчивый, он не смог остаться чистым. Здесь, во 2-й главе, Петька не только рядом с Ванькой и Катькой, он прочно включен в липкогрязную атмосферу их жизни. Это с ними, подонками капиталистического общества, завязывается у него тугой узел хотя и примитивных, но цепких отношений. Это здесь, в непосредственном соседстве с только что промелькнувшим перед нами страшным миром, возникает и зреет разыгравшаяся потом кровавая драма. И слова: «В зубах — цигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз!», предваряющие появление Ваньки и Катьки и стоящие в непосредственном соседстве с 1-й главой, продолжают начатую в ней тему страшного мира. Упорно и неизменно адресуемые критиками красногвардейцам, они, мне кажется, обращены не к ним, это приговор тому общественному строю, для которого все люди в картузах и с цигарками — потенциальные преступники и который наиболее слабых из них превращает в действительных преступников.

Так ли это? — возразят мне.— Допустим, в убийстве Катьки виновен один Петька, но ведь призывы «запирайте етажи» и угрозы «уж я ножичком полосну» раздаются в отряде и после убийства?

Да, после убийства. Но исходят они, на мой взгляд, все от того же Петьки. Кто же, кроме него, будет вспоминать о зазнобушке-чернобровушке и молиться за упокой ее души? Кто и почему ворвется вдруг в середину так естественно развивающихся душевных метаний Петьки? Ведь это он в ярости убийства кричит: «Лежи ты, падаль, на снегу!..» Это он терзается раскаянием: «Загубил я сгоряча...» Это у него боль утраты сменяется приступом веселья: «Он головку вскидавáет, он опять повеселел...». Но если все это — Петька, то тогда и все последующее психологически неотделимо от него. Ведь это «о н повеселел», и значит это е г о веселье предстает перед нами в той форме, которая единственно доступна Петьке: «Отмыкайте погреба — гуляет нынче голытьба!» А угарное пьяное веселье сопровождается его естественными последствиями: «Уж я ножичком полосну...», и, как всякий суррогат веселья, столь же естественно завершается из души рвущимся криком: «Скучно!»

Однако, относя все преступное в поэме за счет Петьки, мы не снимаем этим основного вопроса, правда, обращенного теперь уже не ко всем красногвардейцам, а только к одному из них. Если Петька-преступник — выражение преступности старого мира, то по какому праву он входит в чистый и светлый мир революции?

Разумеется, было бы значительно проще не пустить плохого Петьку в Красную гвардию и тем самым разом снять все наши затруднения. Но не пустить Петьку в отряд нельзя. Потому что он оказался в отряде не по недосмотру Блока и не по причине его политической неразвитости (дескать, поэт увидел в революции только ее жестокость и дикость) и даже не благодаря его великодушию (мол, этим способом поэт заявил о своей готовности принять революцию и такой — со всем, что в ней есть темного и дикого). Петька не нуждается в снисходительности. Он заслужил право сражаться со страшным миром, заслужил своей «святой злобой» к нему. Иногда говорят, что ненависть к буржуям выросла у Петьки из чувства мести за зазнобушку-чернобровушку. Нет, здесь прямо противоположная последовательность. И его злоба к Катьке и его ревность к Ваньке усилены острой ненавистью ко всему тому социально-враждебному, что эти люди несут с собой. Хотя и беглая, но очень четкая характеристика Катьки и Ваньки во 2-й главе обрастает в последующих главах дополнительными, того же социального плана деталями. Трижды повторенное упоминание о «лихаче», окрик возницы: «Ах, ах, пади!..», жесты и интонации Ваньки: «Крутит, крутит черный ус, да покручивает, да пошучивает...», кружевное белье, шоколад Миньон толстоморденькой Катьки, наконец, ее спутники: «С офицерами блудила», «С юнкерьем гулять ходила»,— все эти приметы очень важны: они помогают разглядеть под

шлаком прошлого самое главное в Петьке сегодняшнем — его классовую ненависть.

Итак, сцены буйного разгула ограничены пределами страшного мира и его жертвы — Петьки. Красногвардейцы не только непричастны к этим сценам — они, на мой взгляд, враждебны им. Потому что они развивают другую и главную тему поэмы — тему борьбы со страшным миром.

Эта тема начинается в «Двенадцати» исподволь, постепенно. В 1-й главе — лишь ее одинокий возглас: «Товарищ! Гляди в оба!» Это пока еще некий общий призыв, обращенный в пространство, к неведомому другу. Да и в самом призыве больше настороженного ожидания, чем ясности боевого приказа. Соответственно этому и двенадцать человек, открывающие вторую главу, анонимны и безличны. Мы не знаем о них ничего: ни кто они, ни откуда, ни для чего. Не должны знать: з д е с ь они не для себя, а для Петьки. И не можем знать: еще не обозначилась до конца необходимость того единственного, ради чего они призваны в поэму,— необходимость революционного действия. Лишь к концу 2-й главы, когда грустная злоба вызревает мятежным гневом, а призыв к бдительности заменяется призывом к атаке — «пальнем-ка пулей...»,— только тогда для выполнения этого боевого задания и появляются красногвардейцы. «Как пошли наши ребята в красной гвардии служить...» — таким традиционно-фольклорным запевом начинается в 3-й главе их художественная жизнь, и весь дальнейший ход поэмы раскрывает героический смысл этой жизни — боевого красногвардейского служения революции.

Тогда почему же, скажут мне, появившись в 3-й главе, красногвардейцы тут же отступают в сторону, отдавая центральную часть поэмы — главы 4—8 — под молодецкие забавы Петьки? Потому, что разговор о Петьке не отступление от темы революционной борьбы. При всей важности его образа он играет в поэме подчиненную роль. Вереница сменяющихся в его душе противоречивых чувств так тщательно выписана поэтом не ради них самих, а для того, чтобы самой этой медлительностью возрождения Петьки показать, как оно сложно. Все в поэме устремлено к одной цели: показать неимоверную трудность революционного действия и этим восславить героизм людей революции, ответивших наконец-то представлению Блока о настоящем человеке.

2

Героическое представление о человеке стало складываться у Блока еще до революция. Идеалы и мечты Блока и тогда измерялись героической мерой. («...Мир огромен и... в нем цветет лицо человека — маленького и могучего»,— записал в 1907 году поэт.) И той же мере отвечают сила и накал отрицания им старого мира. Оно, это отрицание, не мелко, не половинчато, не компромиссно, а всеобъемлюще («Всю жизнь жестоко ненавидя...») и не смиренно, бездейственно, а мятежно («И вечный бой! Покой нам только снится...»). Остается один шаг, чтобы эту героическую идею борьбы претворить в героические образы борцов. Этого шага Блок до революции не сделал. Отсюда трагическая раздвоенность его героизма. Нащупывая «среди бездны противоречий» путь «на вершины искусства», Блок идет на зов героизма — туда, где слышится «в ночных полях неустающий рог заблудившегося героя». Но... герой — заблудившийся, а поля — ночные...

И все же Блок совсем рядом с героическим. И когда Октябрь выводит революционную героику на авансцену истории и она становится видимой и тем, кто ранее по обстоятельствам своей жизни был от нее далек, выясняется, что и этого последнего шага Блоку делать не надо. Он сразу же и весь — всем телом, всем сердцем, всем сознанием — с революцией. И нет границ его восторгу и ликованию.

В литературе о Блоке полно и точно охарактеризованы его политические раздумья, связанные с революцией. Нам, в соответствии с нашей темой, важно отметить и другое. Великая социалистическая революция потрясла Блока не только социально-политическим содержанием того, что было совершено ею, но и масштабами этого свершения. Ее грандиозность ответила, быть может, самому основному в Блоке — его высокому представлению о задачах и возможностях человека, его безмерно требовательному отношению к жизни.

Именно это величие революции Блок и выделяет прежде всего, как тот решающий признак, которым она отличается от всех других форм общественного движения. Вглядимся под этим углом зрения в статью «Интеллигенция и Революция», это программное произведение Блока, к тому же написанное, как известно, одновременно с «Двенадцатью».

Уже в первых, вводных абзацах Блок дает самое общее определение будущей, преобразованной революцией России. В этом определении два эпитета: новая и великая. Вслед за тем идет картина предреволюционной России — вся на контрасте понятию величия. В империалистической бойне, о которой идет здесь речь, гуманист Блок, казалось бы, мог прежде всего заметить черты потрясающей жестокости, неслыханных страданий и бедствий народа. Но Блок говорит о другом — об убожестве войны. «Люди — крошечные, земля — громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов, людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что «великая европейская война» так убога».

Все характерно в этом отрывке. И кавычки у слов «великая европейская война», отрицающие это величие, и пренебрежительная характеристика первой мировой войны (она ведь действительно была мировой!) словом «убогая», и — самое выразительное в этом образе войны — сопоставление ее с природой. Маленький клочок земли, опушка леса, одна полянка, небольшая яма — вот с чем сравнивается «великая европейская война», и не в свою пользу.

Этой убогой войне буржуазного общества соответствует и его убогий мир. Перед взором Блока проходят семья, школа, государственная служба дореволюционной России, и опять самое страшное для него здесь — беспросветное убожество мысли, морали, дела, всего, что «нахрюкали» человеку родители, учителя и начальники. В противовес этому ничтожному старому миру, на резком контрасте с ним и вырастает в статье образ революции. Он многогранен, многопланов, многоголос, но главное в нем — величие. Именно это слово, не затемняя, не ослабляя его соседством с другими эпитетами и даже выделяя шрифтом, повторяет Блок в наиболее ответственных местах статьи, где нужна решающая характеристика либо новой России («по-новому великой»), либо эпохи («имеющей не много равных себе по величию»), либо революции («...гул этот все равно всегда — о великом»). Этой же цели — подчеркнуть величие — отвечают и метафоры, обозначающие революцию. «Мировой оркестр», «мировой циклон», пишет Блок, и уже самый выбор слова «мировой» в виде метафоры, после того как оно было отвергнуто в качестве законного термина (мировая война), достаточно красноречив. Но наиболее выразительны в статье образы, почерпнутые из мира природы. Грозовой вихрь, снежный буран, водоворот, поток — вот с чем сравнивает Блок революцию, для того чтобы обнажить ее могучую, как стихия природы, силу.

Именно эти образы (и соответствующие им в «Двенадцати») использовались обычно для доказательства того, что Блок видит в революции лишь стихию, и стихию только разрушительную. Однако метафоры стихий *сами по себе* ровным счетом ничего не говорят. Все зависит от того, какое конкретное содержание вкладывается в ту или иную метафору и какую именно задачу она выполняет. Неужто классическое выражение: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма» — свидетельствует о мистических заблуждениях его авторов, а фраза: «И если гром небесный грянет» — служит доказательством религиозных верований творца «Интернационала» и его бесчисленных исполнителей?

Да, революция у Блока «сродни природе». Но их роднят масштабы и сила, то есть те, пока еще «формальные», признаки величия революции: ее интенсивность, энергия, безграничность, безудержность, которые он противопоставляет ничтожеству страшного мира. А вслед за тем, не ограничиваясь этими внешними признаками, Блок раскрывает великое содержание революционной эпохи. Меньше всего это — величие слепого стихийного разрушения. Конечно, разрушение присуще революции (вернее, неизбежно в революции) и отрицать его было бы ханжеством, наивностью, слепотой. Но в том-то и дело, что у Блока разрушение носит подчиненный и производный характер и, говоря об «издержках» революции, он тут же решительно оговаривает: «Но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — *о великом*». Великое в революции, следовательно, — не частности разрушения, а то, от чего они являются производным. Что же именно? Гадать незачем: Блок сказал это с абсолютной ясностью: «Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути?» Вот именно это, то есть *творчество*, и составляет содержание того образа стихий, мощь которых должна символизировать со-

бой животворящую силу революции, разрушающей для того, чтобы очистить путь созиданию.

Пафосом созидания и проникнута, в сущности, «Интеллигенция и Революция», и при всей романтической условности многих ее образов и формул самое общее представление Блока о смысле и сущности революционного творчества вырисовывается в ней с достаточной отчетливостью. Напомним прежде всего центральное место статьи, неоднократно цитированное в любой связи, кроме той, которая прежде всего напрашивается.

«Дело художника, о б я з а н н о с т ь художника — видеть то, ч т о́ задумано...» — пишет Блок.

«Что же задумано?

П е р е д е л а т ь в с е. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью». Итак, в характеристике замыслов, которые, полагает Блок, и обязан прежде всего видеть художник,— ни одного слова о разрушении, зато все слова о созидании: устроить, переделать, обновить, сделать жизнь справедливой, чистой, веселой и прекрасной. Можно счесть эти признаки новой жизни слишком абстрактными, можно оспорить их по существу, но разве можно опровергнуть то, что поэт говорит здесь о строительстве новой жизни, а не только о разрушении старой. Но, быть может, эти замыслы, сами по себе творческие и созидательные, не имеют никакого отношения к «циклону», «водовороту», «потоку» революции? Напротив! Именно они-то, говорит Блок, и отличают революцию. «Когда т а к и е замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком... это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное,— называется мятежом, бунтом, переворотом. Но э т о называется р е в о л ю ц и е й».

Животворящая сила Октябрьской революции порождена, по мнению Блока, ее народной основой. И, быть может, самое дорогое для художника в революции то, что она пробудила к активной жизни народные массы: «народ русский... только что с кровати схватился». С чем же поднялся разбуженный народ? Что прежде всего увидел в нем поэт: тупую злобу, мрачную ярость, дикий инстинкт разрушения? Ничего подобного: «Свежие, умытые сном мысли». Запомним это: мышление, сознание, духовная жизнь — вот главное в народе для Блока. И если кое-кому среди бела дня эти умытые сном мысли могут показаться д у р а ц к и м и, то, говорит поэт, «лжет белый день». И дальше в изумительных по своей лаконичности и выразительности формулировках развивает Блок основную идею статьи о великой созидательной силе разбуженного революцией народа. Это часто цитируемое место статьи приводят обычно в доказательство того, что Блок видел в революции прежде всего разрушение, хотя и оправдывал его как законное возмездие угнетателям: «Почему дырявят древний собор?—Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой» и т. п. Да разве адвокатскими намерениями, уместными лишь у того либерального «аблаката», которого здесь же высмеял Блок, продиктованы эти глубокие размышления автора статьи? Ведь всем этим фактам разрушения предшествует тезис о свежих мыслях народа, правдивых потому, что в них «есть великая творческая сила». И это не дикость толпы, снисходительно оправдываемая «бедственным положением», вопит: долой учредилку, долой суд! Это творческий разум народа обнажает реакционность, неразумность, «ужас без имени» устоев старого мира: его парламентаризма, его суда, его религии, его дворянско-усадебного уюта.

Таким образом, и этот контраст бьет в ту же цель: обосновать и восславить величие революции в ее самом главном — неизбывной творческой силе разума миллионных масс. Именно от них ждет Блок «таких слов, каких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная литература». И именно потому, что так глубока и крепка его вера в созидательный гений народа, он в ответ на вопли о гибели культуры убежденно предвещает ее расцвет — «неисчислимые духовные сокровища». И, наконец, все эти размышления о великом творчестве революции естественно завершаются идеей героизма. Отличающие революцию максималистские замыслы — переделать все!— уже сами по себе говорят о героических масштабах революционной мысли: это замыслы героя, который о меньшем не помышляет, на меньшее не согласен, для меньшего не нужен, единственно которому они под силу. Но героизм мысли переходит в статье в героизм действия. Только титаническими усилиями можно претворить в жизнь титаниче-

ские замыслы. «Прекрасное трудно»,— дважды повторяет Блок в статье. В поэме он докажет это.

Таковы основные идеи статьи «Интеллигенция и Революция». Нетрудно заметить, что они прямо противоположны тем, которые обычно отмечают в «Двенадцати». Вместо стихии разрушения, будто бы владычествующей в поэме, мы видим в статье могучую, как стихия, силу созидания. Насилию, будто бы показанному первым планом в поэме, отведено вполне подчиненное место в статье. У красногвардейцев в поэме, говорят нам, на спине бубновый туз. А в статье Блок гневно возражает — и не один раз — против такого представления о революционном народе: «Как аукнется — так и откликнется. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут», «...не видят вокруг ничего, кроме хамства и зверства (а человек — тут рядом)», «не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках? Это — всякий лавочник умеет». Выходит, что перед нами беспрецедентный случай необъяснимого противоречия между мыслью логической и поэтической. Нет, между поэмой Блока и его статьей нет противоречия. Напротив: здесь единство темы и единство ее героической трактовки. Но нет, конечно, и полного совпадения — иначе зачем после статьи нужна поэма? А поэма нужна. Это — венец героического начала в творчестве Блока. За десять лет до поэмы он выразил его в формуле об огромном мире и маленьком могучем человеке и воплотил в отдельных чертах своего лирического героя. В своей программной статье он дал развернутое публицистическое обоснование героическому восприятию Октября. «Двенадцать» — это романтический эпос революции, и здесь героическое, которое ранее выступало в виде отдельных свойств лирического героя или в виде отдельных мыслей автора, приняло, как это и положено в искусстве, целостный облик человека, стало его психологией и поведением.

3

Итак, героическое у Блока не сводится к тому или иному конкретному явлению жизни, а представляет собой общий масштаб ее измерения, ту высокую норму требовательности, в свете которой поэт и оценивает все в мире. Вот этот-то избранный Блоком масштаб и не учитывается обычно при анализе «Двенадцати». И здесь корень всех ошибок. Выше говорилось, что преступление Петьки неправомерно приписано всем, что тема революционной борьбы в поэме подменена темой разбойничьего буйства, что патетика могучего, как стихия, героизма превращена в поэтизацию разбушевавшейся анархической стихии и т. п. Но ведь в сущности здесь «спутали» не только тему или героев — здесь спутали нечто значительно более глубокое: меру измерения героев. Всей своей поэмой (как и статьей) Блок воюет против нравственного и умственного убожества карликового буржуазного общества, и эту-то карликовую меру применяют к его положительным героям. Предположим даже, что не очень ясно, кто именно в поэме произнес те или иные криминальные слова. Но разве можно хоть на секунду поверить в то, что красногвардейцы, которым он отдает всю свою симпатию, могут предстать в его воображении в виде разбушевавшихся молодчиков, ничтожных с их «ножичком» и «семечками»?

Против т а к о г о положительного героя восстает в поэме вся разветвленная система ее контрастов. Она охватывает собой сюжет, композицию, словарь, интонацию, ритмы, игру цвета и, значит, выполняет какое-то очень важное поэтическое задание. Какое? Она должна сделать еще более резким столкновение двух враждебных миров, подчеркнуть неизмеримое различие в их исторической значимости — различие карлика и великана. Взглянем для примера на 1-ю главу — ведь все персонажи ее могли предстать в виде умных, хитрых и опасных врагов. А Блок делает их слабыми и жалкими. Человек не стоит на ногах; ходок скользит; старушка, похожая на курицу, не в состоянии справиться с сугробом; слезливая барынька, упав, не может без посторонней помощи подняться с тротуара; смешной претенциозный вития вполголоса — кукиш в кармане — разглагольствует; долгополый, с поникшим брюхом, трусливо прячется за сугроб... И только ветер (вспомним о многозначительности блоковских образов стихий) весел и рад. Еще бы! Он безраздельно властвует над всеми этими жалкими людьми, он «крутит подолы, прохожих косит, рвет, мнет и носит...»

И ведь то же самое — мелкость переживаний и поступков — выделяет Блок крупным планом во всем, что связано с Петькой-убийцей. В начале статьи говорилось, что приметы Катьки и Ваньки классово ок-

рашены. Но приметы эти каковы: шоколад, кружевное белье, гетры! А Ванька — в его «шинелишке», с дурацкой физиономией, любующийся своими черными усами и своими, надо думать, «изысканными» шутками! Да и в сцене убийства снят, казалось бы, вполне естественный здесь оттенок трагизма. Какой уж тут трагизм: «...с девочкой чужой гулять!», «утек, подлец!», «лежи ты, падаль, на снегу!» и т. п. И дело вовсе не в сниженности этих деталей; сама сниженность бывает разной. Возможен такой контраст низкого и возвышенного, когда низменное при всей своей жестокости, аморализме, грубости не теряет трагедийной значительности. В «Двенадцати» контраст не низкого и возвышенного, а мелкого, ничтожного, незначительного — и величественного. И в основе этой противоположности лежит не этический, как часто думают, критерий, а социально-исторический. Образом Христа, говорят обычно, Блок свидетельствует высшую нравственную правду красногвардейцев. Но сама эта нравственная правда выступает в поэме как результат и проявление правды исторической. «— Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой!» — говорят красногвардейцы Петьке. Временем испытываются в поэме все ее герои. И убогий старый мир обнаруживает в этом испытании свое ничтожество, а красногвардейцы — свое величие. Ибо они отвечают основному требованию истории: прежде всего, выше всего, священнее всего для них служба революции.

Этот социально-исторический критерий оценки человека подсказывает Блоку и принцип создания образа — через действие героя.

В поэме этот принцип проводится с почти демонстративной обнаженностью. Прежде всего последовательно исключены другие приемы характеристики красногвардейцев, и это особенно наглядно в сопоставлении с портретами людей старого мира. Не только Катька и Ванька, довольно щедро наделенные выразительными приметами внешности, профессии, характера, вкусов, но даже эпизодические персонажи первой главы удостоились в поэме пусть и контурных, но отчетливо индивидуализированных портретов и получили в ней речевые характеристики. Не то красногвардейцы. У них нет имени, нет внешности, нет биографии, нет быта, почти нет речи. Не только безымянные, но и безмолвные проходят они по всей поэме, и те исключительные случаи, когда они говорят, еще больше подчеркивают принципиальный смысл их молчаливости. Это, во-первых, несколько фраз, обращенных к Петьке. Но как характерно содержание этих фраз! Ни уговоров, ни выговоров, ни назиданий. Им недосуг выслушивать его душевные излияния («— Ишь, стервец, завел шарманку...»), и им некогда витийствовать самим. «Шаг держи революцьонный!»,— говорят они Петьке, и эти слова, призывающие к действию и составляющие его часть, равно как и их слова в 12-й главе, предваряющие винтовочные выстрелы, не только не нарушают, а еще сильнее оттеняют демонстративно аскетическую молчаливость красногвардейцев. Общий смысл ее ясен. Пустому витийству неуверенных, беспокойных и бессильных персонажей 1-й главы противостоит спокойная, сосредоточенная в себе, не рефлектирующая, а действующая сила. Красногвардейцы не говорят о долге, они выполняют его, не призывают к подвигу, а совершают его. Но здесь важно подчеркнуть другое: это «безмолвие» героев не обеднило их образы потому, что художник в полной мере использовал возможности, открываемые ему их деятельностью.

Слова, которые вводят в поэму героев: «Как пошли наши ребята в красной гвардии служить»,— казалось бы, являются не более, чем экспозицией. На самом деле они сразу же раскрывают не просто «занятие» героев, но и смертельную опасность его: «В красной гвардии служить — буйну голову сложить!». А это уже прямая психологическая характеристика действующих лиц. Пока эта характеристика еще предварительна. Да, люди добровольно рискуют жизнью. Но ради чего? Ради денег? Нет, бескорыстно; ведь чтобы стать богатым, Ванька изменил Красной гвардии. Но добровольно и бескорыстно рисковать жизнью можно только во имя действительно могучей, подчиняющей себе человека страсти. Так действие красногвардейцев «тянет» за собой идею: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови — господи, благослови!» А такая идея в свою очередь предопределяет особые обстоятельства борьбы за нее. Ведь «мировой пожар в к р о в и» — это уже не только необъятный размах революции (подобно «мировому циклону» в статье «Интеллигенция и Революция»). Это и глубина мировой революции, проникающей до первоистоков жизни; это и ее огненная сила, беспощадно, не

страшась крови, «на горе всем буржуям» выжигающая мерзость прошлого; это, наконец, цена революции: багрово-красный цвет ее знамени — кровь ее самоотверженных героев.

Различные грани этого многозначного символического образа — «пожар в крови» — соединены между собою не механически, а глубокой внутренней связью. Безмерность замыслов революции — переделать все — требует и безмерного, то есть героического труда ее борцов. Блок показывает их героизм, но показывает своеобразно: его герои, казалось бы, не совершают никаких подвигов. Красногвардейский патруль во время очередного дежурства обходит вечерний город — вот и все. Но это далеко не все. Неправы те, кто в поисках традиционного сюжета поставил в центр поэмы эпизод убийства Катьки. Но не правы и те, кто, отказываясь от традиционного сюжета, видит в поэме лишь «державное движение вдаль». И ограниченный драматизм первой версии и несомненная помпезность второй, в сущности, равно идилличны, и уже по одному этому никак не передают подлинного содержания борьбы красногвардейцев. Ибо то, что кажется «прогулкой» разудалых молодцов или парадным шествием,— на самом деле исторический путь революции и жизненный путь ее участников, вся неимоверная тяжесть которого и делает его героическим. Вот почему так буднично проста, так, казалось бы, незначительна деятельность красногвардейцев и так значительна ситуация, в которой они действуют, тщательно выписанная поэтом. Плохая одежда («рваное пальтишко»), пронизывающий ветер («холодно, товарищи, холодно!»), сердечные неурядицы Петьки, требующего поддержки и внимания к себе, злобные пересуды обывателей, нарастающая опасность вооруженного вражеского нападения: «неугомонный» во 2-й главе, враг «близок» в главе 10-й, а в 11-й он, теперь уже «лютый», «вот — проснется»,— все это «горе-горькое» слилось в поэме в один обобщающий и, как все в ней, романтико-символический образ пурги, метели.

Этот образ сыграл прямо-таки роковую роль в посмертной судьбе «Двенадцати». Блока объявили родоначальником «метельного», «вихревого» истолкования революции и подверстали к его поэме те произведения двадцатых годов, в которых образ метели служил метафорическим обозначением всеразрушающей революционной стихии.

Что общего между этими произведениями и поэмой Блока? Откуда взяли защитники «метельного» истолкования «Двенадцати», что и Блок воплотил в образе метели стихийно-разрушительную сущность революции? Из текста поэмы, как мне кажется, это не вытекает. Напротив, в главах 4—8 (там, где убийство, «грабежи» и «ножичек») есть стихия разрушения, но нет ни пурги, ни метели, ни ветра.

Уже было высказано предположение, что слова поэмы «Вперед, вперед, вперед, рабочий народ!» явились (быть может, и неосознанным) отзвуком очень популярной тогда «Варшавянки»: «Марш, марш вперед, рабочий народ!» Не исключено, что и блоковская метель сродни «вихрям враждебным» той же «Варшавянки». Во всяком случае, в поэме пурга не помогает, а мешает красногвардейцам: она терзает их холодом, она слепит глаза, она затрудняет движение («в сугробы пуховые — не утянешь сапога...»), она укрывает врага («кто в сугробе — выходи!»), она нарушает их сомкнутый строй («не видать совсем друг друга за четыре за шага!») и т. п. Пурга активно враждебна красногвардейцам и уже по одному этому не может символизировать их деятельности. Но по этому самому она и не может быть просто фоном. Она — обозначение неимоверных трудностей борьбы. Вот почему метель усиливается после эпизода с Петькой, к концу поэмы, когда нарастает напряжение революционной борьбы («Разыгралась чтой-то вьюга, ой, вьюга́, ой, вьюга́!»); вот почему именно Петька — слабый и неустойчивый — испытывает страх перед ней («ох, пурга какая, спасе!»); вот почему красногвардейцы отвечают на этот возглас Петьки призывом к революционной стойкости; и вот почему в 11-й — кульминационной (как и 12-я) — главе звучат эти изумительные слова:

И вьюга́ пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

И их буквальный смысл — «дни и ночи напролет», и их медлительная мелодия, и многоточие в конце выводят эти строки далеко за узкие пределы одного случая, одного вечера, одного патрульного обхода. Это долгое, непрерывное, не ослабевающее ни днем ни ночью сопротивление всех враждебных сил. И все же им не дано остановить красногвардейцев. Потому что как безмерны цели и труд дозорных революции, так безмерен и их героизм.

Прежде всего выделяет в нем Блок высоту сознания. Здесь начало различия между Петькой и красногвардейцами. «Бестолковый»,— говорит он о себе. «Бессознательный»,— говорят они ему. И в том и в другом случае речь идет об убийстве Катьки. Не значит ли это, что не закон уголовный, не закон моральный, а основу их — закон передового сознания — нарушил Петька-убийца? И при этом — главный закон: понимание смысла своей эпохи и своего долга перед ней. Именно этим пониманием сильны красногвардейцы. Они верны великим целям своего времени и чувствуют необходимость подчинить им свои силы: «Поддержи свою осанку! Над собой держи контроль!» — внушают они Петьке. «Осанка» бойца революции требует от него «контроля» — власти над собой, и первый же приказ революции (в конце 2-й главы) — это приказ о дисциплине: «— Революцьонный держите шаг!» Слова эти, формулирующие основной закон героической службы революции — безоговорочное подчинение ей всех своих помыслов, чувств, действий,— стали рефреном поэмы. Повторяясь во 2-й, 6-й и 10-й главах, они, как вехи, отмечают духовный путь героев. И характерно, что в конце 10-й главы они адресованы только Петьке: «шаг держи» (а не «держите»),— и произносят их красногвардейцы (в начале строки тире). Значит, им доверил теперь поэт эти самые важные строки поэмы, а вместе с ними и звание не только бойцов отряда Красной гвардии, но — шире: бойцов великой армии трудящихся. «Вперед, вперед, вперед, рабочий народ!» — это им оказана честь подхватить и умножить великолепные боевые традиции рабочего класса. И они достойны ее. Передовое сознание, революционная дисциплина порождают полноту самоотдачи, готовность к подвигу: «Ко всему готовы, ничего не жаль...» Такими — подвижниками революции — вступают они в последние кульминационные главы поэмы. Вот где им по-настоящему трудно! Враг не отстает, ковыляет позади, скалит зубы, прячется в сугробах, хоронится за домами... Окрики дозора, похожие на выстрелы, и выстрелы, похожие на окрики, нарушают безмолвие города и безмолвие героев. Нет, борьба еще далеко не закончена. Опять раздается протяжное и злорадное завывание метели — «Только вьюга долгим смехом заливается в снегах...» Но победа придет, придет обязательно — «Все равно, тебя добуду...». Порукой тому характеры красногвардейцев, повернутые к читателю самым главным — пафосом революционного действия — и потому раскрывшиеся во всем своем душевном богатстве. Сила братского единства: «Все двенадцать...», ясность боевой цели: «Их винтовочки стальные на незримого врага...», бодрящая дисциплина воинского строя: «Раздается мерный шаг», верность революционному знамени: «В очи бьется красный флаг», внутренняя свобода: «Ничего не жаль...», упоение подвигом: «Ко всему готовы»,— да, такие победят! Так магистральная тема поэмы — тема революции,— начавшись призывом к мужеству: «Товарищ, винтовку держи, не трусь!», завершается апофеозом его — державным шагом героев к вселенским просторам.

Не здесь ли происходит их встреча с Христом?

Самое трудное для понимания в поэме — образ Христа. Для тех, кто в красногвардейцах видит исключительно или хотя бы преимущественно черты отрицательные, образ Христа — это то «да!», которое поэт говорит революции в конце поэмы, вопреки всему дикому, темному, жестокому в ней, которое он показал на протяжении всей поэмы. Но если, как полагает автор этой работы, Блок сказал «да!» всей своей поэмой и прежде всего высокоположительными образами красногвардейцев, то зачем нужно еще дополнительно оговаривать моральную святость их дела? Образ Христа в этом случае явился бы простым повторением того, что уже есть в поэме, то есть ненужным привеском к ней. А между тем Блоку он был нужен — дневниковые записи подтверждают это со всей очевидностью. Для чего же нужен? Только не для морального оправдания красногвардейцев. В оправдании они не нуждаются, и это ясно из записных книжек Блока. «Дело не в том, «достойны ли они его» (Христа.— *С. Ш.*),— читаем мы в записи 17 февраля, и это категорическое отрицание не случайно заключенных слов — значит, они принадлежат не Блоку — начисто снимает самую проблему моральной чистоты красногвардейцев, давно решенную поэтом и навязываемую ему извне. Столь же внешними для поэмы, а порой и противоречащими ей кажутся нам аналогии Христа поэмы с Христом более ранних стихов Блока, с разбойниками Некрасова, которые мы находим в монографии Л. Тимофеева, равно как и обращения Вл. Орлова к блоковским размышлениям

о Катилине. Для понимания образа Христа в поэме важнее не эти аналогии, а характеристика его самим Блоком. И если Блок не объясняет, зачем нужен ему вообще Христос, то о том, что ему нужен «Другой», он говорит совершенно недвусмысленно. Приведенную выше запись от 17 февраля он заканчивает словами: «...надо Другого...» Чем же плох этот? И на этот вопрос Блок отвечает довольно отчетливо: «...Я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак». Если бы Блок действительно задумал своего Христа как «великую нравственную силу» (Вл. Орлов), то, очевидно, и недостатки его образа он соотносил бы с этим замыслом. Но женственность никак не соприкасается с нравственностью — они из разных миров. Чем же хорош «Другой»? Любопытный, нет, не ответ, но намек на ответ находим мы в письме Блока к художнику Ю. П. Анненкову, иллюстрировавшему «Двенадцать». «О Христе: он совсем не такой...— пишет Блок.— Знаете ли Вы (у меня через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем, или за снегом и г л а в н о е — за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать)». Недовольство Христом Анненкова идет у Блока в том же плане, что и недовольство собственным женственным призраком. В нем, этом недовольстве, нет ничего от доводов морали, но зато в нем еще отчетливее выступило то же противостоящее женственности требование силы, мужественности. Некоторые черты э т о г о Христа (из письма к Анненкову) вошли в поэму — снег, ночная темнота, флаг, бьющийся под ветром (ср. «В очи бьется красный флаг»). Все эти детали в поэме так или иначе связаны с героизмом красногвардейцев. Может быть, и «кто-то огромный», невидимо соединенный с кровавым флагом («Впереди — с кровавым флагом» — здесь тире равносильно: «не держит, не несет»), должен был воплотить в себе величие революционной героики? Ведь «огромный» — это тот же аспект оценки, что и понятие величия в статье «Интеллигенция и Революция». Но «мировой циклон», как и все другие образы, взятые из мира природы, вполне уместные в статье, не передали бы в поэме человечности героев. Романтику Блоку нужен символ, выражающий нечеловеческую мощь человеческой души. И, может быть, именно этим соединением земного — во всей его плоти и крови — страдания с его небесным, то есть космическим, масштабом и привлек Блока образ Христа? Может быть, Христос своей надвьюжной поступью, невидимый человеческому глазу и недоступный человеческой пуле, должен был, по мысли Блока, вывести героику эпохи, имеющей «не много равных себе по величию», в надмирные, вселенские просторы? Об этом можно только гадать и к тому же без всякой надежды на успех. Не только потому, что, не располагая точными данными, трудно продвинуться дальше шатких гипотез. Но и потому главным образом, что самая удачная гипотеза ничего не изменит по существу. Любой Христос будет лучше другого так же, как, используя известное сравнение В. И. Ленина, желтый черт лучше черта синего. «Не умею сказать»,— признался Блок Анненкову, пытаясь определить отношение «кого-то огромного» к бьющемуся под ветром флагу. «Не умею сказать»,— мог бы повторить (и повторял) Блок применительно к образу Христа. Этот образ — большая и бесспорная неудача Блока, резкий диссонанс в его поэме. Но — единственный.

4

Изложенное выше понимание поэмы приводит и к иной оценке ее роли в истории советской литературы.

С давних времен в нашей критике установилось настороженно-скептическое отношение к «Двенадцати». Общая его формула такова: Блок принял революцию, но не понял ее. Революция предстала в поэме как стихия разрушительная, а не созидательная. Формуле этой соответствовала и оценка поэмы — сдержанно-оговорочная, и ее фактическое более чем скромное положение в вузовских курсах, в трудах критиков и литературоведов, в издательских планах. Эту довольно прочную и единодушную трактовку «Двенадцати» резко разрывает суждение о ней Вл. Орлова. Его заслуга в выработке более справедливой оценки поэмы очень велика. Пересмотрев свое прежнее, давнее мнение о ней, совпадающее с вышеприведенным общим мнением, Вл. Орлов в последней своей монографии назвал «Двенадцать» «шедевром», «величественным памятником», нашел в ней «полное согласие с «мировым оркестром» жизни и «основные черты» «нового героя истории», «образ новой, свободной, революционной родины», создан-

ный «с громадным вдохновением и блистательным поэтическим мастерством», «ясное сознание... величия» «новой, революционной эпохи» и снова «живое ощущение величия и всемирно-исторического значения Октября».

Итак, о достоинствах поэмы сказано в полный голос. Однако новые похвалы поэме сочетаются (или, вернее, никак не сочетаются) в монографии Вл. Орлова со старыми укорами. И сейчас исследователь полагает, что в героях поэмы «больше от анархической «вольницы» нежели от авангарда рабочего класса, который обеспечил победу революции», что Блок «воздал им великую честь и славу — в о п р е к и всему, что было в них темного, стихийного, пусть даже преступного...», что он «слышал в революции по преимуществу... музыку катастрофического крушения старого мира», а «разумное, организующее и созидательное начало социалистической революции... оставалось Блоку, как и прежде, в значительной мере неясным», что Блок «не показал этого направляющего начала в пролетарской революции и тем самым не показал того, что составляло ее главную и решающую силу, и это, конечно, является существенным идейным пороком поэмы».

Еще бы! Если Блок действительно не показал того, что составляло главную и решающую силу революции, то это, конечно, является существенным идейным пороком поэмы. Но как при т а к о м пороке поэмы могут возникнуть т а к и е ее достоинства? Как можно через героев, в которых больше от анархической вольницы, показать новую, свободную революционную родину? Как можно, не уяснив себе разумное, организующее и созидательное начало социалистической революции оказаться в полном согласии с «мировым оркестром» жизни? И как можно произведение, в котором не показана главная и решающая сила революции, назвать ее величественным памятником? Памятником чему: неглавному, незначительному, непонятому, неуясненному? Но тогда почему такое произведение — шедевр?

А поэма Блока действительно шедевр. И, безоговорочно поддерживая все горячие похвалы ей Вл. Орлова, мы никак не можем принять его (и других критиков) весьма суровых упреков. Упреки эти, на наш взгляд, обращены не против действительных, а против мнимых недостатков, и не только не опираются на текст поэмы, но прямо противоречат ему.

Разве отвечает Блок, скажем, за те по меньшей мере странные версии, которые связаны с социальным положением его героев? Как его только не определяют! В. Перцов весьма неопределенно называет красногвардейцев «жителями столичной окраины». К. Зелинский утверждает, что в «Двенадцати» «взята нарочито «голытьба», а не сознательные пролетарии...» [1], «...Чуть ли не каторжники», — пишет Е. Аксенова [2]. Можно подумать, что Блок по своей недогадливости, рассеянности или романтической отрешенности просто не сообщил такой весьма важной «детали», как классовое положение его героев. Но ведь он сообщил. Они красногвардейцы. И этим все сказано. В Красную гвардию, которая формировалась на предприятиях, шли п е р е д о в ы е р а б о ч и е, то есть те самые «сознательные пролетарии», об отсутствии которых в поэме скорбит К. Зелинский, и не шли ни громилы, ни босяки. Эта социальная и политическая природа кадров Красной гвардии — бесспорный исторический факт, не нуждающийся ни в каких дополнительных изысканиях [3]. И право же пора перестать упрекать Блока за то, что он выбрал героев, далеких и чуждых реальным деятелям революции.

Но, скажут мне, допустим, он правильно выбрал героев; этого мало, важно, как он изобразил их. Конечно. Так в том-то и дело, что психологическая характеристика красногвардейцев в нашем литературоведении отличается теми же, мягко говоря, вольностями, что и характеристика социальная. Нельзя считать убийцами тех, кто неповинен в убийстве. Нельзя называть «темными парнями», «лихими разбойничками» тех, кто сознательно и самоотверженно несет боевую охрану народа. И с каких это пор суровая дисциплина воинского устава — революционный держите шаг! — стала специфическим признаком бесша-

[1] «Знамя», 1957, № 11.

[2] «Вопросы литературы», 1957, № 7.

[3] О Красной гвардии — см. «Историю гражданской войны», т. I, 1939. Здесь же опубликован «Проект устава Рабочей гвардии» (первоначальное название Красной гвардии). В разделе «Состав» этого проекта сказано: «Членом рабочей гвардии может быть всякий рабочий, работница, состоящие членами социалистической партии или профессионального союза, по рекомендации или выбору общего собрания завода или мастерской».

башного, сметающего все на своем пути разгула? Но если окажутся необоснованными упреки в адрес героев поэмы, то тогда с неизбежностью отпадет и основной упрек ее автору — в поэтизации стихийно-разрушительного, а не разумного, организующего и созидательного начала революции. Коль скоро в красногвардейцах действительно воплощены окрыляющая их мечта о мировой революции, верность красному знамени рабочего народа, действенная защита его революционных завоеваний, понимание святости революционной дисциплины, поддержка, выпрямление слабого, неустойчивого товарища, готовность к подвигу во имя торжества великой идеи,— то какое же еще разумное и созидательное начало можно показать на этом материале и на этом сюжете?

Но если в «Двенадцати» изображена революция в ее позитивной сущности, то становится попросту излишним еще одно весьма распространенное предубеждение против Блока. Все критики единодушны в своей оценке красногвардейцев как анархической вольницы, но объясняют это по-разному. Очень часто — с помощью гипотезы «вопреки». «Другой поэт, даже враждебный революции, попытался бы увидеть в ней хоть что-нибудь светлое, хоть одного героя или праведника,— Блоку это не нужно: он хочет любить революцию даже вопреки ее героям и праведникам, принять ее всю целиком, даже в ее хаосе...» [1]. Правда, именно это суждение высказано очень давно, но версия «вопреки» существует и поныне и пользуется немалым престижем. Поскольку мы исходим из того, что в «Двенадцати» показан не «хаос» революции, нам, казалось бы, нет нужды особо полемизировать с этой версией: это будет повторением всего сказанного. Но дело в том, что она непосредственно подводит нас к очень важному вопросу о природе и своеобразии художественной правды поэмы. «Вопреки» признает за поэмой только правду лирическую, возникающую в ней в противовес ее эпической неправде. Вот где вступает в действие пресловутая формула: не понял, но принял. Не понял — свидетельством чему искаженное изображение революции; но принял — свидетельство тому революционная страсть поэта и Христос, благословляющий двенадцать разбойников. Может показаться, на первый взгляд, что такое истолкование поэмы, жертвуя эпической ее правдой, сохраняет хотя бы правду лирическую, правду субъективного отношения поэта к действительности. Это не так. Прежде всего даже эта очень ограниченная правда поэмы в таком ее преломлении приобретает неверные и фальшивые черты. Нет ничего более враждебного и облику Блока вообще и всему строю «Двенадцати» в частности, чем этот образ великодушного поэта, снисходительно «признавшего» революцию, хотя она и не столь хороша, как ей надлежало бы быть. Если она не хороша в большом и важном, то Блок, с его максимализмом, никогда не пошел бы на компромисс ее «признания». Если она нехороша в частностях, то Блок, с его широтою, не удостоил бы эти частности ранга «вопреки» [1]. Он был неизмеримо выше этой обывательской арифметики политических чувств: «хотя», «вопреки», «даже». Обязанность писателей, писал он в «Интеллигенции и Революции»,— «слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра». И вот в этом-то и состоит основная неправда формулы «вопреки». Блок признал революцию не вопреки ее отдельным неверным нотам, а благодаря ее великой музыке, звуками которой наполнен воздух. Блок принял революцию не потому, что он ее не понял, а потому, что понял; вернее, Блок хорошо понял революцию и именно потому принял ее.

Говоря «хорошо понял», мы не собираемся ни улучшать историю, ни прикрашивать Блока. Всем известны его весьма красноречивые признания: «Благодаря сиденью

[1] К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. II. 1924.

[1] По поводу разгрома имения Блока «Шахматово» литератор М. Бабенчиков прислал ему письмо: «Душевно сочувствую Вам в постигшем Вас горе... Не нахожу себе места — так тяжело при одной мысли о гибели близкого и дорогого Вам». На этом письме Блок написал: «...эта пошлость получена 23 ноября по случаю сообщения Петербургского листа о «разгроме имения А. А. Блока». (Цитирую по статье Е. Аксеновой «А. Блок. «Двенадцать» — «Вопросы литературы», 1957, № 7).

Так уничтожающе отозвался Блок о тех, кто патетически преувеличивал значение этих частных фактов революционной действительности. Так неужто он сам стал бы предъявлять за них счет революции?!

между двух стульев я лишен всякой политической активности», «общее тяготение мое к туманам большевизма и анархизма», «я не имею ясного взгляда на происходящее...», «я не умею бунтовать против кадет...» и т. п. Таковы факты, и знать их необходимо. Столь же необходимо правильно понимать их удельный вес. Во-первых, Блок явно преувеличивал свою наивность. В монографиях Л. Тимофеева и Вл. Орлова о Блоке приведено много данных, подтверждающих его политическую дальновидность. Он хорошо понял лицемерную позицию Временного правительства по отношению к войне и смысл корниловщины. Он отказался участвовать в газете, организуемой З. Гиппиус и Савинковым. Он поддерживал идею сепаратного мира и не скрывал своих симпатий к выдвинувшим ее большевикам. А после Октябрьской революции Блок сразу же, в числе самых первых, безоговорочно встал на сторону Советской власти, используя каждую возможность публично заявить об этом (в ответах на анкету газеты «Петроградское эхо», на анкету Союза деятелей художественной литературы и т. п.) и каждую возможность на практике это доказать. Начиная с ноября 1917 года (первое совещание работников искусства, созванное ВЦИКом в Смольном) и до конца своих дней он не прекращал большой просветительной работы, и значение ее для строительства социалистической культуры велико. Этим масштабом надо измерять его политическую зрелость. Тогда некоторые его наивные, непродуманные, противоречивые и просто неверные суждения и поступки покажутся не более чем «отдельными визгливыми и фальшивыми нотами», а утверждение, что Блок хорошо понял революцию, не покажется столь преувеличенным.

Этим крупно-историческим масштабом надо измерять и Блока-художника. Право же, Катька — употребляя ее имя фигурально,— которой критика наша отвела столько места, не заслуживает этого. Важно другое. При всей несомненной романтичности, поэма Блока по своему происхождению вполне реальна, более того — остро злободневна. Она вдохновлена не некой абстрактной мечтой о некой никому неведомой революции, «метельной», «вихревой» и прочее, а вполне конкретным историческим фактом — Октябрем 1917 года в России, представшим перед Блоком во всей своей реально видимой, осязаемой и ощутимой плоти. Вот в этой-то революции Блок понял самое важное и сказал об этом самое главное.

Время с ноября 1917 года по февраль 1918 года Ленин назвал «красногвардейской» атакой на капитал»[1]. Писать о Красной гвардии — значило избрать самый прямой путь к сердцевине исторического периода, названного ее именем. И Блок использовал преимущества так прозорливо избранной им темы.

«Красногвардейская» атака на капитал означала вооруженную борьбу с врагом и тем самым выдвигала едва ли не главную проблему мелкобуржуазного гуманизма — право на насилие. Одна из сложных проблем, она и после революции (у нас почти до конца двадцатых годов, а за границей и по сие время) сохраняла свою остроту для людей, не изживших иллюзий абстрактной морали. Недаром В. И. Ленин не раз возвращался к этому спору о насилии и счел нужным специально выступить против врагов Советской власти, демагогически использующих этот «козырь». «Нас часто упрекали лакеи буржуазии,— писал В. И. Ленин,— в том, что мы вели «красногвардейскую» атаку на капитал. Упрек нелепый, достойный именно лакеев денежного мешка. Ибо «красногвардейская» атака на капитал в свое время предписывалась обстоятельствами безусловно: ...капитал тогда сопротивлялся по-военному... Военное сопротивление нельзя сломать иначе, как военными средствами...»[2].

Блок в своей поэме и утверждал это священное право революции на вооруженную борьбу с врагом. «...Винтовочки стальные» красногвардейцев не просто опоэтизированы, но и оправданы. И мерзостью страшного мира — в первых главах, и активностью его сопротивления — в главах последних. Это он — буржуй, «лютый враг» — не отстает от красногвардейцев; он, «шелудивый», следует за ними по пятам; он, «волк голодный», угрожающе «скалит зубы», он запугивает зловещим хохотом вьюги, он, не подчиняясь предупреждению: «Выходи, стрелять начнем!», вынуждает наконец красногвардейцев к выстрелам. Это он, старый мир, угрожает войной народу, вот почему высшая нравственная правда на стороне народа, с ружьем в руках защищающего свою свободу.

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 218.
[2] Там же.

Как известно, политические враги большевиков отрицали право пролетариата выступать от имени народа. Они обвиняли его в сектантстве, в изоляции «...от действительных живых сил демократии» [1], а позднее, в связи с разгоном Учредительного собрания, в прямом нарушении воли народа. Непосредственно перед Октябрем Ленин блестяще опроверг это обвинение, доказав, что авторы его, претендующие на роль «живых сил демократии», есть «мертвые силы» [2], а «именно от ж и в ы х-то сил демократии пролетариат России... не изолирован» [3]. На Третьем Всероссийском съезде Советов, отстаивая право на насилие, «...когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров...» [4], В. И. Ленин снова вернулся к этому вопросу, в связи с ним заговорил о Красной гвардии и рассказал ставший впоследствии знаменитым эпизод о человеке с ружьем. «...Пускай сотни чрезвычайно громких голосов кричат нам: «диктаторы», «насильники» и т. п. слова,— говорил Владимир Ильич.— Мы знаем, что в народных массах поднимается теперь другой голос; они говорят себе: теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Вот что народ почувствовал, и вот почему та агитация, которую ведут простые, необразованные люди, когда они рассказывают о том, что красногвардейцы направляют всю мощь против эксплуататоров,— эта агитация непобедима» [5].

Широко отображенный потом советской литературой, этот «человек с ружьем» впервые вошел в нее в рваном пальтишке блоковского красногвардейца. Его близость, вернее, его единство с народом не могло быть показано в поэме средствами ее сюжета — ночной патруль, обходящий безлюдный и безмолвный город. Тем изумительнее мастерство Блока, сумевшего с такой органичностью воплотить мысль о народной основе Красной гвардии во всем поэтическом строе «Двенадцати». Дело не только в характеристике героев, хотя и она очень выразительна в этом смысле. Ведь необычайная скупость средств не помешала Блоку создать образы многогранные и вместе с тем целеустремленные. И прошлое красногвардейцев («...как пошли н а ш и р е б я т а»), и их нужда («рваное пальтишко»), и их речь — немногословная, простая, но энергичная, и их закалка — результат многих лет лишений и труда, и их солидарность — они (за исключением Петьки) слиты в поэме так прочно, что, кажется, нет силы, способной разорвать их братство,— все эти черты красногвардейцев говорят о трудовом происхождении и трудовом обличье Красной гвардии. Но дело, повторяю, не только в этом. «Стиль, отвечающий теме» — вот чем создает Блок впечатление глубокой народности дела своих героев. О чисто поэтическом новаторстве «Двенадцати» — ее ритмов, ее интонации, ее лексики — писалось уже много и хорошо, в частности уже упомянутыми нами авторами двух последних монографий о Блоке — Л. Тимофеевым и Вл. Орловым. Хотелось бы только сильнее подчеркнуть, что отмеченные этими исследователями черты живого разговорного языка и свободного разговорного стиха понадобились поэту не только для целей описательных — нарисовать «целостную картину охваченного революционной бурей города» (Л. Тимофеев), но и для целей, так сказать, обобщающих. «Просторечие» в широком и благородном смысле этого слова выводило героев поэмы в необъятные просторы народной жизни. И какая же может быть речь об изоляции от «живых сил демократии», когда вся жизнь и борьба красногвардейцев проникнуты, окружены, овеяны этой стихией массовой поэзии.

Но Красная гвардия не только защищает трудящихся,— она их воспитывает. Включение красногвардейских отрядов в регулярную армию было одним из средств ее социалистической реорганизации. А процесс этой социалистической реорганизации армии осуществлялся в соответствии с «исконными заветами социализма»: «самые угнетенные, забитые слои общества пробудить к живой жизни, поднять к социалистическому творчеству» [1]. Тема Красной гвардии, следовательно, самым непосредственным образом подводила поэта к основной — гуманистической теме советской литературы.

И Блок на судьбе Петьки показал эту выпрямляющую силу «социалистического

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 26, стр. 75.
[2] Там же, стр. 76.
[3] Там же, стр. 77.
[4] Там же, стр. 416.
[5] Там же, стр. 420—421.

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 26, стр. 420.

творчества». Надо ясно представить себе реально-жизненный и историко-литературный смысл так очерченной судьбы. Это трудно сделать, называя всех красногвардейцами-преступниками. Тогда, чтобы сохранить должные пропорции добра и зла, все мрачное в поэме приходится считать «мелким и случайным». Но, восстановив истинное соотношение света и тени, мы можем не опасаться, что тень одного слабого заслонит собой свет одиннадцати героев. И вот теперь, свободные от опасения преувеличить зло, мы ясно видим его значительность. В образе Петьки обобщены не случайные явления революционной действительности — эксцессы одиночек, а явления закономерные. «Старые социалисты-утописты воображали,— писал Ленин,— что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика.

Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе... Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня...»[1]

Тысячи Петек, испорченных и развращенных капитализмом (разумеется, нелепо всех их считать убийцами, но кто же будет требовать такого буквального совпадения прототипа с типом, тем более с типом романтическим?), вошли в революционную действительность и возродились в ней. И вот, определяя их «взаимоотношения» с революцией, важно правильно расставить ударения. Говорят, что красногвардейцы идут вперед «вопреки всему, что есть в них темного, стихийного, пусть даже преступного». Нет, у Блока Петька идет вперед не вопреки всему преступному в нем, а благодаря тому, что революция выжигает из него все преступное. Это не спор о словах. Об эксцессах в революции писали и до Блока (в связи с революцией 1905 года) и после Блока. Но некоторые даже революционно настроенные писатели видели в них то моральное падение революции, которое ее подвижники должны искупить своей моральной чистотой (см., например, «Сашку Жегулева» Л. Андреева и образ Веры Сартаковой в романе В. Вересаева «В тупике»). У Блока иначе. Не избранные «подвижники» своей жертвенностью «очищают» революцию, а революция очищает массы — жертвы капитализма, духовно ограбленные им. И она не нуждается в великодушном освящении ее «чистенькими». Возрождая «грязных», она творит самое чистое дело на земле. Венчик Христа бел не собственной белизной, вопреки грязи идущих за ним и для их очищения. В нем чистота их борьбы. И образ Петьки, открывая собой вереницу многочисленных в советской литературе образов людей, возрожденных революцией, по-настоящему типичен и значителен.

И, наконец, тема Красной гвардии помогла Блоку увидеть едва ли не самую важную черту не только периода «красногвардейской» атаки на капитал, но всей нашей эпохи.

«Если про Россию говорили: она не может воевать, потому что у нее не будет офицеров,— сказал В. И. Ленин на Третьем Всероссийском съезде Советов,— то мы не должны забывать того, что говорили эти самые буржуазные офицеры, наблюдая борющихся рабочих против Керенского и Каледина: «да, эти красногвардейцы технически никуда не годятся, но если бы эти люди поучились несколько, то они имели бы непобедимую армию». Ибо в первый раз в истории всемирной борьбы в армию вступили элементы, которые несут с собой не казенные знания, но которыми руководят идеи борьбы за освобождение эксплуатируемых. И когда начатая нами работа будет окончена, Российская Советская республика будет непобедима» [1].

Вот этот источник непобедимости и показал Блок. Так труден путь красногвардейцев, так зол хлещущий в лицо ветер! А красногвардейцы все-таки победят — в этом мы не сомневаемся. Чем победят? Героическим взлетом духа, силой той идеи социализма, которая, овладев массами, делает их непобедимыми. «... Красногвардейцы делали благороднейшее и величайшее историческое дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых от гнета эксплуататоров»[2],— так определил Ленин роль Красной гвардии в истории советского общества. Вот это понял Блок в своих героях. За это он принял их.

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 51.

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 26, стр. 421.

[2] Там же, т. 27, стр. 218.

Поэтому он подошел к ним с ключом героического искусства — искусства, которое верит в то, что человек могуч, и которое измеряет это могущество человека объективной значимостью его деяния. И потому-то красногвардейцы Блока обладают не только психологической правдой — за ними историческая правда творимого ими дела.

Разумеется, это правда романтического искусства с его символичностью, многозначностью образов, субъективизмом ассоциаций, порой неясностью контуров, расплывчатостью очертаний. Позднее, в реалистических произведениях советской литературы, историческая правда революции предстанет перед читателем со всеми преимуществами конкретности, ясности, логичности, полноты. Но и тогда останется непоколебленным особое значение «Двенадцати». Всего три месяца отделяют это поистине классическое произведение о революции от самой революции. Для большой эпической формы это означает, что она написана почти что на следующий день после Октября. Так велика притягательная сила революционной действительности и творческая мощь вдохновленного ею искусства! Но не только быстрота этого поэтического отклика, а и эстетическая природа его весьма характерны. Советская литература начинается высокой и чистой героической нотой. Вспомним, что именно героический пафос советской литературы наши зарубежные противники склонны считать продуктом будто бы административно предписанного ей в тридцатые годы социалистического реализма. Но не в тридцатые годы, а в первые же дни советского искусства, и не сверху, а снизу — из особенностей жизни и потребностей литературы — возникает в ней ее героическое начало.

И эту непосредственную связь своей поэмы с революционным временем подтверждает художник, чья независимость, самобытность и искренность не вызывают ни у кого и тени сомнений. «Сегодня я — гений»,— записал Блок 29 января 1918 года, заканчивая поэму. А через два с лишним года, как бы объясняя истоки этой гениальности поэмы, Блок сказал: «Двенадцать» — какие бы они ни были — это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью». Жил современностью поэт — и сразу же вошла в живую жизнь современников поэма. Враги встретили ее воплями возмущения. Друзья — наилучшей для книги оценкой: ее сделали орудием борьбы. Строки из нее стали надписями на бронепоездах, призывами на плакатах, лозунгами на знаменах. Подпольной листовкой проникла она в тылы белогвардейцев. Вдохновляющим призывом звучала со сцен петроградских клубов. Как полпред молодой революционной литературы перешагнула рубежи нашей страны.

«Интеллигент из интеллигентов», он сумел,— писала тогда же «Правда»,— «в художественных образах выявить душу народа, или, что то же, душу революции». Такой героической песней о душе народа, душе революции и должна войти поэма А. Блока — гениальное начало советской литературы — в нашу сегодняшнюю жизнь.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Соколов-Микитов. У родной колыбели.—**Геннадий Гор.** Время таяния снегов.—**Ю. Сотник.** О людях большой реки.—**Мих. Луконин.** Продолжение жизни.—**Е. Ржевская.** Поступь времени.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Литвак. Великий счет.— Заслуженный деятель науки **В. Дурденевский.** Интересное исследование.— **С. Эпштейн.** Кейнс — вдохновитель оппортунизма.— Кандидат исторических наук **А. Немировский.** Правда о Библии.— **Н. Алиева.** «Дикари» и колонизаторы.— **И. Иноземцев.** Робинзонада гуманиста.

Литература и искусство

У родной колыбели

Сколько раз многие наши литераторы изображали пышные красоты Крыма, величие Кавказских гор и снежного Памира, обстоятельно описывали европейские и отечественные шумные города (в этом отношении всего больше повезло Одессе, колоритному портовому городу нашей страны), подробно описали Париж и даже холодную Антарктику, знойный Цейлон, но вот о родных, близких местах — о Владимирской, Калужской, Смоленской, Тверской, Рязанской, Новгородской, Псковской землях написано очень мало. А ведь какие непочатые богатства таятся для наблюдательного писателя и художника, какая лежит под спудом забытая, запущенная, нетронутая целина! Какие происходят рядом с нами чудеса, как с каждым годом меняется жизнь, растут и живут новые люди!

Свою книгу «Владимирские проселки» молодой писатель Владимир Солоухин начинает такой лирической запевкой:

«Так постепенно возникала и росла хорошая ревность, а вместе с тем осознавался моральный долг перед Владимирской землей, красивее которой (это всегда я знал твердо) нет на свете, потому что нет земли роднее ее. Тогда и пришло непреодолимое желание увидеть ее всю как можно подробнее и ближе».

Очерки Владимира Солоухина справедливо привлекли внимание многих чутких читателей правдивым, подлинно поэтическим содержанием, чистотой и ясностью русской речи.

В очерках со скромным названием «Владимирские проселки» читатель не найдет описаний надуманных подвигов вымышленных героев, остроты модных тем, желания похвастать заковыристым словечком или непонятным словесным оборотом. Солоухин видит родную землю такой, какова она есть, описывает родной и милый свой край. Настоящие герои Солоухина — его родная земля, родные и близкие на этой земле люди, родные поля и леса, с детства знакомые ручьи и речки, заросшие купавницами лесные озерки в знакомых сказочно красивых берегах.

Для истинно любящего свою землю мудрого человека история страны, многовековая жизнь народа есть единое и неразрывное целое. Владимира Солоухина волнует и самое близкое, нынешнее, и давнее прошлое родной земли. Он любуется забытой старинной церковкой, шатровую деревянную крышу которой насквозь пробивают дожди; и шутливыми разговорами старых

В. Солоухин. Владимирские проселки. Редактор О. Мамаева. 304 стр. «Молодая гвардия». М. 1958.

владимирских дудочников-пастухов; и полем древней битвы, некогда политым кровью русских людей; и умной бойкостью колхозного шофера, называющего непролазную грязь русских дорог деревенским «асфальтом»; и самоотверженной деятельностью случайной спутницы — депутата Верховного Совета; и великим обилием белых грибов в живописных владимирских лесах; и невежинской знаменитой рябиной, некогда переименованной для благозвучия московскими купцами-виноторговцами в рябину «нежинскую»; и древностями старинного русского города Суздаля; и многим-многим другим — нынешним и старинным.

С подлинно поэтическим чувством написаны страницы, где Солоухин вспоминает свою встречу со знакомым родничком, из которого берет начало его родная речка Ворша, возле которой он родился и рос. (Ах, как любил, как знал и я в родной моей Смоленской земле эти маленькие русские поэтические речки, составлявшие как бы непременную часть далекого нашего детства!)

«Я не сказал своим спутникам,— рассказывает Солоухин,— зачем мы пришли в Бусино, боясь, что придем, а здесь ничего нет. Теперь, вечером, нужно было мне установить все точно. Я вышел на улицу. Пока мы сидели в горнице при керосиновой лампе, взошла луна, зеленая, свежая, будто только сейчас умылась светлой водой. Тумана в овраге стало еще больше... На дне оврага безмолвие охватило меня. Тогда в лунном безмолвии послышалось далекое, но явственное бульканье воды. Я пошел на звук... Четыре дубовых венца образовали прямоугольный сруб... Черный поблескивающий сруб до краев был наполнен водой. Но я узнал об этом, только дотронувшись до воды ладонью. Она была так светла, что ее как бы не было... Только так, среди травы, цветов, пшеницы, и могла начаться наша река Ворша. Встретится на ее пути и грязь, и навоз, и скучная глина, но она безразлично протечет мимо всего этого, помня свое чистое цветочное детство...»

Описать так «колыбель» родной реки мог лишь художник, родившийся и выросший в русской деревне. Не так ли из скромных родников жизни народной, из родной колыбели, вытекает жизнь поэта, который обязан помнить «свое чистое цветочное детство», свою землю, свою старину?

«Владимирские проселки» написаны безукоризненно чистым, поэтическим, ясным для всех языком. Связанный кровно с деревней, с русской природой (в судьбе художника так много значат первые переживания и наблюдения, навеки откладывающиеся в душе), Владимир Солоухин зорко видит и чутко слышит, замечает то, что пришлому, чужому человеку, пожалуй, трудно подметить, как бы ни напрягал он свое зрение и слух. Очень хорош, верен и поэтичен пейзаж. Хороши и верны разговоры людей, хороши эти живые, невыдуманные люди...

У Владимира Солоухина, писателя еще молодого (если не ошибаюсь, он выступает в художественной прозе впервые), есть с в о е лицо, есть тот особенный, ему одному свойственный писательский «почерк», по которому, раскрыв книгу, внимательный читатель безошибочно узнает автора, не глядя на обложку книги. Это качество — с в о е лицо писателя — самый верный признак подлинного таланта.

К сожалению, нередко бывает и так: станешь читать толстенную книгу даже прославленного писателя, в которой описывается и любовь и всяческие страсти, и вдруг неудержимо потянет на зевоту. Книгу Солоухина, в которой нет ни слова о «пылкой любви», о необычайных похождениях героев, нет никакой прямой или острой приправы, и старый и малый русский человек прочтет с волнением и подлинным удовольствием. И это такое же несомненное доказательство таланта писателя, подлинной поэтичности книги, свежести ее, правдивости.

Быть может, скромным по объему очеркам Владимира Солоухина не хватает «широкого охвата». Это не «эпопея», не роман. Но все же от небольшой книжки не хочется оторваться, ее читаешь с наслаждением, временами кажется, что сам путешествуешь с автором по родным русским проселкам. И, дочитав книгу, испытываешь приятное чувство, точно напился в душный день из чистого лесного ручья.

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.

Время таяния снегов

Известный русский этнограф, знаток языка и быта чукчей В. Г. Тан-Богораз опубликовал сорок лет тому назад статью, название которой тогда звучало непривычно: «Народная литература палеоазиатов».

Не совсем удачный термин «палеоазиаты» бытует в этнографической науке и в наши дни. Так этнографы и лингвисты, руководствуясь особенностями языка, называют потомков древних обитателей Чукотки, Камчатки, Сахалина и берегов студеной Индигирки.

О какой же литературе шла речь в статье маститого этнографа? Разумеется, не о романах, поэмах и рассказах. Тогда малые народы Крайнего Севера еще не имели письменности.

Тан-Богораз писал о народном творчестве чукчей, коряков и юкагиров, о их материальной и духовной культуре, уходящей своими корнями в седую палеолитическую древность.

«Культура полярных племен,— отмечал Тан-Богораз,— вообще представляется своеобразной, я сказал бы, почти чудесной. Мелкие группы охотников, живущих на самой окраине вечного льда... сумели из китовых ребер и глыб снега создать себе теплое жилище, сделали кожаную лодку, лук из костяных пластинок...»

Русского этнографа поразила талантливость и сметка чукотского народа, умение бороться и побеждать самую суровую природу на нашей планете. Тану-Богоразу все здесь казалось почти чудом. Но самое удивительное чудо произошло десять лет спустя. У народов Крайнего Севера появилась своя письменность, литература, живопись. В краткой рецензии на повесть чукотского писателя невозможно, конечно, рассказать историю новой, советской культуры малых северных народов, становление которой происходило на наших глазах, но стоит отметить необычайность этого процесса, его темпы. За короткое время молодые северяне, по большей части студенты Ленинградского института народов Севера, должны были овладеть сложной культурой современного стиха, композицией станковой картины, искусством графики и скульптуры.

В конце тридцатых годов об их усилиях и успехах могли судить не только советские специалисты-североведы, но и многочисленные посетители Всемирной выставки в Париже. Картины и панно, написанные ненцем К. Панковым и хантэ Н. Натускиным, украшали стены советского павильона.

Проза появилась позже. И это естественно. Проза — сложный литературный жанр. Она требует от писателя умения передать внутренний мир человека, запечатлеть поток времени и охватить взглядом тот огромный мир, в котором человек действует, живет, размышляет. Освященные вековыми традициями приемы и методы фольклора, так поэтично воссоздающие природу и полупервобытные нравы, далеко не всегда подходят для изображения сложной духовной и интеллектуальной жизни современного человека.

Первые прозаические произведения писателей-северян были связаны с фольклором. Вчитайтесь хотя бы в эти строки:

«Птицы слушают, как говорит вода, реки слушают, как перекликаются птицы... Здесь по шумным протокам бежало детство мое, плакало и смеялось...»

Так писал первый удэгейский прозаик Джанси Кимонко. Его ритмическая поэтическая проза походила на стихи, так же как проза ненца Н. Вылки, эвенка Н. Ламаткановa, эвенка Н. Таробукина, коряка Кецай Кеккетына...

Чукотский прозаик Юрий Рытхэу выступил значительно позже. Первую книжку рассказов «Друзья-товарищи» он опубликовал в 1953 году.

Его рассказы привлекли внимание читателя не только свежестью восприятия мира и новизной материала, но каким-то неожиданным, осознанным и продуманным мастерством.

Интересный психологический рисунок, трезвая наблюдательность, умение передать и изобразить сложные переживания героев — все это свидетельствовало о том, что молодой чукотский прозаик, превосходно знающий жизнь своего народа, тщательно изучал современную и классическую новеллистическую технику. Некоторая связь с фольклором явно чувствовалась, но она в основном существовала только для передачи своеобразия быта и мышления чукотских охотников, рыбаков и оленеводов.

Бросался в глаза особый интеллектуальный оттенок в рассказах Рытхэу. Писатель интересовался не только коренной пере-

---

Рытхэу. Время таяния снегов. «Октябрь», 1958, №№ 6, 7. Роман-газета, 1958, № 13.

стройкой чукотского хозяйственного уклада, быта и нравов, но в первую очередь перестройкой мышления, психологии. С необычайной наблюдательностью описывал Юрий Рытхэу этот чудесный процесс, впервые за всю историю человечества осуществленный Советской властью. Описывал «прыжок через тысячелетия», ту глубоко поэтичную атмосферу, в которой полупервобытный чукотский ловец становился человеком нашего социалистического сегодня, с его умением владеть всем комплексом сложных хозяйственных, экономических и политических представлений современности.

Это интеллектуальное начало остро чувствуется и в новом произведении Рытхэу, в первой его повести, так поэтично названной «Время таяния снегов».

Рытхэу рассказывает о делах и днях чукотского мальчика Ринтына, о его интенсивной духовной жизни, о его росте и возмужании. Рост этот происходит на фоне интереснейших и поучительнейших событий в жизни чукотского поселка, тесно связанного с большим миром.

И читатель, следя за судьбой чукотского мальчика Ринтына, с не меньшим интересом следит и за судьбой всего поселка, где люди расстаются с вековыми предрассудками и ложными ценностями и овладевают подлинными богатствами социалистической культуры.

Для изображения внутреннего мира чукотского мальчика очень характерна следующая фраза: «В ту ночь Ринтыну снились книги. Они проходили строем перед ним, ветер шелестел их страницами, переворачивал тугие листы».

Рытхэу находит выразительные, впечатляющие, эмоциональные слова для передачи того нового, что несут культура и школа недавно еще отсталому народу. Не менее выразительно он описывает и старое, косное, ненавистное и самому автору и его юному герою, приобщенному к новой, небывалой жизни. Писатель далек от назидательной прямолинейности и дидактизма и когда он описывает шаманку, чуть не отправившую больного мальчика на тот свет, и когда он говорит о людях, борющихся с изуверством и отсталостью.

Сильное впечатление оставляет описание шаманки: «Вдруг точно ветер ворвался в полог и закружил шаманку. Быстро перебирая ногами, она то подступала прямо к лицу Ринтына, то уходила от него к противоположной стене... И ему показалось, что это его... топчут грязные, одетые в раскисшие торбаза ноги шаманки Пээп».

Образ пляшущей шаманки — это не только конкретный образ старухи Пээп, это образ уходящего прошлого с его дикими пережитками, против которых протестует сознание советского мальчика Ринтына, уже чувствующего нелепость старых обычаев, их несоответствие разумной жизни.

Но — и это характерно для Рытхэу,— показывая протест мальчика против дикости, он одновременно оттеняет и детскую любознательность Ринтына. Отвергая и ненавидя шаманку, Ринтын с изумлением рассматривает ее, ведь она часть мира, который так сложен, так захватывающе своеобразен. Ведь смотрит на мир не многоопытный муж, а мальчик, для которого все ново, все свежо, все исполнено значения.

Эта глубина восприятия проявляется и тогда, когда Рытхэу описывает новое в жизни чукотского народа.

Вот происходит первая встреча мальчика с его будущим учителем, с директором школы Василием Львовичем. Рытхэу очень тонко раскрывает эту сцену. Для Ринтына школа — это и новая полоса его личной жизни, и новый таинственный мир. Директор, приветствуя школьников, говорит речь. Речь его, хотя идет от самого сердца, все же не лишена некоторой доли риторики. Директор говорит ребятам, как и полагается, о серьезных делах, но чересчур серьезными словами. Он словно забывает о том, что перед ним сидят малыши.

«Ринтын плохо слушал речь директора. Он смотрел на золотой зуб говорившего и был занят мучительным решением вопроса: каким образом вырос золотой зуб во рту директора?»

Тонкий юмор подчеркивает и своеобразие мышления мальчика, и несоответствие между слишком высокими словами директора и его слушателями, не подготовленными к восприятию абстрактных педагогических истин.

Теплым юмором окрашены и страницы, связанные с описанием бабушки Ринтына. Эти страницы посвящены ранним годам жизни мальчика. Чудесно то место повести, где бабушка, разыскав мышиные кладовые и забрав сладкие корни, взамен их кладет в норку табачную жвачку.

«— Бабушка, а что они зимой будут есть? — спросил Ринтын, возмущенный таким грабежом.— Они же подохнут с голоду.

— Ничего,— успокоила она внука.— На табак они обменяют у других мышей много еды».

Первобытные представления бабушки и ее природный практицизм, наивность мальчика и его доброта раскрываются чрезвычайно естественными и гибкими художественными средствами.

Если смотреть на повесть Рытхэу узко утилитарно и ведомственно, ее можно отнести к так называемым «школьным повестям». Все атрибуты здесь налицо. Школа. Занятия. Жизнь школьников и их учителей. Но поэтическая повесть Рытхэу, ее внутренний смысл, вся ее логика и художественная структура намного шире ее темы, если понимать ее поверхностно. Читая школьные эпизоды повести, можно подумать, что Рытхэу сознательно полемизирует с узкими схематичными взглядами некоторых детских писателей, для которых рамки «школьной повести» не вмещают в себя ничего, кроме учебных и пионерских дел, которые за мелочами школьного быта не видят главного — жизни всего общества. Для чукотского писателя Рытхэу важен не только быт, но и бытие. Чукотский мальчик Ринтын, как и все советские дети, прежде всего открыватель. Он не просто аккуратно выполняет школьные задания, решает задачки и учит грамматику, но он познает большой и бесконечно интересный мир новых, социалистических отношений.

Недостатки этой повести, как нам кажется, лежат не в замысле, отлично продуманном и по большей части хорошо реализованном, а в разработке отдельных образов и характеров людей. Мы говорили о главной удаче повести — поэтичном и правдивом характере Ринтына. Великолепно вылеплен обаятельный образ дяди Кмоля. Несколько скупо брошенных штрихов — и перед нами образ отчима Ринтына, важного и самодовольного Гэвынто, и не менее выразительный образ его дружка, бывшего кулака Евъенто. Мы уже говорили о бабушке и о шаманке старухе Пээп. Однако образам учителей не хватает той пластичности и выразительности, которая отличает образы охотников и оленеводов. Здесь даже трудно привести какие-то примеры, ибо дело как раз в том, что ничего характерного, приметного в их речах, в описании их внешности нет. Образы традиционны и схематичны, а это очень досадно, так как именно эти люди несут ту культуру и знания, те новые формы жизни, к которым так жадно тянется маленький Ринтын.

Повествованию, особенно во второй его части, не хватает динамичности, композиционной стройности, оно замедляется, утомляя читательское внимание событиями не всегда значительными, попадающими в поле зрения главного героя Ринтына, но эмоционально и логически вовсе не обязательными и не всегда связанными с замыслом. От этого повесть становится хроникальной, а задумана ведь она отнюдь не как хроника, да и художественные приемы Рытхэу страшно далеки от задач хроникальных. От этого в некоторых главах повести возникает противоречие между авторским видением мира и самым материалом. Мы уже упомянули о своеобразии художественных средств молодого чукотского писателя. Это своеобразие достигается тонким приемом. Вещи, явления и люди изображаются часто не «в лоб», не «анфас», а как бы «в профиль», сбоку. Особенно наглядно это раскрывается в эпизоде, который мы уже приводили.

Учитель произносит перед школьниками-новичками вступительную речь, а школьник, смотря на педагога, пытается решить трудную проблему — как вырос во рту у живого человека золотой зуб?

Художественный прием этот можно было бы назвать удивлением, если бы за ним не стояло нечто более сложное. На золотой зуб учителя смотрит не только наивный чукотский мальчик Ринтын, но умный, образованный и чуточку ироничный писатель Рытхэу. Явление как бы расслаивается на множество смысловых оттенков. С одной стороны, событие величайшей психологической важности — вступление маленьких чукчей в новую жизнь, а с другой — трафаретные слова, которые писатель осуждает очень тонко, в то же время не снижая образа самого педагога. Педагог говорит искренне, но он не понимает, что не эти трафаретные слова нужны сейчас ребятишкам...

Однако подобные приемы пригодны не для всех случаев. Они не годятся, когда нужно показать явления цельные, целиком положительные, не нуждающиеся в ироническом расслоении на разные смысловые оттенки. Рытхэу отлично это понимает. Но вместо того чтобы искать сложные и тонкие поэтические средства для изображений этих событий, он дает их «в лоб», хроникально... Например, вот так не поэтично, а

хроникально описан эпизод, в котором изображается приход парохода, его разгрузка. Или эпизод, в котором Рянтын читает Тургенева. «Записки охотника» произвели на Рянтына большое впечатление. Каждая страница открывала ему новый мир...» Нет, это не те слова, как не те слова произносил педагог во вступительной речи. Здесь событие регистрируется, а не рассказывается психологически.

Таких «зарегистрированных» событий довольно много во второй части повести. И об этом нельзя не пожалеть. Тонкому и поэтичному художнику Рытхэу чужд «регистрационный», хроникальный метод. «Регистрационные» пятна в повести появились, вероятно, оттого, что автор, боясь упреков в том, что он чего-то не показал и чего-то не отразил, отказался от строгого отбора фактов и событий, от того, чем он был так силен в своих новеллах.

Геннадий ГОР.

★

О людях большой реки

Я писательница. Однажды я села в качестве пассажирки на теплоход «Георгий Седов» и отправилась на нем по Волге в последний перед закрытием навигации рейс. Вот что я увидела и услышала во время своей поездки.

Этих слов нет в маленькой книжке «Кто идет?». Но именно так представляет нам ее автор, Ричи Достян, ту позицию, с которой она наблюдала своих героев. С самого начала Достян подчеркивает, что она пассажирка, в лучшем случае гость на теплоходе, что ее книжка, таким образом, лишь плод наблюдений постороннего для речников человека.

Так ли это было в действительности или роль, отведенная в книжке автору,— литературный прием, я не знаю. Но когда я читал рассказы Достян, меня не покидало ощущение, что пишет о героях этой книги человек, по-родственному им близкий, по-родственному любящий их самих и то дело, которому они себя посвятили.

Прежде чем говорить о содержании книги, скажу несколько слов о ее форме. Под названием книги стоит слово «Рассказы». Мне кажется, что Достян неточно определила жанр своих произведений.

В любом рассказе, даже в таком, где отсутствует какое бы то ни было «внешнее действие», автор все же связан определенным сюжетом. На это и намека нет в «рассказах» Достян. В книжке ее ведется свободный, непринужденный разговор о виденном и услышанном, разговор, где портретные характеристики, описания пейзажей, воспоминания о прошлом, сценки и целые эпизоды сегодняшнего дня перемежаются между собой как бы в той последовательности, в которой они возникают в памяти автора.

Конечно, эта «растрепанность» только кажущаяся. Общая картина получилась у Достян яркой и отчетливой, а это, несомненно, потребовало от автора большой внутренней организованности, точной компоновки материала. Но компоновка эта ничего общего не имеет с работой над построением сюжета, она идет по каким-то другим законам. Лесков, Успенский, Мамин-Сибиряк, несомненно, назвали бы подобное произведение очерками. Достян назвала: рассказы. Мне кажется, она это сделала потому, что у нас вплоть до последнего времени еще встречаются довольно узкие суждения о жанре очерка. От очерка многие до сих пор еще по привычке требуют точного адреса мест, которые в нем описываются, портретов реально существующих людей, документальной точности в изложении событий. Стóит только автору посвободнее распорядиться материалом, позволить себе больше домысла, и он уже не решается назвать свое произведение очерком.

Но наряду с очерком «конкретным» в русской литературе всегда полноправно сосуществовал очерк «обобщенный». (Я понимаю, что эти термины очень неуклюжи, но ничего лучшего придумать не могу.) Разница между этими двумя видами такая же, как между художественной фотографией и картиной, написанной кистью. Очерк «обобщенный», где автор не связывает себя внутренним обязательством показывать людей и события с точностью фотографа, позволяет лучше выявить внутреннюю сущность явлений, позволяет добиться большей эмоциональности. Он особенно удобен там, где писателю нужно по-

Ричи Достян. Кто идет? Рассказы. Редактор Вс. Всеводин. 140 стр. «Советский писатель». Л. 1958.

казать большой участок жизни, и показать его не в одном, а во многих аспектах. Очерк о творческих исканиях передового уральского доменщика вполне может быть «конкретным», а вот задача рассказать о труде и жизни уральских металлургов вообще сама собой потребует от автора куда больших обобщений.

Примерно такую задачу поставила перед собой Ричи Достян. В маленькой книжечке она взялась показать нам широкую картину труда волжских речников, заставить почувствовать всю поэзию этого труда, заставить полюбить героев книжки так, как она полюбила их сама.

Мне кажется, что Достян справилась со своей задачей.

Многие из нас путешествовали по Волге, ездили на теплоходе. Взяв в руки книжку Достян, мы как бы снова пускаемся в подобное путешествие. Но теперь мы путешествуем не столько вдоль Волги, сколько, если так можно выразиться, в глубь жизни, существующей на этой реке. Многое из того, что происходило на наших глазах, но на что мы не обращали внимания в реальных путешествиях, становится теперь интересным, значительным, близким.

Достян начинает книжку с привычной для многих картины.

Вечер. Салон, где «много света и пестро», где стоит «обычная городская духота», где «пахнет потом, духами, ресторанной едой, гарью припаленного утюгом шелка и парикмахерской». В салоне танцуют, поют, дурачатся пассажиры, как видно, в большинстве своем отпускники, уже свыкшиеся друг с другом и добросовестно старающиеся развлекаться.

Но вот Достян приподымает тяжелую бархатную штору на стеклянной стене салона, и мы вместе с автором смотрим сквозь стекло. И хотя у нас за спиной еще звучит музыка, раздаются беззаботные голоса, нас уже охватывает ощущение другой жизни, суровой, напряженной. Мы видим ночь, «бурую неспокойную волну», видим дождь, «ровный, частый — дождь надолго». Мы слышим, как с «человечьей тревогой звучат свистки, долетающие откуда-то издалека». Наконец, мы видим, как «в нескольких метрах от нашего борта появляется черная лодка на белом буруне. За нею медленно выдвигается корма баржи». Сбавив ход, «Седов» обходит караван с нефтью, обходит его на перекате, в узком месте, в опасной близости от стометровых барж. Автор поясняет, что буксир мог не пустить теплоход на перекат: он имел право не ответить на обходный сигнал теплохода. Почему же он все-таки пропустил?

Вместе с автором мы выходим на палубу, и ощущение тревоги, напряженности возрастает, когда мы заглядываем в рубку с открытым окном и видим, что капитан сам стоит у руля и часто вытирает глаза, потому что дождь и ветер хлещут ему в лицо.

«Крупней и внятней с каждой минутой огни буксира, который пятится на нас, осторожно неся на своей мачте красные, предостерегающие огни. Порывами ветра уже доносит рокот его машин.

Вот он совсем уже близко — приземистый, с большими неистовыми колесами, весь в цветной, дымящейся оболочке дождя.

Капитан все чаще вытирает глаза. Правая рука его незаметными движениями перекладывает руль, левой он вдруг снимает с головы белую фуражку и протягивает ее в окно под дождь. Он держит ее до тех пор, пока из крохотной рубки поравнявшегося с нами буксира тоже высунулось что-то круглое и белое, помаячило и исчезло.

— По-олнай! — весело командует капитан, отряхивает фуражку и надевает ее».

И вскоре мы узнаем от капитана, почему его коллега на буксире («Видали, какой воз тащит — страшное дело...») потеснился со своим гигантским «возом» на узком перекате, позволил себя обойти. Не сделай он этого — было бы у теплохода минут сорок опоздания. А ведь у теплохода тоже свое расписание, свой план.

Я вот почему так надолго остановился на этом месте: всего десять страниц перевернуто нами в книжке. И прочитали мы об эпизоде самом рядовом, который многие из нас наблюдали сотни раз в своей жизни, наблюдали и даже не предполагали, что в нем есть что-либо достойное внимания. Достян сумела продержать нас в напряжении все время, пока теплоход проходил мимо каравана. Сделала она это, не вдаваясь в специфику судовождения, а чисто художественными средствами да с помощью сказанных как бы вскользь пояснительных фраз. Мы еще не познакомились с капитаном, еще лица его не разглядели, а уже зажили одними с ним тревогами, одной жизнью.

Вот это умение показать значительное в самом обыденном радует в книжке Достян. За весь рейс теплохода «Седов» не происходит ни одного приключения, которым мог бы соблазниться иной автор. Это рейс самый заурядный, ничем не отличающийся от тысяч других, однако нас не покидает ощущение напряженности труда, в котором живет экипаж теплохода. «...И нет ни ему (механику.— *Ю. С.*), ни капитану, ни масленщикам, ни проводницам, ни матросам, ни боцману вместе со штурманами ни одного часа покоя, покуда Волга идет...» — пишет Достян. Нет и нам покоя, пока мы читаем эту книжку и живем одной жизнью с этими людьми.

И еще с одной особенностью книжки сталкиваемся мы уже на первых десяти страницах. Мы слышим сигналы, которыми обмениваются в ночи теплоход и буксир, узнаем, что буксир «разрешил» «Седову» обход, видим белые фуражки капитанов, выставленные из рубок под дождь, и сразу понимаем, что люди на «Седове» представляют собой не какой-то замкнутый мирок, а являются частью огромного коллектива людей, делающих общее дело на всем протяжении великой реки, людей, редко встречающихся друг с другом, но спаянных между собой чувством товарищества. Этот мотив отчетливо звучит в книжке до последних ее страниц.

Мы выходим на пристань и тут сталкиваемся с такими понятиями, как «груз», «расписание», «план». И разбираться во всем этом нам легко и весело, потому что все это связано у Достян со столкновением человеческих интересов и страстей.

Нам приходится спускаться в машинное отделение, стоять на вахте в рубке капитана, сидеть в каюте боцмана, нянчащего недавно родившихся близнецов. Всюду мы встречаемся с людьми, объединенными общим делом, и знакомимся не только с их работой, но и с личной судьбой каждого из них, с неповторимыми особенностями их характера.

Вот третий штурман Аленкин с его болезненным самолюбием, с его влюбленностью в официантку Тоню, с его безграничным уважением к старому капитану и бесконечными мальчишескими обидами на него... Вот сам капитан Ермаков, полсотни лет отдавший Волге, начавший с грузчика и в сорок втором году, под Сталинградом, водивший своего «Седова» под лобовым огнем противника. Вот одинокая некрасивая проводница Айша Гафирова, с ее несносным характером, с ее суровой исступленностью в работе, хранящая, как святейшую тайну, свою любовь к капитану.

Людей в книжке довольно много, каждому из них отведено мало места, и все же они нам хорошо запоминаются. Средства, с помощью которых Достян знакомит нас со своими героями, разнообразны. То автор сам ведет повествование, то воспроизводит беседы со встреченными им людьми, то совсем отступает в тень, и тогда рассказ ведется в третьем лице и мы знакомимся не только с поступками и словами, но и с мыслями героев.

Эта свободная манера позволяет сделать маленькую книжку более емкой, дает возможность автору показать недавнее прошлое, показать советских волгарей в их героических делах во время Великой Отечественной войны, позволяет увести нас с теплохода и познакомить с другими клеточками огромного и сложного организма Большой Волги.

Что интересного можно сказать о дебаркадерах? Речные пассажиры знают о них лишь то, что летом они служат пристанями для судов, а осенью их куда-то уводят.

Оказывается, можно написать целую поэму об этих дебаркадерах, о хлопотах с ними, о работе на них. В этом мы убеждаемся, встретившись со старшим инструктором стоечного флота Василием Адамовичем. Поэму можно написать не только о труде людей на дебаркадерах, но и об их героических подвигах во время Великой Отечественной войны. В одной из следующих глав мы навещаем вместе с автором «капитана несамоходного флота» Ивана Михайловича Трофимова — человека, который, спасая сталинградский речной вокзал, под адской бомбежкой, без всякого буксира, просто по течению, взял да уплыл со своим вокзалом из пылающего Сталинграда.

В последних главах, написанных очень поэтично, мы с особой отчетливостью воспринимаем Волгу как единый большой организм. Чем дальше к концу книги, тем сильнее начинает чувствоваться дыхание жизни всей нашей страны с великими преобразованиями, свершающимися в ней; нам не приходится покидать борт теплохода, чтобы почувствовать это дыхание.

Ночь, одна из последних ночей навигации. Уже идет снег. Пассажиров на теплоходе почти нет.

Стоят на вахте в рубке два старых волгаря — капитан Ермаков и рулевой Матвей Денисов. Стоят, прислушиваются к прощальным свисткам судов и по голосам угадывают, что это крохотный буксиришко «Гряда» уводит в затон земдечерпалку, а вот это местной линии пароходик «Юрист» «на карачках чапает».

А немного позднее, «странно господствуя» над Волгой, доносится звук, не знакомый ни капитану, ни рулевому... А еще позднее — идущего полным ходом «Седова», «как стоячее», обходит трехпалубный, вооруженный эхолотом «Кремль» — судно, созданное по последнему слову техники, судно, построенное для волжских морей.

И нам, как и капитану Ермакову, и всем, кто стоит вместе с ним на вахте, становится ясно: новая Волга с ее каскадами гигантских гидроэлектростанций, с ее просторными морями уже идет на смену старой Волге. И здесь, на этой преобразованной реке, пойдут иные суда, иным станет и труд речников.

«...Мне хотелось какие-то черты уходившего в прошлое сохранить для себя и других»,— пишет Достян в послесловии к своей книжке. Мне кажется, что эта задача автором решена.

Но главное — писательнице удалось познакомить нас с теми, кто связывает это прошлое с будущим, с людьми, влюбленными в свое дело, самоотверженными, честными и прямыми.

В рецензии полагается наряду с достоинствами книги отмечать и ее недостатки. Есть, конечно, недостатки и в рецензируемом сборнике. Это и понятно: Ричи Достян — молодая писательница, и «Кто идет?» — всего вторая ее книга. Недостатки эти связаны, на мой взгляд, главным образом с издержками избранной Достян — в целом очень привлекательной — стилистической манеры. Автор иной раз излишне дробит описание, порой увлекается мнимо точными сравнениями и определениями (вроде «кисло пахнет влажным стеклом»), массовые сцены удаются Р. Достян гораздо меньше, чем индивидуальные портреты.

Но мне не хочется подробно останавливаться на этих сторонах книги. Погрешности автора малосущественны, они почти не влияют на теплое, поэтичное, искреннее повествование о наших людях, которое так привлекло меня и, надеюсь, привлечет читателей.

Ю. СОТНИК.

★

Продолжение жизни

Продолжение жизни — я повторяю название вступительной статьи Ольги Берггольц к однотомнику стихотворений и поэм Бориса Корнилова. Лучше не скажешь. Да, этот голубой том и есть продолжение жизни, волнующее продолжение поэтической жизни замечательного русского поэта Бориса Корнилова.

«Корнилов погиб двадцать лет назад, не переиздавались с тех пор его стихи, поэмы и песни, а значит — не читались и не звучали...» — написано в статье. Я вспоминаю, что за это время со мной и с людьми моего поколения произошло не только простое арифметическое действие: 20+20=...; в эти пределы уложилась бóльшая часть нашей сознательной жизни, с ее войнами и новостройками, вся работа до сегодняшнего дня. Какой срок, какие события! А раскрываешь книгу Корнилова и, прочитав первые строки, начинаешь по памяти продолжать дальше, и так — от стихотворения к стихотворению, испытывая знакомое волнение молодости,— постигаешь и вновь обретаешь для себя эту высокую поэзию.

В 1939 году, впервые приехав в Москву, я таил надежду увидеть и Бориса Корнилова. За год до этого из Сталинграда я послал ему свои стихи (никому из поэтов до этого я не решался представиться поэтом). Но я уже не получил от него ответа и не застал его самого.

Всегда, все эти годы, полные борьбы и преодолений, на зимней войне 1939—1940 годов, на фронтах Великой Отечественной войны рядом со всей поэзией во мне звучал и этот голос юности:

Ать, два...
Это смерти сила
грозит друзьям,
но — здравствует Россия,
Советская Россия,
Россия рабочих и крестьян!

Борис Корнилов. Стихотворения и поэмы. Составители О. Берггольц и М. Бернович. 290 стр. «Советский писатель». Л. 1957.

Далекой весной 1934 года я и мой товарищ по классу школы № 1 Сталинградского тракторного завода Коля Турочкин, взявший тогда себе многообещающий псевдоним — Николай Отрада, шли как-то на занятие литературного кружка в клуб и по своему обыкновению заглянули в читальню полистать журналы. Над одной страницей мы замерли от волнения, заговорщически переглядываясь, еще и еще раз безмолвно пробегали строчки, потом достали тетради и стали переписывать эти стихи — мы всегда так делали, не имея возможности покупать книги. У нас были целые рукописные тома. И хотя я и не считаю, что критерием качества стихов является их «запоминаемость», но вот прошло двадцать четыре года — целая человеческая жизнь — с того весеннего дня, а я помню это стихотворение и часто повторяю его про себя:

У меня к тебе дела такого рода,
что уйдет на разговоры вечер весь...

С этого дня Борис Корнилов стал для нас любимым поэтом. А главное, с этого дня для меня открылось нечто такое, что казалось «секретом» поэзии, ее силой.

Сейчас, читая Корнилова, видишь, что он не принадлежал к числу поэтов, которые пишут особенно много. Но его литературное наследство богато своей художественной силой, идейной целеустремленностью и цельностью, своей жизненностью. В этом голубом томе собрано все главное из написанного Корниловым за короткое десятилетие его творческой деятельности.

Начало было неуверенным и, как это почти всегда бывает, обременено влияниями. Больше других слышится Есенин — не столько в интонациях, сколько в темах, в круге интересов. Это и понятно: и время, в которое жил Корнилов, и биография его — деревенского подростка тех лет — делали почти неизбежным это влияние.

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова,—
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.
(«Лошадь»)

Жить по-старому Русь моя кончила,
Дней былых
По полям не ищи.
(«Тройка»)

Но и в произведениях этих лет уже есть то, что потом станет свойством стиха Корнилова — простота и точность, разговорность, песенность:

Высоко заря горит,
Скоро утро будет,
Ветер ходит, говорит
И тебя разбудит.
(«Ожидание»)

Эту строфу, по-моему, мог написать только очень талантливый человек.

Но это все подготовка, разбег, поиски себя в поэзии и поэзии в себе. Обращение к жизни, к общественным, политическим темам по-настоящему вдохнуло душу в творчество Корнилова.

Заметно, как с 1930 года стал расти его гражданский пафос, стал приобретать самостоятельность его стих. Принадлежа к поколению, не заставшему первых боев за Советскую власть, Корнилов, как и многие поэты его возраста, навсегда был взволнован гулом этих боев и героикой ранней юности своей страны! Это волнение стало пафосом, содержанием его поэзии, отправной точкой его характера. Написанное в 1930 году стихотворение «Рассказ моего товарища» — рассказ о битвах Красной Армии в гражданскую войну — заканчивается строфой:

Так что не напрасно
бился я и жил я —
широкая рука моя ряба,
жилы, набитые кровью,
сухожилья,
так что наша жизнь
есть борьба.

Это уже начало темы, осмысление своей позиции в жизни, своего долга. С этого и началась политическая определенность всего его творчества, отчетливо ощущаемая в таких, например, стихотворениях, как «Интернациональная» или «Командарм»:

Песня под копытами пылится,
про тебя дивизия поет —
хлеборобу ромбы на петлицы
только революция дает.

В эти годы Корнилов неоднократно возвращается к темам нашей Армии. Это «Пограничная», «Комсомольская красно-флотская» и, конечно, «Продолжение жизни» — стихотворение, знаменательное для его творчества. Хочется процитировать эти стихи, но лучше я переадресую читателя к книге.

Мне помнится, что некоторое время к Борису Корнилову применялось определе-

ние «кулацкий поэт». В чем природа этого чудовищно несправедливого заблуждения — понять сейчас трудно. Может быть, тут сыграли роль некоторые обстоятельства жизни Корнилова тех лет: оторванность от общественного влияния, богемный образ жизни того круга поэтов, в который, очевидно, затянула его личная дружба, о чем был вынужден сказать Горький в своих статьях «Литературные забавы». Обо всем этом приходится жалеть, хотя я и не знал существа и обстоятельств этой стороны жизни Корнилова в то время. Но стихи его, связанные с преобразованием деревни, с темами коллективизации, совершенно определенны и ясны по своей политической тенденции. Вот стихотворение «Семейный совет»:

Руки, твердые, словно сучья,
камни, пламенная вода
обложили гнездо паучье,
и не вырваться никуда.

А ветра, грохоча и воя,
пролагают громаде след.
Скоро грянет начало боя.
Так идет на совет — Совет.

Может быть, излишне натуралистично страшное стихотворение «Убийца» — о кулаке, режущем скот,— это дело художественной меры. Но и в этом стихотворении Корнилов определенен к врагу, ненавидит врага:

Он пойдет по дорогам нищим,
будет клянчить на хлеб и квас...
Мы, убийца, тебя разыщем —
не уйдешь далеко от нас.

Пафосом борьбы за новый уклад жизни, героикой и драматизмом этой борьбы и твердой уверенностью в победе дышат стихи «Гроза»:

...идет до конца председатель колхоза,
по нашей планете идет до конца.

И в этих стихах Корнилов был конкретно-историчным, был активным советским поэтом. С особой силой это осознание себя советским поэтом проявилось в поэмах, которые он писал все это время: «Триполье» и «Тезисы романа» — в 1933 году, «Моя Африка» — в 1934—1935 годах, «Начало земли» и «Самсон» — в 1936 году.

В 1932 году на экраны страны вышел один из первых наших звуковых фильмов — «Встречный», и с тех пор нет у нас, я думаю, такого человека, который не знал бы замечательной песни, написанной Корниловым (музыка Шостаковича):

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

Это была замечательно нежная и волнующая песня; надо только вспомнить, что она была одной из первых, была запевкой нашей новой песенной поэзии, которая потом так сроднилась с жизнью народа.

Тяготение к песне заметно во всей лирической поэзии Корнилова, не к той песне, что обязательно ложится на музыку и рвется на эстраду, а к той, которая звучит сама по себе, в душе. Лучшие лирические стихи Корнилова, как «Соловьиха», «Прощание» и многие другие, высокоэмоциональны и чисты, исполнены большой душевной силы. Разве можно пройти мимо этого:

Гуси-лебеди пролетели,
чуть касаясь крылом воды,
плакать девушки захотели
от неясной еще беды.

(«Вечер»)

Корнилов всегда внимателен к природе, и природа всегда у него согрета человеческой любовью, человеческим дыханием. Достаточно вспомнить изумительную по мастерству стиха, по краскам его сказку «Как от меда у медведя зубы начали болеть». Но, вспоминая эту сказку, я каждый раз привычно удивляюсь: как это до сих пор Детгиз не издаст эту сказку массовым тиражом? Впрочем, это издательство, к сожалению, на мой взгляд, вообще неохотно подпускает к детям современный стих, делая упор на некую «специфическую», «детскую» поэзию, похожую на бутылку с соской.

Нельзя сказать, что у Корнилова все стихи равноценны. Есть среди них и менее заметные, есть «проходные» и просто слабые — с точки зрения людей другого поколения. Ведь и в те времена было немало своих условностей моды, особенно в языке, своих «вопросов», которые сейчас выглядят трогательно-наивными. Но главное из того, что составляет лирический раздел однотомника,— это большая самобытная

поэзия, заметная в нашем литературном богатстве.

Собственно, назвать стихи в отличие от поэм «лирическим разделом» в сборнике нельзя. Поэмы Корнилова — не эпос, конечно, хотя только у одной из них есть подзаголовок «лирическая поэма». Из поэм Бориса Корнилова наиболее значительной мне представляется «Моя Африка». В ней сконцентрировалась не только его поэтическая сила, но и пафос его революционной романтики, его интернационализм. Мне не хочется «разбирать по косточкам» поэмы Корнилова — просто жалко пересказывать «своими словами» высокое поэтическое горение этих произведений. Прочтите «Триполье» — замечательный памятник комсомольцам гражданской войны. В главе «Конец Триполья» поэт достигает большой высоты:

И глотает вода комсомольцев.
И Киев
сиротеет.
В садах постареет седых.
И какие нам песни придумать...
какие
о погибели наших
друзей молодых?
Чтобы каждому парню,
до боли знакома,
про победу бы пела,
про смерть,
про бои —
от райкома бы легкая шла
до райкома
и райкомы снимали бы
шапки свои.

Едины по своему революционному пафосу поэмы «Начало земли» и «Самсон» — в них та же тема продолжения жизни, мысль о боевом бессмертии, клятва в верности делу.

В каком-то
будущем году,
но поздно
или рано
я тоже с места не сойду,
стрелять не перестану.
Я вспомню про тебя в бою
и песню вспомню эту,
про изумрудную
мою
красавицу планету.

Так заключает поэт свое обращение к «отцу-единоверцу» — кузнецу Акиму в поэме «Начало земли».

Много интересного в поэме «Тезисы романа», но это действительно «тезисы». Между прочим, в этой поэме меня остановила трогательная мысль, которую и после Корнилова высказывает каждое следующее поколение поэтов:

Умру я — будут новые витии,
прочтут они про наше торжество,
про наши беды и перипетии,
характерные века моего.
Смешают все понятия и планы,
подумают, что мы-де — высота...

Нет, мы попроще...

Очевидно, это вечная тема: каждое новое поколение романтизирует свое старшее, наделяет его возвышенными чертами. Такова поэзия жизни. И Корнилов тонко передает эту поэзию.

Повторяю, что самой сильной поэмой, на мой взгляд, является «Моя Африка». В чем-то она восходит (не побоюсь этого) к «Медному всаднику» — так она монолитна, широка по духу, увлекательна по содержанию. Хочется говорить об этой вещи, цитировать строки, строфы. Она вызывает чувство гордости за нашу поэзию. Но — есть книга, читайте! И можно только позавидовать тому, кто будет читать ее впервые.

Поэма эта поучительна и для поэтов. У нас, к сожалению, сейчас распространился такой род поэм и романов в стихах, где сам стих несет лишь служебную нагрузку и з л о ж е н и я в рифму. Редко-редко в описаниях природы, в лирических отступлениях стих возвышается до поэзии. В основном же это рассказ в рифму; там же, где в поэмах есть нагрузка сюжета или диалог,— стих совсем рвется, и, как говорится, «лодка идет посуху». Стих в поэмах Корнилова всегда крылат, поэтичен, образен, это не и з л о ж е н и е в рифму, а именно поэзия. Все его поэмы — во всеоружии поэтических средств.

Корнилов всегда был самим собой в поэзии, он не уходил «от себя» ни в сторону «глубокой философии», свойственной некоторым поэтическим позам, ни в сторону отвлеченных «высоких тем». Он был молодым. И молодость — основная черта его поэзии, непосредственной, автобиографичной, естественной.

Его поэзии свойственно то, что всегда отличает самостоятельных поэтов,— своя интонация. Это — прирожденное свойство, его не заменяют ни словесные или ритмические ухищрения, ни новизна тем, которые берет поэт, его не выработать и годами труда, если нет его в природе дарования.

На нашем боевом пути мы потеряли не-

мало хороших поэтов. Замолкли голоса Бориса Корнилова и Павла Васильева; на войне с белофиннами рядом упали Арон Копштейн и совсем-совсем молодой Николай Отрада, в годы Великой Отечественной войны погибли Иосиф Уткин, Вадим Стрельченко и другие известные поэты и десятки безвестных юношей, рожденных для поэзии. В смысле более высоком, чем единичная жизнь, в большом человеческом смысле — они живут и работают с нами, с нами воюют за коммунизм. Так и Борис Корнилов жив своей поэзией, жив так, как он и сам понимал продолжение жизни:

> я снова в работе, боец рядовой,
> товарищ, поэт, пулеметчик.

Мих. ЛУКОНИН.

★

Поступь времени

У председателя ревкома Черных Песков было обветренное, грубое лицо. Его письменный стол стоял в центре Каракумов, одной из самых больших в мире пустынь, среди сыпучих песков, где еще недавно путешественникам чудилось лишь «грозное молчание смерти».

Теперь в песках поднялась радиомачта, строился серный завод. И на строительство приходили туркмены кочевники в бараньих шапках, босые и длиннобородые. Они свято берегли свои первые расчетные книжки и верили, что в радиорупоре поселился шайтан.

Человеку, представлявшему собой Советскую власть на территории, равной трем Австриям, было двадцать пять лет.

Так же молод был и рассказавший о нем писатель Михаил Лоскутов. Он пришел в литературу в дни трудового энтузиазма и величайших свершений первой пятилетки, когда «тысячи людей на огромном материке поворачивали по-новому старую Азию».

Мы помним книги, запечатлевшие этот процесс. Они созданы писателями, вовлеченными в самую гущу событий. «Время, вперед!», «Гидроцентраль», «Люди из захолустья»... Стройки Сталинграда, Кавказа, Урала... Произведения Михаила Лоскутова, рассказывающие, как в среднеазиатскую пустыню пришла Советская власть, обогащают наше представление о том незабываемом времени и расширяют привычный перечень книг о первой пятилетке. Они глубоко созвучны нашей поре преобразований.

...Это было в 1930 году. В Каракумы снаряжался тринадцатый по счету автомобильный караван. Он состоял из двух машин ныне забытой марки «Рено-Сахара» и вез в центр пустыни на строительство серного завода двухсотпудовые котлы, два ящика махорки, одного бухгалтера и двух корреспондентов. Одним из них был Михаил Лоскутов.

В беспредельном океане песка на пути автомобильного каравана вставали барханы и миражи, зной, жажда, скорпионы и протухшая вода в долгожданном колодце, куда нечаянно угодил верблюд. У писателя плавился карандаш от жары. Но пустыня захватила Лоскутова новизной и молодостью открывшегося ему мира, всеми приметами времени, поразительными, как красный цвет флага над домиком ревкома «на фоне вечной желтизны окружающего».

В пустыне запахло бензином, появился первый милиционер из туркмен кочевников. Председатель ревкома скакал на коне с порыжевшим портфелем, «полным песчаных проблем» («Колодцы и хозяева. Верблюды и шерсть. Женщина и советская власть. Тиф и суеверие. И еще тысяча вопросов, значительных и важных, как вода в пустыне»). Председатель боролся с контрреволюцией и организовывал Советы. От имени революционного комитета Черных Песков он говорил с людьми, «которые шли из пустыни, из ее веков» и «пронесли через эти века... цветистые разговоры и легенды, боязнь нового и веру в ишанов...»

Почтальон Овез-бек «катился в пески, разбрасывая вокруг себя искры последних новостей», обороняя свои толстые мешки от верблюдов, норовивших полакомиться свежими газетами. Первый туркмен портной сидел за швейной машинкой в будке, сколоченной из ящиков кооперативного чая «Центросоюз», и строчил халаты для трудовых скотоводов пустыни. «Готовая продукция падала с машинки уже в пустыню, за порог открытой двери...»

М. Лоскутов. Тринадцатый караван. Редактор Е. Махлах. 286 стр. Детгиз. М. 1958.

Мих. Лоскутов. Белый слон. Редакторы М. Нечаева, Г. Орлова. 240 стр. «Советский писатель». М. 1958.

Безыменная женщина пересекла глиняную площадь — такыр, неся ребенка в ясли, рискуя быть изгнанной за это из аула, проклятой и даже убитой. «Это была революционерка пустыни, высокая женщина с тяжелым саммоком на голове. Она шагала по такыру, как красногвардейцы через площадь у Зимнего дворца».

Наверное, нигде так выразительно, так ярко не выступала новь преобразуемой революцией жизни, нигде так прихотливо и наивно не переплеталась она с устоявшимся тысячелетиями бытом, как в те дни в пустыне Средней Азии — «первой пустыне под красным флагом».

Как свежо и азартно запечатлено это в «Тринадцатом караване» Михаила Лоскутова и в других его произведениях. Его книги нельзя пересказать — в них нет стройного сюжета. Это рассказы, очерки и зарисовки, репортаж или путевой дневник, написанные часто в дороге, на привале или во время стоянки застрявшего в песках автомобиля, но всегда со всей щедростью замечательного таланта. Они полны метких наблюдений, мыслей, брызжут юмором. Гладкописи, унылой старательности нет в его книгах. Он пишет увлеченно, броско, свободно и так же дерзко, как дерзки его герои, решившие воздвигнуть индустриальный центр в пустыне. Он не становится на цыпочки, не пытается разговаривать не своим голосом — дела и время по плечу ему. И разве сам он, участник отважного каракумского автопробега, не прокладывал новый, невиданный след в пустыне, не менял ее облик? «...Горели фары наших машин, электричество впервые падало на эти пески... В ту ночь нам хотелось прыгать на машинах, хлопать в ладоши и радоваться радостью человечества, прорубающего свои новые дороги».

Люди, близко знавшие Михаила Лоскутова, рассказывают, что этот молчаливый, застенчивый и хрупкий с виду человек был прирожденным путешественником.

Проведя два года в трудных поездках по Средней Азии, он, вернувшись в Москву и закончив работу над «Тринадцатым караваном», вскоре снова отправился в путь. На этот раз он участвовал в крупнейшем автопробеге Москва — Каракумы — Москва, за которым с волнением следила вся страна. От записей разговоров, цифр, чертежей и зарисовок пейзажей распухали блокноты писателя. И появилась новая книга «Рассказы о дорогах» (в сборнике «Белый слон» она озаглавлена «Следы на песке»).

«В этой книге,— писал М. Лоскутов в своем вступлении,— ходят автомобили, работают ученые, ревут сигналы, растут растения, живут люди. Они умирают и побеждают. Эти дела просты, но запоминаются, как запах пустыни и бензина».

Умный, тонкий рассказчик, М. Лоскутов оставил нам память о тех, кто сделал «первые шаги «социализма в пустыне», об энтузиастах и жизнелюбах, живущих щедро, вне забот о личном уюте и покое. Порой это люди характера «беспорядочного» от потребности многое охватить. Они заняты изысканием рентабельного способа добычи серы и рисованием акварелью картинок из истории строительства завода. Или люди трогательные, как метеоролог, нежно заботящийся о приборах. Или злые, как шофер по имени Нарцисс. О них рассказано кратко и выразительно. Вправе был писатель сказать все в том же вступлении: «И, пожалуй, эта книга — о любви. Она посвящена моим спутникам и нашей машине. Мы страдали и радовались вместе с ней, часто прислушивались к ее мерному дыханию. Нельзя не полюбить машину, на которой пройдено девять с половиной тысяч километров через заросли и речные камыши, по горам и через пески, по дну высохшего озера Сарыкамыш, по улицам умершего города Джулая, по глухим верблюжьим тропам и там, где не ступала нога человека».

Герои его книг — труженики шоферы — относятся к машине, как к существу одушевленному. Они бранят или поощряют ее, подозревают в злоумышлении или с надеждой вверяют себя ее доброй воле в минуты смертельной опасности.

Шофер говорит о своей пятитонке: «— «ЯЗ» выведет — он дорогу нюхом чует. Эту машину вместо собаки можно поставить дом сторожить».

И автор тоже относится к машине, как к живому существу: «Она стояла тихая и спокойная, под навесом... Мне захотелось погладить ее, как лошадь, погладить и похлопать по спине». Он пишет: «посреди пустыни два полуголых человека подталкивали автомобиль, который посерел от беспомощности и стыда».

Мир, окружавший писателя, одухотворен им. Лоскутов глубоко человечен, это проявляется и в его отношении к вещам. У него предметы в пустыне шагают и разговаривают, «плачут, или смеются, или агитируют». «Вещи — молчаливые и незаметные, как герои. Они просыпаются в трудные ми-

нуты аварий». Вещи оживают. Может быть, в этом и секрет удивительной поэтичности, свежести книг Михаила Лоскутова. Он чувствует поэзию жизни, и самое, казалось бы, обыденное под его пером становится необычным и в то же время именно в этом качестве более истинным. И радуешься на каждом шагу открытиям, которые припас для тебя писатель.

«В этой книге шоферские истории, пустыня, растения — предметы и люди, одинаково скромные и самоотверженные,— писал Лоскутов в своем вступлении,— разбитый кузов мертвого «ЯЗ-5», лежащего в центральных Каракумах, память о прорабе первой дороги в песках, об ученых и шоферах, погибших в пустыне. Эти рассказы входят сюда, как встречные дороги и тропинки, пересекавшие трассу нашего пути».

В Михаиле Лоскутове исследователь уживался с художником. Читатель его книг незаметно для себя оказывается вовлеченным в познавательную сферу: экономический анализ, историческая справка так же романтичны здесь, как и газетная вырезка тех лет и напутствие брать с собой в пустыню «легкие, небольшие, полезные, умные, порядочные» вещи и укрывать от солнца тело и голову бараньей шерстью.

При всей раздробленности книг Лоскутова на отдельные эпизоды, кадры они пронизаны общей, объединяющей весь материал мыслью о времени и людях, и это придает им цельность, законченность.

М. Лоскутов обладал умением в немногих словах передать своеобразие человеческого характера, суть явления. Его фраза динамична, упруга.

Он вышел из среды писателей, влюбленных в жизнь и в слово. Константин Паустовский, Аркадий Гайдар, Рувим Фраерман были его товарищами.

Произведения Михаила Лоскутова близки новым читателям пафосом свершений, одоления трудностей. Они заражают жаждой знаний, любопытством, манят в неизведанную дорогу. Книги Лоскутова не утратили своего обаяния. Они ярки, как само время, дух которого они так талантливо запечатлели. Написанные более двадцати лет тому назад и долгие годы не переиздававшиеся, они оказываются сейчас удивительно близкими нам по своему настроению, по своему молодому воодушевлению.

Эти книги — яркий пример живой писательской заинтересованности в проблемах современности, стремления быть в самой гуще дел и событий своего времени. Наша эпоха — эпоха большой исторической активности и огромных преобразований — требует от художника именно этих качеств.

Е. РЖЕВСКАЯ.

★

Политика и наука

Великий счет

Много интересных цифр и сопоставлений содержит эта небольшая книжка, рассказывающая о предстоящем большом событии в жизни советских людей.

Скоро в наши дома войдут счетчики Всесоюзной переписи населения 1959 года. С наших слов они заполнят переписной лист. Никто не потребует от нас документов, подтверждающих ответы. Наша перепись не связана ни с налоговым обложением, ни с вопросами использования жилой площади или пропиской. Полученные сведения будут использованы лишь в интересах дальнейшего развития народного хозяйства, культуры, науки, повышения материального благосостояния населения.

Каждый гражданин Советской страны должен ответить на пятнадцать вопросов переписного бланка: об имени, отчестве, фамилии, поле, возрасте, состоянии в браке, национальности, родном языке, гражданстве, образовании, месте работы, занятии, принадлежности к общественной группе и так далее. В отличие от переписей прошлых лет счетчик не задаст вопроса о грамотности, о том, не является ли опрашиваемый безработным, не принадлежит ли он к числу нетрудящихся. В нашей стране уже нет надобности в этих вопросах!.. А вот еще двадцать лет назад перепись 1939 года выявила свыше восемнадцати процентов неграмотных. При переписи 1926 года были в стране безработные — их оказалось тогда свыше одного миллиона. Давно ликвидировали мы без-

---

Всесоюзная перепись населения. Редактор В. Орлов. 52 стр. Госполитиздат. М. 1958.

работицу, нет теперь у нас и неграмотных. Не имеет смысла поставить в переписном бланке 1959 года и такие вопросы переписи 1920 года: «работает ли в своем хозяйстве и как», «если работает по найму, то здесь или на стороне». И уж конечно при нашей переписи никто не спросит о религиозных воззрениях, цвете кожи, как спрашивают в США; счетчик не будет интересоваться, искал ли опрашиваемый работу в последнюю неделю, каковы его дивиденды и рента, застрахован или нет на случай болезни.

В этих с первого взгляда неприметных фактах, в отсутствии ряда вопросов в переписном бланке, заключено то новое, что внесла в жизнь нашего поколения огромная, не знающая примеров в истории человечества титаническая работа Коммунистической партии, всего советского народа.

Вспоминается Всесоюзное совещание статистиков, происходившее летом 1957 года в Колонном зале Дома союзов. Со всех концов страны съехалось около семисот работников статистических и плановых органов, министерств, ведомств, предприятий, строек, научных учреждений, высших учебных заведений. Совещание это обсуждало вопрос о предстоявшей через полтора года Всесоюзной переписи населения. (Вот уже когда происходила подготовка!) Участникам совещания раздали справочные материалы, в которых содержались программы прошлых переписей, причем не только 1920 и 1926 годов, но и 1897 года — единственной в царской России всеобщей переписи населения. ...Октябрьская социалистическая революция. Ленинский план ГОЭЛРО. Советские пятилетки. Индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства. Культурная революция...

На совещании говорили и о программах переписей за рубежом. И как глубоко открылось принципиальное отличие тех и других документов! Государства, которые заинтересованы в том, чтобы скрыть безработицу, фальсифицировать степень занятости населения, где официальная статистика сваливает в общую кучу и человека, получающего жалкую пенсию, и человека, живущего на проценты с капитала. И вот другой мир, каждой цифрой, каждым фактом показывающий правду своей действительности, полную противоположность тому обществу, где все построено на угнетении человека человеком.

Надо прямо сказать: организаторы этого совещания статистиков хорошо продумали свои задачи. Участникам совещания была дана богатая пища для размышлений.

Хочется обратиться к некоторым литературным примерам.

В памятнике первой пятилетке — романе-хронике «Время, вперед!» — Валентин Катаев пишет о Магнитке:

«Здесь было собрано приблизительно сто двадцать или сто тридцать тысяч рабочих, служащих, инженеров, их семейств и приезжих. Более точных сведений не имелось. Статистика не поспевала за жизнью. (Разрядка моя.— *А. Л.*) ...Что это было? Село? Конечно, нет. Местечко? Нет. Лагерь, рабочий поселок, станция? Нет. Официально этот громадный населенный пункт назывался город. Но был ли он городом? Вряд ли!»

Это происходило в тридцатые годы, тогда статистика не поспевала за шагами советских людей.

У Леонида Леонова в «Соти» один из героев говорит:

«—...Купи билет и поезжай по стране; ты увидишь новые избы, новые заводы, новых людей... и притом великолепную рождаемость! — Он сделал нетерпеливый жест рукой, точно кто-то смел сомневаться в его статистике.—...В наш век надо мыслить крупно: десятками заводов, тысячами гектаров, миллионами людей... не мельчить творческой мысли».

Новые заводы, миллионы людей, великолепная рождаемость... Все это относится к первым годам нашей новой, советской эры — что же говорить о сегодняшнем дне? Ведь подумать только: в 1957 году каждую минуту население СССР увеличивалось почти на семь человек, это прирост без малого десять тысяч человек в сутки! В том же году ежедневно вступало в брак... Сколько вы думаете? Около 13 800 мужчин и женщин!

Уже почти десять лет ежегодный естественный прирост населения в СССР значительно превышает три миллиона человек. Только за годы пятой пятилетки население нашей страны увеличилось на 16,3 миллиона человек — это превышает численность населения таких стран, как Канада или Швеция, Норвегия и Финляндия, вместе взятые. В 1955—1956 годах средняя продолжительность жизни советского человека повысилась по сравнению с дореволюционным периодом более чем вдвое — с 32 до 67 лет.

А разве не примечательны такие цифры? О них тоже стоит вспомнить накануне Всесоюзной переписи населения 1959 года. До Октябрьской революции три четверти населения России в возрасте девяти лет и старше были неграмотны. Во всех учебных заведениях Российской империи имелось 79 тысяч учителей, но зато священников, монахов и других служителей культа было 263 тысячи — в три с лишним раза больше, чем учителей.

В книжке, посвященной переписи, говорится и о росте национального дохода и о неуклонном росте народного потребления.

«Для практической работы мы д о л ж н ы иметь цифры»,— писал в свое время В. И. Ленин управляющему ЦСУ. Ленин подчеркнул слово «должны». Партия и правительство в числе других сторон перестройки жизни страны провели огромную работу и по совершенствованию советской государственной статистики.

В капиталистических странах итоги основной разработки материалов переписи населения обычно публикуются не ранее чем через три-четыре года после даты переписи. Советское правительство обязало Центральное Статистическое Управление представить в Совет Министров СССР предварительные итоги разработки переписи к 25 апреля 1959 года. Уместно вспомнить, что публикация итогов переписи в 1926 году была закончена только в 1933 году, через шесть с лишним лет. А сейчас уже к 30 декабря 1959 года правительству должны быть представлены основные итоги разработки переписи в целом по СССР. Так шагает вперед наша техника статистических исследований. Советская статистика теперь уже полностью поспевает за жизнью народа.

«Дело переписи — не ведомственное дело, а дело Республики, дело всех советских учреждений»,— таково высказывание В. И. Ленина при подготовке к первой советской переписи населения в 1920 году. Эти слова не теряют своего значения и сейчас. И, опираясь на них, авторы рецензируемой брошюры обращаются ко всем общественным организациям с призывом принять самое активное участие в подготовке и проведении Всесоюзной переписи населения 1959 года. Ибо, действительно, это — дело всего народа.

А. ЛИТВАК.

★

Интересное исследование

Советские авторы-юристы в долгу перед читателями: они еще далеко не достаточно разработали один из важнейших вопросов науки о государстве — вопрос о его внешней функции. Этот пробел в нашей юридической литературе в известной мере восполняет книга Г. П. Задорожного «Внешняя функция современного империалистического государства».

Важнейшее значение этой проблемы становится совершенно очевидным, если вспомнить слова В. И. Ленина о том, что разоблачение тайн внешней политики в эпоху империализма «имеет к а р д и н а л ь н о е значение, ибо от этого зависит вопрос о мире, вопрос о жизни и смерти десятков миллионов людей».

Буржуазные юристы — апологеты капитализма, указывает автор, отнюдь не заинтересованы в раскрытии классовой эксплуататорской сущности своего государства. Их стремления направлены к тому, чтобы замаскировать эту роль и доказать, что у государства есть три функции: законодательная, исполнительная и судебная, которые по существу являются внутренней функцией государства. Опираясь на марксистско-ленинскую теорию, Г. Задорожный подробно исследует сущность внешней функции современного империалистического государства, освещает политико-экономические и военно-стратегические формы ее осуществления. Четко показана роль факторов, воздействующих на эту функцию. Это страны, образующие могучий лагерь социализма, большая группа нейтральных стран, мощное рабочее движение, всемирное движение сторонников мира, экономические противоречия империализма. Показана роль демократических принципов международного права и в первую очередь принципа мирного сосуществования и сотрудничества государств. Такой

Г. П. З а д о р о ж н ы й. Внешняя функция современного империалистического государства. Ответственный редактор член-корреспондент АН СССР Е. А. Коровин. 328 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1958.

разносторонний охват темы делает исследование Г. Задорожного интересным не только для специалистов.

Следует предупредить читателя (и одновременно упрекнуть автора): книга читается нелегко. Разумеется, всякий понимает, что юридическое исследование — не роман, но все же фразы по пятнадцать—двадцать строк были совершенно необязательны. А таких фраз, к сожалению, немало. Приведем один пример (стр. 83): «Это территориальное верховенство распространяется на определенную поверхность земного шара — сушу и острова, а также на реки, озера и моря, расположенные в этом районе; арктические секторы (у тех государств, которые их имеют); территориальные воды, омывающие сухопутную часть территории и островов; воздушное пространство, расположенное над сухопутной частью территории, островами, арктическими секторами и водами, расположенными в них, а также над территориальными водами; недра земли в пределах пирамиды, вершиной которой является центр земли, а основанием поверхность земного шара, образуемая из совокупности сухопутной части территории, вод, расположенных на ней, территориальных вод, омывающих ее сушу, а также пространства арктического сектора, равно как и недра в пределах конусов, вершиной которых является центр земли, а основаниями — острова с омывающими их территориальными водами».

Недостатки формы изложения отступают, однако, на задний план перед богатством содержания книги.

Особенностями внешней функции современного империалистического государства являются маскировка аннексий и колониальной зависимости, общая антисоветская направленность его политики, влияние мирового экономического кризиса, а также распада колониальной системы. Эти положения автор иллюстрирует злободневным материалом. Он разоблачает иностранные теории и взгляды по вопросам «мирового» государства, «превентивной», «холодной» и «психологической» войны, знакомит с различными методами тайной дипломатии и империалистической экспансии.

Оперируя богатыми данными, Г. Задорожный разъясняет значение территории для осуществления как внутренней, так и внешней деятельности государства. Говоря о необходимости размежевания территории по принципу самоопределения наций, автор показывает, как нарушается этот принцип империалистическими государствами.

Удачны страницы, посвященные органам и формам осуществления внешней функции современного империалистического государства, а также борьбе за обеспечение мирного сосуществования и сотрудничества государств. Автор демонстрирует здесь большую эрудицию и дает острую критику «теорий» апологетов империализма. И нельзя не согласиться с выводом автора: «Люди доброй воли имеют возможность обуздать тех политических и государственных деятелей, которые не считаются с интересами народов и играют их судьбами. Пора отбросить политику «с позиции силы» и заменить ее политикой мирного сосуществования, политикой установления отношений доверия между государствами, сотрудничества и дружбы между народами».

Из отдельных недочетов книги укажем на следующие. Нужно точно отграничивать термины «внешняя функция государства» и «внешняя политика государства». Автор этого не сделал, и у читателя может создаться впечатление, что оба эти понятия как бы совпадают.

Не прав автор, относя дипломатию к числу юридических наук. Дипломатия — прежде всего внешнеполитическая деятельность особых государственных органов, а в техническом смысле это — искусство ведения переговоров и заключения договоров.

Книга Г. Задорожного, подготовленная к печати Институтом права Академии наук СССР, несомненно представляет собой интересное юридическое исследование.

Заслуженный деятель науки
В. ДУРДЕНЕВСКИЙ.

★

Кейнс — вдохновитель оппортунизма

Английский прогрессивный экономист Джон Итон написал книгу «Маркс против Кейнса». Недавно она вышла в русском переводе. Книга содержит критику экономических взглядов вождей лейбористской партии, в частности Герберта Моррисона. Итон показывает, что в основе современного оппортунизма лежит самая модная в наши дни буржуазная экономическая теория — кейнсианство.

«В области экономической теории,— пишет Итон,— реформистское, фабианское движение в Англии полвека тому назад отвергло Маркса ради Маршалла, ведущей фигуры среди буржуазных экономистов того времени. Сегодня они отвергают Маркса ради Кейнса, нового вождя буржуазной экономической мысли».

Разбирая один за другим программные документы английских лейбористов, анализируя их практику в периоды пребывания у власти, Итон доказывает, что лейбористские вожди откровенно пользуются идеями, аргументацией и даже терминологией Кейнса. Лейбористская теория продвижения к социализму по стадиям, без классовой борьбы, оставляющая неприкосновенными производственные отношения капитализма, механизм цен и рынка, является в основе своей кейнсианской. Конференция лейбористской партии, состоявшаяся минувшей осенью в Скарборо, подтвердила, что лейбористы остаются на позициях кейнсианства. Лозунг национализации промышленности был снят. Коренные причины ухудшения экономического положения страны лейбористское руководство видит не в пороках капиталистической системы, а лишь в «порочной политике консерваторов». В этом и заключается роль реформизма — внедрять в рабочее движение буржуазные взгляды и бороться против марксистских идей — идей, отвечающих интересам рабочего класса.

Книга Итона по существу направлена не только против английского реформизма. Поскольку теория Кейнса принята на вооружение международной буржуазией, а социальной демагогией Кейнса кормится международный оппортунизм, критика экономических взглядов английских лейбористов является в то же время и критикой международного реформизма. Борьба с оппортунизмом требует разоблачения современной буржуазной теории, лежащей в его основе,— кейнсианства. Это и делает в своей книге Итон.

Буржуазные экономисты создали культ Кейнса. Они пошли так далеко, что даже сравнивают его с Дарвином и с Коперником. Джон Мейнард Кейнс (1883—1946) прославился своей нашумевшей книгой «Экономические последствия Версальского мира», вышедшей в 1919 году. В. И. Ленин отметил проявившиеся в этой книге «непреклонную решимость защищать капитализм» и «ненависть к большевизму». Система экономических взглядов Кейнса возникла в годы кризиса (1929—1933) и была изложена им в книге «Общая теория занятости, процента и денег». За нее ухватились во всех капиталистических странах и прежде всего в США. Теория Кейнса внушает иллюзию, что старческие болезни современного капитализма можно излечить путем государственного регулирования экономики и гонки вооружений. Причина недостатков капитализма, по Кейнсу, кроется не в его природе, а в психологии людей. По словам известного американского буржуазного экономиста Кеннета Боулдинга, «роль Кейнса в возрождении капитализма исключительно велика, ибо суть кейнсовской точки зрения состоит в том, что недостатки капитализма — это излечимые болезни, а не неисцелимые уродства». Недаром Уильям Фостер назвал Кейнса «врачом скорой помощи при смертельно больном капитализме».

Во всех коренных вопросах Кейнс стоит на позициях вульгарной политической экономии и, по меткому замечанию Итона, никогда не нарушает ее первую и последнюю заповедь: «Не говори о капиталистической эксплуатации».

По существу теория Кейнса мало отличается от ортодоксальной экономической науки, которую она критикует. Это не мешает острой перепалке между конкурирующими школами. «Лорду Кейнсу удалось за десять лет вернуть уровень экономической мысли назад, к временам средневековья»,— заявил представитель школы «ортодоксов», глава Американской экономической ассоциации Фрэнк Найт. Новое у

Джон Итон. Маркс против Кейнса. Ответ на «социализм» Герберта Моррисона. Перевод с английского М. А. Меньшиковой. Редактор И. А. Соколов. 126 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1958.

Кейнса по сравнению с другими буржуазными теориями — это его положение о том, что экономический механизм капиталистической системы сам по себе, без государственного вмешательства, не способен избежать кризисов и безработицы. До Кейнса ведущая школа буржуазной политической экономии учила, что капитализм является системой, которая способна к самосовершенствованию, нужно только стоять в стороне, предоставить действовать естественным законам экономики.

Вот как писала о Кейнсе уже после его смерти «Энциклопедия Чемберса»: «Он (Кейнс.— *С. Э.*) доказывал, что предпосылки, на которых покоится экономическая теория, содержат фундаментальные ошибки; в особенности считал он фикцией приписываемые экономической системе экономистами классиками и неоклассиками свойства автоматического самовыравнивания. С 1936 года до начала второй мировой войны положения «Общей теории занятости, процента и денег» были главным предметом споров среди экономистов. За десять лет большинство экономистов молодого поколения восприняло идеи Кейнса, хотя многие из старшего поколения остались необращенными».

Тезис Кейнса о способности буржуазного государства управлять экономикой далеко не нов. Эту иллюзию проповедовали немецкие и американские экономисты еще в XIX веке.

Прикрываясь теорией Кейнса о том, что сам механизм капиталистической системы не может устранить или даже смягчить кризисы и безработицу, буржуазные государства, особенно США, осуществили и продолжают проводить целый ряд мер, направленных на милитаризацию хозяйства, манипулировать с денежным обращением, учетным процентом. Аргументами Кейнса защищали увеличение заказов для военного ведомства и субсидии военным поставщикам. Теориями Кейнса оправдывают курс на понижение реальной заработной платы трудящихся, равно как и захватническую политику империализма.

Но капитализм остался капитализмом. Он продолжает порождать кризисы, расточение производительных сил, обнищание. Милитаризация хозяйства может лишь временно оттянуть кризис, подготовляя в то же время условия для еще более глубокого и разрушительного кризиса. Тот факт, что после войны имела место высокая хозяйственная конъюнктура, усиливал влияние кейнсианцев и распространяемых ими иллюзий. Но осенью 1957 года кризис перепроизводства начался в США, в той именно стране, где рецепты Кейнса нашли наиболее широкое применение. Характерно, что кризис принес с собой и признаки некоторого разочарования в теориях Кейнса, и при этом не только в США. Американский экономический журнал «Гарвард бизнес ревью» (май—июнь 1958 года) в редакционной статье утверждал, что, «несмотря на блестящий анализ, теория Кейнса основывалась на предположении, которое больше не признается экономистами».

История повторилась. Ровно сто лет назад предки Кейнса, английские фритредеры (сам Кейнс — профессор, делец, чиновник и лорд — причислял себя к либералам), после отмены хлебных законов провозгласили, что с кризисами покончено. Как и Кейнс, они не видели неизбежной связи между капитализмом и кризисами.

Маркс, вопреки тогдашним экономистам, доказывал, что кризисы — неизбежное порождение капитализма, и предвидел наступление кризиса. Крымская война 1853—1856 годов, создав повышенный спрос на продукцию ряда отраслей, лишь на время, как указывал Маркс, оттянула наступление очередного кризиса. Действительно, в 1857 году кризис разразился со всей силой наперекор тогдашней буржуазной науке. С тех пор вся практика капитализма подтверждает правильность марксистского учения, начисто опровергающего теории Кейнса.

Книга Итона вышла в Англии еще до выступлений новейших ревизионистов, искажающих природу буржуазного государства, затушевывающих его классовый характер. Итон показывает, что и в трактовке государства лейбористы идут за Кейнсом. «Кейнсианские» рецепты против безработицы,— пишет Итон,— *базируются на ложном представлении о нейтральном государстве, стоящем над классами*». Как типичный апологет капитализма, Кейнс сознательно замалчивает очевидный факт, что современное капиталистическое государство является в основном органом капиталистических монополий. Оно не может выйти за рамки интересов монополистического капитала и не может отменить действие сил капиталистической экономики, уничтожить анархию производства. Но буржуазная социология

никогда не признавала, да и не могла признать государство орудием классового господства буржуазии, и в этом Кейнс не оригинален. А источник оппортунизма и ревизионизма в конечном счете одинаков — влияние буржуазной идеологии.

Работа Итона — в известной степени труд коллективный. Ее тезисы были разработаны автором совместно с другими экономистами-марксистами и обсуждены с работниками профсоюзов. Книга рассчитана в первую очередь на английского рабочего. Она легко читается, разбита на небольшие разделы с подзаголовками.

Итон правильно характеризует учение Кейнса как вульгарную политическую экономию монополистического капитализма эпохи кризиса и упадка. Борьба за повышение сознательности трудящихся требует разоблачения современных буржуазных теорий, проникающих в рабочее движение с помощью оппортунистов и ревизионистов.

Несомненно, книгу Итона с интересом прочтет советский читатель.

С. ЭПШТЕЙН.

★

Правда о Библии

В официальном документе Юнеско «Индексе переводов» Библия значится как одна из наиболее популярных книг. По количеству переводов на разные языки в 1956 году она оставляет позади творения величайших мыслителей.

Кому же понадобилось в век электричества, радио, телевидения, расщепления атомного ядра и искусственных спутников Земли печатать огромными тиражами книгу, содержащую антинаучные курьезы? Чему может научить Библия сегодня, когда даже две с половиной тысячи лет назад библейские рассказы явно противоречили тогдашней науке, достижения которой были относительно скромны?

Позвольте! — могут возразить защитники Библии.— Пусть она и содержит устаревшие в научном отношении сведения, но зато способствует смягчению нравов, воспитывает людей в духе честности, справедливости, милосердия и всепрощения.

Так ли это? Рассмотрев вслед за И. Крывелевым Библию с точки зрения проповедуемой ею морали, мы убеждаемся, что эта «священная книга» оправдывает эксплуататорские порядки, оставляя угнетенным лишь призрачную веру в «царствие небесное». Правда, Библия на словах взывает к милосердию. Но сам бог, характеризуемый церковниками как «милостивый и милосердный», ведет себя согласно той же Библии, как кровожадный деспот. Он истребляет людей десятками тысяч и требует той же жестокости от верующих. В истории Западной Европы целые столетия были освещены мрачным пламенем костров инквизиции. Во имя церковной «морали» под колокольный звон совершались массовые истребления всех инаковерующих. Моря крови были пролиты в эпоху крестовых походов, совершавшихся под благовидным предлогом «освобождения гроба господня».

Раскрывая другие стороны библейской морали, автор убедительно показывает свойственную ей проповедь себялюбия и алчности, вероломства и коварства, пренебрежения к женщине. Нравственные правила Библии обусловлены эпохой ее возникновения, определенными социальными условиями, и беспочвенными являются попытки современных богословов рассматривать устои Библии как вечные, пригодные для всех времен. С помощью Библии оправдывалась любая жестокость, любое предательство или измена. Под видом «защиты христианства» католическое, протестантское и православное духовенство сеяли ненависть к трудящимся нашей страны, участвуя в заговорах и вооруженной интервенции против молодой республики Советов. Под прикрытием Библии Франко и его подручные осуществили кровавую расправу над испанскими республиканцами. Ссылаясь на Библию, американские, английские и французские империалисты ведут разбойничьи войны, стремясь всеми силами удержать в цепях колониального рабства народы Азии и Африки.

В рецензируемой книге характеризуется состав и содержание Библии. Без этого последующая критика библейских текстов была бы непонятной многим читателям,

---

И. Крывелев. Книга о Библии. (Научно-популярные очерки). Редактор В. Викторова. 360 стр. Соцэкгиз. М. 1958.

никогда не державшим Библию в руках. Особый раздел посвящен таким художественным произведениям, включенным в Библию, как «Песнь песней», «Екклесиаст», «Книга Иова».

Произведенный автором анализ «священного писания» позволил ему не только показать, что библейский свод представляет собой собрание разнообразных литературных форм и жанров, но и установить тот важный для понимания Библии факт, что религиозная идеология большинства библейских произведений не является единой, поскольку эти произведения создавались разными людьми в различные исторические эпохи.

Особая глава посвящена истории научного исследования Библии, то есть той научной дисциплине, которая носит название библейской критики. Не претендуя на ее подробную и всестороннюю характеристику, И. Крывелев останавливается на важнейших позициях видных представителей библейской критики. Живо написан раздел об археологических открытиях XIX и начала XX века, давших сведения о «языческих» источниках библейских легенд и нанесших сокрушительный удар по взглядам на Библию как на совершенно оригинальное, единственное в своем роде произведение.

Нужно все же заметить, что автор уделяет неоправданно мало места находкам древних еврейских рукописей в районе Мертвого моря. Тезис автора, что эти находки подтвердили ряд положений исследователей Библии, требует уточнения. Дело в том, что в оценке как Ветхого, так и Нового завета проявлялся порой чрезмерный критицизм. В борьбе с теологическими концепциями часть исследователей заходила так далеко, что подвергала сомнению наряду с подложными документами и надежные исторические источники. В этом отношении и приобретают интерес новые находки, заставляющие нас отказаться от кое-каких крайних, в научном отношении малообоснованных взглядов критиков Библии.

Излагая сущность критики Библии до появления марксизма, автор отмечает наряду с ее сильными сторонами существенный недостаток — отсутствие глубокого материалистического анализа тех общественно-исторических условий, в которых появились библейские книги. Подлинно научная критика Библии стала возможной лишь с позиций материалистического понимания истории. Ее блестящие образцы мы находим в произведениях классиков марксизма-ленинизма.

В книге обстоятельно рассказывается о происхождении библейских книг. Вопреки утверждению богословов об исконном единобожии еврейского народа, среди которого сложилась Библия, автор показывает, что религия древних евреев мало чем отличалась от верований других племен в эпоху родового строя.

Происхождение библейских книг Ветхого завета И. Крывелев связывает с политической и социальной историей еврейского народа. Возникновение книг Нового завета он рассматривает, как это принято в нашей науке, на фоне социально-экономической истории всей Римской империи. Но вызывает возражение то, что И. Крывелев с неоправданной категоричностью объявляет текст Тацита о гонении на христиан при Нероне позднейшей вставкой христианских фальсификаторов. Резко враждебное отношение автора этого текста к христианам как к иудейской секте не дает оснований для такой категоричности. Следует также иметь в виду, что Ф. Энгельс при датировке одного из христианских произведений, «Откровения Иоанна», исходил из подлинности этого текста (в другой части своей книги И. Крывелев считает датировку Ф. Энгельса правильной).

Оригинальной и свежей по мысли является глава книги «Содержит ли Библия истину?». Развитие знаний в области истории, естествознания, химии показало воочию примитивный, наивный смысл множества истин, которые некогда рьяно отстаивались церковниками как божье откровение. В целях спасения авторитета Библии ее защитники и апологеты, заговорившие о «кризисе веры», идут на прямой подлог и фальсификацию. И. Крывелев подробно освещает распространенный прием аллегорического толкования Библии, позволяющий превратить библейские «дни творения» в геологические эпохи; бесформенный кусок глины, из которой будто бы был вылеплен Адам,— в человекообразную обезьяну; кита, который якобы проглотил пророка Иону,— в Нововавилонское царство Навуходоносора, поглотившее еврейский народ. Автор останавливается и на последнем слове аллегорического толкования Библии — на попытке

«демифологизации» библейских сказаний, лозунге, недавно провозглашенном протестантским богословом Р. Буиттманом и требующем отделять проповедь от мифа.

Автор убедительно показывает, что у нас нет никаких оснований искать в библейских сказаниях какой-нибудь скрытый аллегорический смысл, что эти сказания отражают ту эпоху, когда люди не могли дать научного объяснения явлениям природы, когда сознание человека было крайне примитивным.

Используя новейшие достижения археологии и исторической науки, И. Крывелев подвергает аргументированной критике сообщаемые Библией легенды о египетском плене, сказания о патриархах и завоеваниях израильтянами Ханаана. Библия, помимо грубого искажения истины или прямого вымысла, содержит огромное количество ошибок и может быть использована как исторический источник лишь при чрезвычайно критическом к нему отношении. Современные достижения науки не оставляют камня на камне от различных «чудес» и так называемой библейской мудрости, и никакие хитросплетения церковников не смогут примирить науку и Библию.

Содержательная и живо написанная книга И. Крывелева поможет широким кругам советских читателей понять, что Библия отражает идеологию, глубоко враждебную всему нашему образу жизни, боевым традициям революционной борьбы, нашей вере в окончательное торжество коммунизма. Библия — это оружие в руках наших врагов. Мы должны знать это оружие, чтобы его обезвредить.

Кандидат исторических наук
А. НЕМИРОВСКИЙ.

★

«Дикари» и колонизаторы

Ириан — слово, вошедшее в широкое употребление лишь в самые последние годы. Но если мы подставим вместо него известное уже столетиями название — Новая Гвинея, то и за этим названием возникает чрезвычайно мало представлений. А ведь Новая Гвинея — один из самых больших островов на земном шаре, богатейший по своим природным ресурсам и интереснейший с точки зрения человеческой культуры, развития человеческого общества. Но на этот цветущий уголок земли наложил свою тяжелую лапу колониализм, и остров остался по сию пору белым пятном для цивилизованного мира.

Голландские колонизаторы смогли только объявить «своим» этот остров (вернее, его западную половину), но развивать здесь экономику хотя бы так, как это свойственно колонизаторам, у них уже не хватило сил. Нелегким делом оказалось держать в повиновении огромную Индонезию, чтобы выгребать из нее богатства. До Новой Гвинеи, совершенно девственной страны, у колонизаторов уже руки не доходили. Однако, не будучи в состоянии «открыть» эту страну сами, голландцы не допускали к ней никого другого. Их «суверенитет» над Новой Гвинеей был не меньшим препятствием для исследователей и путешественников, чем непроходимые джунгли, тропические лихорадки и страх перед людоедами. Все это и сделало Ириан одним из самых малоизученных мест на земле, о котором обычно знают лишь то, что там живут чернокожие курчавые папуасы, еще сохранившие каннибальские обычаи. Нельзя здесь не вспомнить о самоотверженном русском ученом и путешественнике Миклухе-Маклае, не жалевшем здоровья, сил и энергии, чтобы доказать, что папуасы не хуже всех других людей, в том числе европейцев. Но и после Миклухи-Маклая осталось чрезвычайно много непознанного в этой стране.

Мы можем найти в новейшей литературе кое-какие сообщения о политическом положении Ириана, о его экономике, о том, что́ в него ввозится, что́ вывозится — главным образом, вывозится! — как развивается нефтедобыча и что решали об Ириане на конференциях в Гааге и других городах: ведь эта страна сделалась сейчас одним из заметных политических, экономических и стратегических узлов на мировой арене.

Но есть и другая сторона вопроса — это сами люди, народ Ириана, судьба которого империалистов вовсе не интересует,

---

Эрик Лундквист. Дикари живут на Западе. Сокращенный перевод со шведского. Редактор Н. Чижов. 375 стр. Географгиз. М. 1958.

Именно о народе Ириана мы получаем много совершенно новых для нас сведений — причем сведений из первых рук — из книги шведского писателя Эрика Лундквиста «Дикари живут на Западе».

Нужно приветствовать выпуск Географгизом этой интереснейшей, ценной в познавательном и воспитательном отношении книги, перевод которой к тому же выполнен, по нашему мнению, на достаточно высоком уровне.

Когда читаешь эту книгу, то как-то невольно снова протягивается нить к трудам Миклухи-Маклая. Оба автора — совершенно разные люди по профессии, национальности, эпохе. Но их чрезвычайно сильно связывает присущий обоим убежденный, боевой и последовательный гуманизм.

Папуас — не дикарь, он полноценный представитель человеческой расы и должен занимать равное место среди всех людей на земле — таков лейтмотив книги Лундквиста. Автор постоянно присутствует на страницах своей книги, и в первую очередь хочется сказать о нем самом.

Эрика Лундквиста по праву можно отнести к числу тех лучших представителей западноевропейской интеллигенции, которые не мирятся с несправедливостью капиталистического строя, не приспосабливаются к нему, а живут согласно своим убеждениям и борются за них. Искренность автора — «шведского лесовика», как он сам себя называет,— позволяет нам представить не только то, о чем он пишет, но и узнать его самого. Мы видим человека передовых взглядов, широкообразованного, решительного, энергичного и отважного и в то же время тонкого и чуткого. Он болезненно переживает многочисленные проявления несправедливости, с которыми сталкивается, его возмущают войны и убийства, ненормальные, недружественные отношения между странами; он называет их «дикими».

Лундквист много лет жил в Индонезии, путешествовал по различным ее островам и хорошо знает людей этой страны. Человек, побывавший в Индонезии, общавшийся с индонезийцами не может не откликнуться сердцем на ту симпатию и уважение, которые постоянно сквозят в книге Лундквиста по отношению к этому трудолюбивому, жизнерадостному, чистому душой народу. Те же чувства находят выражение и в других произведениях Лундквиста. Мы ощущаем их и в его небольшой, очень живо и тепло написанной статье, посвященной острову Бали[1]. Видимо, именно эта искренняя, глубокая любовь к индонезийцам явилась одной из причин, приведших Лундквиста к фактическому разрыву с миром «западной цивилизации», в течение столетий безжалостно их угнетавшим и эксплуатировавшим. Свой протест, свое осуждение этого мира жестокости и корысти Лундквист выразил и в названии своей книги — «Дикари живут на Западе», подчеркивая, что настоящие дикари и людоеды — не ириапцы. Хотя они и находятся на низших ступенях общественного развития, зато обладают прекрасными душевными качествами, которые и должны быть свойственны человеку и которым не могут служить заменой образование и внешние признаки цивилизации. Именно на Западе есть люди, по существу являющиеся настоящими дикарями. Это они готовят атомную войну и не содрогаются перед убийством миллионов людей, в том числе женщин и детей, в то время как «дикие» папуасы всегда их щадят во время своих войн. Сравнение папуасской войны, описанной автором, с современной войной не оставляет сомнений в том, где же проявляется больше дикости и каннибализма.

Книга «Дикари живут на Западе» написана по-настоящему талантливо. Перед глазами читателя возникают величественные новогвинейские джунгли и их обитатели — неведомые нашим лесам казуары, кенгуру, венценосные голуби, райские птицы. Поражаешься мужеству и настойчивости исследователя, забирающегося в глубь болот, карабкающегося по горам — несмотря на москитов, малярию, диких зверей — и стремящегося узнать новое, неизведанное.

Но при всем увлечении, с каким автор рассказывает о природе, об опасных переходах, охоте на диких зверей и птиц, в центре его внимания все время остаются люди. Он знакомит нас со многими различными племенами: жителями побережья, собирающими в джунглях готовые плоды; жителями гор, которым приходится трудиться на земле, чтобы прокормить себя; племенами, уже обращенными ревностными миссионерами в христианство, одетыми ими в черные штаны и лишенными божьим велением своих обрядов, привычного образа жизни; племенами настоящих каннибалов,

[1] «Вокруг света», 1957, № 1.

сохранивших в неприкосновенности свою независимость, уклад жизни и обычаи, пляски и песни.

Лундквист восхищается физической силой и выносливостью ирианцев, их изумительным знанием джунглей, всячески стремится проникнуть в их духовный мир. Ему это легко удается: ирианцы, чувствуя в нем друга, раскрывают перед ним свою бесхитростную натуру. Вместе с автором мы наблюдаем старинный обряд просверливания носов, необузданные, стихийные пляски ирианцев, узнаем об их отношении к загробной жизни и духам, сочувствуем женщине в ее полной трудов, тяжелой жизни.

Но наряду с чертами первобытности, дикости мы видим и черты настоящей высокой человечности. Не может не тронуть рассказ о преданности рабочих-ирианцев, не бросивших автора, по сути совершенно чужого для них человека, во время приступа малярии в лесу; они вместе с ним голодали, проводили ночи под дождем и в конце концов принесли его на руках в лагерь. Или аналогичный случай с женой Лундквиста, повредившей ногу. В течение нескольких суток чернокожие друзья добровольно несли ее на руках по труднопроходимым лесным тропам. Ирианцы любят своих детей, как и все люди на земле, и нельзя без сочувствия читать о горе родителей, у которых крокодил утащил дочку — курчавую девчушку с живыми глазенками, так полюбившуюся автору. В рассказах Лундквиста о нравах и жизни папуасов мы находим и много других черточек, характеризующих их как добрых и отзывчивых людей.

Совсем иные ноты звучат в книге, когда речь заходит о колонизаторах, об их отношении к местному населению. Голландцы много говорили и говорят о своей цивилизаторской миссии в Индонезии. Мы узнаем из книги, в чем проявляется эта миссия. Голландцы обрушивают всевозможные кары на ирианцев, считающих в простоте душевной, что они на собственной земле не обязаны терпеть издевательства чужеземцев. Поставленные голландцами управители — такие, как красочно описанный Бархудин,— по существу применяют рабский труд, выкачивая из страны ее богатства. Торговцы без стыда и совести обманывают простодушных жителей, забирая у них за бесценок дорогие продукты. Вот и все те «блага», которые принесли ирианцам «цивилизованные» голландцы. Они не проявляют даже видимости заботы о борьбе с болезнями, о развитии образования, о приобщении жителей к более культурному образу жизни. Колонизаторы заботятся только о своих собственных интересах.

...Поезд шел из Джакарты в Джокьякарту и за десять часов преодолел примерно треть Явы — самого развитого и освоенного острова Индонезии. Я смотрела в окно на беспрерывно тянущиеся поля, засаженные то рисом, то сахарным тростником, то табаком, и постепенно мною овладевало странное ощущение. Мне стало казаться, что этот быстро несущийся поезд ворвался в далекое прошлое. В вагонах поезда—воздух, охлажденный специальными установками, зеленоватые стекла герметически закрытых окон защищают пассажиров от резких лучей тропического солнца и от жаркого, влажного наружного воздуха, к услугам пассажиров все прочие удобства, доставляемые последними достижениями техники. А за окнами никаких признаков техники — ни заводских труб, ни машин на полях. Только буйволы с тяжелым ярмом на шее, запряженные в соху, да мотыги в руках работающих крестьян, как и два-три столетия назад. Такое несоответствие объясняется просто: все это — наследство голландских колонизаторов. Хорошие железные и шоссейные дороги были им необходимы — ведь нужно было вывозить богатства страны, нужно было всю ее держать под контролем. А тракторы на крестьянских полях, заводы и фабрики — к чему это!

Если так хозяйничали голландцы на Яве — в центре страны, то что же говорить об окраинных областях, в том числе о Новой Гвинее? Здесь дело и до дорог дошло только в последние годы, когда началась разработка нефтяных месторождений.

Интересны страницы книги Лундквиста, где он рассказывает об одной специфической форме проникновения западной «цивилизации» в Ириан — о христианской религии. Миссионеры, фанатичные и узколобые, относятся к ирианцам, которые не поддаются обращению в христианство, как к своим врагам. В большинстве случаев «благая» роль церкви сводится к тому, что ирианцев заставляют надевать совершенно ненужную им черную одежду, учат распевать псалмы, наполняют их душу страхом и перед богом и перед чертом. Им запрещают исполнять обряды, объявляют

греховными песни и пляски, изгоняя из жизни народа всякую радость, лишая его простого, бесхитростного счастья и ничего не давая взамен.

Книга Лундквиста неизбежно подводит нас к выводу: жители Ириана — люди, достойные того, чтобы жить независимой жизнью в своей собственной стране. Автор показывает, что ирианцы стремятся к более высокому культурному уровню, к единству со всем индонезийским народом, с которым они связаны многовековыми узами, к освобождению от гнета западных империалистов. Лундквист еще раз убеждает нас в том, насколько справедливо выдвигаемое Индонезийской республикой требование воссоединения Ириана, к народу которого мы не можем не чувствовать большой симпатии.

Н. АЛИЕВА.

★

Робинзонада гуманиста

Как утверждает мировая статистика, около двухсот тысяч человек ежегодно погибает во время кораблекрушений. Не все потерпевшие бедствие гибнут вместе с кораблем — часть из них успевает разместиться в спасательных шлюпках. Но и здесь их шансы невелики — большинство все же умирает от голода, жажды и нервного истощения в течение нескольких дней после катастрофы.

Мысль об этом не давала покоя молодому французскому врачу Алену Бомбару. Он провел ряд исследовательских работ в Океанографическом институте в Монако, тщательно изучил литературные данные и пришел к заключению: да, человек может выжить, добывая пищу из моря, утоляя жажду соком рыб и морской водой, пока спасательная лодка не встретится с кораблем или течением не принесет ее к земле. Бомбар решил проверить эти пока еще теоретические выводы на собственном опыте.

И двадцативосьмилетний экспериментатор совершил беспримерное в истории мореплавания путешествие: за два месяца он пересек в резиновой лодке Атлантический океан, питаясь только дарами моря и полностью поставив себя в такие же условия, в каких находится потерпевший кораблекрушение.

Об этом плавании Бомбар рассказал в книге «За бортом по своей воле». Перелистываем страницы этой удивительной книги — и знакомое с детства чувство овладевает нами: вот так же мы читали увлекательную эпопею Робинзона. Все интересовало в ней: как строил Робинзон жилище, как сажал зерно и собирал урожай, как учился шить одежду. За каждым самым маленьким делом стояла значительная тема — человек боролся за свою жизнь.

Но труды и дни прославленного литературного героя бледнеют перед тем подлинным подвигом, о котором с прозрачной ясностью и придирчивой точностью в деталях рассказывает французский ученый.

Бомбар не сразу отправился дорогой пассатов, от берегов Испании через Канарские острова, мимо островов Зеленого мыса к острову Барбадос. Решительной схватке со стихией предшествовала «генеральная репетиция» — плавание от Монако через Средиземное море к испанским берегам. На этом первом этапе Бомбар был не один. С ним в его лодке «Еретик» был спутник — Джек Пальмер, хороший моряк, которому, однако, не хватило мужества, чтобы продолжить плавание дальше, через океан.

Тем сильнее поражает нас почти фанатическое чувство долга, с каким Бомбар отправился в дальнейшее плавание,— в полном одиночестве, без спутника, без надежды вернуться с полдороги или встретиться с каким-либо судном: корабли почти не заходят на трассу, которую выбрал «Еретик». В самом названии, которое дал Бомбар своему суденышку, отразилась та же непреклонная воля исследователя: даже замысел его казался многим опытным морякам совершенно безнадежной, «еретической» затеей.

Плавание Бомбара через Средиземное море и Атлантический океан в резиновой скорлупке — одно из тех поразительных путешествий, которые совершаются в наши дни энтузиастами науки. Советские читатели знакомы с кругосветными путешествиями Зикмунда и Ганзелки. В нашей стране популярна книга Хейердала о путешествии на «Кон-Тики», пафос которой в высо-

---

Ален Бомбар. За бортом по своей воле. Перевод с французского Ф. Мендельсона и А. Соболева. Редактор А. Б. Беленький. 184 стр. Географгиз, М. 1958.

ком уважении автора к народам Океании, в мастерском изображении жизни моря, еще полной загадок.

Путевые записи Бомбара принадлежат одновременно талантливому ученому и самоучке-мореходу, ставшему моряком не по призванию, а по необходимости.

Его записи точны и скрупулезны. Они поражают и богатством наблюдений и бесхитростной прямотой, с какою он, врач и физиолог, запечатлел малейшие изменения в собственном организме, вызванные непривычным, небывало трудным образом жизни и режимом питания. Детали любого дня этого шестидесятипятидневного плавания с глубоким вниманием прочитает каждый, потому что это — детали борьбы за жизнь, борьбы, которую одинокий мужественный человек по своей воле ведет против моря, чтобы передать свой опыт другим. Именно одиночество, а не голод и жажда оказалось наиболее трудным испытанием. С момента, когда «Еретик» оказался в океане, одиночество «взошло на борт», и мореплаватель остался лицом к лицу с этой «неразрешенной проблемой».

Но интерес книги не только в том, как решается в ней поставленная автором перед самим собой задача. В ней есть и тонкий юмор и страницы удивительной поэзии, идущей от незнаемого — того, что впервые открылось человеку, вошедшему в близкое соприкосновение с природой. Вместе с автором мы радуемся, когда узнаем, что зловещие предсказания «знатоков» не оправдались и рыба так же успешно ловится в Атлантике, как и в Средиземноморье, обеспечивая человеку пищу и питье. Мы разделяем его радостное изумление, когда оказывается — опять-таки вопреки предсказаниям специалистов,— что птицы сопровождают одиночку мореплавателя на всем его пути до Канарских островов.

Незабываемы картины жизни моря, подмеченные не только ученым-наблюдателем, но и натуралистом-художником.

Вот картинка ночи в Средиземном море:

«С наступлением темноты вокруг нас началась кипучая деятельность. Морские жители, казалось, специально приплывали к нам, чтобы познакомиться. Фырканье дельфинов, прыжки и всплески рыб вокруг лодки населяли ночь странными призраками; вначале они пугают, но вскоре становятся привычными. Бормотание волн сливается в ровный гул, из которого выделяются порой отдельные всплески, словно голос солиста в играющем под сурдинку оркестре».

Вот эпизод, подчеркивающий, как много неожиданного раскрывает море наблюдателю, смотрящему не с борта парохода, а с маленького суденышка:

«На закате я вдруг увидел на поверхности моря тысячи маленьких отражений солнца. Вглядываясь в это сверкающее зеркало, я с изумлением понял, что это были сотни и сотни морских черепах, панцири которых, словно припаянные один к другому, образовали толстую корку на поверхности волн... Я сделал неосторожное движение, пытаясь приблизиться, чтобы метнуть гарпун, и вся масса удалилась, поблескивая, словно огромная металлическая пластина».

От первых часов плавания у берегов Франции и до последних мучительных дней перехода до Барбадоса не оставляет автора и точность в наблюдениях физиолога и зоркая памятливость естествоиспытателя, жадно фиксирующая все важные приметы в жизни океана. Научная и практическая ценность его опыта бесспорна, она понятна каждому. Его книга не только увлекательное чтение, но и большой труд, выстраданная на собственном опыте инструкция: как поддержать свою жизнь в океане, выжить, не пойти ко дну даже при самых опасных и суровых обстоятельствах. Горек, как морская вода, был корень этой науки. Даже начало плавания, совершенное вдвоем с Д. Пальмером, его средиземноморский этап, уже было подвигом, на который еще никто добровольно не решался.

«Наше единственное питье — морская вода, наша единственная пища — планктон, который с каждым днем надоедает все больше,— пишет Бомбар.— Малейшее движение причиняет боль и стоит нечеловеческих усилий. Голодание превратилось в настоящий голод; из острого состояния он перешел в хроническое. Мы начали потреблять собственные белки, это было саморазрушение».

Но не только стихия, не только океан с его опасными неожиданностями был для путешественника источником неисчислимых бедствий.

Читая книгу, не можешь не удивляться той атмосфере тупого равнодушия, подозрительной недоверчивости, а то и прямой враждебности, которая порой окружала ученого. Буржуазная печать, замалчивая

значение уже осуществившегося эксперимента, искала любой повод, чтобы объявить отважного мореплавателя умалишенным или аферистом.

Само положение исследователя, вынужденного просить финансовой поддержки не у государства, а у частных лиц, нередко становилось для Бомбара причиной тяжких затруднений. Субсидировавшее его лицо (упоминаемое в книге под названием «меценат») то обнадеживало ученого, то отказывало ему в средствах, поддаваясь случайной прихоти, а иногда и попадаясь на ловко подстроенную кем-то провокацию. Лишь в одном случае Бомбар позволяет себе намек, раскрывающий, что в успехе его предприятия далеко не были заинтересованы некоторые коммерческие круги.

«...Ведь я вовсе не собирался доказывать, что спасательное оборудование никому не нужно,— пишет Бомбар.— Я лишь хотел дать надежду на спасение тем, у кого при кораблекрушении это оборудование окажется неполным или будет совсем отсутствовать. В игру вступили интересы, которые мне были совершенно чужды... А я отплывал, чтобы доказать, что на море можно прожить без пищи и патентов»,— иронически добавляет он.

Встречались, конечно, и другие люди, от души сочувствовавшие ученому. Они-то и приходили к нему на помощь в трудные минуты, когда преодолеть бездушие и эгоизм, царящие в капиталистических отношениях, оказывалось для него труднее, чем бороться с одиночеством и голодом.

Замечательную книгу Бомбара закрываешь с чувством огромной признательности автору, который, рискуя собственной жизнью, совершил подвиг высокого гуманизма.

И. ИНОЗЕМЦЕВ.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

«ПО МОТИВАМ ПОВЕСТИ...»

Несколько лет тому назад появилась повесть В. Некрасова «В родном городе». В ту пору она вызвала много споров. Одним она очень нравилась, другим — нет. Я принадлежу к первым. Мне дорога эта повесть; она посвящена скромным, обыкновенным и хорошим людям, которых встречаешь в жизни на каждом шагу.

Повесть невелика, но в ней говорится о многом. И о том, как возвратившийся с фронта раненый капитан Николай Митясов нашел у своей жены другого — «дядю Федю». И о том, как он в госпитале подружился со старой библиотекаршей Анной Пантелеймоновной и ее дочерью Валей. Как Николай и Валя полюбили друг друга. Как Николай все же вернулся к своей жене Шуре и потом порвал с ней, а она вышла замуж за товарища Николая — бывшего летчика Сергея. И о том, как в Николае пробудилась тяга к книге, к знаниям, как нелегко ему было подготовиться и поступить, а затем и учиться в институте. И о столкновении Николая с формалистом и лицемером, деканом факультета Чекменем. И о том, как Николай наконец обрел Валю, и о многом-многом другом говорится в этой небольшой повести...

Ситуации сложные и вместе с тем обычные. Вот точно так было и у нас, в соседней квартире: молодые люди то сходились, то расходились, никак не могли разобраться в себе, в жизни...

В. Некрасов пишет просто, но жизнь в его изображении сложна и глубока. Красной нитью через его творчество проходит мысль о сложности и богатстве характеров, о многообразии и силе человеческих чувств. Вера в героя нашего времени, немногословного, скромного, но твердо идущего к своей высокой цели, не декларативно, не на словах живет в его произведениях.

Но вот на экранах наших кинотеатров появился фильм «Город зажигает огни» — по мотивам повести В. Некрасова «В родном городе», как сказано было на афише (производство киностудии «Ленфильм», 1958 год. Сценарист и постановщик В. Венгеров).

Мы рады были появлению фильма, но из кино ушли разочарованными и огорченными.

Почему же так получилось?

Тысячи людей читали «Войну и мир», и каждый по-своему видит Пьера Безухова и Наташу Ростову. Но все эти тысячи Пьеров и Наташ имеют что-то общее. Это общее создал писатель. Это — основа. И нарушать эту основу не должно, ибо тогда может рухнуть все сложное здание произведения.

Когда роман или повесть переходят на экран, то читателю всегда бывает интересно сравнить героев, созданных его воображением, с героями, которых он видит в кино.

Начало фильма очень хорошее. Да, вот именно таким и должен быть Николай Митясов (артист Н. Погодин). Он возвращается с фронта, и вся его фигура с рукой на перевязи и мешком за плечами, шагающая на фоне разрушенных домов родного города,— такая до боли знакомая фигура — сразу трогает зрителя! И как он расспрашивает соседей, стучится в квартиру, как он разговаривает с мальчиком, как видит на Шуриной полочке две зубные щетки и как он уходит,— все это так, как и должно было быть, иначе даже себе не представляешь.

Но дальше идет фальшь. Начинается она с появления Сергея. Зритель поставлен в тупик: да разве это Сергей? Ведь Сергей совсем не такой. Сергей — «приземлившийся летчик», который потерял ногу и никак не может примириться с тем, что ему уже никогда больше не летать. По складу характера это боевой, веселый человек. Он любит жизнь, риск, отчаянные поступки. Он прекрасный товарищ, добряк, человек большой души. Но судьба иногда шутит с людьми. Сергей ударился в спекуляцию и

всю свою энергию тратит на разные «аферы», а потом пропивает свои деньги, веселит компанию. Тут, за столиком пивной, он первый человек. Но как далеко это первенство от того, недавнего, на войне, в небе!

О. Борисов — очень талантливый артист. И тем обиднее было видеть его в роли, которая совсем ему не подходит. Борисов в этой роли слишком серьезен и собран. Сергей проще, непосредственней, в нем больше удали, размаха. И зрителю не хватает своего Сергея, того, которого он представил себе, читая повесть «В родном городе», и который совсем не похож на показанного в фильме.

А дальше оказывается, что Шура совсем не та Шура, Валя не та Валя, что Анны Пантелеймоновны вообще в картине нет и что все дальнейшее происходит совсем не по книге. Сюжет не то что изменен или переделан, а вообще другой.

И вот зритель, сравнивая героев повести «В родном городе» с героями кино, недоумевает.

Возьмем, к примеру, Шуру, жену Николая. Читатель представляет ее себе простой, доброй, отзывчивой. Она любит салфеточки и чистоту в комнате. Шура хорошая и преданная, и вовсе не за то ее оставил Николай, что она ему изменила, а оставил потому, что она ему не пара. И оказывается, не так просто подобрать себе в жизни пару. В Шуриной наружности не должно быть ничего оригинального. Обыкновенное симпатичное лицо, обыкновенная прическа. Но между тем, несмотря на свою связь с «дядей Федей», несмотря на несколько мещанские вкусы, Шура — эта обыкновеннейшая маленькая женщина без всяких претензий,— эта Шура умеет глубоко чувствовать, и не так-то легко дается ей жизнь.

В кино же Шура, со своей необычной прической, со своим однообразно печальным лицом, со своей наигранностью, режет глаза зрителю. Шура должна быть простой, даже простенькой. Уметь смеяться, уметь разговаривать, как все женщины, а не с трудом выдавливать из себя слова. Играть глубокие переживания Шуре не к лицу. На них должен быть только намек. Они должны поразить зрителя, заставить его задуматься над жизнью. Вот так, как сделано в повести.

Теперь Валя. По повести, это натура сильная, серьезная. Николая тянет к ней так, как его тянет к книгам, к образованию. Валя духовно выше Николая. И именно в то время, в конце войны, когда Николай понял свою неподготовленность к жизни, он ищет опору в Вале. Читателю понятно, что с Валей Николай будет расти дальше, Валя всегда в их союзе будет старшей. Николай и сам не знает, за что он полюбил Валю. Но читатель чувствует, что эту внешне резковатую девушку, так не похожую на других, есть за что полюбить. Чувство товарищества и женская чистота сквозят во всем ее поведении.

А на экране? Мы видим девушку немного капризную, немного кокетливую, немного взбалмошную и даже, пожалуй, немножко глупую, если вспомнить ее выступление на педсовете. Кстати, в книге этого выступления вовсе нет.

Почему-то постановщики решили изъять из картины возвращение Николая к Шуре. А ведь это полностью меняет сюжет повести.

И еще упущение. В госпитале библиотекарша Анна Пантелеймоновна, которой Николай помогал сортировать книги, почувствовала в нем то, чего он сам за собой не знал: тягу к полноценной жизни, к учебе, к чтению, к людям с духовными запросами. В кино почему-то решили вообще опустить этот момент. То ли не нашли подходящей артистки для роли библиотекарши, то ли сочли ее второстепенным, необязательным персонажем. Между тем влияние Анны Пантелеймоновны на Николая и его отношение к ней принадлежат к значительным мотивам повести, и, мне кажется, этого никак нельзя было вычеркнуть.

Для чего в фильме показаны Никольцев и Чекмень (правда, последний почему-то фигурирует под фамилией Бойкова), если не показано столкновение Николая с Чекменем? А ведь в этом как раз и заключен был основной конфликт повести. Без этого столкновения невозможно понять внутреннего возмужания героя, роста его общественного сознания.

В общем, от повести «В родном городе» остались в фильме только первые и самые последние страницы. И что же получилось? Зачем было сохранять имена героев и диалоги, если типы другие, действие другое, да и смысл другой? Собственно, есть ли он вообще, этот смысл? О чем говорит нам сейчас фильм? Что не надо прощать неверных жен и что фронтовикам трудно было после войны поступать в институт? Или

режиссеры думают, что раз написано «по мотивам повести», то смысл необязателен, лишь бы что-то о чем-то напоминало?

Я понимаю, что бывают неудачи. Бывает, что стараются создать образ, а он не получается. Бывает, что один и тот же образ может быть понят по-разному. Бывает, что и сюжет надо немного перестроить. Но в постановке фильма «Город зажигает огни» чувствуется совсем иное. Впечатление такое: пришел человек в чужую хату и стал там хозяйничать.

И в том, что картина «Город зажигает огни» получилась плоская и малосодержательная, в этом, мне кажется, виноваты не артисты, даже, может быть, не режиссер, виновата именно эта возможность урезывать, добавлять и переделывать, кромсать и лепить заново чужую работу. Виновато отсутствие бережного отношения к творчеству писателя, а также и читателя.

Если мы читаем в заголовке фильма «по мотивам повести», то мы надеемся, что кино в данном случае будет играть роль «усилителя» голоса писателя. К сожалению, мотивов повести в фильме «Город зажигает огни» нет и в помине. Простота превратилась в примитив, сложное — в плоское и прямолинейное.

Как-то очень грустно становится после этой картины. Даже странно, что так вообще можно поступить. Взять, как говорится, «среди бела дня» и смять, погнуть, изломать что-то очень ценное, интересное и дорогое тебе.

Законы нашей страны охраняют чужую собственность: деньги, платье, мебель. Жаль только, что нет таких законов, которые охраняли бы права писателей на своих героев. Это было бы весьма кстати.

Галина ЗИНЧЕНКО,
г. Киев. закройщица.

ОДНА ИЗ МНОГИХ ПРОЧИТАННЫХ

Библиотекари читают много. Читают и по долгу службы, читают и «для себя». Да это и понятно: не любя книги, работать в библиотеке нельзя, достать же книгу имеются самые неограниченные возможности. Но в отличие от других книголюбов библиотекари читают не только то, что им нравится. Мы читаем все, и, очевидно, поэтому мы чаще других читателей встречаемся, к сожалению, с плохой книгой.

Не будем говорить об откровенно плохих книгах — они встречаются реже. Значительно больше книг, в которых на первый взгляд как будто все «благополучно». В них есть все: и хорошие люди (таких больше), и плохие, и обязательно конфликт в деловой сфере, и неудачная любовь, и прозрение заблудившихся, и их возвращение на стезю добродетели. Есть в таких книгах все, что бывает в жизни. Нет только самой жизни! В жизни люди живут, а в плохой книге иллюстрируют замысел автора. Автор такой книги с н а ч а л а придумывает все коллизии своего будущего произведения, а затем заставляет своих героев действовать согласно его замыслу-схеме. И какой бы сложной схема ни была, читатель, открыв такую книгу, ее разгадывает.

К произведениям такого рода, по-моему, относится повесть Марка Еленина «Последний экзамен», изданная в Ташкенте в прошлом году.

Мне захотелось написать об этой книге отнюдь не потому, что она явление исключительное, оригинальное. Нет, она такая же, как многие-многие другие прочитанные мною книги. В ней все «как полагается», как в «лучших образцах» литературы этого типа... И именно поэтому мне и захотелось поделиться с другими читателями своими впечатлениями.

Книга повествует о современности — об одном годе жизни преподавателей и студентов гуманитарного отделения Ташкентского университета. В центре событий — профессор университета Огнивцев и две его дочери. Старшая, Татьяна,— студентка пятого курса, младшая, Ирина,— третьекурсница. Действие повести развивается, с одной стороны, вокруг перевоспитания Ирины, с другой — вокруг конфликта профессора Огнивцева с дельцом от науки, доцентом Миралиевым. Конфликт завязывается с первых же страниц и, пройдя через всю повесть, в конце ее, конечно, успешно разрешается. Суть его в следующем. На на-

учно-теоретической конференции преподавателей-филологов поставлен вопрос об изучении фольклора. Преподаватель Фазылов, выступая на конференции с сообщением о значении одного из дастанов богатырского эпоса, «уверенно берет его под свою защиту... Далекая эпоха. Феодальные войны. Мечта народа о новой, свободной жизни... Дастан является одним из прекраснейших образцов мирового героического эпоса. Основной герой дастана олицетворяет собой лучшие черты трудового народа, его вековые стремления к правде, счастью, воле и добру...» После выступления Фазылова у читателя складывается убеждение, что эпос этот действительно народное создание и что он заслуживает глубокого изучения.

Но вот, возражая Фазылову, выступает доцент Миралиев: «— Докладчик говорит, что герои дастана олицетворяют трудовой народ? Йе! Но это далеко не так. В центре поэмы правящая верхушка племени — ханы и беки, кочующие со своими стадами по степям и захватывающие чужие пастбища. Главный герой благороден и демократичен? Между тем, простите, ничего подобного. Он перещеголял всех своими зверствами. Да! И кровавыми разбоями... И народа в дастане нет. Есть слуги и рабы. Да! Наш докладчик не разобрался в конкретно-исторической действительности, забыл о классовой борьбе. Плохо, товарищ Фазылов, плохо. Аполитично рассматриваешь».

Да, казалось бы, в трудное положение попадает Фазылов, а вместе с ним и читатель. Кто его знает — может быть, доцент Миралиев и прав? Но вот выступает профессор Огнивцев, и все ставится на свои места: «Что же получается, товарищи? Получается, что на протяжении веков носителями узбекской культуры и творцами узбекской литературы были не народные массы, не народ, а всевозможные ханы и беки. Мы не имеем права зачеркивать замечательные образцы народного творчества. Никто нам не простит этого... и совсем не стоит трудов, Абдула Гулямович, ваше стремление доказать обратное. Не выйдет!..»

Действительно «не стоит трудов». Все ясно уже на сороковой странице. Предмета научного спора больше нет — следовательно, нет и конфликта, а раз так, то конец и повести. Однако автор не согласен с таким простым решением вопроса и устами одного из героев предлагает: «Надо продолжить нашу работу. Мы еще будем решать, кто прав, а кто не прав». Что же, правомерна и такая постановка вопроса, даже очевидно, что она более правомерна, чем наша — просто окончить научный спор. И, проникнувшись уважением к автору, мы ожидаем знакомства с былинным эпосом Узбекистана, надеемся послушать аргументированные споры о нем ученых, хотим мысленно принять в них участие. Однако, как это часто бывает в подобных случаях, наши «большие надежды» не оправдываются. Автор спешит нас заверить, что доцент Миралиев никакого научного спора вести не собирается, что наука его не интересует, да и никогда не интересовала. И в конце книги, где, как мы уже говорили, конфликт действительно успешно разрешается, мы слышим все те же доводы и знаем об эпосе отнюдь не больше, чем в начале.

Что же остается от конфликта, если из него выхолощена научная основа? Остается интрига. Коварные действия доцента Миралиева, испугавшегося возможности потерять свой дутый авторитет, против безупречно честного и всеми любимого профессора Огнивцева. Так как всем (автору и читателям) ясно, что логическим ходом событий хоть сколько-нибудь протянуть интригу невозможно, автор начинает вплетать в нее цепь случайностей, что опять-таки чрезвычайно характерно для книг такого рода. Для того чтобы создать «дело» Огнивцева, автор отправляет секретаря партийной организации, который, безусловно, за Огнивцева, на уборку хлопка, а затем в больницу; заставляет посланного на помощь профессору Огнивцеву преподавателя Фазылова опоздать на разбор «дела». Чтобы чуткий и отзывчивый председательствующий на партбюро коммунист при разборе «дела» стал безразличен к чужому горю, у него как раз в день собрания заболевает сын. Основной удар против Огнивцева наносится через... студента пятого курса, который, по воле автора, посылает в газету «разоблачающую» профессора Огнивцева статью, а газета помещает ее, даже не проверив фактов.

Хотя каждая из этих случайностей автором как-то «обосновывается», читатель в них не верит. Слишком уж их много. Но даже если допустить, что все эти случайности могли произойти, то и от этого описываемые автором события не станут более жизненными.

Здесь, как нам кажется, мы подходим к основному пороку как этой книги, так и ей подобных — расхождению характеров геро-

ев с их действиями. В самом деле, что бы получилось, если бы герои действовали сообразно своим характерам, а не по начертанной для них схеме?

Дай автор профессору Огнивцеву — прямому, безупречно честному, смелому, пользующемуся всеобщей любовью человеку — возможность действовать по своей воле, негодяй Миралиев был бы выведен на «чистую воду» значительно раньше и в изучении эпоса была бы открыта новая страница.

Если бы эгоисту, трусу, приспособленцу Миралиеву пришлось действовать «самостоятельно», то, как нам кажется, это привело бы, во-первых, к тому, что его спора с профессором Огнивцевым вообще бы не было, так как в силу своего характера он просто не посмел бы выступить против профессора. Подлецы типа Миралиева не любят ввязываться в «истории». Во-вторых, уж ежели бы такой Миралиев, поддавшись минутному порыву, и ввязался в «историю», то интригу против профессора Огнивцева он провел бы значительно искуснее, чем это сделал автор. «Миралиевы» куда более опасны! И разоблачить их труднее.

Таким образом, не заставь автор своих героев действовать по заранее начертанной схеме, могло бы получиться все что угодно, кроме того, что получилось в повести.

Проследим теперь другую линию развития повести — студенческую.

Выпускница университета Татьяна Огнивцева — образ безусловно положительный, настолько положительный, что автор решил его не развивать вовсе — и так, мол, все ясно. Татьяна мелькает в повести лишь для того, чтобы олицетворять собой добро, причем о богатстве и глубине ее внутреннего мира можно лишь догадываться. Автор, очевидно, считает, что хорошее и так нам понятно, близко, а вот плохое надо суметь показать поярче, иначе, мол, в него не поверят. Не потому ли положительные образы в повести значительно худосочнее отрицательных (таких, как уже упоминавшийся Миралиев или студент Алишер)?

В центре повести стоит группа студентов-третьекурсников — Ирина, Сильва, Виктор, Вадим и Мирза. Связывает эту компанию любовь: Мирзы — к Ирине, Вадима и Виктора — к Сильве. Но в сущности все герои концентрируются вокруг Ирины на предмет ее перевоспитания. Кто такая Ирина, почему ее надо перевоспитывать? Ирина, младшая дочь уважаемого профессора, растет без матери, а потому избалована, непостоянна, и к тому же она (как и ее подруга Сильва) плохая студентка, случайно попавшая именно на факультет журналистики. «— А я знаю, почему вы обе (Ирина и Сильва.— *Г. Ш.*) на отделение журналистики пошли,— справедливо говорит в повести Мирза.— Романтикой профессии прельстились. Журналист! Эдакая фигура! И на ассамблеях, и в концертах, и с «послом испанским» на короткой ноге. А проблемой зяби, удобрений, проблемой воспитания людей пусть дядя занимается. Так?»

Перевоспитание Ирины проходит по двум линиям: во-первых, ее заставляют понять «правду жизни» и, во-вторых, из нее пробуют сделать хорошую студентку, а следовательно, в дальнейшем и хорошего специалиста. Вместе с Ириной «тянут за уши» в хорошие студенты и ее друзей — Сильву и Виктора. В перевоспитании участвуют все действующие в повести лица и в первую очередь хорошие и честные ребята Мирза и Вадим.

Но, право же, нам жаль усилий Мирзы, Вадима и других (и автора), которые стремятся доказать, что из любого случайного студента можно сделать хорошего специалиста. Мы в это не верим: институт они кончить смогут, а стать хорошими специалистами без призвания — нет!

Немного о языке книги. Слишком уж одинаково — «простовато» — говорят у автора все его герои, вне зависимости от их профессии и интеллектуального уровня. В повести домашнюю работницу по языку не отличишь от студента, а студента — от профессора.

Несколько примеров. Говорит пожилая домашняя работница: «Поди-ка, закройсь. Еще войдет кто... В последний раз платье глажу. Ей-бо, в последний...»

Послушаем студентку: «Угу... давай... Ах черт, совсем забыла вчера!.. Еле добралась, и жрать я, грешница, хочу, как собака».

А вот стиль профессора: «Сбесилась ты, что ли?.. Думаешь, только целоваться да обниматься — это любовь? И собаки это умеют. Да-с!» Этакое чисто профессорское «да-с», которое, однако, отнюдь не облагораживает его речь. Или другой пример, уже без «да-с»: «— Где уж нам уж выйти замуж...» Подобные примеры можно было бы приумножить, их не надо выискивать.

Итак, дочитана книга до конца. У нас остается ясное впечатление, что она схематична и поверхностна.

И опять-таки эта книга не хуже и не лучше многих ей подобных. И я вовсе не собирался ее «громить». Ее беда именно в том, что она не хуже, не лучше, что она ни на йоту не выше того среднего уровня, который принято почему-то считать литературным, но который именно в силу своей безликости, «среднести», если можно так сказать, к подлинной литературе имеет весьма отдаленное отношение.

Г. ШУКСТ,
библиотекарь.

г. Москва.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЛИДИЯ СЕЙФУЛЛИНА. Избранные произведения. Гослитиздат. М. 1958. Том I — 480 стр. Цена 9 р. Том II — 376 стр. Цена 7 р. 25 к.

Между первой повестью Л. Н. Сейфуллиной «Четыре главы», напечатанной в 1922 году в журнале «Сибирские огни», и последними ее вещами, написанными незадолго до смерти, лежит тридцатилетие плодотворной творческой работы. Один из талантливых зачинателей советской литературы, писательница в своих произведениях живо и остро откликалась на важнейшие проблемы народной жизни, создавала образ современника — строителя нового.

Знаменитая «Виринея» — повесть, в которой ярко изображена судьба женщины, активной участницы революционной перестройки страны, рассказ «Правонарушители», предваривший появление «Педагогической поэмы» А. Макаренко, повесть «Перегной», раскрывающая сложность обстановки в сибирской деревне в первые годы Советской власти, рассказ «Александр Македонский», повесть «На своей земле» и многие другие произведения Л. Сейфуллиной опубликованы в двухтомнике.

Кроме того, сюда вошли воспоминания писательницы, ее очерки: «Сережа Воронцев», «У самого фронта», «О советской женщине в наши дни», «Народные героини», а также статьи, в которых Л. Сейфуллина рассказывает о методе своей работы, о прототипах некоторых героев, об истории создания того или иного произведения.

Вступительная статья к «Избранным произведениям» написана Е. Стариковой. Составитель двухтомника А. Котляр.

Н. РЫЛЕНКОВ. Коренной человек. Повести и рассказы. Смоленское книжное издательство. 1958. 224 стр. Цена 5 р. 5 к.

Автора этого сборника читатели до сих пор знали главным образом как лирического поэта, творчество которого связано с поэтическим миром русской природы.

Главный герой прозы Н. Рыленкова — простой советский человек, колхозник, солдат, агроном, живущий здоровой трудовой жизнью, всеми корнями связанный с родной землей, все силы кладущий на то, чтобы ее возделать и украсить. Само название книги «Коренной человек» (так озаглавлен и один из рассказов сборника) уже говорит о тех чертах, которые более всего привлекают автора в его героях.

Произведения Н. Рыленкова, написанные простым и точным языком, хорошо передают своеобразие народного характера, народной речи — ее образность, силу, юмор.

В сборник вошли две повести — «У разоренного гнезда» и «Волшебная книга» — и несколько небольших рассказов. Все эти произведения написаны в основном в послевоенное десятилетие.

В «Волшебной книге» поэтический рассказ о детстве и юности деревенского мальчика переплетается с повествованием о старике садоводе Демьяне Сидоровиче и его «Волшебной книге», в которую этот мудрый человек на протяжении всей своей жизни записывал свои наблюдения над природой, людьми, результаты своих опытов.

Л. ВИДГОП, Я. СУХОТИН. Дружба великая и трогательная. «Молодая гвардия». М. 1958. 176 стр. Цена 4 р. 65 к.

В день, когда была закончена корректура последнего листа первого тома «Капитала», К. Маркс писал Ф. Энгельсу: «Итак, этот том готов. Только тебе обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвования для меня я ни за что не смог бы проделать всю огромную работу для трех томов. Обнимаю тебя, полный благодарности!.. Привет, мой дорогой, верный друг! Твой К. Маркс, 16 августа 1867 года».

С тех пор как встретились еще совсем молодыми людьми К. Маркс и Ф. Энгельс, их труд и борьба стали общими.

Выпущенная издательством «Молодая гвардия» книга не претендует на то, чтобы дать полную биографию двух великих людей. Это всего лишь странички из жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса, отдельные эпизоды, связанные с борьбой и с личной судьбой каждого из них, эпизоды, освещающие трогательную и мужественную многолетнюю дружбу гениальных мыслителей и борцов за счастье человечества.

Книга снабжена иллюстрациями, выполненными художником Н. Н. Жуковым.

ЛЕОНИД РАВИЧ. Избранное. «Советский писатель». Л. 1958. 170 стр. Цена 3 р. 50 к.

После первого небольшого сборника стихов, вышедшего в 1930 году, Л. Равич не опубликовал ни одной книги. Но поэт работал много и упорно, печатался в «Звезде», «Огоньке», «Ленинградском альманахе», на страницах фронтовых газет, в «Известиях» и «Ленинградской правде». Им

были написаны поэма «Чудесная эпоха», воспоминания о Маяковском — «Полпред поэзии большевизма» — и немало стихов.

И вот перед нами «Избранное»—посмертная книга поэта, тесно связавшего свою жизнь с жизнью своей Республики: Ленинград, Кузнецкстрой, Мурманск, схватки на передовой в годы Отечественной войны, госпиталь, Ленинград...

О советском человеке — герое, строителе своей страны — писал Равич, ему он посвятил свое творчество. Этим и дороги, жизненны его стихи.

РУД. БЕРШАДСКИЙ. Две повести о тайнах истории. «Советский писатель». М. 1958. 175 стр. Цена 3 р. 90 к.

Две повести Руд. Бершадского посвящены советским археологам. В повести «На раскопках древнего Хорезма» рассказывается о том, как в далекой среднеазиатской пустыне экспедиция Академии наук, руководимая профессором С. П. Толстовым, открыла многочисленные памятники древней культуры, покоившиеся под вековыми песками Кызылкумов.

Другая группа археологов, руководимая А. В. Арциховским, еще до войны начала раскопки в Великом Новгороде (повесть «Горизонты истории»). После многолетнего упорного труда, прерванного войной и вновь возобновленного, усилия археологов увенчались успехом. В глубине почвы советские ученые обнаружили отлично сохранившиеся предметы древнего новгородского быта и, самое главное, бесценные документы далекой эпохи — многочисленные берестяные грамоты. Археологические находки на берегах Волхова свидетельствуют о глубоконародном характере новгородской культуры.

Автор этой книги побывал на местах раскопок, детально изучил необходимые материалы и написал о выдающихся успехах советских археологов интересно и со знанием дела. Помимо чисто познавательного значения книги, читателя привлечет в ней увлекательный сюжет, построенный на раскрытии тайн истории, затерянных в глубине веков.

А. РЕКЕМЧУК. Берега. Повесть и рассказы. Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1958. 207 стр. Цена 4 р.

«Берега» (сборник назван по одноименному рассказу) — не первая книга А. Рекемчука. Некоторые рассказы этого автора публиковались в «Огоньке» и других центральных журналах и уже знакомы широкому читателю.

Герои произведений Рекемчука — в основном молодые люди, строители дорог, работники лесного хозяйства, геологи, люди «скромных» профессий, тесно связанные с природой, с ее преобразованием. Во всех произведениях писателя в разных поворотах варьируется одна основная мысль: красота, поэтичность, ценность человека раскрываются главным образом в его отношении к своему делу. Рекемчук много пишет о любви. И эта тема у него тоже как-то связана с отношением человека к его труду (рассказы «Берега», «Подруги», «Ожидания», повесть «Все впереди»).

В книге помещены также очерки А. Рекемчука «Вторые пути (Рассказы о добровольцах)», посвященные работе комсомольцев-ярославцев на строительстве вторых путей Печерской железной дороги.

Б. П. ХАШДЕУ. Памфлеты. Государственное издательство Молдавии. Кишинев. 1958. 112 стр. Цена 1 р. 95 к.

«Бывают шутки, вызывающие ужас, шутки от которых стынет кровь и волосы поднимаются дыбом... но самая жестокая из всех шуток — это претензия бояр на любовь к своему народу». В этих словах, завершающих яркий памфлет «Отношение бояр к народу», как нельзя лучше выражена демократическая, антибоярская сущность всего сатирического творчества классика молдавской и румынской литературы Богдана Петричейку Хашдеу, писателя, ученого и публициста второй половины XIX века.

Написанные живо и образно, в сжатой, часто афористической форме, с множеством неожиданных параллелей и контрастов, всегда на злободневные темы политической и культурной жизни, памфлеты Хашдеу обличают тупость бояр и жадность нарождающейся буржуазии, демагогию политиканов, беспринципность буржуазной печати, невежество реакционной профессуры, несостоятельность проповедников «чистого искусства» и т. д.

ПОЭТЫ XVIII ВЕКА. «Советский писатель». Л. 1958. Том I—564 стр. Цена 6 р. 80 к. Том II—564 стр. Цена 6 р. 65 к.

«Стремительно росла и мужала русская поэзия XVIII века. Путь от младенчества к зрелости, от поэтически беспомощных опытов Тредиаковского к гениальным стихам Державина она прошла за несколько десятилетий. Многие стихи поэтов XVIII века и доныне не утратили своего эстетического воздействия. Страстная любовь к родине и вера в человека, в будущее России, поэтическое могущество в раскрытии русской северной природы... воинствующая гражданственность и вольнолюбие — вот что делает эти стихи близкими и дорогими нам, вот что определяет их неумирающую притягательную силу».

Этими словами начинается вступительная статья Г. П. Макогоненко, открывающая первый том.

Данное издание представляет собой своеобразную хрестоматию русской поэзии XVIII века, оно показывает не только рост общественного содержания в поэзии, но и совершенствование формы, художественного мастерства.

Правильно сделали составители, что представили читателю не только «поэтические вершины» века, но и второстепенных поэтов, популярных в свое время, а ныне не переиздающихся (А. А. Ржевского, М. И. Попова, В. И. Майкова, Н. А. Львова и других).

Стихотворениям предшествуют вступительные заметки, посвященные творчеству данного поэта. Каждый том завершается

подробным справочным аппаратом, делающим издание ценным как для специалистов, так и для широких кругов читателей — любителей поэзии.

М. ДРУСКИН. Рихард Вагнер. Музгиз. М. 1958. 160 стр. Цена 2 р. 40 к.

В заключительном абзаце этой книги говорится: «Не прощая Вагнеру его заблуждений, вскрывая кричащие противоречия его воззрений и творчества, отвергая их реакционные черты, мы высоко ценим гениального немецкого художника... обогатившего мировую культуру замечательными музыкальными творениями».

В чем же суть «кричащих противоречий» великого композитора, творца бессмертных произведений — «Лоэнгрина», «Летучего голландца», «Кольца Нибелунга» и других, какова почва, питавшая эти противоречия? На эти сложные вопросы и стремится ответить автор книги, посвященной Рихарду Вагнеру. Он рассматривает общественно-политическую обстановку, сложившуюся в Германии в середине XIX века,— время подготовки и свершения революции 1848 года и последовавшей затем реакции, и связывает ее с эволюцией творчества и взглядов Вагнера, анализирует влияние, которое оказывали на композитора различные философские мировоззрения — от Фейербаха и Бакунина до антигуманистической философии пессимизма и разочарования Шопенгауэра.

Много места в книге автор уделяет анализу музыкальных произведений композитора. Читатель найдет в книге сведения и о личной жизни Вагнера и о его литературно-публицистической деятельности.

ГОМЕР. Одиссея. Перевод В. А. Жуковского. Гослитиздат. М. 1958. 422 стр. Цена 47 р. 50 к.

Прошли тысячелетия, но поэмы Гомера не меркнут. До сих пор они продолжают восхищать людей всего мира.

В советское время «Илиада» и «Одиссея» много раз переиздавались как в старых, так и в новых переводах. Однако и до сих пор не потерял своего значения прекрасный перевод В. Жуковского.

Последний раз «Одиссея» Гомера в этом классическом переводе выходила у нас в центральных издательствах (Academia и Гослитиздат) в 1935 году.

И вот теперь Гослитиздат снова предлагает вниманию читателей великолепно изданный том «Одиссеи» в переводе В. Жуковского.

Книга иллюстрирована гравюрами на дереве Г. Д. Епифанова. Вместо предисловия приведен отрывок письма В. Жуковского по поводу его переводов Гомера, называемого им поэтической исповедью.

Книга снабжена также послесловием и комментариями (автор С. Полякова).

ЦАО СЮЭ-ЦИНЬ. Сон в красном тереме. Роман. Перевод с китайского В. А. Панасюка. Гослитиздат. М. 1958. Том I— 879 стр. Цена 16 р. 35 к. Том II—863 стр. Цена 16 р. 25 к.

«Сон в красном тереме» — одно из самых значительных произведений китайской классической литературы XVIII века, впервые в этом году полностью переведенное на русский язык.

В Китае эта правдивая книга с четко выраженной антифеодальной направленностью пользуется до сего времени большой популярностью.

Автор романа, Цао Сюэ-цинь, на примерах судьбы трех поколений рода Цзя показывает, как феодальная аристократия постепенно от своего расцвета приходит к экономическому и моральному упадку. На широком фоне жизни и нравов XVIII века развертывается трагическая история любви юноши Цзя Бао-юйя и хрупкой, болезненной девушки Линь Дай-юй.

Цао Сюэ-цинь умер, не успев закончить свое произведение, и последние сорок глав дописал Гао Э, поэтому роман несколько неоднороден по стилю.

Книга занимает более ста печатных листов, в ней несколько сот действующих лиц. Читается она с большим интересом.

ШАНДОР РИДЕГ. Испытание огнем. Роман. Перевод с венгерского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 215 стр. Цена 5 р. 70 к.

«Все, что выстрадал и испытал герой моего романа, пережил я сам»,— сказал Шандор Ридег, узнав, что «Испытание огнем» издается на русском языке. Ридег — представитель старшего поколения современных венгерских писателей. Его роман, действительно во многом автобиографичный, рисует широкую картину жизни общества и борьбы народных масс Венгрии в двадцатых годах нашего века. Герой романа — крестьянский подросток Шандор, сын батрака, сам батрак, испытавший много превратностей судьбы. Он был не только свидетелем, но и участником событий 1919 года, когда в Венгрии образовалась Советская Республика, родившая так много надежд у него и его собратьев. И он же становится очевидцем трагической гибели коммуны, задушенной внутренней и внешней контрреволюцией.

Роман этот — первая часть задуманного автором автобиографического цикла. Написан он сочным языком, местами лирично, местами, когда речь идет о «хозяевах жизни», звучит как злая сатира. Вторая часть — роман «Самсон» — и третья — «Дарусегские воскресенья» — подводят читателя к послевоенной венгерской действительности и зарождению на селе производственных кооперативов. По-видимому, издательство даст возможность советским читателям ознакомиться и с этими романами талантливого писателя.

АНТОЛОГИЯ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ. Гослитиздат. М. 1958. 774 стр. Цена 22 р. 20 к.

В этом объемистом томе, строго, изящно оформленном, собраны образцы румынской поэзии от ее истоков до наших дней. Антология открывается разделом фольклора. В этом разделе читатель ознакомится с румынскими обрядовыми песнями, старинными балладами, легендами, дойнами и песнями,

сложенными в более поздние времена, с современными частушками и песнями революционного подполья.

Остальная часть книги знакомит в хронологическом порядке с творчеством более чем восьмидесяти национальных поэтов Румынии. Читатель встретит здесь имя Михаила Эминеску, самого крупного румынского поэта, и десятки имен, до сих пор ему не известных, таких, как поэтическая семья Вэкэреску, сыгравшая выдающуюся роль в становлении национальной поэзии. Щедро представлено и творчество наших современников — Тудора Аргези, Александру Тома, Михая Бенюка, Марии Бануш.

Выход в свет первой антологии румынской поэзии на русском языке (составитель книги А. Садецкий) — еще одно проявление дружбы между народами СССР и Румынии. Она поможет советскому читателю лучше узнать и понять душу румынского народа.

М. И. КАЛИНИН О ПРОФСОЮЗАХ. 1919—1945. Профиздат. М. 1958. 398 стр. Цена 7 р. 50 к.

В формировании революционного профессионального движения в России большая заслуга принадлежит выдающемуся деятелю Коммунистической партии и Советского государства М. И. Калинину.

В сборник вошли тексты его докладов и речей, произнесенных на съездах и конференциях профсоюзов, многочисленных выступлений на заводах и фабриках. Это наследие, оставленное нам М. И. Калининым, представляет большую ценность и привлечет внимание не только профработников, но и широкой советской общественности.

Большая часть материалов, включенных в сборник, не переиздавалась после первой публикации на протяжении нескольких десятилетий, и сейчас это библиографическая редкость. Ряд документов печатается впервые.

ИВАН МЫЗГИН. Ни бог, ни царь и не герой. Воспоминания уральского подпольщика. «Молодая гвардия». М. 1958. 335 стр. Цена 6 р. 50 к.

Книгу эту автор посвящает комсомольцам — «внукам и наследникам борцов старой ленинской гвардии». Сам он, бывший рабочий Симского металлургического завода на Южном Урале, профессиональный революционер-коммунист, в наши дни активно участвующий в общественной жизни, мудрый «всестаничный дед», которому все и во всем доверяют, к кому идут за советом по всем вопросам жизни и быта,— так пишут об Иване Михайловиче его соратники по боевой партийной работе.

Свои воспоминания И. М. Мызгин начинает с рассказа о том, как в один из декабрьских дней 1904 года он стал членом социал-демократической рабочей партии. А далее — долгая и нелегкая жизнь революционера, подполье, нелегальные переходы границы, каторга, борьба в белогвардейском тылу, партизанская война в Сибири.

Автор говорит: «Я не счел себя вправе писать подробную автобиографию. Просто я попытался нарисовать эпизоды великой народной битвы, наиболее ярко запечатлевшиеся в памяти. Так и сложились мои воспоминания».

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТАГИЛА. Свердловское книжное издательство. 1958. 114 стр. Цена 1 р.

Авторы этой книги — строители индустриального Тагила, работники треста «Тагилстрой». Они делятся с читателями достижениями в своей работе, опытом строительного дела. И им есть о чем рассказать.

Двадцать пять лет — небольшой срок для истории любого города. Но как неузнаваемо может измениться его облик, если эти годы — советские годы! В Нижнем Тагиле на месте полукустарных заводов и прокопченных хибар дореволюционного демидовского поселка появились огромный металлургический комбинат, завод огнеупорных изделий и многие другие предприятия, вырос по-современному благоустроенный город. Усилиями тагилстроевцев сооружено свыше миллиона квадратных метров жилой площади, шестьдесят школ, тридцать с лишним клубов для горняков, металлургов, машиностроителей.

История строительства советского Тагила — это история роста и развития передовой техники, воспитания нового поколения строителей.

М. В. ВОДОПЬЯНОВ. Пути отважных. Географгиз. М. 1958. 118 стр. Цена 2 р.

«...Многие считают, что кончилась северная романтика, что нет больше таинственной, неприступной Арктики, а есть уже «обжитые», хорошо изученные полярные районы. В невозвратное прошлое канули те времена, когда смелые и сильные путешественники, зачастую в одиночку, вступали в смертельную схватку с суровой природой, когда человек, закутанный в меха, пешком или на собаках передвигался по ледяной пустыне. Вот тогда-то были приключения, была романтика! А что теперь?»

Так начинается книга Героя Советского Союза М. Водопьянова. В ней рассказывается о непреходящей романтике познания человеком Северного Ледовитого океана и арктических просторов. Автор повествует о славных подвигах наших полярников и ученых, о наиболее выдающихся экспедициях в высокие широты за сорок лет Советской власти. М. Водопьянов, сам известный полярник, показывает Арктику как край чудесных открытий.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы. Тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС. 128 стр. Цена 1 р. 30 к.

Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране. Тезисы ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 48 стр. Цена 50 к.

Н. С. Хрущев. Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 15 декабря 1958 года. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Ангарская. В мире новых вещей. 64 стр. Цена 80 к.

В новых условиях. Сборник статей. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. В. Воробьева. Вопросы экономии сырья и материалов в промышленности. 272 стр. Цена 6 р.

Всевенгерская конференция Венгерской социалистической рабочей партии. (Будапешт, 27—29 июня 1957 г.). 160 стр. Цена 4 р.

Всесоюзная перепись населения 1959 года. Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР. 52 стр. Цена 70 к.

Вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. (Пекин, 5—23 мая 1958 года). 92 стр. Цена 1 р.

Газета и партийная жизнь. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

М. С. Джукусов. Об историческом опыте строительства социализма в ранее отсталых странах. 264 стр. Цена 6 р.

Ю. М. Ерошок. Нормирование труда при социализме. 88 стр. Цена 1 р. 40 к.

К. Иванов, З. Шейнис. Государство Израиль, его положение и политика. 148 стр. Цена 1 р. 75 к.

Коммунисты. 508 стр. Цена 15 р.

Р. Карташов, Д. Якушкин. Сельское хозяйство. 232 стр. Цена 3 р. 60 к.

Политическая экономия. Учебник. Третье, переработанное издание. 680 стр. Цена 10 р. 20 к.

Ревизионизм—главная опасность. Из опыта борьбы коммунистических и рабочих партий против современного ревизионизма. 470 стр. Цена 9 р.

П. Н. Соболев. Беднейшее крестьянство — союзник пролетариата в Октябрьской революции. 340 стр. Цена 7 р.

М. Степанов. Партия большевиков в Октябрьской революции. 152 стр. Цена 2 р.

С. Г. Струмилин. На плановом фронте. 1920—1930 гг. 624 стр. Цена 11 р.

Хван До Ен. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства КНДР. 112 стр. Цена 1 р. 50 к.

Этих дней не смолкнет слава. Воспоминания участников гражданской войны. 492 стр. Цена 12 р.

СОЦЭКГИЗ

М. С. Альперович, Б. М. Руденко. Мексиканская революция 1910—1917 гг. и политика США. 332 стр. Цена 9 р. 50 к.

История русской экономической мысли. Том I, часть 2. 821 стр. Цена 19 р.

И. Р. Лаврецкий. Симон Боливар. С предисловием Пабло Неруды. 100 стр. Цена 1 р. 35 к.

Признание Россией Норвежского независимого государства. (Сборник документов). 105 стр. Цена 2 р. 10 к.

В. Н. Хлынов. Положение рабочего класса Японии после второй мировой войны. 158 стр. Цена 2 р. 60 к.

Янагида Кэндзюро. Философия свободы. 212 стр. Цена 6 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Арский. Годы грозовые. Стихи. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Балтакис. Разговор с землей. Стихи. Перевод с литовского. 76 стр. Цена 1 р. 65 к.

И. Батрак. Избранное. Стихи и басни. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Борщаговский. Пропали без вести. Повесть. 240 стр. Цена 4 р. 70 к.

Л. Вайсенберг. Мечты сбываются. Роман. 520 стр. Цена 8 р. 50 к.

Е. Винокуров. Признания. Стихи. 116 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Волков. А. М. Горький и литературное движение советской эпохи. 664 стр. Цена 15 р. 35 к.

С. Голубов. Когда крепости не сдаются. Роман. Книга 1. 580 стр. Цена 9 р. 85 к. Книга 2. 408 стр. Цена 7 р. 30 к.

Е. Горбов. Феня. Повести и рассказы. 260 стр. Цена 4 р. 75 к.

Ж. Грива. Под крыльями альбатроса. Повесть. Перевод с латышского. 184 стр. Цена 2 р. 30 к.

О. Грудинин. Комсомольский патруль. Повесть. 256 стр. Цена 4 р. 75 к.

А. Джамиль. Звезда Мингечаура. Стихи. Перевод с азербайджанского. 152 стр. Цена 2 р. 80 к.

Н. Доризо. Лирика. 100 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Друцэ. Георге, вдовий сын. Повесть. Перевод с молдавского. 174 стр. Цена 4 р. 5 к.

Л. Забашта. Мальвы на камне. Поэма. Перевод с украинского. 92 стр. Цена 2 р. 5 к.

К. Каладзе. Старые деревья. Стихи. Перевод с грузинского. 140 стр. Цена 2 р. 60 к.

Ф. Карпенко. Расцветай, Украина. Стихи. Перевод с украинского. 100 стр. Цена 1 р.

Л. Копылова. Одеяло из лоскутьев. Роман. 200 стр. Цена 3 р. 90 к.

Г. Кунгуров. Золотая степь. Очерки. Рассказы. 360 стр. Цена 4 р. 70 к.

Б. Лапин. Избранное. 568 стр. Цена 9 р. 85 к.

М. Лев. Партизанские тропы. 272 стр. Цена 4 р. 80 к.

М. Лисянский. Друзьям и товарищам. Стихи. 150 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Лобанов. Роман Л. Леонова «Русский лес». 216 стр. Цена 5 р. 60 к.

И. Михайлов. Все, чем мы живем. Стихи. 152 стр. Цена 2 р. 30 к.

Г. Мусрепов. Пробужденный край. Роман. Перевод с казахского. 520 стр. Цена 9 р. 50 к.

Х. Муталиев. Стихотворения. Перевод с ингушского. 104 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ю. Нагибин. Человек и дорога. Рассказы. 252 стр. Цена 4 р. 60 к.

П. Некрасов. Открытое сердце. Стихи. 136 стр. Цена 2 р. 60 к.

М. Никулин. Три повести. 536 стр. Цена 10 р. 75 к.

Э. Офин. Фронт. Повесть. 232 стр. Цена 2 р. 85 к.

К. Паустовский. Начало неведомого века. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 75 к.

В. Полищук. Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 172 стр. Цена 2 р. 85 к.

А. Прокофьев. Яблони над морем. Стихи. 56 стр. Цена 45 к.

С. Розвал. Невинные дела. Роман-памфлет. 404 стр. Цена 7 р. 25 к.

А. Рутько. Голубиные годы. Повесть. 148 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Соколов-Микитов. Пути кораблей. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 6 р. 75 к.

Е. Стюарт. Одолень-трава. Стихи. 116 стр. Цена 1 р. 30 к.

Т. Сыдыкбеков. Среди гор. Роман. 520 стр. Цена 9 р. 35 к.

Г. Трифонов. Строгая молодость. Стихи. 96 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Флит. Басни и литературные пародии. 116 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Цейтлин. Мастерство Тургенева-романиста. 436 стр. Цена 10 р. 10 к.

Н. Чуковский. Варя. Последняя командировка. 332 стр. Цена 6 р. 30 к.

Р. Чумак. О чем поет душа. 124 стр. Цена 2 р. 15 к.

О. Шестинский. Ливнями омытая весна. Стихи. 80 стр. Цена 1 р. 45 к.

В. Шефнер. Нежданный день. Стихи. 148 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Эренбург. Французские тетради. 208 стр. Цена 5 р. 50 к.

Л. Якименко. «Тихий дон» М. Шолохова. 556 стр. Цена 12 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Айбек. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с узбекского. Том 1. 539 стр. Цена 11 р. 60 к. Том 2. 399 стр. Цена 8 р. 40 к.

Маргарита Алигер. Стихотворения. 335 стр. Цена 6 р.

Алпамыш. Узбекский народный эпос. По варианту Фазила Юлдаша. Перевод с узбекского. 355 стр. Цена 11 р. 35 к.

Антология абхазской поэзии. 543 стр. Цена 15 р.

Анна Ахматова. Стихотворения. 131 стр. Цена 2 р. 90 к.

Петр Безруч. Силезские песни. Избранное. Перевод с чешского. 87 стр. Цена 75 к.

Самед Вургун. Избранные сочинения. В двух томах. Перевод с азербайджанского. Том 1. 295 стр. Цена 8 р. 40 к.

Расул Гамзатов. Стихотворения. Перевод с аварского. 183 стр. Цена 3 р. 45 к.

С. Голубов. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. 583 стр. Цена 13 р.

Б. А. Грифцов. Как работал Бальзак. 303 стр. Цена 5 р. 30 к.

Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции. Перевод с итальянского. 543 стр. Цена 14 р. 10 к.

Джозуэ Кардуччи. Избранное. Перевод с итальянского. 287 стр. Цена 4 р. 40 к.

Борис Лавренев. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. 679 стр. Цена 12 р. 30 к. Том II. 727 стр. Цена 12 р. 45 к.

Вл. Луговской. Лирика. 439 стр. Цена 7 р. 85 к.

Конрад-Фердинанд Мейер. Новеллы. Стихотворения. Переводы с немецкого. 702 стр. Цена 11 р. 60 к.

Карин Михаэлис. Мать. Роман. Перевод с датского. 327 стр. Цена 4 р. 10 к.

Пабло Неруда. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с испанского. Том 1. 495 стр. Цена 13 р.

Тереза Новакова. Иржи Шматлан. Роман. Перевод с чешского. 148 стр. Цена 3 р. 45 к.

Б. И. Соловьев. Николай Тихонов. Очерк творчества. 232 стр. Цена 6 р. 45 к.

С. Н. Терпигорев (С. Атава). Оскудение. Очерки. В двух томах. Том 1. 426 стр. Цена 7 р. 55 к. Том II. 329 стр. Цена 5 р. 85 к.

Кузьма Чорный. Избранное. Перевод с белорусского. 623 стр. Цена 13 р. 35 к.

Сказки Чукотки. Записала О. Е. Бабошина. 263 стр. Цена 4 р. 65 к.

П. К. Яворов. Избранное. Перевод с болгарского. 223 стр. Цена 4 р. 50 к.

Юрий Яновский. Всадники. Роман. Перевод с украинского. 111 стр. Цена 8 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

О. Бедарев. Провода. Повесть. 256 стр. Цена 5 р. 25 к.

А. Безуглов. За самого смелого. Очерки. 136 стр. Цена 2 р.

Н. Богданов. Первая девушка. Рассказы. 416 стр. Цена 7 р. 65 к.

Б. Борисов. Севастопольцы не сдаются. 176 стр. Цена 4 р. 35 к.

В юбилейный сороковой. Сборник. 432 стр. Цена 6 р. 30 к.

Вечно живые. Сборник. 254 стр. Цена 5 р. 10 к.

В. Виткович. С вами по Киргизии. 336 стр. Цена 8 р. 15 к.

З. Гусева. Итальянский дневник. 112 стр. Цена 1 р. 60 к.

К. Джантошев. Каныбек. Повесть. Перевод с киргизского. 320 стр. Цена 6 р. 45 к.

М. Исаковский. Песня молодости. Стихи. 208 стр. Цена 5 р. 65 к.

И. Лапицкий. В тени небоскребов. 272 стр. Цена 5 р. 55 к.

Ленинский комсомол. Сборник. 591 стр. Цена 11 р. 40 к.

С. Малашкин. Два бронепоезда. Рассказы. 368 стр. Цена 6 р. 90 к.

М. Мачавариани. Тишина без тебя. Стихи. Перевод с грузинского. 87 стр. Цена 2 р. 65 к.

Б. Могилевский. Мечников. 352 стр. Цена 6 р. 75 к.

А. Мусатов. Клавдия Назарова. Документальная повесть. 232 стр. Цена 5 р. 15 к.

П. Панченко. Теплынь. Стихи. 88 стр. Цена 2 р. 85 к.

Б. Сарногоев. Горячее озеро. Поэма. 151 стр. Цена 3 р. 95 к.

С. Сейтхазин. Беркуты. Стихи. Перевод с казахского 160 стр. Цена 3 р. 95 к.

В. Семичастный. В партийном руководстве — источник силы и крепости комсомола. 47 стр. Цена 40 к.

А. Стекольников. Васил Левский. 319 стр. Цена 6 р. 35 к.

Сембен Усман. Сын Сенегала. Роман. 207 стр. Цена 4 р. 50 к.

Шаги поколения. Сборник. 368 стр. Цена 9 р. 40 к.

Ю. Яковлев. Взвейтесь кострами, синее ночи! 104 стр. Цена 1 р. 35 к.

ДЕТГИЗ

Н. Вирта. Мой помощник Карсыбек. Повесть. 160 стр. Цена 4 р. 40 к.

Л. Волынский. Семь дней. Повесть. 160 стр. Цена 14 р. 50 к.

Ю. Гаецкий. К далекому утру. Повесть о Белинском. 368 стр. Цена 8 р. 25 к.

Р. Гамзатов. Горит мое сердце. Стихи. Перевод с аварского. 160 стр. Цена 2 р. 20 к.

М. Джангазиев. Победа Дженишбека. Рассказы. Перевод с киргизского. 48 стр. Цена 90 к.

А. Иванов, П. Михайлов. Путешествие по берегу моря. 208 стр. Цена 4 р. 65 к.

Л. Ларионов. Речные миллионы. 288 стр. Цена 6 р. 60 к.

Х. Мина. Синие лампы. Повесть. Сокращенный перевод с арабского. 88 стр. Цена 2 р. 35 к.

А. Мошковский. Скала и люди. Рассказы. 160 стр. Цена 4 р.

Мы — молодая гвардия. Избранные произведения о комсомоле. 440 стр. Цена 12 р. 80 к.

В. Немцов. Огненный шар. Повести и рассказы. 608 стр. Цена 12 р. 15 к.

З. Перля. Человек режет металл. Рассказы о станках. 352 стр. Цена 7 р.

Приходи, сказка! Сказки и поговорки народов Эфиопии и Судана. Перевод с амхарского языка и языка хауса. 112 стр. Цена 7 р. 15 к.

Пусть светит! Рассказы о первых комсомольцах. 240 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Твардовский. Избранная лирика. 256 стр. Цена 4 р. 40 к.

С. Токунага. Дни детства. Рассказы. Перевод с японского. 160 стр. Цена 3 р. 20 к.

Фальяс, Карлос, Луис, Маркос Рамирес. Приключения костариканского мальчишки. Повесть. Перевод с испанского. 224 стр. Цена 7 р.

Р. Федькин. Девочка и рыбка. Стихи. Перевод с мордовского-мокша. 48 стр. Цена 85 к.

Л. Хват. В дальних плаваниях и полетах. 312 стр. Цена 5 р. 75 к.

Г. Цадаса. Моя жизнь. Поэма. Стихи. Басни. Сказки. Перевод с аварского. 80 стр. Цена 2 р. 20 к.

Э. Цюрупа. У кольца нет конца. 48 стр. Цена 3 р. 10 к.

П. Чанд. Сказание о Раме. Перевод с хинди. 160 стр. Цена 7 р. 75 к.

Чжан Тянь-и. Линь большой и Линь маленький. Повесть-сказка. Перевод с китайского. 176 стр. Цена 4 р.

Чжан Тянь-и. Секрет драгоценной тыквы. Повесть. Перевод с китайского. 152 стр. Цена 6 р. 75 к.

Чу Чэн. Тайна разрушенного храма. Перевод с китайского. 80 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Шманкевич. Большая Медведица. Рассказы. 224 стр. Цена 4 р. 75 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. Революционное движение в России в апреле 1917 года. Апрельский кризис. 934 стр. Цена 32 р. 70 к.

Г. Ф. Гаузе. Пути изыскания новых антибиотиков. 172 стр. Цена 2 р. 70 к.

Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Выпуск I. 1868—1907. 702 стр. Цена 17 р. 40 к.

Н. Н. Молчанов. Саарский вопрос (1945—1957). 346 стр. Цена 13 р.

Наука и молодежь. К сорокалетию Ленинского комсомола. 1918—1958. 428 стр. Цена 16 р. 50 к.

Макс Планк. 1858—1958. Сборник к столетию со дня рождения. 279 стр. Цена 10 р. 30 к.

Проблемы развития промышленности и транспорта Бурятской АССР. 307 стр. Цена 13 р. 20 к.

Проблемы Севера. Выпуск I. 372 стр. Цена 20 р. 85 к.

А. Е. Пробст, А. И. Александрова, В. Б. Бродский, В. И. Овсяников, А. Б. Розентретер. Перспективы развития выплавки чугуна в электрических печах на востоке СССР (Восточная Сибирь и Дальний Восток). 152 стр. Цена 9 р. 50 к.

Редкоземельные элементы. (Получение, анализ, применение). 332 стр. Цена 19 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Детская энциклопедия. Том I. 588 стр. Цена 28 р.

Н. К. Крупская. Педагогические сочинения. Том II. 736 стр. Цена 14 р.

ГЕОГРАФГИЗ

Л. Жаколио. Берег черного дерева и слоновой кости. 191 стр. Цена 3 р. 60 к.

Э. Мелвилл. Нгоньяма желтогривый. 143 стр. Цена 2 р. 20 к.

Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. Физическая география СССР. 348 стр. Цена 8 р. 10 к.

И. И. Петров. За Гималаями. 206 стр. Цена 4 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Эммануэль Д'Астье. Лету нет конца. Роман. Перевод с французского. 272 стр. Цена 8 р. 75 к.

Биография Икуо Ояма. Сокращенный перевод с японского. 377 стр. Цена 9 р. 40 к.

Мартин Викрамансинге. Рассказы. Перевод с английского. 114 стр. Цена 2 р. 80 к.

Феликс Джексон. «...Да поможет мне бог». Перевод с английского. 303 стр. Цена 7 р. 90 к.

Мухаммад Димьяти. Люди и события. Перевод с индонезийского. 213 стр. Цена 5 р. 45 к.

Марсель Кашен. Наука и религия. Перевод с французского. 59 стр. Цена 80 к.

П. К. Кроссер. Нигилизм Джона Дьюи. Перевод с английского. 285 стр. Цена 10 р. 40 к.

Дорис Лессинг. Повести. Перевод с английского. 300 стр. Цена 10 р. 35 к.

Камала Маркандайя. Нектар в решете. Перевод с английского. 174 стр. Цена 4 р. 60 к.

Мартина Моно. Туча. Повесть. Перевод с французского. 79 стр. Цена 2 р.

Альберто Моравиа. Чочара. Роман. Перевод с итальянского. 322 стр. Цена 10 р. 40 к.

Джо Уоллес. Стихи. Перевод с английского. 131 стр. Цена 1 р. 45 к.

Рассказы писателей Ливана. Перевод с арабского. 142 стр. Цена 3 р. 50 к.

Турецкая поэзия наших дней. Перевод с турецкого. 134 стр. Цена 2 р. 25 к.

Назым Хикмет. 60 стихотворений. Перевод с турецкого. 171 стр. Цена 2 р. 90 к.

Чжан Чжао-цян. Политика и экономика послевоенной Индонезии. Перевод с китайского. 438 стр. Цена 10 р. 40 к.

М. П. Шарма. Государственный строй Индийской Республики. Перевод с английского. 395 стр. Цена 14 р.

Афонсо Шмидт. Поход. Тайны Сан-Пауло. Перевод с португальского. 346 стр. Цена 10 р. 75 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс, Б. А. Лавренев, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес). Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 22/XI-58 г. Подписано к печати 25/XII-58 г. А 10737. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 2103.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.